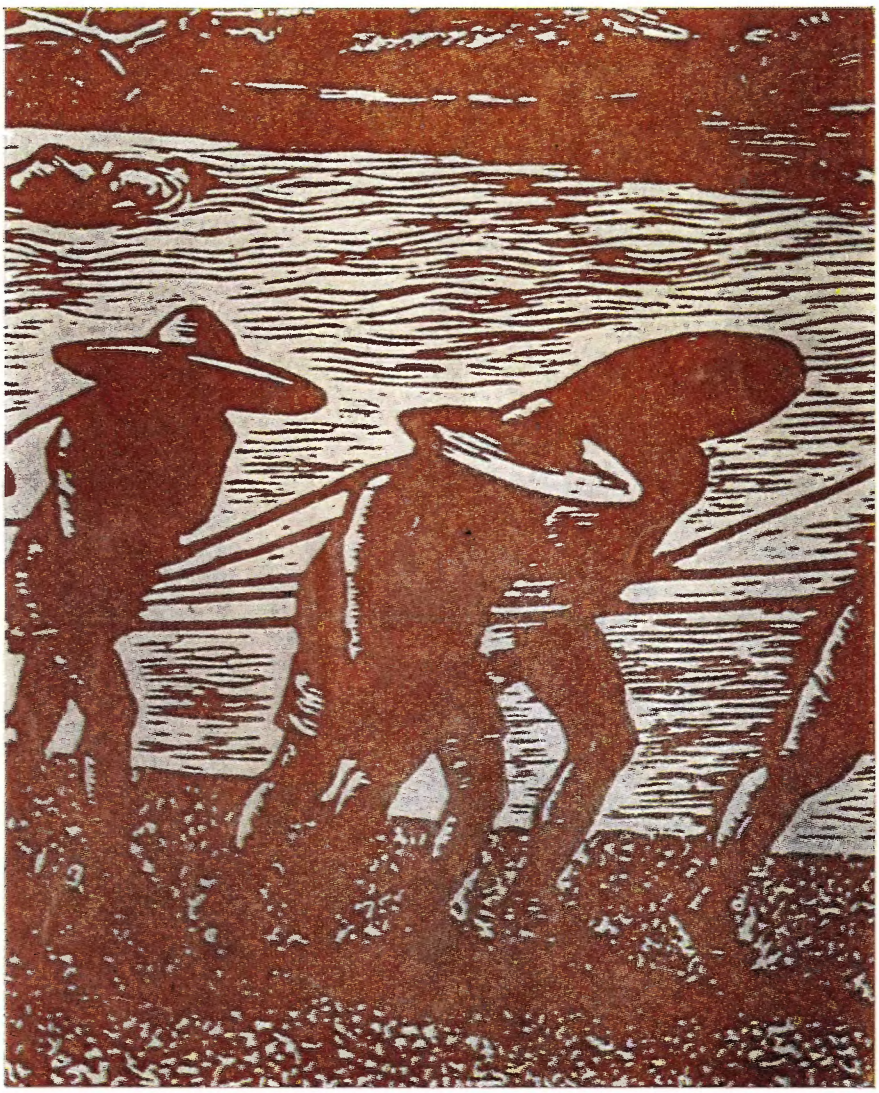
10.1976

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Лу Синь

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ», МОСКВА

1976

10 ОКТЯБРЬ

Содержание

АЛЬФОНСО ЛОПЕС МИКЕЛЬСЕН — Избранные *(Роман. Перевод с испанского Людмилы Новиковой. Вступление Юрия Дашкевича)* 3

СТАНИСЛАВ ЕЖИ ЛЕЦ — Стихи и фрашки *(Перевод с польского и вступление В. Британишского)* 134

Литературное наследие

У ХАНЬ — Разжалованные Хай Жуя *(Историческая драма в 9 действиях. Перевод с китайского и вступление В. Годыны. Стихи в переводе Л. Черкасского)* 143

ДЖЕЙМС ДЖОЙС — Портрет художника в юности *(Роман. Перевод с английского М. Богословской-Бобровой)* 171

Критика

В. ПЕТРОВ — Лу Синь и Советский Союз 199

ВИТТОРЕ БРАНКА — Беспокойная поэзия Микеланджело *(Перевод с итальянского Е. Солоновича)* 208

Писатель и время

ДЕНИЗА ЛЕВЕРТОВ — Поэзия в сегодняшнем мире *(Перевод с английского Э. Медниковой)* 211

Культура и современность

Заметки на полях

В. Иерусалимский — «Статья 3/3» 220

Публицистика

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ — I. Португалия: как был раскрыт заговор *(Вступление Константина Симонова. Перевод с немецкого Александра Науменко)* 225

Антирубрика

ЛЕОНИД ЛЕНЧ — «Смех — это человек». ✦ СТАНИСЛАВ ЛЕМ — Путешествие двадцать восьмое. Глава из книги «Звездные дневники» *(Перевод с польского Ариадны Громовой)* ✦ ПИТ ХЕЙН — Груки разных лет *(Перевод с датского Норы Киямовой)* ✦ ДЖЕЙМС ТЭРБЕР — Рассказы *(Перевод с английского Андрея Кистяковского)* 247

Среди книг

Издано в СССР

Илья Фоняков — В поисках нового. Евгений Винокуров — Поэтическое многоголосье 266

Издано за рубежом

С. Никольский — Поэзия уверенности. Г. Смирнов — Политический роман Фердинандо Камона. Н. Попова — Шаги под окном 269

Из месяца в месяц 276

Авторы этого номера 285

На обложке: фрагмент гравюры из книги «Антология китайской литературы с XIV в. до настоящего времени», т. 2.

© «Иностранная литература», 1976.

АЛЬФОНСО ЛОПЕС МИКЕЛЬСЕН

Избранные

РОМАН

Перевод с испанского ЛЮДМИЛЫ НОВИКОВОЙ

Необычное явление в современной колумбийской литературе — роман «Избранные». Это произведение заметно выделяется своими несомненными художественными достоинствами, хотя автор скромно оговорился на этот счет в прологе к книге и хотя в романе использован не новый литературный прием (публикация случайно обнаруженной чужой рукописи) да и сама по себе фабула не слишком сложна. Внимание читателя, бесспорно, привлечет глубина психологического «самоанализа» главного героя произведения, от имени которого ведется повествование.

Необычна для колумбийской прозы тема романа: история — точнее исповедь — человека, спасшегося из гитлеровской Германии и павшего жертвой... буржуазной демократии Запада, на которую он так уповал. Главный персонаж романа, названный автором «сеньор Б. К.», отнюдь не антифашистский борец; интересы его, крупного банкира, лишь относительно совпадают с целями тех, кто вел борьбу против гитлеризма,— но ему, конечно, нельзя отказать в известной широте взглядов при всем его консерватизме. По иронии судьбы ему, плоти от плоти «избранных», диктующих в буржуазном государстве, приходится познать на собственном опыте, что́ собой представляют неписаные законы капиталистического мира, как действуют под личиной дипломатов представители империализма Соединенных Штатов в Латинской Америке, какова действительность этой — в мечтах «сеньора Б. К.» — земли обетованной.

Необычен для колумбийской прозы диапазон социально-политического звучания романа — откровенной и, надо сказать, беспощадной рентгенограммы «высшего общества», правящих кругов одной из латиноамериканских республик. Произведение нацелено антифашистски, антиимпериалистически.

Необычно, наконец, и то обстоятельство, что роман является единственным художественным произведением ученого-правоведа, перу которого принадлежат труды, посвященные проблемам истории, юриспруденции, социологии, и этот ученый — нынешний конституционный президент Республики Колумбия.

Через меру восприятия «сеньора Б. К.» Альфонсо Лопесу Микельсену удалось показать широкую панораму жизни страны; на страницах романа поднимаются многие вопросы, актуальность которых очевидна и поныне, несмотря на то что роман написан почти четверть века назад и действие его разворачивается в период второй мировой войны. Автор прекрасно знает «героев» своего произведения — не исключено, что портреты кое-кого нарисованы с натуры. Автор, разумеется, знает происходившее и происходящее «за ширмами», в кабинетах тех, кто «делает» политику в стране, негласно управляемой, по его словам, «из Ла Кабреры» — фешенебельного района колумбийской столицы, где находятся виллы кофейных и сахарных «королей», финансовых магнатов.

Кстати, земли, на которых в городе Боготе ныне расположен район Ла Кабрера, в начале века принадлежали деду автора романа — банкиру и промышленнику. Отец автора, Альфонсо Лопес Пумарехо, был дважды президентом Колумбии (им осуществлен ряд прогрессивных реформ в стране, а в 1935 году установлены дипломатические отношения с СССР).

Долгие годы изучавший русскую и советскую литературу, Альфонсо Лопес Микельсен внес значительный вклад в развитие контактов между нашими странами в

качестве одного из президентов Колумбийско-советского института культурных связей; этот пост он занимал до 1948 года, когда реакцией был спровоцирован разрыв отношений с Советским Союзом. Находясь в эмиграции в Мексике, Альфонсо Лопес Микельсен создал публикуемый ныне и на русском языке роман «Избранные». После свержения реакционной диктатуры он возвращается на родину, включается в активную политическую и общественную деятельность, читает лекции в университетах. В 1968 году, в бытность Альфонсо Лопеса Микельсена министром иностранных дел, были восстановлены дипломатические и торговые отношения между СССР и Колумбией, успешно развивающиеся и высоко оцененные в недавнем заявлении нынешним президентом Республики.

Мы убеждены, что наши читатели с живым интересом встретят реалистически написанный роман «Избранные» — произведение, на первый взгляд, исторического характера, но во многих аспектах остросовременное.

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

ПРОЛОГ

Повествование, публикуемое ниже, было найдено мною в личных бумагах немецкого гражданина Б. К., адвокатом, другом и доверенным лицом которого я был последние десять лет его жизни, когда ему выпало на долю жить в нашей стране из-за преследований, начатых гитлеровским режимом против тех, кого подозревали в неарийском происхождении, даже если истоки такового, как в данном случае, терялись в глубине веков.

Писал Б. К. на французском языке мелким и изящным почерком, почти без поправок, как будто бы все ранее исправлялось в черновиках, а затем тщательно переписывалось набело самим автором.

Не раз я задавал себе вопрос: какие причины побудили моего друга Б. К. поведать столь тривиальную историю? И почему он избрал для этого чужой ему язык? После долгих размышлений осмелюсь сделать следующее предположение. Эти воспоминания, никоим образом не предназначенные для широкого читателя, написаны автором в период его пребывания в концентрационном лагере для подданных стран «оси» в городке Фусагасугá с единственной целью — занять чем-то время, отвлечь себя от тягот заключения. Естественно, встает вопрос: почему воспоминания эти написаны не на немецком языке? То, что на первый взгляд кажется причудой, можно, пожалуй, объяснить желанием автора уберечь написанное от любопытства соотечественников, товарищей по несчастью. В условиях вынужденной изоляции и порождаемой ею близости между незнакомыми людьми любой из заключенных мог прочитать повествование Б. К. и узнать таким образом некоторые подробности его интимной жизни. Последний, видимо, рассудил, что любой чужой язык сможет спасти его — хотя бы частично — от такого риска.

Однако по мере того, как я углублялся в чтение рукописи, мне все больше казалось, что Б. К. обращал эти воспоминания, пусть даже бессознательно, к своей бывшей жене Ирэн, с которой был официально разведен более двадцати лет назад. Многие рассуждения и замечания, на первый взгляд случайные, безусловно предназначались ей. Тот факт, что рукопись — на французском языке, также подтверждает это предположение: Ирэн была француженкой Она много лет прожила на противоположном берегу Рейна, но дома у них всегда говорили по-французски, ибо немецким Ирэн не владела совсем.

Смею заверить, что ни язык рукописи, ни то, будет ли она переведена в дальнейшем на любой другой — все это никакого значения не имеет, так как сам по себе манускрипт не обладает особыми литературными достоинствами (в чем читатель сможет вскоре убедиться).

История эта представляет определенный — и чисто человеческий — интерес для тех, кто лично знал автора. Для других же, кто хоть немного знаком с обстановкой, в которой развертывались описываемые события, рукопись эта ценна как документ.

Долгие годы я колебался: переводить ли записки Б. К. на испанский, предавать ли их гласности? В конце концов уступил настойчивости моих друзей, хотя вначале не собирался опубликовывать эти страницы. Пусть судит сам читатель, было ли оправданным мое стремление оградить от людского любопытства этот манускрипт и следовало ли отдавать его на широкий суд, как я делаю сейчас.

В связи с тем, что рукопись не предназначалась для публикации и не была закончена, она даже не имела названия. Автор лишь начертал наверху — «Du coté de la Cabrera», что на французском могло бы значить: «Оттуда, где Ла Кабрера». В какой-то степени это напоминает Пруста, хотя дано, пожалуй, уж слишком откровенное указание на место действия описываемых Б. К. событий. Правда, и в разговорах, когда речь заходила с друзьями из высшего света, чьи резиденции расположены в великосветском уголке Боготы, известном как Ла Кабрера, Б. К. обычно прибегал к этому же французскому выражению. «Оттуда, где Ла Кабрера», как тонко подметил автор, должно было означать то, что относится к любимцам судьбы, ко всему тому, что происходит в нашем капиталистическом обществе. Или, как чаще говорят в народе,— «среди избранных». «Избранные» — такое название мы и даем книге.

Б. К. принадлежал к самому «удачливому» поколению нашего века — к тем, кому едва исполнилось двадцать пять лет, когда вспыхнула первая мировая война. Сама судьба, казалось, готовила выходцу из богатой семьи удел следовать традициям европейской буржуазии. Это совпало с тем историческим периодом, когда многие считали, что мир на земле наконец обеспечен, что недалека эпоха политического и экономического прогресса. Уже никто не помнил, в какой момент начался тот «золотой век Августа Октавиана»[1]. И никто не предполагал, что этот век может иметь столь скорый финал. Так же немыслимо было предположить, что один из сыновей этой эпохи, некогда состоятельный и преуспевающий, будет умирать в одиночестве, в нищете в далекой Южной Америке. Такое никогда не могло прийти в голову родителям Б. К.! Изгнания, лишения, преследования — все это в их представлении существовало где-то в области библейских сказаний. Все это было чем-то вроде неясных воспоминаний о далеких варварских временах, недоступных для понимания подданных тогдашнего кайзера. И тем не менее, судьба Б. К. сложилась именно так.

До пятидесяти лет самым крупным событием в его жизни была служба офицером связи в оккупационных войсках, размещенных в первую мировую войну в Сербии. Война та, как известно, велась — если можно так сказать — почти «цивилизованными методами»: не было концентрационных лагерей, не было расовых преследований. Б. К. участвовал в ней без особого энтузиазма, но сохранил о тех годах в общем-то довольно приятные воспоминания. Позднее под давлением обстоятельств, о которых мы упомянули выше, он был вынужден покинуть землю своих предков и искать убежище в стране, где за семьдесят лет до того осела одна из обедневших ветвей его рода, устремившаяся сюда в поисках богатства. Естественно, в жизни этого обеспеченного буржуа такое перемещение явилось трагедией, и притом глубокой, несмотря на некоторые комические ситуации, с ним свя-

[1] С именем этого первого римского императора связывается окончание гражданской войны и образование Римской империи. *(Прим. перев.)*

занные. Трагедия Б. К. состояла в том, что он попал совершенно неожиданно в среду, не соответствующую миру экономических, социальных, религиозных убеждений и понятий, в котором протекало его детство. Надо напомнить, что в детские годы он пребывал под неусыпной опекой властолюбивой матушки, никогда не предоставлявшей сыну самостоятельности.

Б. К. рассказывал нам, что весь год он с нетерпением ждал весны и разрешения матери провести три недели в швейцарском городке Церматте в компании друзей — графа Монжеласа и Августа Линдинга. Так продолжалось всю его юность и даже позднее, в годы зрелости. Трое друзей приезжали к подножию горы Маттерхорн в поисках горной фиалки, известной среди туристов под немецким названием эдельвейс. Альпийский цветок этот раскрывается еще под снегом и растет лишь на большой высоте. Добыть его во время таяния льдов, когда он являет миру все свое великолепие, считалось великим подвигом. Такого рода увлечениям да чтению мемуаров путешественников XX века посвящал свой досуг в те годы Б. К. Уже на закате своей карьеры богатого наследника, не знавшего материальных затруднений, для которого работа была всегда лишь приятным времяпрепровождением, Б. К. пришлось карабкаться по горным Андам в поисках более экзотических цветов, чем те, что он собирал в компании с Линдингом и Монжеласом. И горы здесь были не похожи на возвышавшиеся против «Гранотеля» в Церматте. Мир, совершенно чуждый европейскому буржуа, открылся его глазам. Наверно, так же, как и Б. К., неуютно почувствовал бы себя в Андах и эдельвейс. Мы, его друзья, наблюдали, как Б. К. бился, пытаясь приспособиться к ритму жизни в нашей стране. Все было впустую. Он походил на засыхающий в чужой ему среде цветок. Этот человек никогда не мог понять нашего образа жизни, привычек, несмотря на искренние симпатии к нашей стране и уважение к нам лично. Б. К. так и не смог уяснить, насколько далек от него мир, куда он попал под старость. Он оставался верен себе до конца своих дней: невозмутимый и сдержанный, он стремился продлить существование франкфуртского буржуа в круговерти латиноамериканского города. Его черный костюм, котелок, трость с набалдашником в форме собачьей головы, светлые перчатки постоянно вызывали улыбки. Он даже ходил как-то по-иному, по всей вероятности, именно так ходили в прошлом веке: размеренно-торжественная походка европейских рантье тех времен, когда все покоилось на основах, казавшихся вечными, когда деньги, границы, платье и браки были нерушимы. Но что подумали бы о нем те, кто улыбался при его появлении, видя в нем ходячий призрак прошлого, если бы смогли заглянуть в его душу? Только перелистывая страницы рукописи Б. К., начинаешь постигать его внутреннюю жизнь, столь же непонятную и странную для нас, как и его эксцентричная внешность.

Исповедь Б. К. свидетельствует о том, что он безуспешно пытался примениться к нашему образу мыслей и так же безуспешно тщился понять нас. В его размышления то и дело вкрадывались некие предвзятости, истоки которых следует искать в его протестантском воспитании, а также в весьма небогатом житейском опыте, который Б. К. получил на Балканах в начале века. В немалой степени это объяснялось и скрытым чувством страха перед неизвестным, что заставляло его проводить вечные аналогии между нашим миром и миром джунглей, когда речь шла о нашем обществе... Тем более бесполезно строить догадки о нашей будущей судьбе, как это нередко пытается делать автор рукописи, опять-таки исходя всего лишь из собственного старого опыта. Но так как годы, проведенные им в загребском гарнизоне, дали ему единственную возможность контактовать с чужестранца-

ми — если не считать периодических выездов в Швейцарию, Францию и Англию, что было по тем временам непременным условием хорошего воспитания,— то легко понять, какое шоковое впечатление произвели на Б. К. наша экономика, политика и общественная жизнь. Естественно, это заставило его постоянно вспоминать о той культуре, к которой он был приобщен ранее и которая была столь отлична от нашей.

Видимо, наиболее странным ему казался — по контрасту с его собственным — мир нашей религии: этакая смесь индейского язычества и ярого испанского фанатизма.

Когда Б. К. покинул Германию, он уже практически не был верующим. Освободившись от опеки матушки, он быстро растерял свои религиозные убеждения и не придавал большого значения свершению церковных обрядов. Более того, кальвинистское воспитание наложило на него свой особый отпечаток, придав, как я уже говорил, некоторые особенности его личности и характеру.

Впитав с детства доктрины, любой член семейства К. знал, что с двадцати одного года ему назначено богом получать деньги в рост (из расчета трех процентов) и отдавать их также в рост (в данном случае — из расчета пяти процентов). Разница между отданными и полученными процентами увеличивала состояние каждого из К. вплоть до гробовой доски. При этом нельзя не отметить, что на свои личные нужды любой из членов семейства брал ровно столько, сколько было необходимо на жизнь. Отец Б. К., его дед и прадед (последний был банкиром в Пруссии) истово, в высшей степени педантично занимались своим ремеслом. Безжалостные к самим себе, они считали правомерным требовать той же пунктуальности от должников. В глазах посторонних они выглядели чудовищными скопидомами. Даже собственные родственники клеймили их как людей жестокосердных, одержимых единственным желанием — наживы. Таким образом и существовал банкирский дом К.

Но случилось так, что один из дядюшек Б. К. решил бросить традиционное занятие, на котором зиждилось благополучие всей семьи, и обратиться к другим делам. Его, видите ли, соблазнила возможность получать большие прибыли, чем пресловутые проценты. Братья усмотрели в его шаге чуть ли не ренегатство, а его самого посчитали богоотступником. Дядюшке была немедленно выделена сумма, необходимая для отъезда в Америку, где на землях искателей приключений можно было не заботиться о своей респектабельности, как того требовал Франкфурт. В Америке дядюшка решил основать табачную фабрику, сделаться миллионером и через несколько лет вернуться назад, в Германию.

Одним из наиболее забавных парадоксов своеобразной судьбы Б. К. был тот факт, что в пожарищах гитлеровского рейха погибло все семейное состояние клана, сколачиваемое упорно и терпеливо в течение веков. В то же время единственный в истории рода авантюрный шаг, некогда так возмутивший всю семью Б. К.— а именно кредит в сто тысяч марок, выданный беспокойному дядюшке в начале века,— превратился в солидную сумму. Доля, принадлежавшая Б. К., позволила ему выехать в Америку в надежде прожить последние годы на скромную ренту. Дело в том, что доходов от табачной промышленности, которую пытался развить в нашей стране дядюшка Б. К., едва хватало на жизнь, не говоря уж о возмещении процентов с полученного некогда кредита. Уже совсем больным и старым он добился от своих франкфуртских родственников великого одолжения: ему разрешили выплатить оставшуюся сумму долга в акциях своей фирмы и по номиналу. Таким образом, после смерти родителей Б. К. вместе с

наследством получил и некоторое число акций сигарной фабрики своего американского дядюшки.

К этому времени наша страна уже делала первые шаги в развитии собственной промышленности. В частности, были приняты таможенные ограничения на ввоз кубинских сигар — одна из мер защиты национальной табачной промышленности.

В период развязанной нацистами антисемитской кампании, естественно, захватившей и Франкфурт, Б. К. и другие члены разросшегося семейства стали объектами преследований. Б. К. помогло то, что за рубежом у него оказались родственники — они уже были гражданами нашей страны, и сам он являлся акционером местных табачных предприятий. Довольно легко раздобыв визу на выезд, Б. К. эмигрировал в Америку. Так он и появился среди нас.

Жизнь его в нашей стране подробно описана на страницах рукописи. Чувствуется глубокое признание приютившей его земле, где он нашел мир и теплоту искренней любви. Однако это не помешало Б. К. подвергнуть острой критике многие из наших традиций и привычек. Если не придавать большого значения такого рода замечаниям (они, кстати, носят вполне объективный характер), то можно прийти к заключению, что Б. К. полюбил нашу страну, как свою вторую родину. Это — единственная причина, оправдывающая публикацию его несколько несвязных записок, представляющих собой, как уже говорилось, заметки сугубо личного плана. Любопытны его оценки присущих только нам характерных особенностей. Они даны человеком бесстрастным, чужим, но стремящимся понять нас. Понять по-настоящему.

Тогда еще никто не знал, какова будет судьба Германии по окончании второй мировой войны. Из всего того, что Б. К. любил на земле предков, не осталось ничего. Надежды на новую жизнь, которым, к сожалению, так и не суждено было сбыться, Б. К. связывал с землями, лежащими по другую сторону Атлантического океана. Все эти соображения, а также чувство глубокой признательности к нашей стране побуждали его принять новое гражданство и отказаться от подданства гитлеровской Германии. Б. К. довольно сносно освоил испанский язык и даже пристрастился к некоторым из наших национальных блюд, которые поначалу казались ему отвратительными.

Мир его религии диктовал ему, что будущее — предначертано и неоспоримо, и это заставляло Б. К. понимать любое явление как акт божественной воли, нечто совершенно не связанное с действиями и поступками самого человека. В обиходе подобный подход к жизни называется фатализмом. С годами эта убежденность лишь укрепилась в нем. По мере того, как близилось свидание со смертью, все более таинственно и непонятно складывалась судьба Б. К.

I

...Проснувшись в то утро, я вдруг подумал, что вернулся лет на тридцать назад, что вновь связалась оборвавшаяся было нить жизни.

В окно моей спальни, выходящей в долину Бохака́, врывалось солнце. Сквозь еще запотевшие от ночной прохлады окна я разглядел покрытые росой цветы, знакомые с детства. Они росли по берегам декоративного озерка, изогнувшегося вдоль хозяйского дома поместья Эль Пинар. Это были совершенно те же цветы, что радовали меня по утрам в дни моей далекой юности: голубые гортензии уто-

пали в роскошной листве, покачивались под легким ветром стройные дельфиниумы, красные гвоздики, маки... К окну подбирались ползучие розы. Вдалеке я различил сосновый лесок, по которому и дано название вилле — Эль Пинар.

Я рассматривал через стекла еще мокрый от росы сад, и мне казалось, будто я только что проснулся на Ивовом хуторе. Мы арендовали тот дом в Нормандии вместе с графом Монжеласом, куда приезжали на ловлю форели. Мне чудилось, что наступил час выбирать удочки, готовить наживку и выходить к реке на рыбную ловлю.

— Если мне сейчас же не дадут стакан «тома-коллинза», я умру! И немедля! — донесся чей-то голос из сада.

Я заметил и другие цветы, но это были экзотические растения, по-видимому африканского происхождения, некогда кем-то привезенные сюда: тритомы, агапанты. Они напомнили мне, что я — в тропиках, хотя и высоко в горах.

— Если мне не дадут «тома-коллинза», я умру!

Это желание выпить мешанину с джином в такой ранний час, да еще выраженное столь настойчиво (оно походило на наглые выкрики столетнего попугая, с которым я накануне подружился), вернуло меня к действительности. Слегка побаливала голова, я смутно припоминал: что же было накануне? Видимо, я перехватил. А здесь принято пить по субботам, и особенно принято среди молодежи из обеспеченных семейств.

Несколько минут я еще жил призрачной прежней жизнью, но видения быстро исчезли, я вновь стал припоминать, что же все-таки произошло. Да, мне уже не тридцать, и я не в Нормандии. И Монжелас давно ничего обо мне не знает. И неизвестно, встретимся ли мы с ним еще раз на этом свете! Вот уже несколько месяцев война прервала нашу переписку, и трудно предположить, каким образом сложатся в дальнейшем наши судьбы. Я жил новой жизнью. Меня окружали странные существа — все они были моложе меня. Их отличали совершенно иные привычки и обычаи, чем те, что были у моего поколения и в моей стране. Так что видения этого утра не могли длиться. То же, очевидно, происходит с любым путешественником-европейцем: после пробуждения ему требуется время, чтобы осознать, что он находится в джунглях, а не у себя дома. Мы с Монжеласом и думать не могли бы о рыбной ловле, если бы накануне увлеклись виски, как мои нынешние друзья.

Здесь пьют так же, как в Соединенных Штатах: чтобы напиться. Напиться преднамеренно, не ограничивая себя. Таков местный способ и обычай прерывать по субботним вечерам монотонность недели. Пьют крепкие напитки, причем далеко за полночь, хотя во время обеда едва выпивают бокал вина, да и то скорее в силу установившихся традиций, чем из желания получить удовольствие. Затем переходят к коньякам, далее — к ликерам, бенедиктину или мятной, а уж потом до бесконечности, до полного изнеможения пьют виски. Накануне я поступил именно так.

Мне заранее был известен распорядок предстоящего дня: как только прибудут гости, званные к воскресному обеду, хозяин дома вновь пригласит нас выпить по коктейлю с джином, чтобы утопить в алкоголе жажду, порожденную излишествами прошедшего вечера. Два или три «тома-коллинза» (теперь уже все гости требовали подать коктейли, и немедленно!) и мне принесли бы облегчение, избавив от раздражающих призраков детства и юности. Призраки являются каждый раз, когда я злоупотребляю напитками, и погружают меня в глубокую меланхолию.

Как же это я ухитрился так перепить?..

Накануне Мануэль пригласил меня и других своих приятелей посетить его поместье Эль Пинар. Мы должны были встретиться в три часа пополудни и договориться. Вовремя приехали только он и я.

— Выпьем по глотку, пока подъедут остальные. Здесь никто и никогда не является точно.

— Спасибо! В эти часы я не пью.

— Жена, наверно, уже в Эль Пинаре, ждет меня. Она никак не может привыкнуть к городу и предпочитает сельскую жизнь. Вы ведь знакомы с ней? Она — испанка.

— Не имел чести.

Подошел еще один из приглашенных.

— Пропустим по глотку?

— Благодарю, в эти часы я не пью.

Все было похоже на какой-то ритуал. Каждый приходил с опозданием и приглашал «пропустить по глотку», как бы в оправдание своей неточности. Никто, кстати, не удивлялся. Я даже подумал, что, быть может, являться с опозданием и заставлять себя ждать в местных кругах служит способом придания собственной персоне большей значительности.

Уже наступил вечер, когда, сильно разгоряченные спиртным, мы наконец выехали из города.

Предсумеречные часы окрасили чуть ли не траурной грустью поля, окружающие столицу. Пронизывающий холод будто сковал застывшие вдоль дороги эвкалипты. Их изогнутые ветви отбрасывали призрачные и длинные тени. Я чувствовал себя хорошо, даже весело, хотя единственный в этой компании не выпил ни глотка. Мне было уютно в автомашине; красноречие, вызванное горячительными напитками, создавало атмосферу юношеского задора. Я ехал в надежде насладиться хотя бы несколькими часами чистого воздуха и горячего солнца, побыть вдалеке от мрачного городского жилища.

Милая супружеская пара, перспектива завести новые знакомства — все это несколько меняло привычное течение моего бытия. Войне в Европе не было видно конца, и во мне постепенно зрело решение обосноваться навсегда в этой стране. Не мог же я похоронить в бесплодных ожиданиях последние годы жизни, отдать их бездействию (хотя такой антракт иногда и предшествует борьбе).

Проведя в этой стране несколько месяцев, я чувствовал себя хладнокровным конкистадором неизвестных земель, который отправился в путешествие по вечным рекам жизни — любви, желаний, зависти. Эти реки должны были пронести меня сквозь джунгли и вынести к светлым полянам благополучия. Здесь я и собирался «бросить якорь», здесь надеялся добиться процветания и дождаться возвращения в Европу к новой жизни, которая наступит, как я считал, сразу же после окончания войны.

Ведь жить — это не просто питаться воспоминаниями, испытывать по утрам горькие минуты, листая газеты и знакомясь с военными сводками (чтобы узнать о том, что творится на белом свете, приходилось прослушивать ежедневно по радио также тысячи и тысячи назойливых призывов торговой рекламы).

Жить — значит бороться, терпеть поражения и побеждать, любить и ненавидеть. Жить — это забыть свое прежнее «я», которое уже никак не связано с тем берегом Атлантического океана, откуда поступают сводки. Мне так хотелось вновь видеть молодые лица, тем более лица женщин, полные загадочности. Только они могли оживить в моем сердце желание расшифровать их загадки, что обещает начало любви.

Так хотелось покинуть моих печальных компаньонок по изгнанию — англичанок из пансиона мисс Грейс, где я проживал. Дамы настойчиво стремились «заставить постареть» меня нескончаемыми проявлениями опеки, воспоминаниями о былой Европе. Любопытно, способен ли я окунуться в светский ад — более страшный, чем непроходимая сельва, и не потерять себя при этом?

— Здесь каждый поступает так, как ему вздумается,— сказал Мануэль со свойственным ему апломбом, провожая меня в отведенную мне комнату на втором этаже.— Если потребуется прислуга,— продолжал он,— здесь — звонок. Туалет рассчитан на две соседние комнаты. И учтите, пожалуйста, горячая вода довольно долго идет снизу, от кухни, но... все-таки доходит. Да, еще не забудьте: краны перепутаны. Там, где значится «горячая», идет холодная...

— Совсем как в моем пансионе,— заметил я.— Так что не забуду.

— Невозможно добиться от прислуги, чтобы краны переставили,— сказав это, Мануэль ушел.

Я попытался прилечь на несколько минут перед ужином, но желание углубиться в «сельву» было сильнее. В зале, куда я спустился, уже сидели у камина почти все приглашенные. Из патефона, стоявшего в углу, тихо лилась афро-американская мелодия, и две пары делали вид, что танцуют. Остальные в ожидании приглашения к столу прислушивались к сплетням некой дамы, как выяснилось — редактора отдела светской хроники одной из столичных газет.

— Расскажите нам, Алисия, как же это произошло? Каким образом Элена во всем призналась своему Хаиме? — спросила какая-то очень молодая дама.

— Невероятно! — откликнулся Мануэль, не дожидаясь начала рассказа.

— Ты уже все знаешь?

— Частично.

— А я знаю все, и притом из первых рук,— сказала Алисия.— В четверг после вечеринки в клубе «Атлантик» они оба вышли в плохом настроении. Хаиме весь этот вечер танцевал только с Алисией Прадо. В общем, Хаиме и Элена обменялись колкостями, после чего супруг, который несколько перехватил виски, заявил жене: «Если тебе не по вкусу, что я столько танцевал с Алисией, найди и ты себе партнера!»

— Какое безобразие! — воскликнули все хором.

Странное чувство испытывал я в этом окружении, словно меня ожидала охота на неизвестную дичь.

— А Элена ответила ему на это: «Он у меня уже есть»,— продолжала рассказчица.— Он — твой компаньон, Энрике. Мы любим друг друга уже четыре года». И представьте себе, что делает Хаиме?! Задает жене глупейший вопрос: «А как далеко зашли ваши отношения?» Элена в бешенстве заявила ему, что «они зашли настолько далеко, что дальше некуда»...

— Я знал, что Хаиме уехал на побережье,— бросил кто-то.— Знал, что он собирается расстаться с Эленой, что та ему наговорила каких-то глупостей. Только подробности были неизвестны.

— Естественно,— продолжала Алисия.— Сначала Хаиме обещал убить Энрике, а затем добавил, что навсегда покинет страну. Сейчас говорит, что будет разводиться. И все это сопровождается рыданиями. В общем, все как в кино.

— Нет, такие признания в кино не услышишь...

— У славян есть пословица, которая гласит, что кожа женщин хранит, как тавро, следы тех, кто ими владел,— вмешался я. Мне

казалось, что мои слова должны прозвучать очень своевременно.— А Элена, может быть, не выдержала собственных угрызений совести?

Все засмеялись. Мануэль, видимо, почувствовал необходимость сменить тему, к этому обязывало также и мое присутствие. Как бы представляя меня, он обратился к гостям:

— Видимо, вы уже знакомы с сеньором К.? Не правда ли? Он — родственник господ К., владельцев фирмы «Ла Сентраль». Сеньор К. был вынужден покинуть Германию, и вот уже несколько месяцев он здесь, среди нас. Он — великолепный альпинист, много путешествовал по Европе.

Никто не понял, говорил ли хозяин в шутку или всерьез о моих альпинистских способностях, но как только группа у камина распалась, ко мне подошли несколько человек, заверяя в дружбе, высказывая симпатии. Все обращались ко мне либо на английском, либо на французском языке.

— Давно вы здесь?

— Нравится ли вам наша страна?

— Как вы думаете, сколько продлится война?

— И как долго вы еще пробудете среди нас?

Я пытался отвечать на моем скромном испанском языке. Однако, то ли в силу того, что мой испанский был так беден, то ли из чувства гордости — вот, мол, и мы владеем иностранными языками,— но только гости Мануэля никак не хотели говорить со мной по-испански. Позднее я заметил, что в этой стране существует обычай разговаривать на другом, не родном языке не лишь с иностранцами, но и между собой. Правда, это относилось только к определенным кругам, которые тем самым будто отгораживались от соотечественников, подчеркивая свое превосходство. Я с удивлением прислушивался, как некоторые молодожены беседуют между собой на английском, родители обращаются на том же языке к детям, забыв о родном, испанском. Что это: проявление кастовой принадлежности? Или детское тщеславие?

Поместье Эль Пинар было насквозь пропитано манией «англизировать», что так характерно для капиталистического общества в период его становления. Не только разговорный язык, все в доме — напитки, сигары, одежда мужчин — повторяю: абсолютно все! — подтверждало стремление подражать британским традициям. (Кстати, в давно прошедшие времена мое внимание привлекало то же самое явление в «высшем свете» балканских стран.)

Стены гостиной в Эль Пинаре были украшены классическими английскими гравюрами: алели мундиры, скакали охотники, гончие псы мчались за лисами. Другая серия гравюр иллюстрировала приключения бессмертного мистера Пиквика и Давида Копперфильда. С ними опять-таки соседствовали изображения прекрасных скакунов, победителей дерби прошлого века. Здесь же красовалась выставка трубок хозяина: без малого сто штук, и все разных форм и размеров. Зал оживляли занавески из шотландки, что равно свидетельствовало об англизированных вкусах владельца. Классическая мебель в стиле «чиппендейл», а также несколько китайских вещиц находились в этой гостиной потому лишь, что несколько веков назад получили благословение на существование от какого-нибудь английского вельможи. Такого рода предметы никогда не попали бы в Эль Пинар, будь они символами любой другой, но не британской цивилизации! Тем более если речь шла о китайском искусстве, столь далеком и здесь незнакомом.

И дом, и вся атмосфера Эль Пинара, где я чувствовал себя совсем чужим, не вызывали во мне — вопреки предположениям моих

собеседников — воспоминаний о загородных виллах в ближайших к Лондону графствах. Эль Пинар напоминал скорее роскошную резиденцию в Афинах или в Бухаресте, где «высший свет», также оторванный от народа, стремился повторить до мельчайших подробностей манеры и образ жизни англичан.

Чем же обладала британская нация — каким секретом, если сумела внушить остальному капиталистическому миру в эпоху своего расцвета стремление так походить на нее? Я вспоминаю Румынию и Сербию начала века: те же легкие сигары и костюмы из тонкого серого сукна выделяли кучку избранных из остального народа, обреченного веками пребывать в нищете, грязи, невежестве. Сколько же могло продолжаться все это? Как долго могла существовать пропасть между миллионами, представляющими страну, и десятками, представляющими правящий класс?

А в этой стране, по-видимому, никто еще не ощущал неотвратимости революции, никто не прислушивался к голосу народа, подхватившего клич своих вождей. Вот так же весело и бездумно жила некогда русская аристократия. Поклоняясь французской утонченности, веками предавала она забвению и русский язык, и русские народные обычаи. Но час пробил. Произошла революция. Очнулись от спячки обездоленные, и выстроенные в классическом стиле великолепные дворцы, произведения искусства — все, все перешло в руки простого народа.

Еще совсем молодым я наблюдал революцию, возглавленную Бела Куном. Тогда я не раз задавал себе вопрос: придется ли мне еще раз быть свидетелем взрыва народного гнева? Прокатится ли еще перед моими глазами волна, смывающая все, что служило символами — на этот раз креольской аристократии, в том числе и англофильствующей? Как знать, не произойдет ли и в этой стране нечто подобное? Через год, через два, пусть через десяток лет, когда не станет ни хлеба, ни угля в нищих лачугах, либо когда будет убит еще кто-либо из местных народных лидеров.

Но что мне было известно об этой стране, об ее обществе? Я обладал лишь скромным европейским опытом и походил скорее на голландского садовника, осмелившегося предсказать точную дату цветения орхидеи, хотя познания его относились лишь к флоре умеренных широт.

Идеал, господствовавший в благополучном Эль Пинаре и в том обществе, где мне предстояло вращаться, был один: походить на англичан. Причем повторять их образ жизни так, как он был представлен на страницах модных английских журналов. Здесь же на столике в гостиной лежали три новых номера, то были «Тэттлер», «График» и «Иллюстрейтид Лондон ньюз». Издания эти были для моих новых друзей тем же, что коран для мусульманина. С глянцевых страниц смотрели лорды со своими супругами, фотограф запечатлел их на скачках. На других снимках лорды пили непременный чай с «гостями» («как всегда, ровно в пять часов вечера, в своей вилле»), либо играли в гольф, красуясь в поистине немыслимых костюмах. Естественно, во всех «пинарах» мира владельцы стремились все скопировать, чтобы попасть в тон лондонскому обществу.

— Давайте узнаем, какие телеграммы о войне поступили сегодня вечером,— предложил Мануэль.— Сеньору К., наверно, хотелось бы уснуть с хорошей новостью. Алисия, почему бы тебе не позвонить в редакцию «Эль меркурио» и не спросить, произошли ли какие сенсации в Европе?

Алисия взялась за телефонную трубку, а хозяин добавил, обращаясь к гостям:

— Больше виски предлагать никому не буду, наливайте себе сами. И вообще, чувствуйте себя как дома.

Все так и поступали, желая сделать приятное хозяину. Тогда-то я и начал первый стакан. Алисия в тот момент продолжала звонить по телефону из соседней комнаты:

— Что? Не понимаю! Американцы? Сейчас позову Мануэля.

Последний вышел, и я слышал, как он говорил в телефонную трубку:

— Нет, не может быть... Надо подождать... Если узнаете что-либо поточнее, пожалуйста, позвоните нам.

Мы поняли — произошло событие из ряда вон выходящее. Мануэль, закончив разговор, вернулся в гостиную, и мы все бросились к нему:

— Пока еще точно не известно. По слухам из Вашингтона, только что случилось что-то решающее для дальнейшего хода войны. Берлинское радио также передало, как будто речь идет о новом оружии небывалой разрушительной силы. В Лондоне разнесся слух, что японский флот атаковал Гавайские острова. Мне обещали позвонить, как только все станет ясно.

Немедля гости стали строить предположения, что же произошло. Какое решающее событие могло повлиять на ход войны?

Было уже поздно, и супруга хозяина приглашала к столу.

Разговор все время шел на французском языке (подозреваю — в честь моей персоны), хотя, повторяю, я вполне мог бы вести его на испанском. Перегнувшись через стол, Мануэль обратился ко мне:

— А что же вы намерены делать, когда закончится война? Вернетесь во Франкфурт или останетесь с нами?

— Закончится война?.. Конец войны?.. Кто знает, когда это произойдет. И когда будет возможно возвращение в Европу,— ответил я уклончиво, чтобы положить конец теме, которая могла интересовать лишь одного меня.

Меня прервала Мерседес, жена достаточно молодого и ловкого адвоката, приближенного одного крупного политического деятеля:

— Мне кажется, что Соединенные Штаты объявили войну Германии. А с участием американцев все закончится очень быстро. То же ведь случилось и в прошлую войну. Тогда не только вы, но все мы сможем вернуться в Европу. Мне так хочется вновь посетить мой коллеж в Монтрё, разыскать школьных подруг, познакомить их с мужем! Мануэль стремится поехать в Биарриц, ведь там осталась часть его семьи, вот уже два года от них нет никаких известий. А Диего хочет вернуться в Брюссель и вновь заняться коммерцией. И конечно все мы мечтаем о Париже! В общем, чтобы все стало так, как было до тридцатых годов!

Я подумал о том, как в Европе накануне великого кризиса недолюбливали латиноамериканцев. Не различая национальностей, всех их называли единым словом: «аргентинец». «Аргентинцем» считался каждый, кто смугл, подтянут, говорит на испанском языке и танцует скандалёзное танго в европейских кабаре. Мы узнавали их издалека — по прическе, по манере громко говорить, по тому, как демонстративно они швыряли деньгами. «Аргентинцы» были любимыми клиентами импресарио ночных ревю, проще сказать — убежищ для любовных услад. Владельцы отелей терпели их, а мы — буржуа северной Европы — относились к ним с некоторым пренебрежением. Мы чувствовали, что им наша старая добрая Европа представляется вертепом, где можно устраивать вакханалии и оргии, где любовь продажна и дешева. Ни искусство, ни история, ни прелесть наших пейзажей, ни кулинария не привлекали внимания такого рода приезжих.

Сегодня мы поменялись местами. Сегодня я — инородное тело в этом процветающем организме. И мне очень трудно объяснить, почему в те годы я испытывал такое предубеждение ко всем латиноамериканцам.

— Не знаю, следует ли вам возвращаться в Европу,— сказал я неуверенно, пытаясь напомнить им, какая грандиозная пропасть отделяет нас от того континента.— Все так меняется. Да и европейские страны обнищают после войны...

— Да,— отозвался муж Мерседес, толстый мужчина лет под сорок, подчеркнуто любезный.— Вы правы. Конечно, все изменится. Европа будет полностью разрушена, но все же останется приманкой для туристов. Земля обетованная — это Латинская Америка. Будущее за нами. В двадцатом веке мы станем тем, чем были Соединенные Штаты в девятнадцатом. И люди, и соответственно капиталы Европы будут искать прибежища у нас — в единственной части света, где не было войны. Да и сами американцы не захотят подвергать риску свои состояния в Европе и предпочтут делать вклады на нашем континенте, что гораздо безопаснее. Мы привезем сюда инженеров, потекут толпы иммигрантов, как случилось в Соединенных Штатах в прошлом веке. Менее чем за полсотни лет мы станем такими же могущественными, как американцы! Уже сегодня Буэнос-Айрес по численности населения — третий город мира, после Нью-Йорка и Лондона! А Мехико и Сан-Пауло через десять лет будут соперничать с Парижем и Берлином. Мы — страны будущего. Жить здесь и выезжать в Европу на несколько месяцев в году — таков идеал каждого. У нас всегда хватит масла, бензина, хлеба, сигарет.

Он произносил все это с чувством глубокой убежденности, которая несколько ошеломила меня. Наблюдая за ним, я сравнивал его с гигантского вида деревьями, столь частыми в тропиках, которые, однако, имели чрезвычайно хрупкие стволы. Раздумывая над его речью сегодня, я прихожу к выводу: высказывался он не без влияния винных паров.

Меня одолевали сомнения по поводу безмерного оптимизма моего собеседника — оптимизма, даже обидного для европейца. Однако мне казалось невежливым прерывать его речь, и я предпочел хранить скромное молчание. Сколько раз уже я слышал подобные заявления! Я помню пылкость тех, кто увлекался политикой в годы моей далекой юности. Бог мой, каких только не было обещаний, когда вдруг на Балканах открывали новое нефтяное месторождение или появлялась возможность займа у англичан! Однако, несмотря на все предсказания о грядущих светлых днях, ни одно из балканских государств тех времен не смогло стряхнуть с себя наследие прошлого. Забытый богом народ продолжал жить в ужасающей нищете. Правители были игрушкой в руках капитал имущих, невольно, а чаще преднамеренно играя трагическую роль в очередных кризисах. Неравенство во всех областях общественной и экономической жизни государства задерживало процесс развития. Зато не страдали карманы «избранных».

А как обстоят дела в этой части Америки? Разве не существует и здесь противоречий между блестящим будущим небольшого числа состоятельных лиц и будущим всей остальной нации? Что же касается Соединенных Штатов Америки, то они и впредь постараются представлять себя авангардом цивилизации; эта страна не понесла особенного ущерба от того, что в нескольких тысячах километров к югу на землях древних — очень древних — цивилизаций родились в конце концов независимые государства. Но, правда, последние веками сотрясались военными переворотами, бурлили восстаниями и не-

удавшимися революциями, и веками каста имущих опустошала и землю, и народ.

Мог ли я признать, что Южная Америка когда-либо заменит Европу? Мне казалось, что услышанное мною — набор избитых фраз, к которым обычно прибегают государственные деятели, приглашая к примирению оппозиции.

Некий сеньор Кастаньеда — по своим уловкам и восточным чертам лица (да еще при наличии косички) он вполне мог бы сойти за китайского мандарина — заметил:

— Война действительно не продлится долго, если Соединенные Штаты вступят в нее. С американцами никто не сможет справиться. Каждый день они придумывают что-то новое: то в оружии, то в авиации, то в медицине — в общем, в любой области.

Затем он продолжал, демонстрируя эрудицию, которую почерпнул из «Ридерс дайджест» [1]:

— Наши тропики скоро совершенно изменятся. Исчезнут москиты. Уже изобретено средство, уничтожающее их на расстоянии. Трудно представить значение этого открытия для тропических зон! С малярией, с желтой лихорадкой тоже будет покончено. За несколько часов чудодейственные лекарства излечивают артрит, воспаление легких, разные инфекции. Эти лекарства уже есть, но купить их в аптеках, правда, еще нельзя.

— Вот, вот! — с энтузиазмом подхватил Перес.— Тропики станут неузнаваемы!

Кастаньеда продолжал ораторствовать о вертолетах, которые после войны придут на смену автомобилям и для которых на крышах домов в Бразилии уже сейчас строят посадочные площадки. По его словам, над этой проблемой работали самые лучшие архитекторы мира.

Вдруг зазвонил телефон. Все замерли, Мануэль взял трубку...

— Похоже, что японцы неожиданно напали на Гавайи. Подтверждения пока нет. Ночью мы уже ничего не сможем узнать,— сказал он, возвращаясь к столу.

Перес, возбужденный выпитым, продолжал:

— Фантастика! Япония напала на Соединенные Штаты, значит, Россия будет вынуждена атаковать Японию. Эти страны всегда были традиционными противниками. Но подумать только: Россия и Соединенные Штаты — союзники! Непостижимо! К чему может привести такой союз? Естественно, к разгрому всех тоталитарных государств в Европе и в Азии. А потом будет мир... И неизбежным следствием этого мира будет сближение между Западом и Советским Союзом. Англичане и американцы будут вынуждены признать тенденции к развитию социалистических идей в тех странах.

В тот момент уже никто не обращал на Переса внимания. Никто, кроме меня. Я испытывал в душе непреодолимое желание ближе познакомиться с этим красноречивым, столь оптимистически настроенным адвокатом. Он умел изрекать пророчества! Много бы я отдал, чтобы иметь его возраст и никогда не знать войны. Это позволило бы и мне верить в чудеса, о которых то и дело трубят на весь белый свет для поднятия духа человеческого. К тому же супруга Переса...

После ужина она подошла ко мне. В ней было что-то привлекательное, но что именно, я не мог определить. Возможно — голос. Возможно — глаза. Возможно — хрупкость, изящество, манера гово-

[1] После второй мировой войны этот журнал стал издаваться и на испанском языке под названием «Селексьонес». А так как чтение его не составляет привилегии лиц, владеющих английским языком, никто в районе Ла Кабрера не хвастает цитатами из упомянутого издания. *(Прим. автора).*

рить. А может быть, длительные паузы в ее речи, напоминавшие почти саксонскую сдержанность.

Мерседес предложила перейти в библиотеку и выпить чего-нибудь прохладительного, в гостиной было жарко и сильно накурено. В тихом зале, уставленном книгами, она вновь заговорила о Европе, о своем коллеже в Монтрё, о своей поездке через Германию.

В этом обществе Мерседес была первой женщиной, с которой я говорил так искренне и просто, будто мы давно с ней знакомы. Кто знает, может, доброта и внимание Мерседес помогут мне освоиться в местных «джунглях». И вновь я подумал о реке, которая служит исследователю единственной возможностью найти путь в сельве.

Была в моей нынешней жизни еще одна «река» — Ольга. Река желаний и страстей, которые терзали меня и в эту ночь возлияний. Неужели у меня не будет больше любви? Простой любви, одинаковой на всех параллелях и меридианах? Неужели новые потоки не вынесут меня туда, где чувства не знают ни границ, ни языковых барьеров?!

Появился адвокат Перес, муж Мерседес. И опять вернулся к своей теме — бизнесу, снова заговорил о будущем Южной Америки.

— Вам полезно ближе узнать нашу страну, чтобы оценить наши возможности. Рано или поздно европейцы вынуждены будут подумать о своих инвестициях здесь, если их интересуют настоящие доходы. Ну, какую прибыль может дать капитал в Европе? Сколько остается инвеститору после того, как он заплатит все налоги? Три или четыре процента чистой прибыли. А в Южной Америке запросто можно получить десять-двенадцать процентов. К тому же акции постоянно растут. Тот, кто занимается коммерцией, знает, что у нас за год капитал можно удвоить! Вы, например, покупаете в новых районах города участки, а через пару месяцев, не прилагая никаких к тому усилий, получаете не менее шестидесяти процентов чистой прибыли. Помните: никаких усилий! Никаких хлопот! Так быстро растут цены на землю. Наши страны развиваются, и развиваются бурно. Неудержимо растет спрос. Любой промышленник, что бы он ни производил — будь то одежда, еда, дома, вещи необходимые и совершенно бесполезные,— может быть уверен в том, что найдет покупателя. У нас нет конкуренции, как это имеет место в индустриализированных странах. Зато для каждого — поле деятельности. И неограниченные возможности обогащения...

Бесконечный монолог, да еще в такой поздний час и в присутствии молодой и обаятельной женщины, начинал утомлять меня. Тем не менее я не осмеливался прервать адвоката. Видимо, мое скептическое отношение ко всему, о чем он говорил, довольно ясно чувствовалось, потому что Перес внезапно оборвал монолог и предложил разойтись спать. Правда, прежде он взял с меня обещание посетить в городе его контору, где с документальными материалами в руках намеревался продемонстрировать выгоду одного из задуманных им предприятий. Видимо, ему очень хотелось сделать меня своим компаньоном.

В ту ночь я никак не мог уснуть. Вновь и вновь возникал вопрос: а вдруг война затянется и мне придется еще какое-то время оставаться здесь, придется привыкать к этим людям, таким молодым для меня и столь оптимистически настроенным? Они представлялись мне какими-то экзотическими существами, схожими с окружающим тропическим пейзажем. Битвы, сражения, ход войны мало волновали их. Напротив, война, как сказал Перес, помогла им за год удвоить-утроить капиталы. Такие доходы разум европейского буржуа, каковым я и являлся, мог вообразить с трудом. Нет, не рискнул бы я решиться на подобные сделки хотя бы из чувства природной осторожности.

Странно, но сообщение, хотя и не подтвержденное, о вступлении в войну японской империи (что бог весть насколько и расширяло и затягивало конфликт) послужило в Эль Пинаре лишь одной из проходных тем. Как же мне выжить в таком напряжении, понять которое доступно немногим?! Что произойдет с нами, немецкими гражданами-эмигрантами, если страны Латинской Америки под нажимом Соединенных Штатов объявят войну державам «оси»? Что станет с нашими состояниями в Европе? Какова будет наша личная судьба?

Наверно, никто в ту ночь в Эль Пинаре не переживал столь горьких минут, какие пережил я. Над головами моих друзей не висел дамоклов меч. Начало войны между германским рейхом и страной, приютившей меня, в любую минуту могло превратить меня в «нежелательного иностранца». Но для остальных гостей Эль Пинара самой важной проблемой в тот момент было выяснение вопроса о том, останется ли Хаиме компаньоном Энрике, после того как «Элена зашла в отношениях с Энрике так далеко, как только можно зайти»!

...Я все не спал. Итак: смогу ли я стать одной из тех лиан, что, обвивая ствол дерева, срастаются с ним и сами становятся частью непроходимых тропических дебрей?..

II

Воскресный вечер прошел тихо. Из города приехали еще несколько приглашенных, в том числе некто Бетета с супругой — как выяснилось, это был находившийся в отпуске посол данной страны в Чили — и несколько молодых холостяков, которые намеревались покататься здесь верхом.

Утренние газеты не подтверждали известия о знаменательном событии, обсуждавшемся нами накануне, однако воспроизвели в подробностях слухи о нем из всех столиц мира. Около часа дня в Эль Пинар позвонил кто-то из друзей Мануэля и сообщил, что японский флот атаковал североамериканскую военно-морскую базу в Пирл-Харбор и что ввиду этого Соединенные Штаты практически находятся в состоянии войны с державами «оси».

Днем разговоры волей-неволей возвращались к этой вести — ведь существенно менялся весь ход войны. Каждый из гостей комментировал новость с точки зрения собственных интересов. Перес находил все новые доказательства для своих прогнозов о роли Латинской Америки в экономических перспективах ближайшего будущего. Бетета, который, как мне сказали, усиленно пытался провести в правительственных кругах какое-то соглашение с Чили, настаивал, что ныне это соглашение будет иметь решающее значение для страны; проект его состоял в обмене местного кофе на чилийские промышленные товары, хотя последние ни по качеству, ни по ценам не могли конкурировать с американскими. Посол говорил без умолку, свойственным ему особым, доверительным тоном, а губы его растягивала заученная улыбка, которая так шла ему. Жена смотрела на него с восхищением — гости, в свою очередь, с не меньшим восхищением смотрели на нее, обращая мое внимание на изящество ее манер, на ее элегантность, драгоценности.

— Исольда всегда производит потрясающее впечатление! — говорил мне Кастаньеда.— Она блистала бы при дворе любого европейского монарха. Истинная посланница нашей страны! Символ красоты и благородства наших женщин! Именно так отозвался о ней даже Сирано, светский репортер «Эль меркурио», когда увидел Исольду в Лиме.

— А муж? — спросил я.— Что собой представляет посол?

— Выдающаяся личность! — немедленно откликнулся Кастаньеда.— Свободно владеет четырьмя языками. Не жалеет собственное состояние, чтобы поддерживать престиж представляемой им страны. Недавно снял в Сантьяго здание бывшего немецкого посольства — настоящий дворец! Но содержание этого дворца обходится баснословно дорого. Зато Бетета принимает «сливки» чилийского общества. И в Сантьяго, и в Буэнос-Айресе все только и говорят о Бетете и его супруге — красавице Исольде. Супруги Бетета давно были бы нашими послами в Вашингтоне, если бы национальное правительство не поддалось давлению некоторых политиканов.

Между тем, устроившись у бассейна в саду, Бетета высказывал свои прогнозы насчет вступления США в войну:

— Я уже давно знал об этом и писал в наше министерство еще в прошлом году. Поверенный в делах Турции — кстати, мой большой друг — говорил мне в Сантьяго, что, видимо, в декабре японцы нападут на Пирл-Харбор.

— Так всегда! — воскликнул Кастаньеда.— Чинуши из министерства утонули в своих бумажках и забыли обо всем.

— Вы не представляете, что пришло в голову нашему министру, этому глупцу! — продолжал посол.— За день до моего отъезда сюда в посольстве была получена шифровка. Мне предлагалось переговорить с чилийским правительством — предложить ему выступить в едином блоке с другими латиноамериканскими странами против резолюций, которые могла бы принять какая-либо мирная конференция. Подумать только: сегодня говорить о мирных конференциях и резолюциях! Как можно надеяться, что русские или англичане посчитаются с этим, если мы не выступили рядом с ними. В какое глупое положение можно попасть, принимая подобные решения! Иначе как «тропикализмом» такие действия не назовешь. Нашим чиновникам следовало бы почаще выезжать за рубеж,— в негодовании закончил свою речь Бетета.

— А что ты думаешь о нашей экономике? — вмешался Кастаньеда. Он следил за разговором с пристальным вниманием, чутко улавливая все оттенки рассказа Бететы.

— Кто знает... Возможно, несколько упадет в цене кофе. Из-за действий подводных лодок перевозка кофе становится все более опасной. Возможно, на внутреннем рынке появится излишек кофе. Зато следует ожидать новых контрактов. Так уж и быть,— продолжал Бетета,— сообщу вам нечто сугубо конфиденциальное. Правительство дало разрешение на экспорт трехсот тысяч мешков кофе в обмен на промышленные товары и консервы. Однако пока нежелательно, чтобы этот шаг стал известен. Я говорю вам об этом по секрету, зная, что вы можете использовать кое-что в своих интересах. А вот тебе,— вдруг сказал посол, обращаясь к сеньору Кастаньеде,— тебе, видимо, будет интересно сообщение о том, что в страну предполагается ввезти большое количество сантехники.

— И ты думаешь, она упадет в цене? — спросил кто-то.

— Естественно. Так что если у тебя есть в запасе кое-что, продавай скорее. Но лишь меня не впутывай.

— С тех пор как я услышал о нападении японцев,— сказал Кастаньеда, глядя в упор на Бетету,— меня преследует мысль: какими американскими товарами можно было бы сделать сегодня на рынке «corner»[1]? И пришел к выводу, что в цене непременно должна подняться сталь. Ты согласен со мной?

---

[1] Слово, означающее «скупить, вызвав искусственный недостаток товаров», в рукописи написано по-английски. Мы предпочли оставить так, как у Б. К. *(Прим. авт.)*

— Вполне. Я бы немедленно занялся скупкой колючей проволоки.

— Завтра можно выяснить в банке возможность кредита. Я знаю, где можно купить проволоку, пока на нее не поднялась цена.

— А я бы вошел компаньоном при закупке железобетонных или строительных конструкций,— сказал Перес.

— Договорились,— немедля отозвался Кастаньеда.

— Сеньор К. не заинтересуется участием в этом дельце? — любезно обратился ко мне Перес.

...Опять сирена корысти своим сладким пением манила меня в глубины вод.

— Нет, сеньоры, я не могу этого сделать. Мои акции дают мне вполне приличный процент. К тому же у меня нет никакого опыта в купле-продаже строительных материалов.

— Ну при чем тут строительство? Речь идет лишь о том, чтобы скупить всю имеющуюся в городе сталь, а затем выпускать ее на рынок постепенно и по очень высокой цене.

— Нет, не могу. Кроме того, меня беспокоят последние новости. Впереди — разгром Германии. Он будет страшен, но он неминуем. Бог знает что может произойти с нами, немцами, проживающими на вашем континенте.

— С кем угодно, сеньор К., но только не с вами! — сразу же возразило мне несколько голосов.

— Я совершенно подавлен газетными сообщениями с фронтов. В войну втянуты два континента; неизвестно, сколько она продлится... Во всяком случае, глубоко признателен вам за предложение. Надеюсь, мой отказ вы не истолкуете как проявление недружелюбия. Через какое-то время, возможно, такие предложения начнут интересовать и меня, но сейчас я весь под впечатлением событий, которые могут трагически повлиять на мою судьбу.

— Через некоторое время уже может быть поздно,— заметил кто-то.

Разговор замер. Я ощутил на себе чей-то взгляд. Обернулся и увидел Мерседес.

— Не хотите ли прокатиться до соседней деревушки? Эти скучные разговоры не должны интересовать вас. Поехали!

Я не мог больше сдерживаться и ответил, надеясь, что она поймет всю горечь моего состояния:

— Разговоры эти меня интересуют, но я предпочитаю прогулку.

С нами поехали еще пять человек — мы собирались осмотреть в соседнем селении церковь колониальной эпохи. В машине я задал несколько вопросов, касающихся Бететы:

— Зачем он приехал? Видимо, на какие-то переговоры с членами правительства? Судя по всему, он — сильная пружина в дипломатическом мире. Не так ли?

Мерседес загадочно улыбалась, другие — тоже.

— Он приехал потому, что боится потерять пост! И все из-за своей болтливости. Ведь те секретные сведения, которые он благополучно сообщал нам сегодня, он сообщает каждому. Министр, конечно, вне себя! Подумывают отозвать Бетету из Сантьяго, поэтому он и поспешил приехать сюда с женой. Ему крайне важно, чтобы все здешнее общество говорило о том, что наша страна погибнет, если Чили лишится столь прекрасной женщины, как супруга нашего посла! Он намерен вынудить правительство оставить их в Сантьяго. Кроме того, у Бететы подготовлен еще один аргумент: он снял здание посольства на год вперед и платит за него бешеные деньги. Надо знать этого посла — он больше думает о том, что отъезд из Сантьяго

прервет обучение его детей в первоклассных колледжах! Своими доводами он сможет выиграть еще полгода, как раз до смены министра.

Мерседес не могла себе представить, насколько чуждо было мне то, о чем она рассказывала. Странный мир: легкий, не отягощенный заботами. Бесконечно далекий. Загадки его и привлекали и отталкивали меня, как всегда бывает, когда разум встречается с чем-то недоступным.

Машина шла по сельской дороге — в облаках пыли трудно было различить даже силуэты ив, склонившихся вдоль нее. Но зелень окрестных полей напомнила мне европейские долины в начале лета. Я испытывал настойчивое желание спросить у моих спутников: «Неужели вам не интересна жизнь окружающих вас людей? Вы слушаете сообщения о том, что в каком-то из европейских городов погибли при бомбардировке сто, двести, тысяча человек — и неужели в этот момент вы не мечтаете об окончании войны?!»

Но единственной мыслью, которую я осмелился высказать, и то вполголоса, было:

— Никого не волнуют безвестные жертвы...

— Что вы сказали? — спросила Мерседес.

— Никого не интересуют наши погибшие. Они ведь — ни знакомые, ни друзья...

— Действительно, не интересуют. Видимо, потому, что Германия слишком далека от нас. Другое дело, если бы гибли соотечественники. Каждый с ужасом читал бы в газетах сообщения о потерях, хотя имена жертв были незнакомы.

— Кто знает, быть может, вы утратили жалость и к землякам. Сотня-другая человек, погибших где-то в Европе, не волнует вас. А завтра десяток-другой погибших соотечественников тоже покажется вам пустяком, не заслуживающим внимания.

На безлюдной площади — когда-то, видимо, это селение считалось крупным — возвышалась каменная церковь. К ней мы и направились. Здание было почти разрушено, и я тщетно пытался обнаружить какие-либо архитектурные достопримечательности, которые оправдали бы восхищение моих друзей. Храм насчитывал лет сто пятьдесят — двести, но в этой стране отсчет времени совершенно иной, так что этот «возраст» означал то же, что для европейца — десять веков. Очевидно, лишь тот факт, что церковь принадлежала к колониальной эпохе, и заставлял моих спутников восхищаться ею, как исторической реликвией. Картины, украшения стен церкви, на мой взгляд, также были лишены какой-либо художественной ценности. Зато здесь царила своя особая атмосфера крестьянского смирения, искреннего и наивного, способного пробудить в душе самого яростного атеиста сотни мыслей о судьбе человека.

— На меня всегда очень действуют такие картины,— сказал я Мерседес, когда мы вышли на площадь.— Вы, конечно, не знаете, что я принадлежу к евангелистам. Моя мать готовила меня в священники. Не смейтесь! Это — чистая правда, хотя сегодня выглядит шуткой. До пятнадцати лет я вел жизнь анахорета... жизнь монаха-отшельника.

— Не учились ли вы, чего доброго, в семинарии?

— Нет, у нас не принято. Я сказал вам о жизни анахорета, чтобы вы вообразили, как я жил в родительском доме. Он был очень не похож на те, что знаете вы. Поэтому меня так интересуют католические церкви. Эти картины... В храмах, куда водила меня мать, не было никакого убранства. Только над алтарем возвышался одинокий и мрачный Христос. Его руки были скрещены на груди, а не

раскрыты для объятия, напоминая нам, что бог не бесконечно милостив, как его представляют католики.

— Церковь может быть строгой по убранству, но почему бы в ней не быть картинам хороших художников, распятиям, статуям? Ведь такие картины, как восхождение на Голгофу, сцены из жития святых и совершенных ими чудесах, просто необходимы. Они лишь усиливают чувство веры,— возразила мне Мерседес.

— Но не у нас. Именно за это попрекали в моем доме католическую церковь — за стремление сделать бога более человечным. Если бы вы побывали в протестантской церкви — голые, холодные стены! Я пел там церковные гимны, будучи совсем еще ребенком. А вот увиденное нами здесь изображение праведника и грешника не только не могло украшать нашу церковь, но нам бы даже запретили смотреть на такую картину! Это ведь профанация веры!

— Даже из любопытства вы никогда не заходили в католические храмы?

— Любопытство, когда речь идет о боге? Как можно?! Но давайте, Мерседес, поговорим о чем-либо другом. От моих слов у вас, видимо, такое ощущение, будто вам рассказывают о нравах крестоносцев.

— Нет, нет, мне очень интересно.

Неужели Мерседес интересовал мой мир? Но ведь и меня все больше привлекал тот, в котором жила она.

— Я познакомился с католическим богослужением во Франции, уже будучи взрослым, после смерти матери. Мы испытывали неподдельный ужас перед «папизмом», как говорили в нашей семье. Атласные облачения, украшенные шитьем и золотом, многокрасочные картины, запах ладана... Все это выглядело кощунственно для моих родителей, по духу пуритан....

— Но семья К., проживающая здесь, ведь не принадлежит к лютеранам, не так ли?

— Не принадлежит. Все они — католики, так как римская церковь и от смешанных браков требует воспитания детей в лоне католицизма. Жена моего дяди Самуэля была католичкой, поэтому и все мои кузены — католики. Кстати, тоже неслыханно: католическая ветвь в семействе К.! Трудно представить себе, каким был мой кузен Фриц К., когда он приехал во Франкфурт. Дядюшка Самуэль отправил его изучать немецкий язык. Фриц жил в нашем доме.

— Фриц К.? Управляющий фирмы «Сентраль»?

— Он самый.

— Я его почти не знаю. Он намного старше мужа и всех нас. И вообще, он такой странный, слишком нервозный.

— Если бы вы знали его в молодости! Он был первым, кто посвятил меня в суть католицизма. Фриц был веселым, беззаботным юношей.

— Говорят, теперь он стал угрюмым, замкнутым.

— Я это знаю.

— А прежде он не был таким?

— Нет. Я до сих пор не понимаю, как моя мать дала согласие на то, чтобы он жил у нас во Франкфурте. Фриц то и дело выходил победителем в борьбе против предрассудков, гнездившихся в нашем доме. Однажды я попытался найти в семейных архивах какие-либо бумаги, которые бы свидетельствовали о том, как отнеслись мои родители к браку дядюшки Самуэля и женщины индейского происхождения, да еще католички, а именно такой и была тетя Эстер. Однако мне ничего не удалось обнаружить. Родители всегда отзывались об этой женщине с уважением, хотя для них явилось ударом то, что

брат связал себя с римской церковью, к которой прежде испытывал непобедимую неприязнь.

— Наверно, любопытно почитать семейную переписку вековой или полувековой давности?

— Конечно. Но в прошлом веке, тем более в таких строгих буржуазных семействах, как наше, стиль переписки был полон условностей. Мать, например, скрывала свои чувства под маской полнейшего бесстрастия. В ту эпоху это было так же принято, как сейчас — демонстрировать все свои эмоции. Я помню, что мать ни разу не возмущалась поведением Фрица, и снова и снова восхищаюсь выдержкой этой женщины. Можете себе представить: в нашем доме молодой человек, наполовину латиноамериканец, к тому же — католик! Изощренный, изысканный, как тропический цветок! Не отягощенный никакими условностями и предрассудками, столь свойственными нам. Фрицу едва исполнилось семнадцать лет ко времени его приезда во Франкфурт, а он уже познал женщин. Играл в карты, выпивал, гулял допоздна. Я на несколько месяцев старше его, но жил в постоянном страхе. Боялся ослушаться, возразить, нарушить то, что у нас дома называли «хорошими манерами». Фриц понятия не имел о каких-то там манерах. Однажды он стал паясничать в шляпе деда, нашей семейной реликвии, а мы не рискнули и улыбнуться...

Я говорил и говорил. Мне хотелось выговориться, дать понять Мерседес, что я — тоже человек и что разница между миром моим и ее для меня не новость.

— У Фрица никогда не было никаких обязанностей. Для него не существовало понятия «пунктуальность», а для нас она была законом. Как важно было вовремя поспеть к обеду! Мы мчались домой, несмотря ни на какие препятствия, чтобы не опоздать ни на минуту! А Фрицу было все едино: придет ли к обеду в час или в час тридцать! Поспеет ли к девяти часам вечера, когда все в доме удалялись на покой, или нет. Надо знать наши семьи, чтобы понять: такие нарушения считались у немцев чуть ли не подрывом жизненных основ. Мой отец, дяди, деды — поколения К. выходили из своих контор в одно раз и навсегда установленное время. Причем с той точностью, с какой появляются на Вормсском соборе двенадцать апостолов — при первом ударе часов! Мать, естественно, выходила из себя, что семнадцатилетний мальчишка заставлял ее ждать, но никогда не подавала вида, что она чем-то недовольна.

— Все это так не похоже на Фрица, которого мы знаем здесь,— заметила Мерседес.

— Да, он очень изменился. Он прожил у нас во Франкфурте более трех лет, это было презабавным временем. Мы все очень привязались к нему. А потом он оказался единственным членом нашей семьи, осевшим здесь. Поэтому ему и было передано право представлять акции фирмы «Сентраль». Нам, и только нам, он обязан своим постом управляющего столь огромного предприятия. Но надо признать, что обязанности свои он всегда выполнял и выполняет прекрасно. Для меня не имеет значения, что он превратился в хмурого и скучного человека. Я все еще берегу воспоминания о нашей молодости, о том, чему он тогда учил меня.

Наступило время возвращаться в Эль Пинар. В автомобиле, как если бы мы по-прежнему оставались вдвоем, Мерседес лукаво спросила меня:

— Учил хорошему или плохому?

— И тому, и другому. Мы были с ним большими друзьями, он во многом помог мне разобраться. Да и сейчас Фриц продолжает опекать меня. Я всегда прибегаю к его помощи, звоню ему по телефону,

советуюсь, если меня что-то или кто-то интересует. И если необходимо купить по нормальной цене что-либо из того, чего нет на рынке.

— Следовательно, завтра вы будете спрашивать Фрица обо мне? — прервала меня Мерседес, как бы желая положить конец наскучившим ей моим воспоминаниям.

«Будете спрашивать»... Конечно буду! И еще как подробно!

...Перед тем как корабль отправляется в плавание, на причалах рубят привязывающие его к берегу канаты. Таким кораблем был я. Но в открытое море я пускался без компаса. Маяки сказочных островов меня призывали. А что ожидало меня? Какие сокровища и какие опасности таили для меня новые моря?

Мы вернулись в поместье и сразу же услышали приветственные возгласы тех, кто оставался послушать Бетету. Я не успел ничего ответить Мерседес.

III

— Есть возможность оптом закупить тысячу тонн строительного железа по шестьсот песо за тонну. На рынке в розницу его цена — шестьсот двадцать! Принимайте участие. Еще есть время,— предложил мне Перес по телефону.

— Большое спасибо. Я уже объяснял — пока не могу.

События во всем мире, и в частности в этой стране, за последние несколько дней развивались с пугающей быстротой. Соединенные Штаты уже находились в состоянии войны с Германией, Италией и Японией. Сингапур, блокированный японцами, был накануне падения, после того как японская авиация затопила два лучших британских линкора. Филиппины по сути были почти потеряны для союзников. Но Переса и его друзей интересовало только одно: рост цен на железо!

Невероятные слухи ползли по городу о том, какая судьба ждет подданных держав «оси» в том случае, если эта страна выступит на стороне союзников. Некоторые из моих соотечественников утверждали, что нас должны будут заключить в концентрационный лагерь, находящийся где-то в горах, в самом центре страны. Сведения эти были получены якобы из достоверных источников. Кое-кто предполагал, что нас выдадут североамериканскому правительству по соглашению, которое вот-вот должно быть подписано. Наиболее оптимистически настроенные считали, что нас обменяют на граждан латиноамериканских стран, которых война застала на вражеской территории. Во всяком случае в моей жизни вновь наступал период неуверенности, как это было накануне моего выезда из Германии. Среди перспектив, открывавшихся передо мной, была печальная возможность стать пленником нацистов, если вдруг встанет вопрос об обмене. Особенно обидно, что все это происходило в те дни, когда гитлеровцы терпели поражения в России.

Как можно было в подобной ситуации задумываться над торговыми сделками?! Зачем влезать в финансовые авантюры, когда собственная свобода поставлена на карту?

Я вновь решил прибегнуть к помощи Фрица. Он занимал видное положение в финансовых кругах, имел широкие связи в обществе, так что в вопросах внутренней и внешней политики этой страны должен был разбираться лучше моих соотечественников.

В то утро в ожидании беседы с Фрицем я рассматривал огромную картину маслом, украшавшую его приемную. На полотне был изображен мой дядюшка Самуэль, отец Фрица, уже убеленный седи-

нами. Я отметил, что сын очень похож на отца, и подумал также о том, что годы сделали Фрица очень важным. Юношеский пыл, свойственный Фрицу в годы пребывания во Франкфурте, заменила несколько напыщенная суровость, что я всегда считал характерной чертой немецкой ветви семьи К.

В кабинете Фрица хлопали двери: входили и выходили секретарши, чиновники, бухгалтеры, агенты по рекламе. Я чувствовал себя как в приемной зубного врача, где люди убивают время, рассматривая друг друга.

— Что скажет Король Эльфов? — Фриц обратился ко мне со всей сердечностью и даже вспомнил дружеское прозвище дней нашей юности.

— И ничего, и многое. Я завязал несколько новых знакомств в поместье Эль Пинар, где провел конец недели. Познакомился с дипломатом Бететой, у него необыкновенно элегантная жена. И с неким миллионером по фамилии Кастаньеда, и с очаровательной личностью по имени Мерседес де Перес, прекрасной собеседницей. Если бы не международные осложнения, то я сказал бы, что наконец почувствовал себя хорошо!

Фрица заботило одно, только одно: его состояние. Вернее, приумножение состояния. Непонятно, как можно было думать об этом в то время, когда на все человечество опускалась зловещая ночь и когда страдания уравняли всех.

— Мануэль — человек из добропорядочных...— Фриц так и сказал, прибегнув к выражению, столь распространенному в Ла Кабрере.— Это люди известные и всеми уважаемые. Поместье принадлежит им почти целое столетие, что в мире нуворишей — явление редкостное. Асьенды постепенно переходят в руки приезжих провинциалов.

Какое значение имели для меня смена владельцев земель и поместий? Странно, что Фриц придавал этому обстоятельству особое значение.

— Когда провинциал, разбогатев, переезжает в столицу, то первое, что ему положено сделать,— это купить загородное поместье. Асьенда — безошибочный признак его социального и финансового превосходства над остальными. Дети, обычно менее ловкие и трудолюбивые, отдают землю под плантации. А третье поколение — это просто «порядочные» — вынуждено продавать свои поместья коммерсантам или только что разбогатевшим политиканам. Таков неписаный закон, а существует он с момента провозглашения республики.

Я уже начал уставать от этой светской болтовни, но Фриц продолжал поучать меня:

— Купить загородное поместье в тридцати минутах езды от города — все равно что приобрести у папы римского титул аристократа. Вся жизнь и деятельность «новичков» проходит в старинных особняках, проданных пришедшими в упадок семьями. Как если бы в Европе вместе со старинным замком продавалось и общественное положение его бывших хозяев. Редки, очень редки случаи, когда поместье остается в руках третьего поколения, как, скажем, Эль Пинар. Пожалуй, лишь мои кузены Каррисосы и твой друг Мануэль могут гордиться, что они владеют асьендами своих прадедов.

Смолоду Фрицу была присуща мещанская манера делить свои связи на «высшие» и «низшие». При этом на вершине, разумеется, находились те, кто был связан с ним родственными узами, как, например, Каррисосы, родственники по линии тети Эстер. Наше немецкое семейство, столь уважаемое во Франкфурте, для Фрица не составляло источника гордости. Здесь нас никто не знал: ведь мы не

имели поместья за городом! А тот факт, что наше семейство было одним из первых акционеров и создателей фирмы «Сентраль», в расчет не шел. Факт был слишком прозаичным, к тому же его нельзя было ни увидеть, ни пощупать.

Фриц мне ничего не говорил, но я все отчетливее ощущал, что его начинал раздражать родственник — эмигрант из Германии. Вот если бы у меня оставалась лачуга в окрестностях Лондона! Только она могла бы уравнять меня с хозяевами колониальных «замков» в Андских горах — асьенд, у которых так часто меняются владельцы!

Фриц продолжал разглагольствовать, одновременно управляя суетой секретарей и клерков. Теперь он разъяснял мне, кто из его соотечественников относился к «добропорядочным» и кто — нет. Я слушал эти несколько наивные рассуждения со смесью любопытства и скептицизма. Вот так исследователь останавливается на минуту, чтобы рассмотреть занятное растение в зарослях сельвы.

— А кто такие супруги Перес? — задал я вопрос, воспользовавшись минутной передышкой.

— Я мало знаком с Пересом. Мы только раскланиваемся. Знаю только, что он из хорошей семьи, но тоже из тех, кто переехал в столицу из провинции. По-видимому, человек тщеславный. Увлекался политикой, был тенью одного из лидеров левых сил. Потом занимал дипломатические посты, что позволило ему посмотреть мир. Когда-нибудь станет министром внутренних дел, сенатором, крупным финансистом.

— Насколько я знаком с ним, мне кажется, он не стремится ни в политики, ни в дипломаты. Его интересуют только деньги.

— Закономерно. Я же говорил, что он очень тщеславен.

— Видимо, здесь, как в свое время на Балканах, никто не осмеливается стать так называемым «политиком», если он не богат,— сказал я.— Во Франции и в Англии быть политиком — достойнейшая профессия. А вот в давние времена в тех же Сербии и в Румынии, как я говорил, каждый стремился выдать себя за журналиста, адвоката, профессора. Невозможно представить, что состоятельный человек в Англии или в Германии может заявить, что он — человек непрактичный, только потому, что сначала сколотил капитал, а уж потом стал министром.

— Здесь дела обстоят иначе. Я считаю, что для прогресса этой страны необходимо иметь правителей с опытом в области коммерции. Кастаньеда, получивший образование в Соединенных Штатах, со временем непременно станет министром или даже президентом. Очень толковый человек. С такими, как он, можно достигнуть уровня развития Канады или Аргентины.

— Скажи мне, Фриц,— прервал я его,— меня поражает одно обстоятельство, о котором я не решаюсь спросить у посторонних. Я так часто слышу от частных лиц, читаю в газетах одно и то же — о стремлении походить на любую другую страну. «Стать, как Аргентина, как Бельгия, как Швеция»... А почему бы не остаться тем, что вы есть на самом деле: самими собой? Я наблюдал подобное стремление «выбиться», «сравняться» и на Балканах. Когда в Румынии строилось новое здание, то его прежде всего сравнивали с каким-то зданием в Лондоне или Берлине.

— Как мы можем «остаться самими собой», если в этой стране нет ничего?! Где культура? Где традиции? Здесь нет основ для того, чтобы «оставаться собой», как ты выражаешься. В чем страна нуждается, так это в грандиозном вливании «белой крови». Нужны им эмигранты — и многие. Из Европы.

— Меня удивляет и угнетает твое мнение о соотечественниках,— заметил я.

Весь вид Фрица выражал упрек в мой адрес. Я опять вспомнил о странностях его характера, о которых мне уже говорили, но я их не наблюдал до последнего времени. Правда, я слышал сотни рассказов о его жизни, но не считал их достаточно правдоподобными и они не могли уменьшить моего уважения к нему. Передавали, положим, что Фриц ежедневно поднимается на рассвете и сам чистит коллекцию своих ботинок, тогда как слуга читает ему утренние газеты. Страстью Фрица были часы с боем. В доме их насчитывалось одиннадцать, и Фриц заводил часы так, чтобы они били одновременно и он мог бы наслаждаться этими звуками в любой комнате, где находился в тот момент. Говорили, что в саду загородного дома он установил сложную систему электросигналов, чтобы не могли похитить его сына — как сына знаменитого Линдберга. Но ни одна из этих странностей не могла повлиять на нашу дружбу, разрушить ее.

Мне захотелось поглубже заглянуть в душу Фрица, прорвать его напыщенность и серьезность, пробиться сквозь толщу его «добропорядочности».

— А помнишь, Фриц, как в молодые годы ты прекрасно справлялся с тем, что теперь называешь «вливанием белой европейской крови»... Еще до приезда в Германию ты был опытным ветераном, специалистом и, наверно, здесь приумножил население... Ведь это ты научил меня заговаривать с женщинами в кафе, делать им комплименты, а потом назначать свидания на углах, пользующихся скандальной славой. И если бы не ты, так кто знает, сколько еще времени я не смог бы расстаться со своей невинностью! Нас ведь воспитывали в такой строгости...

Как бы вызвать его на откровенность?

— Тебе даже нравилось смущать меня рассказами о неприличных болезнях, которыми, скорее всего, ты и не думал болеть. Возможно, ты сейчас изменился, но я помню тебя таким, каким ты был в те годы.

Фриц снова в упор уставился на меня. Лицо его было серьезно и бесстрастно, что также можно было принять за упрек в мой адрес. Сменив тему разговора, я попросил:

— Скажи мне, что собой представляет Мерседес, жена Переса?

— Она из семьи, которую я очень мало знаю. Сама долго жила за границей. Родители ведут почти богемный образ жизни, мнение окружающих их не интересует, и общаются они только с артистами, журналистами, политиканами-экстремистами. Говорят, в этом доме мужья, которым осточертели собственные жены, идут развлекаться с женами, которым надоели, в свою очередь, их мужья. Дом Мерседес славится чрезмерно свободным образом мысли. Приглашенные отпускают рискованные шутки, бахвалятся своей антирелигиозностью и много пьют. Думаю, что они — единственная семья атеистов в стране. Насколько мне известно, ни один из детей не крещен, не приведен к первому причастию, не венчался в церкви, как здесь принято среди людей «добропорядочных».

— Значит, они — не «добропорядочные»? — поймал я его.

— Нет, отчего же — «добропорядочные». Но семья Переса решительно выступала против его брака с Мерседес, несмотря на то что с финансовой стороны женитьба эта была для него выгодной. Ведь никогда не знаешь, как может поступить не верующий в бога человек. И тем не менее ничего плохого о Мерседес я не слышал; она богата, очень богата.

Слово «деньги» все время мелькали в разговоре Фрица. Я не удержался от соблазна спросить его о возможности продажи части моих акций фирмы «Сентраль». И не столько ради выгоды, сколько ради того, чтобы чем-то заняться в течение дня. Робко, как бы предчувствуя надвигающуюся грозу, я начал:

— Перес говорил мне, что здесь капиталы приносят до пятидесяти процентов дохода, но это если владеешь наличным капиталом, а не держишь его в акциях. Перес собирается пригласить меня в дело. Он много говорил мне о возможностях, открывающихся в связи с вступлением Соединенных Штатов в войну. Я доволен своей рентой, ее вполне достаточно. В другие времена мое состояние было гораздо большим, и тогда я также вел жизнь скромную, без излишеств. Но меня мучают угрызения совести: ведь я превратился в бездельника. Живу, ничего не делая. А ведь, продав часть акций «Сентраль», я мог бы вступить в какое-нибудь предприятие.

...В сельве среди растительных чудовищ тропической флоры есть растение прингамоса: вполне безобидное на вид, оно обжигает кожу человека.

Если бы я оскорбил Фрица, он и то не реагировал бы так бурно, как сейчас, услышав мои слова. Продажа мной акций табачной фирмы грозила Фрицу серьезными осложнениями. Им овладел страх — он уже видел свою власть пошатнувшейся. В его акционерное общество вступят новые партнеры — конкуренты, претенденты на пост управляющего. А может быть, им руководило простое тщеславие — ведь тогда он не сможет считать это предприятие своей собственностью? Запинаясь, чуть не теряя рассудок, Фриц обрушился на меня:

— Ты! Ты! Продать акции, которые мы сумели сберечь даже в самые трудные для нас времена! Пустить на ветер созданное моим отцом?! И только потому, что какой-то болтун сумел внушить тебе мысль, что ты можешь больше разбогатеть на темной сделке, придуманной им, а не на том, что нам оставили наши родители! Я помог тебе выбраться из Германии! Преодолел тысячу трудностей! И первое, что тебе здесь приходит в голову,— это бросить меня, изменить мне! И все из-за нескольких лишних грошей! В таком случае нам не о чем больше говорить! Мне незачем давать тебе советы! А тебе их выслушивать. Хочешь получить свои акции — ты их получишь! Но больше на меня ни в чем не рассчитывай. Можешь поставить меня перед фактом, а я сумею защититься!

Для меня семейные отношения всегда представлялись сложной областью, где могли возникать всякого рода неожиданности. Мы выросли, твердо усвоив, что отец щедро помог дядюшке Самуэлю и тот сумел встать на ноги и завести в Америке свое дело. При этом отец не рассчитывал на какие-то дополнительные доходы, им руководило лишь стремление помочь брату. К тому же подобное предприятие, как я упоминал, в те времена было сопряжено с громадным риском. Годы спустя я с удивлением обнаружил, что Фриц убежден в обратном — а именно, часть семейства К., выехавшая в Америку, по его представлению, пятьдесят лет жертвовала собой во имя нашего благополучия. Таким образом, не было ничего удивительного, что Фриц упрекал меня в неблагодарности: я посмел допустить мысль об отделении от предприятия, взлелеянного им.

— Дело не в том, что продажей акций я задумал увеличить свои доходы. Это — дело второстепенное. Естественно, я и не подумаю продать акции кому-то чужому, если именно это тебя беспокоит. Я продам их только тебе, если это тебя устраивает. Единственно, чего я хочу, чтобы ты понял причину, заставляющую меня идти на это. Я давно излечился от желания просто «делать деньги». Теперь мне

известно, с какой быстротой исчезает состояние, создаваемое годами. Правда, в евангелии говорится, что легче верблюда провести через игольное ушко, чем богатому войти в царство божие!

Наступило долгое молчание. Я терялся в догадках, что еще может последовать за моими словами. Наконец Фриц произнес:

— Скажу тебе откровенно: ты смешон со своими библейскими притчами. Пожалуй, полвека назад во Франкфурте кто-то мог всерьез воспринимать твои проповеди. А ныне — годы новой мировой войны. И мы находимся в Южной Америке. И только старики, ханжи и безумные изъясняются так, как ты. Если тебе действительно нечем заняться, прими участие в учреждении университета «Атлантида». Предстоит много работы.

— Что же это за университет? — спросил я без всякого интереса, опасаясь очередного сюрприза, которыми меня то и дело одаривал здешний мир.

— Ты не знаешь? Университет создается членами клуба «Атлантик» для молодежи из «добропорядочных». Идея принадлежит Эрнану Куэрво, филологу, влюбленному в Германию, где в свое время он учился, а вернувшись на родину, решил создать университет типа Гейдельбергского, Оксфордского, Кембриджского, Гарвардского... В общем, чтобы университет не был похож ни на официальные учебные заведения, ни на колледжи иезуитов, где изучают лишь ту или иную политику...

— В стране, наверно, существуют старинные колледжи, еще колониальной эпохи,— им подходило бы заниматься осуществлением этого плана. К тому же местные учебные заведения, должно быть, имеют интереснейшую историю — участие в борьбе за независимость...

— В их стенах учились кое-кто из героев борьбы за независимость. Но сейчас речь идет о совершенно ином типе университета. Его будут содержать крупнейшие промышленники страны и аристократические клубы. Это должно быть первоклассное учебное заведение, где будут заниматься отнюдь не политикой... Это будет нечто исключительное. Мы уже думали, что ректором должен быть Кастаньеда, хотя ему для этого явно недостает культуры, но руководить университетом — прежде всего это вопрос экономики, а Кастаньеда — крупнейший акционер преуспевающих фирм. Для начала в университете будут открыты факультеты торгового флота, аграрный и промышленный. А затем — архитектуры. Что ты думаешь обо всем этом?

— Мне кажется, что факультеты слишком несовместимы. Почему не открыть инженерно-строительный, юридический и медицинский? По-моему, именно с этого начинают все университеты мира.

— Ты прав, но это слишком дорого. У нас есть друзья в деловых влиятельных фирмах, они смогут возглавить названные мною факультеты — и безвозмездно. К тому же будут сами субсидировать — и в немалых размерах — наше учебное заведение.

— И мне дадут кафедру? — прервал я Фрица. Однако он, видимо, решил, что я шучу, и снова вышел из себя, заговорил о моем намерении продать акции «Сентраль» и моей сделке с Пересом. Продолжать этот разговор мне было неприятно — я поспешил сменить тему. Пытаясь быть любезным, я напомнил, что в ближайшие дни исполняется очередная годовщина со дня смерти тетушки Эстер. (Я не забыл, поскольку телеграмма о ее смерти была получена еще во время моего отпуска в Церматте вместе с Линдингом и Монжеласом.)

— Да, пятнадцатого числа,— отозвался Фриц.— Какая у тебя память!

...Жизнь моя здесь по-прежнему лишена определенной цели, никаких срочных дел нет — и потому я решил соблюсти ритуал, совершаемый по средам: отправился в парикмахерский салон отеля «Прадо», находившийся в нескольких кварталах от конторы Фрица.

IV

Моим скромным познаниям испанского языка я обязан маникюрше Ольге из салона «Прадо» и секретарю адвоката Переса — Инес. Основы грамматики, которые мне ежедневно втолковывал профессор Аррубла со дня моего приезда сюда, я применял в беседах с этими двумя женщинами. Обе они принадлежали к так называемому среднему классу; обе веселые и непринужденно державшие себя, они, в отличие от дам из Ла Кабреры, не проявляли пренебрежения к родному языку.

Богатый и звучный испанский язык, как я считал, должен был бы служить предметом национальной гордости. Но, к несчастью, все оказалось далеко не так. Я уже упоминал, что те из местных жителей, кто выезжал за границу, а преимущественно это были люди из привилегированных слоев, считали испанский язык чуть ли не наречием плебеев, на котором можно общаться лишь с существами низшими. В гостиных местной знати я как будто переживал сцены романа «Война и мир» Толстого — вот так же гордилось своим французским образованием великосветское общество Санкт-Петербурга и, несмотря на вторжение Наполеона, продолжало игнорировать русский язык.

С Ольгой я практиковался в испанском с первых же недель моего пребывания здесь. Она, видимо, считала, что ее профессия заключалась в том, чтобы развлекать клиентов, делать им приятное. А так как я не скупился на чаевые, она старалась занять меня разговорами, и как можно дольше.

Я не торопясь входил в холл отеля «Прадо», медленно шел к гардеробу, оставлял плащ, шляпу, трость. Меня любезно приветствовал мой парикмахер и тут же предлагал узнать, на месте ли сеньорита. Вскоре появлялась Ольга. На ней всегда был белый халатик с короткими рукавами. Она встречала меня восклицанием, широко принятым в этой стране, но отсутствующим в словаре, которое поначалу мне казалось сугубо фамильярным:

— Так что, сеньор К.? Ну, как?

Я отвечал с довольно глупым видом:

— Что — «что»? Что — «как»? Где?

— Что нового в вашей жизни?

В конце концов профессор Аррубла растолковал мне это условное восклицание, которое означало дружеское приветствие и вместе с тем не означало ничего.

«Так что»? Что могло быть в моей жизни интересного для Ольги? Акции табачной фабрики? Воспоминания о Германии? Все это столь далеко от нее.

Ольга была очень хороша. Чуть ли не северная красота, столь редко встречаемая в этих широтах: светлые глаза, русые волосы. Ей нельзя было дать и двадцати пяти лет. Кожа лица и рук Ольги была удивительной белизны, иногда мне казалось, что на ее запястьях проглядывали синяки, происхождение которых оставалось для меня загадкой. Они могли быть следами и мужских побоев, и мужских ласк.

Когда Ольга поднималась и шла по салону в поисках воды, щипчиков или других принадлежностей, мне казалось, что она сознает, какие бурные желания вызывает ее тело у присутствующих клиентов. Покачивание бедер было зовом, брошенным тем, кто пожирал ее взглядами. В чем-то она походила на Исольду, супругу дипломата Бететы. Но бурная светская жизнь лишила последнюю девичьего очарования и свежести, которая так привлекает в молодых женщинах и которая отличала Ольгу.

Около часа мы мирно беседовали с ней, в то время как она занималась моими руками. Мы говорили о ее работе, домашних заботах, других, не менее важных делах. Ольга никогда не училась в швейцарских колледжах, не бывала в Соединенных Штатах Америки. Не имела никакого представления о лыжах, а игру в гольф называла «игрой в мячик» (к тому же ей пришлось наблюдать за этой игрой на большом расстоянии). Ольга с жаром говорила о том, как живут богатые люди, и за ее словами проглядывала ее собственная бедность. Она прекрасно сознавала свое положение, как и то, что клиенты, жаждавшие поближе познакомиться с ней, считали любую фамильярность по отношению к маленькой маникюрше своим правом. Когда Ольга рассказывала обо всем этом, она представлялась мне монахиней, поверяющей духовнику свои душевные испытания.

У Ольги был приятный звонкий голос, она отличалась природным умом, помогавшим ей без всяких усилий скрывать свое невежество. Причем делала она это всегда с пылкостью необъезженной лошади.

Нередко я думал над тем, что страну, которую я стремился узнать и полюбил, которую уже считал своей второй родиной, скорее представляет такой вот тип женщин, как Ольга и Инес. Сердечные и открытые, как резко отличались они от посетительниц великосветских салонов и знакомых Фрица! Последние были заняты постоянными мелочными склоками, надуманными заботами, пустым соперничеством, но чаще они с тоской обменивались воспоминаниями о немногих прожитых за границей годах.

По мере того как я ближе узнавал и Ольгу и Инес, передо мной открывался еще один мир. То был мир материальных тягот и лишений, тяжелый и грозный. Но во время работы я не видел этих женщин удрученными, обе они были живым воплощением оптимизма, уверенности и независимости.

Первые подарки на пасху я всегда покупал для Ольги и Инес: они были так терпеливы со мною! Обе они даже заставили меня поверить в то, что им приятно мое общество. Это случилось с той минуты, когда перед ними появился чопорный и несколько смешной немецкий буржуа, который никак не мог отделаться от своей церемонности. Привлеченный их сердечностью, немало часов я провел в кабинетике секретаря Переса и в кресле салона «Прадо», заставляя моих собеседниц выслушивать немыслимую смесь испанских, румынских и французских слов.

Ольга и Инес, как мне казалось, были воспитаны, точно протестантки, у которых легкомыслие считается великим грехом. Обе они идеально выполняли свои обязанности, и я полагаю, что благополучие хозяев, у которых работали эти женщины, в немалой степени зависело от старательности последних.

Позднее в моей жизни наступил момент, когда люди, которых я считал своими друзьями и которым доверял, стали избегать моего общества. И только Инес и Ольга не изменили своего отношения ко мне, оставаясь по-прежнему сердечными и душевными. Им были

чужды и политические интриги, и материальная зависть. Им не были известны ловушки, которые уже затягивали меня в свои шестерни.

Целительным бальзамом служили мне слова этих женщин в дни, когда, казалось, земля уходила у меня из-под ног. Произошло то, чего я никак не мог предвидеть. Удар пришел оттуда, откуда я мог меньше всего его ждать,— из Ла Кабреры.

Предательство неотделимо от слежки. Никто не был уверенным в том, что его личные разговоры не станут достоянием политических кругов. Частные дома, клубы, рестораны кишели доносчиками, которые, пользуясь дружескими связями, «выявляли врагов». Случаи предательства были многочисленными. Но я не помню такого, чтобы какая-либо из машинисток выдала секрет фирмы, где она работала. Бедные и «устроенные», тщеславные и скромные, хорошенькие и некрасивые — ни одна из них не предала ни за какие блага доверие, оказанное ей людьми.

Я как сейчас вижу Ольгу. Она как-то по-особому подбиралась, когда в парикмахерскую входил молодой сотрудник посольства Соединенных Штатов по фамилии Мьюир, сразу становилась высокомерной и надменной. А ведь перед американцем этим заискивал каждый. Еще бы! Всем известно, что Мьюир связан с разведывательным отделом посольства, который составлял так называемые «черные списки». Все — от швейцаров и до владельца модного салона — склоняли головы перед всемогуществом мистера Мьюира, как если бы речь шла о благодетеле-миссионере, принесшем слово божие в дебри Африки. «Мистер Мьюир, пожалуйте сюда!», «Мистер Мьюир, будьте добры!», «Мистер Мьюир, пожалуйста, присядьте!», «Мистер Мьюир, прошу вас, встаньте!»

Ольга — единственный человек, интересовавший лично Мьюира,— в наших разговорах называла его не иначе, как «гринго». Она не придавала никакого значения ни тому, сколь важная персона находится перед ней, ни тому, что эта персона может решать судьбы таких людей, как я. По ее словам, ей приходилось чуть ли не каждый день выслушивать предложения Мьюира прокатиться в автомобиле или выпить у него дома рюмку коньяку. И Ольга отказывалась. Просто так, без всяких объяснений. Думаю, что любая дама высшего света, тем более немка или итальянка, искала бы сотни дипломатических предлогов, чтобы заполучить подобное приглашение Мьюира, чтобы не впасть у него в немилость.

«Черные списки» ничего не означали ни для Ольги, ни для других женщин ее положения. Тем более что Мьюир и все его правительство в данном случае были бессильны. Тот факт, что капиталисты бывших колоний сегодня в ожидании благ склонились перед новыми метрополиями, никоим образом не касался этих женщин. Они не желали стать игрушкой таких типов, как мистер Мьюир. Положение Ольги было слишком скромным, чтобы ей могли повредить решения вашингтонского правительства. Какое счастье, что у нее не было ни брата, ни мужа, ни сына, связанных с коммерцией! Тогда бы она не смогла называть мистера Мьюира «гринго», не кивала бы ему пренебрежительно вместо приветствия. Все было бы по-иному, если бы ее судьба, как и судьба многих, зависела от настроения этого чистюли, вчера еще почти мальчишки, который сегодня чувствовал себя хозяином мира. Вообще-то он должен был бы сражаться рядом со сверстниками в кампаниях на Тихом океане или в Европе. Но любвеобильная мамаша мистера Мьюира добилась того, что ее сынку был предоставлен прекрасный дипломатический пост: молодой человек вел активное расследование деятельности «пятой колонны» в Южной Америке. На деле же было не так. Сколько зла

совершил от имени Соединенных Штатов Америки этот «гринго», о котором все в городе — кроме, естественно, сотрудников американского посольства — были того же мнения, что и Ольга!

Ольга буквально уничтожала этого хлыща своим пренебрежением, когда он пытался заигрывать с ней, а я испытывал отеческое удовлетворение (а может, тайную радость влюбленного?). Ее взгляд будто испепелял Мьюира всякий раз, когда, кладя чаевые в кармашек Ольги, он пытался коснуться рукой ее груди.

Много месяцев спустя я увидел и другое. Пожилые, всеми уважаемые люди терпели наглые выходки Мьюира, словно от необходимости унижаться перед очередным тираном зависела их судьба на ближайшие годы. Граждане стран «оси» дрожали за свои жизни, опасаясь попасть в «черный список» посольства Соединенных Штатов. Дрожали, хотя никакой вины за ними не было. Поэтому все торопились угождать молодому человеку, игравшему главенствующую роль в составлении этих списков.

В свой кабинет Мьюир приходил поздно, зачастую нетрезвый. С презрением оглядев очередные жертвы и их адвокатов, которые уже несколько часов отсидели в его приемной, он заявлял:

— Я занят. Не буду заниматься ни с кем. Приходите завтра в три.

Маменькин сынок, который в мирное время и на жизнь-то себе не заработал, а в войну не опасался потерять ее, беззастенчиво выпроваживал управляющих фирмами и компаниями, имевших за спиной десятки лет напряженного труда. И тем не менее они иногда, как дети, рыдали в кабинете Мьюира, умоляя не разорять их. Разве были они виновны в том, что родились немцами? Тем более что политической деятельностью они не занимались.

— Нет! Нет! Я очень занят! В другой раз! — И Мьюир уезжал на танцы.

Вспоминая взгляды, которыми его одаривала Ольга, я чувствовал себя частично отомщенным.

Она мечтала о путешествиях, о других странах и народах, хотела изучать языки, но ни разу ей не пришла в голову мысль поставить себя на одну доску со мной либо с «гринго». Мы были разными людьми. И Ольга вызывала во мне интерес именно тем, что была лишена того европейского или американского «лоска», отличавшего узкий круг людей, с которыми я общался. Этот «лоск» был тем барьером, который мешал мне узнать, каковы настоящие латиноамериканцы.

Красноречивей всех моих рассуждений может быть эпизод, происшедший именно в те дни. Он объяснит, почему я видел истинного представителя этой страны скорее в Ольге, чем в кучке лиц, преклонявшихся перед всем иностранным.

В тот момент непременной темой сплетен светских салонов служило завещание некоего богача, связанного родственными узами с лучшими семьями из Ла Кабреры. При жизни этот сеньор был образцом христианских добродетелей, но после смерти выяснилось, что он обладал таким количеством «незаконнорожденных» детей, что ему мог позавидовать любой библейский патриарх. Дети эти появились на свет от связей с женщинами, имевшими более чем скромный достаток, но в том, что это были именно его дети, сомнений не было. Обстоятельства, при которых было найдено завещание, также давали пищу для разговоров. Документ обнаружили в зале управляющего банками, за картиной, на которой был изображен основатель всего дела (так же, как на картине, висящей в приемной нашей фирмы «Сентраль» был изображен мой дядюшка Самуэль). В тексте завеща-

ния забавно переплетались гордость завещателя собственным высоким происхождением и чрезвычайная скромность в описании любовных похождений. Комментарии по поводу этого завещания были достаточно двусмысленными.

Мне хотелось узнать мнение Ольги о столь актуальной теме бесед моих знакомых. Но она была очень далека от всего, что волновало Ла Кабреру. Так же далека, как и я.

— Что я думаю? История эта потому и занимает высший свет, что миллионы сеньора Риоса перейдут его внебрачным детям — беднякам. Людей интересуют миллионы, а не дети. Им кажется ужасным, что такие деньги достанутся «незаконным» потомкам! У нас здесь каждый день рождаются десятки внебрачных детей, и никто о них не вспоминает! У многих даже нет средств, чтобы оформить брак. Других не устраивает официальная процедура. Третьим вообще неважно, состоят они в браке или нет. Подумаешь, сенсация! — говорила Ольга.— У одинокого мужчины — «незаконнорожденные» дети! Не хватало еще утверждений, что такое случается впервые в нашей стране!

Ольга улыбалась, будто бросая мне вызов, и улыбка обнажала ее ровные, сверкающие белизной зубы.

Могла ли Ольга не смеяться над этим фарисейским скандалом: у нее был четырехлетний сын, единственное дитя, появившееся от «незаконной» связи с мужчиной, с которым она бежала из родительского дома в шестнадцать лет. В двадцать она уже разочаровалась в нем. Так что никакого желания вступить с ним в брак у Ольги не было: он не интересовал ее ни как мужчина, ни как отец ребенка. Она жила ради сына, ради сына работала, боролась с лишениями и думать не думала о возбуждении иска против человека, который так несправедливо переложил на ее плечи заботы об их общем ребенке. Брак был роскошью, которую она не могла оплатить. Точно так же как покупку чернобурых лис или поездку на лыжную прогулку в Швейцарские Альпы. Многие женщины в этой стране вынуждены были мириться с такого же рода обстоятельствами. Как и Ольга, они понимали, что можно быть счастливыми и не состоя в официальном браке, что лучше жить в «прелюбодеянии», чем связывать себя с человеком, который способен оскорбить и унизить.

Характерно, что Ольга всегда употребляла слово «муж», рассказывая о своем поклоннике или о любовниках своих подруг. Видимо, она считала, что санкция судьи или священника не налагает на мужчину каких-либо особых обязательств, как и не освобождает от них.

— Сыта по горло [1],— заявила она мне как-то.

— Что с вами?

— Одна беда за другой. Каждый раз, когда я надеюсь наконец, что наступят светлые дни и я как-то устрою свою жизнь, возникают всякие трудности. Только что мальчик переболел краснухой. Теперь свинка... Сестра Сара поссорилась со своим женихом, рассердилась на меня и объявила, что больше не будет помогать матери. Какая польза от того, что хочешь остаться порядочной... Уж лучше на панель...

— Не говорите так, Ольга!

Она засмеялась и продолжала:

— Вы поймете меня лучше, чем кто другой. Работа маникюрши тоже требует некоторого бесстыдства: приходится кокетничать с

---

[1] «Сыта по горло» — считается вульгарным местным выражением. Ольга, видимо, употребила именно его. Во французском языке, на котором написана рукопись Б. К., оно звучит более высокопарно: «je m'emm...» — «мне все осточертело». *(Прим. автора.)*

клиентами, льстить им, уверять, что мне приятны их приглашения «прогуляться». Ведь если я отказываюсь и клиент перестает посещать наш салон, на меня все сердятся и обвиняют: «Мы теряем клиентуру из-за Ольги». А если я соглашаюсь, а потом не выполняю своего обещания, получается еще хуже. Что же мне делать? Принимать приглашения?! Уж лучше сразу менять ремесло и идти в дом свиданий, чем маскироваться маникюром. Будто я не знаю, чего хотят мужчины, когда им нравится женщина и эта женщина к тому же бедна...

...Я тоже был всем «сыт по горло». Мне тоже «все осточертело». В самом деле — в мои годы Фриц продолжал распоряжаться моим имуществом. Ранее я серьезно не задумывался о продаже моих акций. Ольга что-то говорила мне, а мои мысли бежали дальше... Наверно, если бы я не был вынужден прибыть сюда в качестве эмигранта, да еще опекаемого, Фриц не осмелился бы говорить со мной таким тоном, будто я — мальчишка. Приезжая к нам во Франкфурт, члены семейства К. твердили нам о необходимости совершить путешествие в Америку, чтобы познакомиться со страной, где находится часть нашего состояния. Видимо, они искренне желали этого... И как бы они были горды представить своим друзьям кузенов — владельцев такой респектабельной фирмы, какой считался наш банковский дом во Франкфурте.

Судьба распорядилась по-иному. Я превратился в бедного родственника, в человека, с которым ни у кого не было желания общаться и которому не разрешалось выходить из границ дозволенного. Только вдова Альберто, старшего брата Фрица, и ее дочери относились ко мне по-прежнему, как в далекие дни моего процветания.

Обычно подобными переживаниями не принято делиться с посторонними людьми. Кроме того, мог ли Ольгу интересовать тот факт, что мой кузен Фриц превратился в моего опекуна и что я практически не имею возможности распоряжаться своим состоянием?! И вновь вспыхнуло в мозгу: война! А вдруг, как считают в Эль Пинаре, вступление в войну США сократит ее время? И я более не буду зависеть от прихотей моего нервозного родственника? Почему я повторил Ольге: «Я тоже сыт по горло»? Такая доверительность была мне вовсе несвойственна — я ни перед кем не раскрывал душу. Тем более перед человеком, стоящим на иной социальной ступени по сравнению со мной,— маникюршей. Но я нуждался в человеческой теплоте, а у меня не было никого, кому я мог поведать свои печали.

По вечерам в пансионе мисс Грейс старые англичанки обсуждали либо последнюю партию в бридж, либо последнюю бомбардировку Гамбурга, которая, как и все предыдущие, была, конечно, «беспрецедентной». Все жильцы мисс Грейс собирались у приемника послушать голос Ромуальдо Гомеса. Страшная это была личность! Гомес передавал информацию из принадлежавшей ему же «Радиогазеты». Каждую минуту мы ждали, что он сообщит об окончании войны,— из репродуктора то и дело раздавался вопль Гомеса: «Через несколько минут мы будем передавать сенсационное сообщение, полученное только нами!» Но очередное сообщение чаще всего было призывом покупать средства от перхоти. Иногда, правда, говорилось о крупных военных событиях. Так было, когда затопили знаменитые корабли «Худ» и «Бисмарк». Сенсационная новость, которую мы так ждали, все задерживалась. И вот однажды раздался громкий голос Ромуальда Гомеса: «Войска союзников высадились на континент Европы!»

...Жизнь в пансионе мисс Грейс отнюдь не скрашивала мое одиночество. Мне был необходим кто-то, с кем я мог отвести душу.

И этим «кто-то» стала Ольга. Мы оба находились в трудном положении, хотя и по разным причинам. Делясь друг с другом своими бедами, мы как бы протягивали между собой тонкую нить. Это помогало мне лучше узнавать Ольгу.

— Я тоже сыт по горло!

— Но вы так богаты, сеньор К.! У вас нет никаких забот. Действительно, никто не бывает доволен своей судьбой. Я давно поняла, что вас что-то тяготит. Я как-то видела вас на улице, вы разговаривали сами с собой.

— Я? Сам с собой? Нет, я еще не сошел с ума. У каждого человека, Ольга, свои трудности. И мои никто не может разрешить. Я живу далеко от родины, друзей у меня нет, как нет и занятий. Даже мои собственные родственники терзают меня, потому что я — немец. Будто я виновен в том, что Гитлер развязал войну. Я живу ожиданием дня, когда союзники разгромят нацистов, а на это уйдет немало времени. Писем я не получаю, поэтому все свое время провожу у приемника, слушая новости из Европы. Вы не можете представить, сеньорита, что означает одиночество — такое, как мое.

— Бедный сеньор К.! А я-то думала, что вы счастливы. Но все уладится, обойдется. Вот увидите, война скоро кончится.

Мне вдруг стало стыдно, что я искал сочувствия этой милой женщины, прибегая к избитым методам обычного обольстителя, столь не вязавшимся с моим возрастом и положением. И все — для того, чтобы покорить человека, который к тому же зависел от меня и материально. А я так жестоко осуждал поведение Мьюира! В конце концов я был не лучше его...

— Сеньор К., поверьте, я вас понимаю. Я чувствую, вы очень одиноки.

— Да, очень.

— Как и я. Знаете, я — невеселый человек. Мои сестры говорят, что я — странная. Мне всегда хочется быть одной.

Разговор наш был настолько задушевным, что, несмотря на жалобы Ольги на неприятные ей приглашения клиентов, я счел возможным сказать:

— Не хотите ли сходить со мной в кино? Мы могли бы отправиться туда после вашей работы.

— Мне некогда. Я заканчиваю почти в восемь.

— Тогда мы пойдем в кино после ужина. Зайдем в ресторан, в любой, куда вам захочется, а потом — в кино. Вы говорили, как вам неприятны попытки соблазнить вас... Я все прекрасно понимаю. К тому же я слишком стар, и шансов у меня куда меньше, чем у всех остальных. Так что мое приглашение отнюдь не означает, что я хочу стать одним из ваших многочисленных поклонников. Вы верите мне?

— Конечно. Вы не похожи на других. Скажите мне, куда можно позвонить вам; я сообщу, когда освобожусь.

Я дал Ольге телефон пансиона мисс Грейс и отправился покупать коробку конфет, которой мне хотелось порадовать ее в час нашего свидания.

Впервые после приезда из Европы передо мной открывалась возможность иметь подружку [1], то есть женщину, любовь которой не надо покупать. До этого времени в этом мирке мне были доступны исключительно последние.

В половине шестого Ольга позвонила и сказала, что не может принять моего приглашения. Все было сказано очень лаконично, и я понял, что ошибся в тактике.

---

[1] В оригинале рукописи стоит «petite amie», что более соответствует значению «любимая». *(Прим. автора.)*

V

Можно лишь удивляться тому, что обычная процедура приведения в порядок волос и ногтей, которую я всегда совершал по средам, могла вдруг приобрести для меня такое большое значение. Правда, следует помнить, что я просыпался всегда с одним и тем же вопросом: что делать сегодня? Этого будет достаточно, чтобы представить, насколько даже самое незначительное занятие помогало мне заполнить бесконечную пустоту будней.

Я просыпался около восьми утра, брал в постель все утренние газеты, внимательно просматривал их, пытаясь сосредоточиться в первую очередь на военных сообщениях. Затем читал статьи об экономике, спортивные новости. Далее следовали комиксы и светская хроника. Этот последний раздел все более интересовал меня, так как среди его героев я узнавал кое-кого из моих новых знакомых. Газеты стали для меня компасом в полном неожиданностей плавании по волнам светской жизни, в которое я пустился со дня посещения поместья Эль Пинар.

Биржевая игра не интересовала меня — разве что курс собственных акций. Однако с тех пор, как Перес соблазнил меня баснословными прибылями от спекуляций, я иногда давал простор воображению, подсчитывая доходы. Я мог бы получить немало, например, на акциях текстильных предприятий, если бы купил бумаги на прошлой неделе...

Таким образом, утренние три часа протекали вполне безмятежно. Но вот наступал торжественный момент: я выходил из дому, направлялся в центр города и возвращался в пансион, чтобы в 12.30 дня прослушать очередную «сногсшибательную сенсацию». Сенсация, правда, все запаздывала. Я еще не оторвался от своего прежнего мира, но приступы корысти уже несли меня к новым берегам. Странно было наблюдать, как расценивали войну мои европейские соседи по пансиону и местные знакомые. В то время как мы буквально жили сообщениями с театра военных действий, здешние относились к ним с полнейшим равнодушием. Мы проводили половину жизни у радиоприемника, и ничто в мире не могло оторвать нас от передачи, не дать дослушать текст военной сводки. Но прислуга пансиона и даже его служащие — люди достаточно интеллигентные — игнорировали сообщения из Европы, будто последние вовсе не имели решающего значения для судеб всего человечества, прежде всего их собственных.

Местных жителей неизменно интересовал очередной «гвоздь» хроники, о чем со всеми подробностями информировал все тот же Гомес в своей «Радиогазете». Выступления его были особенно красноречивыми и эмоциональными, если речь шла о каких-то преступлениях, совершенных в стране,— тут уж он не упускал и мельчайших подробностей.

После обеда я обычно спал или читал, прикидывая, что к концу дня представится возможность либо сходить в кино, либо получить приглашение на коктейль к знакомым.

Иногда ко мне заходили другие эмигранты из Германии. Часами мы оплакивали нашу судьбу, строили планы на будущее, рассуждали об окончании войны — можно подумать, что это зависело от нас.

— Так не должно длиться долго,— твердили они. Но я весьма скептически относился к подобным заявлениям, и постепенно мои соотечественники стали посматривать на меня довольно косо.

А настроен я был далеко не героически и даже на бога не уповал.

После того, как моя попытка провести с Ольгой вечер потерпела крах, я ждал среды, как никогда прежде, решив вновь прибегнуть к ее услугам, а заодно и выяснить, почему она так резко отвергла мое предложение. Тем более что вначале ей как будто бы даже понравилась идея нашей совместной прогулки.

Это был первый риф, на который я наскочил в моем плавании по рекам желаний, хотя мне казалось, что путь к цели довольно прост. Но я твердо решил преодолеть все препятствия.

Я вошел в салон парикмахерской как обычно, сделав вид, что совершенно не помню о том, что был отвергнут. Вначале я расспрашивал Ольгу об ее сестрах, потом рассказал ей содержание нового кинобоевика, сообщил о последних преступлениях. Помню, в те дни всеобщее внимание было привлечено к судебному процессу, героем которого был... адвокат. Получив полномочия на ведение дел своих клиентов, этот страж закона хладнокровно умерщвлял их. В моем пансионе говорили больше всего об этом чудовищном преступлении.

Ольга первая сказала о том, что произошло в прошлую среду:

— Мне очень жаль, что я не смогла выполнить своего обещания. Поверьте, это было совершенно невозможно.

— Не имеет значения, сеньорита. Мы можем встретиться в любой другой день, если вам не наскучит мое общество и если это не вызовет неприятных для вас последствий.

Фразу я произнес с нарочитой небрежностью, столь свойственной одураченным мужчинам. Я не просто мечтал как можно скорее встретиться с Ольгой, я был уверен, что после первой же встречи ей будет трудно удержаться от сближения. Некоторое время она может быть моей любовницей, а когда я устану от нее, она перейдет в руки другого, который затем так же бросит ее.

Ольга запротестовала:

— Нет, отчего же? Что плохого в том, что мы пойдем вместе в кино?

Продолжая играть роль волка в овечьей шкуре (что, кстати, со временем стало моей второй сутью), я продолжал:

— Я и сам не знаю. В Европе все это не имеет значения, но в Латинской Америке, в ее католических странах, все по-иному. Мне говорили, что здесь с неодобрением относятся к тому, что мужчина в летах проводит время с молодой девушкой.

— Не говорите глупостей! Позвоните мне на этой неделе, и я скажу вам, когда мы сможем встретиться.

— Я бы очень желал этого. Но в то же время я не хочу, чтобы встречи со мной вы сочли бы какой-то обязанностью. В таком случае я перестану посещать ваш салон.

— Как можно говорить об «обязанностях»? Я сама хочу встречи. Поверьте, что говорю вам совершенно искренне.

Такой поворот обрадовал меня необыкновенно. Меня буквально съедало желание позвонить Ольге, но я все же нашел силы подождать несколько дней, испытывая при этом мстительное удовлетворение. В субботу утром я позвонил в салон.

— Не могу. Когда придете, объясню почему,— вот и все, что ответила Ольга.

Зачем она играла мною? Зачем просила звонить ей? Чтобы в последний момент заявить, что свидание невозможно?

Объяснение не заставило себя долго ждать.

— Не знаю, что вы подумаете обо мне,— сказала Ольга, лишь я вошел в салон.— Я опять не смогла встретиться с вами, как обещала. Сестра почувствовала себя плохо, ей не с кем было пойти к врачу,

а мама очень не любит, когда она ходит к врачам одна. Врачи такие наглецы, особенно если пациентка молода и красива.

— Значит, и вы не можете ходить одна к врачам? — пошутил я.

— Не могу и никогда не хожу. Однажды у меня заболело горло. Врач заявил, что болезнь, возможно, вызвана каким-то иным воспалением, он должен осмотреть всю меня и приказал расстегнуть пуговицы... Я, конечно, возмутилась и тут же подала на него жалобу.

— Немыслимо! — отвечал я с притворным возмущением. В рассказе Ольги, меня, как всегда, удивляла смесь благочестия и фривольности. В этой женщине прекрасно уживались негодование, когда врач пытался полюбоваться ее телом, и полное пренебрежение к брачным узам. Она достаточно точно выразилась в беседе о «незаконнорожденных» детях миллионера Риоса.

Позднее я узнал, что такого рода противоречия очень распространены среди жителей этой страны. Видимо, это следствие католического воспитания, которое накладывает свой отпечаток на людей, не просто утративших веру, но и ведущих самый неправедный образ жизни. Мне передавали, что местные проститутки проводят ночь со вторника на среду у ворот кладбища, где во всеуслышание молятся о ниспослании им благополучия, и только после этого выходят на «охоту». Узнал я также, что ни за какие сокровища ни одна из них не будет «работать» в святую пятницу. А на следующий день, вернувшись к своему сжигающему жизнь ремеслу, она будет заниматься им даже в присутствии детей, если к тому вынудят обстоятельства.

Мы продолжали тихо беседовать. И вдруг Ольга предложила мне встретиться в ту же среду вечером у маленького, удаленного от центра кинотеатра. И это после того, как я решил более не касаться больного вопроса, дважды потерпев полнейшее фиаско! Теперь-то я был абсолютно уверен, что она придет...

Опять я купил подарок и за несколько минут до начала сеанса уже стоял на условленном месте, раздумывая о том, что́ я должен сказать Ольге. Мне не хотелось показаться слишком церемонным и в то же время не терпелось сломить ледок привычных отношений, перейти к более интересным темам. Искренне, но с чувством достоинства я произнесу первые слова. Я уже выучил их на испанском языке. Итак, я скажу: «Мне кажется невероятным, что я вижу вас здесь, в необычной обстановке. Как славно, что забыта ваша скучная и неблагодарная работа. Такая женщина, как вы, не должна работать...»

Прошла четверть часа. Зрители входили в зал, а я все разгуливал у дверей, не скрывая своего нетерпения. Прохожие с любопытством осматривали меня, будто спрашивая, что может делать у этого захудалого кинотеатра столь элегантный кабальеро.

Не помню, возможно, в попытках улучшить испанское произношение, я и говорил сам с собой, повторяя приготовленные фразы. Прошло еще двадцать минут. Пришлось смириться: Ольга не пришла на свидание и в этот раз.

Я вернулся в пансион. Скорее всего, Ольга не смогла прийти из-за какого-то запрета, препятствия, видимо возникшего в самую последнюю минуту. Я ждал, что по возвращении домой найду у портье записку от Ольги с объяснением причины. Надеялся — не произойдет это сегодня, так в крайнем случае она позвонит на следующий день. Ни записки, ни звонка. Прошла неделя.

В среду я снова отправился в парикмахерскую. Я шел, преисполнившись решимости не касаться происшедшего, а если Ольга сама

заговорит, то сказать ей, что я желал бы навсегда забыть эту историю.

Взяв мою левую руку, Ольга заговорила вполне естественным тоном:

— Вот невезение! В прошлую среду, когда вы ушли, я вспомнила, что ведь это — день скорби, «день пепла» [1]. Я все сомневалась, идти мне к вам на свидание или нет. А потом подумала: целый год наслаждаешься жизнью, так по крайней мере потерпи хоть первый день поста. Потому и предпочла не ходить в кино, хотя мне очень хотелось.

Я почувствовал полную беззащитность перед столь странными доводами, хотя мне это было знакомо. Отказаться от развлечения в подтверждение собственного благочестия не было для меня новостью. Моя мать тоже сочла бы кинематограф богопротивным зрелищем. Но не на один день, а на всю жизнь.

— Почему же вы не предупредили меня? — спросил я.

— Я подумала об этом. Но ведь не могла же я вам все это объяснить по телефону!

Мы поболтали, как обычно, а позднее — и как мне показалось, ласковее, чем ранее,— Ольга сказала:

— Не хочу заставлять вас ждать меня, как это произошло в прошлый раз. И чтобы доказать вам, что я в самом деле принимаю ваше приглашение, разрешите мне самой позвонить, когда буду свободна. Я сама назначу день встречи.

Ее слова несколько улучшили мое скверное настроение, и я решил, что буду ждать.

Шли недели. Каждый раз, когда я приходил в парикмахерскую, Ольга вновь заговаривала о телефонном звонке, обещанном мне. Но звонка так и не было. Не было. Я понял, что его и не будет. Тем не менее я продолжал игру, пытаясь понять, что именно заставляло ее продолжать ненужную комедию.

Как-то раз я отважился намекнуть ей, что мне все это надоело, но Ольга сумела обезоружить меня единственной фразой:

— Другого я обманула бы. Вас — нет.

Сколько бы я отдал, чтобы остаться с ней наедине!

Я даже подумал о попытке сделать ее своей любовницей, предложив какие-то материальные блага. Однако такой ход показался мне слишком грубым. Что же делать? В общем, в глубине души я уже смирился. Но когда любишь, надеешься на невозможное.

Мужчин зачастую привлекает невозможность исполнения их желаний.

В годы молодости лишь опека, навязанная мне матерью, стала мешать моей независимости, я решил, что первым шагом в завоевании свободы должен быть развод: в браке я также видел одну из форм давления. Развод я оформил, как только скончалась моя мать. Тот факт, что моя жена никогда не выходила из себя, что она полностью отвечала столь распространенному представлению об идеале супруги, в конце концов заставил меня возненавидеть ее. Как бы я любил Ирэн, если бы узнал ее при иных обстоятельствах, если бы мог сделать ее моей без предварительных советов и разрешений, если бы мне не надо было прикидывать выгоды, если бы мой брак знаменовал собой победу в бунте против буржуазных традиций семейства К. из Франкфурта!

---

[1] «День пепла», или «среда пепла»,— первый день поста, предшествующего празднику католической пасхи. *(Прим. перев.)*

Все это мне довелось осознать только теперь, когда я попытался анализировать свое прошлое. И вновь прихожу к выводу, что продолжаю оставаться безвольным существом, не способным выйти из-под родительского диктата. Мне кажется, что я, как и прежде, задыхаюсь от опеки моей матери, в свое время поработившей меня и не позволившей жить самостоятельной жизнью.

Прошло столько лет, а мне все кажется, что моя мать и после смерти продолжает жить во мне. Что на меня накинуто какое-то непроницаемое покрывало, мешающее доступу света и воздуха. Все мои действия направляются ее навязчивым присутствием, и все мое существо инстинктивно протестует против любого приказа ее могущественной воли, уже в колыбели задушившей все мои порывы. Когда чья-то воля хочет подавить меня, из уголков моего подсознания возникает прежнее, всегда скрываемое желание проявить свое «я».

Я уже сказал, что жажда встречи с Ольгой объяснялась тем, что, во-первых, она играла мною, и, во-вторых, у меня разгорелось желание навязать ей свою волю, сломить ее хотя бы однажды. Действуя примерно так же, я решил продать акции табачной фабрики, встретив скрытое противодействие одного из членов нашего семейства. Этот шаг также означал бы мою победу. Ни первое, ни второе не представляло для меня какого-либо интереса до тех пор, пока я не натолкнулся на препятствие. Именно тогда мною овладело настойчивое стремление делать по-своему.

Желая избежать осложнений, я решил уехать из города. Можно было, конечно, отложить на день-два мой отъезд в отель «Виста Эрмоса», но исполнялась годовщина со дня смерти тетушки Эстер, и мне не хотелось здесь быть — лучше избежать встречи с Фрицем и в то же время не выглядеть невежливым. Я все еще сомневался, продавать ли мне акции «Сентраль», и боялся, что при первой встрече Фриц будет этим интересоваться. И все-таки я должен продемонстрировать родственникам чувства по случаю траурной даты. Проще всего отправить им телеграмму из отеля, но телеграфа там, к сожалению, не было. Подумал я и о том, что следовало бы послать родственникам фиалки, как принято в этой стране, но тут же мне в голову пришли слова моей матери, которая накануне смерти потребовала, чтобы на ее похоронах не было безрассудных трат на покупку цветов. Мне показалось, что я уважу память моей матери, если воздержусь от расхода и не пошлю букет родственникам тетушки Эстер, тем более что со дня ее смерти прошло уже достаточно лет. Мерседес, с которой у меня установились дружеские отношения, посоветовала мне отправить в адрес кузена «суфрахио» (так католики называют отпечатанный на машинке небольшой текст, купленный в церкви за определенную сумму; деньги идут на церковные расходы, а любимое существо благодаря «суфрахио» проводит в чистилище очень небольшой срок). Правда, сама Мерседес не верила в силу «суфрахио», что же касается моей религиозной совести — хотя от нее мало что осталось,— то совесть сразу же отвергла этот «пропуск в вечную жизнь», напоминающий средневековые индульгенции. Как бы содрогнулись в своих могилах все мои предки-кальвинисты, узнав, что здесь, на земле, я оплачиваю возможность улучшить положение тетушки Эстер на небесах!

Но так или иначе, я должен был выказать семейству К. свои чувства по упомянутому поводу. Помогла мне мисс Грейс, вернее, ее практический британский ум — она посоветовала подать нищим в память тетушки Эстер милостыню. Идея показалась мне великолепной, и я принялся за ее осуществление. Я направил чек на пятьдесят песо

на имя Фрица и написал ему краткое письмо, в котором сообщал, что меня нет в городе и что я прошу его раздать эту сумму бедным в память о его покойной матери.

Я никак не мог предположить, что подобное проявление моего уважения к покойнице будет истолковано Фрицем отрицательно. Получив мое письмо, Фриц разорвал чек и в таком виде вернул его мне, передав через своего секретаря, что не нуждается в моих подачках и отныне не желает иметь со мной ничего общего.

Я растерялся. Единственное, что пришло мне в голову, это позвонить вдове кузена Альберто и рассказать ей о случившемся. По ее мнению, я был прав, но она добавила, что впредь мне нечего надеяться на восстановление отношений с Фрицем.

— У него дикий характер, и он не изменит своему слову.

Неужели Фриц мог подумать, что я собирался оскорбить его? Он давно и достаточно знал нашу пуританскую среду и мог не удивляться тому, что я не направил ему цветы или «суфрахио». Искренность моих намерений должна была бы оправдать неловкость моего поступка. Фриц понял все превратно. Я попытался просить его о личной встрече, прибегнув к помощи секретаря Лицта, набожного и искреннего немца. Но последний отговорил меня. Трудно поверить, что никогда больше я не встречусь с Фрицем,— так я потерял самого близкого друга молодости, а ведь желание общаться с ним, получать от него советы было одной из причин, побудивших меня приехать именно в эту страну.

Разрыв с Фрицем еще больше отдалял меня от прошлого. Я был похож на конкистадора, сжигающего свой корабль. Каким одиноким я оказался. Одиноким, как никогда! Я заперся в своей спальне в пансионе. Мне казалось, что только маленькая, принадлежавшая некогда моей матери библия, которую я хранил, как спасательный компас, связывала меня с былым.

Разрыв с Фрицем терзал меня в течение нескольких дней. Я попытался объяснить все происшедшее своей нечуткостью, незнанием среды, неумением приладиться к обстоятельствам. Но это заблуждение скоро рассеялось. И произошло все это, как только я отважился вступить в джунгли, подгоняемый жаждой наживы.

VI

После того, как отношения с Фрицем были окончательно порваны, решение вопроса о времени продажи моих акций зависело лишь от соображений сугубо экономических. Я чаще посещал контору Переса, который казался мне великим чародеем в области свершения всяких сделок. Он особенно поднялся в моих глазах после того, как превратил в золото обычную колючую проволоку, перекупленную и всего лишь чуть задержанную с продажей. Адвокат предложил и мне участвовать в некоторых «мероприятиях», в частности в застройке одного из загородных районов столицы. Я мог выгадать здесь гораздо более высокую прибыль, чем приносили в то время мои акции «Сентраль». Более всего меня привлекала перспектива получить пост одного из членов директивного совета, если сумма моих вкладов окажется достаточно значительной. Я мог бы помочь своим опытом успеху предприятия, а затем стать чиновником какой-либо местной административной машины, о чем я, собственно, и мечтал. Тогда мне легче было бы строить планы на будущее. Сделки помогут мне познать здешний мир, и я постепенно забывал бы о том, что моя жизнь может обрести смысл только после окончания войны.

Я искал новые пути к сердцу представителей здешних дебрей — пути через человеческие отношения. Мне были необходимы связи и контакты, которые заставят забыть о прошлом.

К Пересу я обратился с просьбой познакомить меня с человеком, которому мог бы поручить продажу своих акций. С характерной для него ловкостью и движимый стремлением видеть меня партнером в своих финансовых комбинациях, Перес в тот же день выполнил мою просьбу.

Диего Лаинес, так звали банкира и биржевика, принял меня в своем кабинете, оказав знаки глубочайшего уважения, как это принято в староиспанском мире. Его контора занимала весь десятый этаж здания банка и обставлена была с большим вкусом — точь-в-точь как у биржевиков старого Лондона. На стене висел написанный маслом портрет основателя конторы — им был отец самого Лаинеса. Здесь же у окна висели в рамках три купюры времен борьбы за независимость и «чек № 1» на сто тысяч, тогда же выданный в кредит министерству национальной обороны. Как гласил текст, скрепленный подписью главного казначея республики, чек был выдан фирмой «Лаинес и сыновья».

Лаинес оказался любезным, довольно простым человеком; на лице его выделялись мефистофельская бородка и проницательные глаза, поблескивающие из-за очков. Типичный представитель уже знакомых мне социальных кругов. Он не захотел страдать от скудости моего испанского языка и спросил Переса, говорю ли я по-французски, а затем начал объясняться со мной на этом языке, недостаточное знание которого пытался восполнить тем, что подгонял испанские слова под французское произношение.

— Мне очень хотелось познакомиться с вами, сеньор К. Много слышал о вас. Ваша фамилия знакома всем деловым людям страны. Кто у нас не знает дона Самуэля, основателя фирмы «Сентраль»! Мой отец был его большим другом, а я, будучи еще ребенком, однажды видел его в летнем загородном отеле «Илюсьон». Обаятельный человек был дон Самуэль — так богат и так скромен!

— Это справедливо, дядюшка Самуэль был личностью выдающейся,— вынужден был заметить я, чтобы поддержать диалог, хотя не присовокупил, что вести о солидной фирме «Лаинес и сыновья» дошли даже до Франкфурта, а это, видимо, польстило бы ему.

— О Фрице и говорить нечего — мы с детства друзья. Он стал несколько замкнутым, но по-прежнему я имею счастье встречаться с ним по вторникам на заседании директивного совета фирмы «Симса».

Мне пришло в голову, что я совершаю необдуманный шаг, отдаваясь в руки человека, столь близкого моему кузену. Но наши отношения с последним были прерваны, и я не мог предполагать, как Фриц отреагирует на известие о том, что я решил отделаться от своих акций. С другой стороны, было бы нелепо относиться к кузену, моему сверстнику, как к неопытному юнцу.

Вновь и вновь перед моим мысленным взором вставала сцена вскрытия пакета с завещанием моей матери. Нотариус, старый друг нашей семьи, с кисло-сладкой улыбкой сообщил мне, что отныне я становлюсь человеком богатым и независимым. Я помнил торжественный момент, когда, ухватившись левой рукой за лацкан потертого сюртука, нотариус громко читал последний абзац (хотя я и ожидал его), менявший мою жизнь. «Что касается моего имущества, находящегося вне Германии, оставляю его своему сыну Б. без всяких условий и оговорок». Почему же в таком случае Фриц должен выступать в качестве моего компаньона или управляющего этим наслед-

ством? Уже одно то, что я вновь буду подвергнут домашней опеке, оправдывало продажу акций в ущерб всем семейным отношениям.

Я не стал упоминать о наших отношениях с Фрицем и сразу перешел к делу:

— Сеньор Перес рекомендовал мне вашу фирму, я хотел бы провести кое-какие интересующие меня операции на бирже...

Я еще не закончил, как Лаинес, понимающе улыбаясь, перебил меня:

— Хотите сделать инвестиции капитала в нашей стране? И правильно! Очень правильно! В нынешней ситуации единственное надежное место — Южная Америка. Мы — континент будущего. Скоро мы станем тем, чем были Соединенные Штаты в девятнадцатом веке. У нас найдут спасение европейские капиталы. Здесь есть все гарантии, да и налоги здесь более низкие.

Мне хотелось крикнуть ему, что я наизусть знаю эти избитые фразы, кочующие по виллам Ла Кабреры среди тех, кто тщится выдавать себя за пророков в мировой экономике. Однако я выдержал паузу и прервал его речь, объяснив спокойно в нескольких словах цель своего визита:

— Мне нечего вкладывать. У меня есть определенное количество акций фирмы «Сентраль де сигаррильос». Я хочу продать их и заняться другими делами.

С широкой улыбкой удовлетворения сеньор Лаинес, которому было, несомненно, известно, что я — один из крупнейших акционеров фирмы, ответил:

— Мы к вашим услугам. Каковы ваши предложения?

Я сказал ему, что хотел бы продать как можно выгоднее свои акции, пусть постепенно, предположим в трехмесячный срок, но в моменты, когда акции будут наиболее высоко котироваться.

— Позвольте мне высказать свое мнение. На вашем месте я не продавал бы акции. Это — великолепное вложение средств! Однако, если у вас в перспективе есть что-либо более интересное, можно условиться о цене. Как только появится возможность, они тотчас будут реализованы.

Мы скоро договорились обо всех подробностях. Провожая меня до дверей кабинета, Лаинес выразил желание в тот же день увидеться у него в доме: он хотел меня представить семье. Кстати, сегодня — день рождения его дочери.

Мне было совершенно непонятно, почему в первый же день знакомства Лаинес приглашает меня, да еще на такой узкий семейный праздник. Тем не менее я согласился. Со временем я привык к латиноамериканской манере распахивать двери домов перед иностранцами. Мои предки-кальвинисты никогда не поступали таким образом, какой бы выдающейся личностью ни был их клиент.

Душевные переживания из-за Ольги заставили меня не верить собственному опыту. Я решил на все закрыть глаза и отдаться на волю здешнего странного мира.

Все произошло так, потому что Лаинес повел меня по верному пути дружбы с сильными мира сего. Этот путь без всяких затруднений приводит к райским кущам, где нет места тем, кому всю жизнь приходится бороться за существование. Этой страной правило общество, состоящее из таких лиц, как Фриц, Мануэль, адвокат Перес и банкир Лаинес. Это их капиталы делают погоду в области экономики; политика находится под их влиянием; общественная жизнь зависит от их настроения. В Европе так называемая «знать» — светское общество — чаще всего не играет практической роли в экономике. Мы, немецкие банкиры и коммерсанты, за исключением редких слу-

чаев, не стремились к сближению с теми кругами и не пытались подчинить их с помощью наших капиталов. Видимо, этим и объяснялось, что светской жизни в Германии не придавалось такого решающего значения, как здесь. Лаинес приглашал меня вместе с друзьями отпраздновать день рождения дочери, потому что, по его мнению, я был богачом: он стремился заполучить еще одного сторонника. Точно так же он поступал бы с любым нужным ему человеком, даже занимающим более скромное положение. И точно так же поступал бы Лаинес с министрами и сенаторами, в чьей благосклонности он нуждался для осуществления своих финансовых операций.

Мне хватило одного визита в его дом, чтобы познакомиться с новой стороной жизни Ла Кабреры, неведомой до тех пор.

Я проникал в непроходимые заросли джунглей, путь мой лежал через изысканные светские салоны.

Большую часть времени в доме Лаинеса я провел в обществе какого-то политикана ультралевых взглядов, человека ужасно толстого и болтливого, который сохранил простонародную манеру разговаривать, но вместе с тем старался одеваться под англичанина и упорно лез в этот лживый мир «европеизированных». Капиталисты его боялись, и с полным основанием: против них он направлял стрелы своих пылких речей под сочувствующие крики разгоряченной толпы. Политикан, видимо, был очень польщен приглашением банкира отпраздновать в тот вечер в столь тесном кругу день рождения его дочери.

— Я не хочу, чтобы богатые становились бедными,— сказал он мне.— Я хочу, чтобы бедные стали богатыми. Чтобы с каждым днем бедные становились менее бедными, а богатые — менее богатыми, пока не установилось бы относительное равновесие. Я умею ценить все то прекрасное, что могут дать человеку деньги. Вы думаете, я стремлюсь к тому, чтобы лишить кого-либо возможности владеть такими восхитительными произведениями искусства, как вот эта копия Венеры? Да, да, Венеры Кановы! Я знаю, что лишь искусство придает смысл человеческой жизни.

— А я-то считал, что вы — чистый политик и что юридические и экономические занятия не позволяли вам уделять внимания прекрасному,— ответил я.

— Не думайте так,— отозвался политикан, надуваясь от важности.— Мое призвание — быть писателем. Я так глубоко чувствую искусство! Меня волнуют стихи, музыка. Политика интересует меня как разновидность человеческой комедии, как столкновение конфликтных интересов. Не более. Экономику я не знаю, торговать не умею. Делать инвестиции, следить за котировкой — все это не для меня. Но зато мне близко материалистическое понимание истории, а сегодня — это основное.

— Каким же образом, в таком случае, вы можете выражать свое мнение по конкретным проблемам? И предлагать общественности решения? — спросил я с невинным видом.

— Очень просто. Для этого у меня есть эксперты, например, дон Диего Лаинес. Мне охотно помогают. Вы, конечно, были удивлены, увидев меня в этом доме. Всем известно, что я — яростный враг капиталистов. Но дело в том, что я собираюсь выдвинуть новый законопроект о банках и поэтому обратился к дону Диего за помощью. А он был настолько любезен, что пригласил меня сегодня к себе. Дон Диего — личность приятнейшая. И жена у него — женщина удивительная. Я с благодарностью принял приглашение.

Мы подошли с ним к столу, на котором были расставлены закуски.

— Великолепнейшее рейнское вино, хотя я предпочитаю более сухое. Прекрасно накрыт стол — нет лишнего и все со вкусом! — то и дело бросал мой собеседник.

Привычный набор слов: «изысканный», «тончайший», «великолепнейший», «как в Европе»,— так говорили в Ла Кабрере. И я понял, что «гроза капиталистов» полностью растворился в окружающей его среде.

Подошел хозяин дома и спросил, какой вид спорта предпочитает каждый из нас. Англосаксы обычно пользуются этим предлогом, чтобы завязать дружескую беседу. В данном случае это было похоже на разговор вождей диких племен, обсуждающих разные способы добывания огня.

— Раньше я играл в теннис. А теперь не знаю, смогу ли в мои годы да и на такой высоте вновь заняться этой игрой?

— Вы можете в любой день попробовать на кортах клуба «Атлантик». Я — один из директоров этого клуба. Когда будете свободнее, позволю себе пригласить вас.

— А вы, сеньор Айярса?

— Я тоже немного играю в теннис. Мне, конечно, нужны гимнастические упражнения, чтобы как-то отвлечься. Только вот никогда не хватает времени.

Политикан отошел, оставив нас вдвоем с хозяином. Лаинес доверительным тоном сообщил мне:

— Я совершил бестактность, упомянув об «Атлантике» в присутствии Айярсы. Давно, когда он еще только начинал свою политическую карьеру, Айярса подал просьбу о вступлении в члены клуба, но был отвергнут. Я никак не мог понять этого: зачем же отказывать человеку только потому, что он из низов. Уверен, что, если он теперь повторит просьбу, его примут без оговорок. Но я не решаюсь намекнуть ему. Тема эта, видимо, болезненна для него. С течением времени вы сами поймете, что у нас признают людей по заслугам, у нас нет классовых различий, и мы гордимся этим. Наша страна — страна равных возможностей! У нас президентами были люди, чьи родители не состояли даже в официальном браке, а то и вовсе были неизвестны!

— Тогда почему же отклонили просьбу Айярсы? — спросил я удивленно.

— Да потому, что в те времена он еще не умел держать себя в обществе. Еще недостаточно усвоил манеры людей добропорядочных. Но теперь другое дело.

...Тьму зарослей прорезал луч света. Я начинал уже различать путаные тропинки, ведущие сквозь чащу...

А теперь Айярса уже вполне «добропорядочный»? — лишь этот вопрос пришел мне в голову. И мелькнула мысль: вот что называется здесь «демократией» и «равенством». Здесь не постигнешь подлинный облик страны. Никто здесь не увидит нежного, искреннего лица Ольги — олицетворения нации. Страну имеют право представлять только те, кто успешно проходит испытания узкого круга поклонников иностранщины. Успешно пройдя их, они занимают посты министров и послов и даже президентов. Впрочем, процесс взлета и падения личностей, которые, оторвавшись от своего класса, стремятся проникнуть в высший социальный слой, теряя при этом собственные характерные черты, вполне естествен. Возможно, если бы масштабы этого явления были бы иными, новый класс смог бы привнести свои нормы жизни, свои традиции и привычки. Но так происходит только в тех странах, где свершается подлинная соци-

альная революция. Такое положение могло бы создаться и в этой стране, и тогда Айярсе не надо было бы изображать себя глубоким знатоком вин, будучи гражданином страны, которая их даже не производит. Он не стал бы стремиться и в клуб «Атлантик». Тем более он мог бы обходиться обычным костюмом без опасения быть высмеянным высшим светом за то, что не следует английским журналам мод.

Многие из моих здешних знакомых, людей вполне достойных, всячески скрывали свое происхождение. В одежде, языке, манерах они копировали тех, кто представляет в этой стране власть. Разве это не хамелеоны, принимающие окраску ветви, приютившей их на ночлег?

Несколько минут спустя я простился с доном Диего, торопясь в театр. И в театре я услышал сенсационную новость: «Американцы высадились на севере Африки», «Скоро конец войне!..»

...«Долина! Долина!» — так кричит заблудившийся исследователь, когда, увидев мираж, пытается уверить себя, что наконец-то вырвется из объятий джунглей.

Очень хорошо помню, что это произошло в театре. Мы пришли сюда с Мерседес и ее мужем. В антракте среди зрителей распространился слух, что войска американцев высадились на африканском континенте. Это был невероятный удар, нанесенный с математической точностью, отличающей бизнесменов США. После стольких мрачных месяцев ожидания, когда все строили предположения о вторжении, и... вдруг оно свершилось! Тщательно рассчитанный, поистине первоклассный театральный удар!

Несколько недель назад канадские войска сделали попытку высадиться в Дьеппе, однако закончилась она кровавым поражением. Нацистам удалось уничтожить более половины десантников, что произвело удручающее впечатление на нейтральные страны. Все решили, что высадка десанта неосуществима. Тогда же стала популярной брошюра, утверждавшая, что только воздушные бомбардировки могут нанести урон нацистам. И вдруг высадка там, где ее ожидали менее всего!

Сообщение о высадке в Африке преисполнило гордостью всех, кто верил в действенность американской армии. Адвокат Перес, который в день нашего знакомства доказывал мне, что участие в войне США должно положить конец всякому конфликту в течение года или двух лет, чувствовал себя прямо-таки именинником. Он метался по городу, и всюду можно было видеть, как он конвульсивно жестикулирует (что вообще свойственно латиноамериканцам).

Надежда на окончание войны придала мне сил. Я считал, что теперь уже это вопрос нескольких месяцев, пусть года, чуть больше. Тогда-то уж я смогу уехать — если не в Германию, то по крайней мере в Швейцарию. Я снова увижу моих родных, попытаюсь восстановить состояние. И вновь обрету привычный мне духовный и душевный мир.

VII

Решение о продаже акций «Сентраль» не могло быть более своевременным. Сообщение о высадке американцев в Африке вызвало волну оптимизма, что не замедлило сказаться и на бирже.

Опытный охотник, я выследил дичь в самый благоприятный момент: в сумерки, после того, как она насытилась.

В те дни все акции поднялись на двадцать-тридцать процентов, так как победа союзников считалась безусловной. То и дело мне звонили из конторы Лаинеса:

— Можно продать крупные пакеты акций по четырнадцать песо пятьдесят сентаво. Как вы решаете?

— Насколько стабилен рынок? Не считаете ли вы, что акции могут еще подняться?

— Можно подождать, возможно, поднимутся еще на песо.

— Тогда подождем еще.

Вечером вновь раздался телефонный звонок:

— Акции «Сентраль» уже поднялись до пятнадцати пятидесяти. Пользуются большим спросом. Продаем акции, сеньор К.?

— Подождем до завтра.

На следующий день акции продолжали ползти вверх.

— Акции могут пойти по шестнадцать пятьдесят. Приступаем к торгам?

— Продавайте половину, остальные задержите еще на два дня.

Через два дня цена акций достигла восемнадцати песо с небольшим, а я проклинал себя за отсутствие терпения. Однако сам Лаинес вполне резонно утешил меня:

— Не выиграть — еще не означает проиграть.

И действительно, рынок не мог оставаться стабильным долгое время.

— Продаем по восемнадцать?

— Подождем.

На следующий день опять звонок.

— Акции уже по семнадцать девяносто.

Спрос вдруг значительно снизился. Что же делать: продавать?

Проявляя опытность егеря, привыкшего в зарослях выслеживать зверя, Лаинес сообщал мне о всех колебаниях на бирже. Цены продолжали падать. Когда они достигли семнадцати с половиной песо, я распорядился продать все остальные и таким образом получил прибыль, о которой две недели назад не смел и мечтать. Скоро акции пошли по пятнадцать песо — и Лаинес не долго думая предложил мне вновь купить те же акции. Я получал на каждой по два с половиной песо чистого дохода. Купить такую же крупную партию, какую я продал, было невозможно, но я все же вернул почти половину своих же акций, сделав на спекуляции менее чем за три недели довольно кругленький капитал.

Постоянные телефонные переговоры с Лаинесом, визиты к нему в контору помогли мне завязать тесную дружбу с биржевиком, а также завоевать его симпатии. Этому способствовали и послушность, с которой я следовал его советам, и проявления моей благодарности в связи со столь благополучным завершением всей операции.

— В воскресенье надо отпраздновать успех этого дела,— сказал мне Лаинес в день, когда мы решили закончить первую серию маневров.— Не хотите ли пообедать со мной в клубе «Атлантик»?

Я с удовольствием принял приглашение. Как я и ожидал, мы провели великолепный вечер, изобиловавший знакомствами и представлениями. Дон Диего не упускал случая, чтобы не рассказать мне о каждом, кто приближался к нашему столу поздороваться с ними. Я не мог не отметить уважения, которым пользовался Лаинес. Дон Диего с удовольствием разъяснял мне, «кто есть кто», давая при этом понять, какие выгоды можно извлечь из дружбы с тем или другим.

— У этого сеньора,— говорил дон Диего, указывая на носатого старика лет шестидесяти,— тесные связи с министром иностранных дел. А тот сеньор — управляющий государственным банком. Кстати,

единственным, где можно получить кредиты без особых гарантий с вашей стороны. А вон там — сеньора Х.; она славится в столице лучшим новогодним балом у себя дома...

О многих я узнал от Лаинеса и понял главное: чтобы иметь успех, нужно сделаться частью этого мира, в котором на одной доске стояли и новогодние балы, и судьба человека.

— Я думаю, вам следовало бы вступить в члены клуба «Атлантик»,— сказал однажды Лаинес.— Разрешите вас представить на следующем заседании членам правления.

Мне тут же был предложен листок для заявления о приеме. На нем расписался сам дон Диего и один из его друзей, сидевших за соседним столиком. Этот сеньор не был знаком со мной, но тем не менее любезно согласился стать моим «крестным отцом». Таким образом я приобщился к аристократическому спортивному клубу.

...Дикие звери в сельве выбирают места для отдыха либо у ручья, либо в тени раскидистых деревьев. Там при лунном свете вершатся законы природы. Там проводят в играх свой мирный час звери. Там же происходят смертельные схватки...

Благодаря Мерседес круг моих друзей становился все шире; он помогал мне постепенно привыкать к обычаям этой страны. Я вновь увлекся теннисом. В этом виде спорта я когда-то отличался, но вот уже лет десять не держал в руках ракетку.

В «Атлантике» мы играли в теннис вечерами по субботам, а в воскресенье — утром. В игре обычно принимал участие все тот же круг друзей: голландский посол и его супруга, молодой француз, эмигрант, которому я помог устроиться на службу в фирме «Сентраль» еще до разрыва с Фрицем; двое моих соотечественников, поселившихся здесь много лет назад, и Мерседес с супругом. Главный холл клуба, выдержанный в стиле картинок из наиболее популярных американских журналов, с наступлением сумерек являл собой необычное зрелище. Здесь собирались представители самой разнообразной и экзотической фауны. Вот попугаи с вызывающе ярким плюмажем, а вот зебры в строгом наряде. Далее изящные норки, блистающие мехом, и стареющие львы, беззубые, с сильно побитой годами шкурой...

После игры в теннис мы обычно садились за один столик, где к нам присоединялись другие члены клуба. Так мы сидели, перебрасываясь в кости, потягивая коктейли. Довольно легко за этим занятием мы убивали часа три, остававшиеся между игрой и ужином. Мои друзья обычно заказывали виски. Вместо закусок на столике, как принято в той стране, стояли блюда с кусочками жареной свинины и кукурузными хлопьями. Не в силах привыкнуть к местным кушаньям, я заказывал себе непременную кружку пива и кусок колбасы, привлекая этим всеобщее живейшее внимание.

— Ах, эти немецкие традиции! Уж эти традиции! — восклицали вокруг меня в один голос, и я даже испытывал некую ущербность от принадлежности к нации, потреблявшей пиво и колбасу, тогда как, согласно англосаксонским традициям, мне следовало бы потягивать виски с содовой, и это соответствовало бы идеалам демократии. Однако в клубе было известно, что я бежал от преследований нацистов, поэтому все ко мне относились доброжелательно. Более того, вскоре я стал здесь для каждого «своим человеком». Как должное были приняты мой традиционный котелок, трость и неизменная склонность к колбасе и пиву.

Наиболее давние члены клуба, а также дети и родственники его основателей принадлежали к самой верхушке «избранных». Все они побывали в Европе, стремились беседовать с иностранцами на анг-

лийском и французском языках. Все они с презрением относились к новым членам клуба, всячески давая последним почувствовать случайность их пребывания в среде «избранных».

Со временем «новенькие» создавали собственные группировки, стремясь вытеснить ветеранов и таким образом занять более высокие ступени на иерархической лестнице. Однако в данной игре силы расстанавливались сложнее. Дело в том, что значительное число членов клуба не принадлежали ни к первой, ни ко второй группировкам, но по своему положению в обществе они зависели от управляющих банками — членов все того же правления! Именно последние были королями местных джунглей, а потому не принадлежавшие к группировкам, как правило, поддерживали статус-кво.

Допуская к себе нескольких «новеньких», заправилы клуба маскировали присущую ему кастовость, ненавистную для всех, кто составлял население страны. Как и всюду, в «Атлантике» был популярен софизм о равных возможностях для всех граждан.

Клуб «Атлантик» был сколком большого мира. Что правда, то правда — высокий пост в клубе мог занять каждый, но... только заслужив благосклонность Ла Кабреры. Это относилось и к новичкам, проявившим достаточную ловкость в борьбе. Вот как мне объяснил разграничения в этом странном мире некий доктор Фаусто, не занимавшийся спортом, однако завсегдатай клуба.

— Видите ли, сеньор К.,— говорил доктор, и глаза его сквозь огромные черепаховые очки насмешливо блестели.— Здесь, как и в Европе, имеется несколько разновидностей аристократов. Первые принадлежат к эпохе «империи», вторые завоевали свое место под солнцем благодаря своим связям с промышленностью. Когда вы слышите такие фамилии, как Ларрета — владельца текстильной фабрики «Комтекс», или Ласкурраин — хозяина другой текстильной фабрики, «Теланеза», считайте, что вам рассказывают о великих сражениях, подобных боям под Ваграмом и Йеной. Это имена лидеров современной промышленности, равные именам феодальной знати. У нас мало родовитой аристократии. Наша страна молода, и состояния наживались на золотых приисках, на торговле хинином и индиго за какое-нибудь столетие.

Присутствующие одобрительным смехом встретили высказывания доктора Фаусто, а он между тем развивал свою мысль далее:

— Есть семейства, которые стали «добропорядочными» лишь в начале нынешнего века. Нажились на экспорте кофе. Экспорт был свободен от пошлин, вырученная валюта давала в стране сто процентов прибыли. Эта часть нашей аристократии стоит ступенькой ниже, чем та, которая разбогатела на хинине. Однако выше, чем та, которая поднялась на спиртных напитках и на сахарном тростнике...

Несколько минут длилось молчание, пока я не осмелился задать вопрос:

— И кто же эти последние?

— О! Вы не знаете?! До 1910 года торговля спиртным была монополией департаментских властей, а государственная казна пустовала. Поэтому правительство то и дело прибегало к такому средству, как продажа — за гроши — права на производство крепких напитков «куму» очередного губернатора. Так создавались грандиозные состояния. Третье поколение нашей плутократии выросло на спиртном и уже породнилось с тем, кто вырос на хинине и кофе. И все они вместе — аристократия, освященная церковью, гордая титулами, купленными у его святейшества папы римского. Титулы, конечно, не такие громкие, как прежде, но ведь все равно титулы! Сегод-

ня,— продолжал Фаусто,— состояния в основном создаются на торговле наркотиками, лекарствами, скобяными товарами, заграничными винами, мужской одеждой! Чем только не торгуют! Но такие состояния уже не создают положения в обществе, если у вас нет загородной виллы, где бы вы могли принимать друзей по воскресеньям.

Последовал новый взрыв смеха. Доктор Фаусто закончил свою речь словами:

— Многое зависит и от предмета торговли; одно дело — владеть ювелирным магазином и совершенно иное дело — торговать дамскими чулками. Даму из высшего света не будет шокировать встреча на вечернем приеме с ювелиром, с которым она днем обсуждала модель нового кольца. Но этой даме будет весьма неприятно, если тот, кто продал ей днем пару чулок, увидит их на ней вечером.

Безжалостные определения доктора лишь подтвердили мой прежний вывод: и здесь в расчет принимаются только деньги. Да, «старой аристократической крови» здесь нет и в помине, ее заменило золото. В буржуазном и плутократическом мире положение в обществе определяется происхождением состояния и эпохой, в которую оно наживалось. Даже, точнее, временем, когда та или иная династия отрывалась от земли и надевала городские туфли. А следующее поколение этой династии уже говорило на иностранных языках, что считалось необходимым условием принадлежности к счастливому миру «избранных».

...Есть в джунглях неписаный закон. Едва появится на небе луна, из чащи выходят хищники — и те звери, которых природа не одарила ни клыками, ни когтями, отступают перед сильнейшим...

Власть легко приобретенных денег здесь была непостижимой, а ведь я сделал себе капитал менее чем за две недели с помощью нескольких телефонных звонков адвокату Лаинесу! Перед наследниками состояний были открыты все двери; точно так же они открыты перед теми, чьи фамилии то и дело мелькали в разделе светской хроники местных газет. Важнейшие государственные посты, руководство крупнейшими частными предприятиями, университетские кафедры — даже в знаменитом университете «Атлантида» — выдавались и получались так же, как звания почетных членов клуба. Таким же путем добился своего поста посол Бетета. Некоторые посты «выдавались» потому, что претендент принадлежал к правящему кругу; другие, менее заметные,— из-за необходимости соблюдать хотя бы внешне равенство и равноправие, которыми здесь так гордились.

Особенной популярностью в этой стране пользовалась история, как чей-то «незаконнорожденный» сын стал президентом республики. История эта рассказывалась в подтверждение того, что здесь принадлежность к аристократии не играла решающей роли. «Избранные» сохраняли свои преимущества даже перед лицом смерти. Сколько раз в «Атлантике» я слышал: «У такого-то обнаружен рак». Или: «Такой-то снова отправился в Соединенные Штаты для очередного медицинского обследования». А через несколько дней в газете появлялось сообщение о том, что один из этих больных назначен консулом в США. Даже поездку к месту лечения сеньор «избранный» совершал за счет казны!

Тот факт, какая партия находится у власти и какая будет править в будущем, не играл никакой роли. Жители Ла Кабреры никогда не проигрывали: дипломатами отсюда уезжали на всю жизнь. Правда, бывали случаи, когда правительство ограничивалось тем, что больному, намеревающемуся выехать за пределы Ла Кабреры в поисках более подходящего климата, присваивалось лишь звание «ad hono-

rem»[1]. Этот факт в данной ситуации не играл особой роли, ибо паспорт все равно был дипломатический! А вообще расходы на консулов, послов и посланников множились, достигая поистине астрономических цифр. И как могло быть иначе? Ведь правительство, которое не желало в такой форме оказывать внимание обитателям Ла Кабреры, немедленно объявлялось «некомпетентным» и «бездарным». Государственная машина приводилась в движение руками тех, кто считал себя — и являлся на деле — хозяевами страны.

Может возникнуть вопрос: какую роль играли представители интеллигенции, художники, ученые да и сами политики? То есть те, кто в других странах составляет особый круг и оказывает влияние на жизнь общества? Наверно, они и здесь существовали, во всяком случае я так предполагал. Однако их достоинства опять-таки оценивались лишь тем, в какой степени их творчество было замечено в мире «избранных». В национальной художественной галерее премии присуждались картинам, автором которых, скажем, была дамочка из высшего света, а творения тех, кому европейская и мексиканская критика прочила большое будущее, замалчивались.

То же самое наблюдалось и в национальной литературе. Бестселлеры, как следовало предполагать, отнюдь не принадлежали перу талантливых и зрелых мастеров; их авторами были юнцы из «избранных». Создаваемые ими романы и биографии высоко котировавшихся представителей Ла Кабреры пользовались особым вниманием. Зато с какой скукой, с зевотой встречались произведения лучших писателей, посвященные родной земле, народной тематике,— ими занимались лишь профессиональные критики.

Никакие соображения ни возрастного, ни сословного характера не могли разрушить атмосферу семейственности, создаваемую деньгами. Помню, как в одном из городов Атлантического побережья на крещение богатого наследника пригласили местного архиепископа. Церемонию предполагалось провести на острове, куда можно было добраться лишь на прогулочной яхте. Ради такого случая кто-то из друзей предоставил счастливым родителям собственное судно. С берега местные рыбаки с удивлением наблюдали, как его преосвященство, пребывающий в весьма преклонных летах, одетый в торжественные одеяния, соответствующие его рангу, с трудом вскарабкивался по веревочной лестнице на борт яхты. Своим присутствием досточтимый прелат должен был придать особый престиж ритуалу.

После разрыва дипломатических отношений со странами «оси» были приняты определенные ограничения для передвижения внутри страны немцев, японцев и итальянцев. За разрешением им приходилось обращаться в военное министерство. Когда я рассказал об этом Лаинесу и добавил, что мне хотелось бы съездить на побережье, адвокат с присущей ему любезностью немедленно ответил:

— Ничего нет проще! Одну минуточку!

Он позвонил секретарше и приказал немедленно соединить его с министром.

— Алло! Бернардо! — начал он.— Ну, как дела? Как поживает Сара? А малыш Сариты?

С другого конца телефонного провода он получил подробные сообщения о здоровье каждого из членов семьи министра и лишь после этого приступил к делу.

— Послушай, Бернардо, хочу попросить тебя об одном одолжении. У меня сейчас находится сеньор Б. К. Очаровательный человек! Наш общий друг, к тому же член клуба «Атлантик», честнейшая и

[1] Почетное, без жалованья. *(Прим. перев.)*

достойнейшая личность! Естественно, такой же обязательный, как и все семейство К. Он намеревается выехать на океанское побережье, мне очень бы хотелось, чтобы ты распорядился о пропуске для него.

Почти немедля последовало согласие, и дон Диего начал диктовать мои имя и фамилию. Затем он повернулся ко мне:

— Разрешение будет готово к четвергу. Вам придется лишь съездить за ним. Обратитесь прямо к министру, генералу Бернардо Бельо. Скажите, что вы — от меня.

Излишне говорить, что в указанный день пропуск был готов. Мне не пришлось даже беспокоить генерала. Конверт лежал у дежурного, которому, по всей вероятности, приказано было обойтись со мной особенно учтиво.

Мои новые друзья с полным правом могли сказать: «Государство — это мы», слегка переиначив известное изречение Людовика XIV: «Государство — это я».

Трудно было разграничить частную жизнь моих друзей из Ла Кабреры и их общественную деятельность. Нередко мне казалось, что они представляют в государстве какой-то совершенно особый класс, что их личное существование и заботы важнее государственных проблем и так же неотделимы от жизни страны.

Помню, в страну прибыл с визитом вежливости некий принц — глава государства. Естественно, ему были оказаны должные почести, проведены официальные приемы. Здесь считается, что только «избранные» обладают искусством принимать гостей «по-европейски» и только «избранные» достойны принимать принцев, в силу чего полномочия по приему и развлечению высоких гостей были поручены «государству в государстве», то есть Ла Кабрере. Принц расположился не в посольстве своей страны и не в официальной резиденции: один из моих новых друзей предоставил ему свою виллу. Другие также старались оказать гостю достойный прием: принц был приглашен на чай в загородную резиденцию, и хозяева одели слуг в костюмы средневековых стрелков. А некая дама даже велела отлить из золота ключ от своего дома и подарила принцу на память о визите в эту страну.

Проехать столько километров, чтобы вновь встретить такое же общество и те же развлечения, что и в Нью-Йорке, Париже или Санкт-Морице! Все это не могло не вызвать у иностранца чувства, схожие с теми, которые испытывает путешественник, попадающий в сердце Африки в надежде увидеть диких зверей на свободе, а вместо этого созерцает их через решетки клеток, ничем не отличающихся от тех, которые можно встретить в любом зоопарке.

— Сеньор К., почему бы вам не получить ссуду в банке на полгода, а затем пролонгировать срок возврата? В таком случае мы могли бы купить на паях сто тонн типографской бумаги,— предлагали мне в «Атлантике».

— Не знаю, предоставят ли мне кредит...

— Естественно, дадут. Я познакомлю вас с управляющим банка, он сидит за соседним столом.

Вскоре банк предоставил мне кредиты, и сделка пошла так, как была задумана. Иначе и быть не могло. Цены росли из года в год, но это чувствовали лишь те, кто жил на свое жалованье, у кого не было никаких капиталов, кто не мог «получать кредитов». Для «избранных» же жизнь становилась все легче. Повышение цен на товары и продукты лишь вдохновляет тех, кто их производит или выпускает на рынок. За редкостным исключением, главной целью каждого, кто обитал в дебрях Ла Кабреры, были деньги. Поэтому обязательную тему любого застолья составляла последняя крупная сделка. Друже-

ские связи устанавливались и рушились в зависимости от финансового соперничества; источником семейных разладов чаще всего была та же золотая лихорадка, которая пожирала всех без исключения.

...Жажда приводит к одному и тому же источнику всех зверей, даже если жизнь более слабого при этом находится под угрозой...

Однажды в газетах под крупным заголовком появилось сообщение: «Состояние семейства Кастаньеды — предмет сенсационного юридического спора. Адвокаты спорящих сторон излагают свои точки зрения газете «Эль меркурио».

— Что это означает? — спросил я одного из своих друзей.— Почему юридический спор по столь частному делу должен стать достоянием широкой публики?

— Потому что сделки, коммерция — любимая тема широкого читателя. Об этом деле уже столько было разговоров. Поэтому спорящие стороны вынуждены были прибегнуть к помощи газет, чтобы дать достоверные пояснения.

Настроение дельцов в тот момент можно было сравнить разве что с ликованием африканского племени, натолкнувшегося на кладбище диких слонов, где под слоем камней и пыли скрываются ценнейшие бивни. Трудно подобрать здесь более точное сравнение.

За столиками, где сидели дамы — великолепные! — стремлением которых было будить желания своих соседей мужчин, бокалы то и дело наполнялись напитками, располагающими к полнейшей откровенности. А разговор все время вращался вокруг проклятого судебного дела.

— Управляющий в обществе получает ежегодно сорок тысяч. Вся суть в этом,— сказал кто-то.

— Но налоги при разделе составили около трех миллионов,— добавил другой.

— Капитал, оставленный стариком, даже если не прикладывать к нему руки, приносит ежегодно шесть миллионов чистого дохода.

Если кто возражал против подобного заявления, в спор немедля включались все присутствующие. Казалось, что прелестные женщины в эти мгновения исчезали, настолько мужчины были поглощены цифрами и только цифрами. Более того, в сердцах мужей, уставших от собственных жен, поселялись не новые привязанности, как это случается у мужчин,— ими овладевала навязчивая страсть «делания денег». В глазах общества она была куда простительнее, чем связь с женщиной. Двадцатипятилетние дамы, в свою очередь, разочаровавшись в мужьях, занятых финансовыми операциями, становились легкой добычей любого, оказавшего им внимание. Такие женщины обычно увлекались крепкими напитками или убивали время за игрой в гольф, пытаясь, таким образом, не думать о том, что они преданы забвению. ...Это смахивало на положение самок хищников в джунглях. Из укромного уголка наблюдают они за вольностями своего самца и мирятся со всеми его прихотями...

А на другом континенте гибли тысячи и тысячи молодых людей — русских и немцев. Они лежали в скованных холодом русских степях, и вместо крови их артерии и вены заполнял лед. Каждую ночь взрывы бомб сотрясали полуразрушенные английские города. Подданные британской короны наблюдали, как в облаках пыли исчезали руины их некогда могущественной империи. Бельгийские, греческие, французские дети умирали от голода. Для меня контраст между этими двумя мирами был драматически ошеломляющим. Мир Южной Америки, где все так просто и легко, где под безоблачным небом протекает жизнь кучки «избранных», использующих любые рычаги, любые связи, чтобы в эпоху всемирной катастрофы — которая их будто и не

касалась — множить свои состояния. И мир по другую сторону Атлантического океана, где под угрозой полного исчезновения изнемогала веками созданная цивилизация.

К нам, европейцам, жизнь в этой стране была благосклонна во всем. Я даже испытывал угрызения совести, будто изменил сам себе, приобщившись к миру счастливых людей, где каждый строил свою жизнь, как ему заблагорассудится. Иногда я испытывал отчаяние, понимая, что это устрашающее окружение затягивает меня все глубже и глубже. И не оставалось надежд выбраться из трясины.

Но этот мир, как джунгли, все более завораживал меня. «Я буду богатым, очень богатым. И у меня будет много друзей... Кто знает, возможно, и Ольга уступит моим желаниям... Возможно...»

Если бы эти джунгли не были полны неведомых мне тайн! Если бы я не принял путаные тропинки за прямые, расчищенные аллейки, по которым прогуливаться так приятно!

VIII

Вступление в клуб «Атлантик», а также возрастающее благосостояние навели меня на мысль приобрести автомобиль, о чем ранее я и не помышлял.

После нападения на Пирл-Харбор производство автомашин в США для продажи частным лицам практически прекратилось. Думать о приобретении машины европейской марки было по меньшей мере безумием. Мне пришлось купить довольно-таки подержанную автомашину, хотя и по совершенно фантастической цене.

Мне казалось, что в небольшом городе, в котором я ныне проживал, водить машину намного легче, чем в любом европейском, где я колесил более двадцати лет на своем «мерседесе». Машин здесь, конечно, было намного меньше, и улицы большей частью прямые, как вытянутые шнурки. Но отсутствие порядка и сумасшедшая безалаберность движения транспорта удручали меня! Как будто никто из местных водителей понятия не имел, что на больших автострадах есть ряды для скоростной езды и ряды для грузового транспорта. Грузовики мчались по полотну дороги, где только им вздумается, порой пускаясь в бешеные гонки. А то вдруг в ряду для легковых автомобилей еле плелся старый фургон: шофер просто размечтался, наслаждаясь мелодией очередного болеро, доносившегося из радиоприемника.

Борьба, которая отмечает жизнь джунглей, отличала, хотя и в миниатюре, жизнь водителей такси. Как угорелые они носились по городу в погоне за пассажирами, не уступая друг другу в скорости. Шоферы останавливались в самых неподходящих местах и тормозили так резко, что каждый, кто следовал за такси, неминуемо должен был врезаться в хвост машины. Будучи немцем, да к тому же протестантом, я твердо полагал, что ряды для движения транспорта бог создал так же, как жизненные пути для каждого из своих творений. Поэтому я строго придерживался правил уличного движения и был тверд в их соблюдении, будто речь шла о соблюдении десяти заповедей евангелия.

Однажды я направлялся к центру города. В одном из подъездов я увидел спасавшуюся от дождя белокурую женщину. Мне она показалась похожей на Ольгу. Я объехал вокруг дома, остановился у подъезда и показал жестами, что могу подвезти ее. Ольга — а это была она — обрадовалась. Она села рядом со мной; с волос ее стекали дождевые капли, и она все пыталась вытереть их косынкой. Мы никогда не бывали рядом так близко. Я обратил внимание на удивительную прозрачность ее зеленых глаз. Ее глаза улыбались.

— Куда вас отвезти, сеньорита? — спросил я ее.

— Если вам не трудно, в салон «Прадо». Я очень тороплюсь.

— Конечно. Но ведь идет дождь, и клиентов наверняка нет. Не зайти ли нам в ресторан и не выпить ли чего-нибудь?

— Спасибо, но буквально на несколько минут.

Мы вошли в ресторан. Я заметил, что Ольга, всегда уверенная в себе, робко оглядывалась по сторонам. Она не знала ни одного названия иностранных вин, естественно, за исключением виски. Ей пришло в голову заказать бокал пива. Я внимательно наблюдал за ней, и мною овладевало чувство горечи, смешанное с любопытством.

— Ольга,— осторожно обратился я к ней,— вы даже не представляете, как мне хотелось бы стать вашим добрым другом! Как мне хочется помочь вам! Вы не верите мне, избегаете меня. Вы думаете, я не понимаю ваших уловок? Я знаю, здесь считают, что немцы глупы. Возможно! Но не до такой же степени! Не надо быть очень проницательным, чтобы не понять, что вы не хотите встречаться со мной!

— Сеньор К.,— ответила она,— хотите я докажу, что полностью доверяю вам?

— Конечно, докажите, и немедленно.

— Тогда одолжите мне пятьдесят песо.

У меня не было с собой денег, поэтому, даже не пытаясь шарить по карманам, я ответил Ольге:

— Я не могу сейчас. У меня с собой нет. Я пришлю вам эту сумму завтра, в парикмахерскую.

— Не надо, спасибо. Деньги нужны мне сегодня вечером.

Мы поболтали о каких-то пустяках и расстались, оба с чувством горечи. Она — из-за моего отказа, а я боялся, что она сочла меня за жадного лгуна.

Прошло несколько дней. Я вновь заходил в салон, но мы уже не возвращались к этой теме. А затем произошло событие, после которого я решил не искать более встреч с ней.

Решение не видеть Ольгу возникло после разговора с Мьюиром, тем самым «гринго», как называла его Ольга. Таких избалованных сыночков из благополучных семей сами американцы зовут «плэйбоями». Для подобной породы людей нет большей проблемы, чем выбор галстука или ночного кабаре.

Мьюир в буквальном смысле слова стал колдуном местных джунглей: ведь он обладал всем, что в глазах обитателей Ла Кабреры человека делает человеком, но главное, он был представителем посольства США, а в этих странах американский посол может быть сравним разве что с римским проконсулом в порабощенных провинциях.

У Мьюира всегда было много денег: кроме своего жалованья он постоянно получал от матери кругленькие суммы в долларах, которые после реализации на черном рынке по бешеному курсу позволяли молодчику жить в полной роскоши.

Он болтал на трех-четырех языках и всегда был в курсе последних новинок в области танцев. Американец с удовлетворением наблюдал, как вокруг его персоны создается особая атмосфера почитания и страха. Чувство страха он даже всемерно эксплуатировал. Эта черта характера Мьюира претила мне, но откровенную антипатию к нему я почувствовал после одной нашей ночной беседы.

Как-то вечером американец вдруг очутился в одиночестве: не оказалось ни одного из его местных «друзей». И вот тогда-то в самых омерзительных выражениях он стал ругать всех здешних, кто относился к нему с благоговением и почтительностью. Он принимал меня в своей квартире, где царил чудовищный беспорядок. Стены гостиной

были украшены портретами кинозвезд и вымпелами американских университетов, на диване возвышалась гора спортивных пиджаков. Полупьяный Мьюир разглагольствовал, не обращая внимания на царивший вокруг хаос:

— Эти проклятые «дагос»!

«Дагос» — такой презрительной кличкой в Соединенных Штатах и Англии называют людей, говорящих на романских языках.

— Только и думают о том, как бы вырвать очередной заем у Соединенных Штатов! И без отдачи! «Дагос» никогда ничего не делают сами! Они ленивы, неисполнительны, неточны в своих высказываниях и непостоянны в своих настроениях!

— Но латиноамериканцы так гостеприимны! — возразил я.— Дружелюбность — их отличительная черта. К тому же они обладают чувством собственного достоинства, корни его уходят в традиции рыцарей, испанских идальго!..

— Бросьте! — резко оборвал меня Мьюир.— Эти типы обладают всеми пороками итальянцев и пуэрториканцев, заполнивших «дно» Нью-Йорка!

— Помилуйте, мистер Мьюир! — испугался я.— Не говорите так! Ведь вас могут услышать!

— Меня это не волнует! Пусть слушают! Я их не боюсь. Зато пусть осмелится кто-либо слово сказать против Соединенных Штатов. Никто не скажет! — заключил Мьюир.

«Никто» в данном случае относилось лишь к тем, кто экономически зависел от его страны. А другие круги, к которым принадлежала Ольга, относились к самому Мьюиру, к его повадкам с нескрываемым презрением.

Мне стало неприятно его слушать — и в знак протеста я ушел. Тем не менее наши отношения не прервались. Напротив, некоторое время я даже думал, что мы сделаемся друзьями. Мне вдруг показалось, что Мьюир мог стать моим гидом в этих непостижимых для меня людских дебрях, которые не переставали удивлять меня неожиданностями.

В глубине души я завидовал молодости и элегантности Мьюира. Особенно острым было это чувство, когда под звуки патефона Мьюир выделывал в залах «Атлантика» замысловатые па модных американских танцев. Мьюира постоянно окружал целый сонм местных девиц от восемнадцати до двадцати двух лет, за которыми тот, не выделяя никого, небрежно ухаживал. Эти девицы, видимо, считали, что они призваны увеселять проживавших в городе американцев — будь то сотрудники американского посольства, члены военной миссии, координаторы по каким-то межамериканским проблемам или простые чиновники нефтяных и других американских компаний. Единственное, что требовалось от американцев, это чтобы они были белокурыми, говорили по-английски и пили в большом количестве виски. Подобные качества доводили местных девиц из высшего общества до экстаза. «Victory girls», «девочки победы» — так иронически называли их по аналогии с их единомышленницами-американками, которые атаковали солдат у железнодорожных вагонов и проникали даже в казармы, движимые весьма похвальным желанием «поднять солдатское настроение». «Девочек победы» называли еще и «солдатским хлебом», «координаторшами», причем клички эти в ту эпоху были популярны и в Лиме, и в Сантьяго. А в Мексике их называли «малинчистками» [1].

[1] «Малинче» — так звали мексиканку-индеянку, которая была переводчицей и наложницей конкистадора Эрнана Кортеса в начале XVI века. Ныне «малинчизм» в Мексике — символ оппортунизма, приспособленчества, политического предательства. *(Прим. перев.)*

Мьюир чувствовал себя в очаровательном окружении, как фавн среди нимф. Я всегда восхищался, наблюдая за ним со стороны, и нередко испытывал при этом чуть ли не чувство отеческого благодушия. Мне все казалось, что он вот-вот возьмет в руки флейту и в бурном танце мелькнут из-под фрака его мохнатые козлиные ноги.

В это время входили в моду кубинские болеро, вытесняя ритмы американских негров (в ритмах этих мистер Мьюир особенно преуспел). И «гринго» молниеносно усвоил новый танец, исполняя его едва ли не с бóльшим блеском. Надо сказать, что болеро — танец особый. Соблазнительный и увлекающий, как никакой другой, болеро прекрасно отражает латиноамериканский дух. Исполнение танца несложно: под меланхолическую музыку ведется не менее меланхолическое повествование-песня, находящее самый горячий отклик у слушателей. Я бы сказал: болеро — стихия тех, кто интересуется чужими мужьями и женами. Слова болеро всегда говорят о горячей, молчаливой страсти, которую невозможно удовлетворить. Я нередко раздумывал: какие мысли бродят в голове того супруга, который из-за столика следит, как его половина отдается танцу в пылких объятиях партнера.

Какая разница между торжественной мелодией, буколическими стихами вальсов моей молодости и болеро, позволяющими завязывать интимные отношения прямо на глазах! Танец этот разрешает предаваться заманчивому адюльтеру вопреки всем общественным и религиозным условностям!

Так любим и полюбили сразу,
Лишь встретившись — и все на свете позабыв...
Любовь для нас — сияющее солнце,
Любовь для нас — божественная песня.
Но час настал, пора расстаться нам...
Не потому, что не хватает ласки, люблю тебя по-прежнему душой.
Во имя моей страсти, во имя твоего счастья —
Я говорю тебе: прощай!

«Прощай... во имя твоего счастья...» Интересно, что же это было за счастье, которое заставляло молодых людей покидать своих любимых вопреки обуревающим сильным чувствам?

Слушая эти песни, я вновь ощущал себя в непроходимой сельве. В зарослях, залитых лунным светом, под светом звезд звучит тысячеголосая симфония любви.

Люди из средних слоев, как и завсегдатаи аристократических клубов, прибегают к болеро, чтобы привлечь внимание женщин. В конце концов мелодия эта стала напоминать мне охотничий рог, звук которого так походил на жалобные стенания самки оленя.

Настроения и музыка всех болеро по сути своей неизменны, меняются только слова. Весь смысл заключается в том, чтобы изощренными словесными выкрутасами и намеками накалить до предела атмосферу греховной любви, что делала столь сладостной жизнь этих молодых.

Такой любви нигде на свете нет.
Как нет существ, что любят так, и только так...

...В сельве слух обостряется до предела. Ухо улавливает даже на далеком расстоянии все, что творится в зарослях. Тот, кто жил под сводом ветвей, не пропускающих солнечного луча, издалека чувствует приближение грозы или слышит журчание ручейка, а звери, даже не видя друг друга, осязают на расстоянии противоположный пол подобных себе.

Точно так же в мире страстей на расстоянии улавливаются эмоции, внушаемые мелодией и словами болеро.

Когда-нибудь, вероятно, будет написана история жизни в Южной Америке нашей эпохи. Думается, что в перечне самых разных и неожиданных подрывных факторов придется вспомнить о роли таких вот песен. Внешне совершенно невинные, они исподволь подводили к моральному банкротству.

Нелишне будет упомянуть, что болеро породили даже новую форму политических выступлений и сыграли свою роль в появлении на всем континенте так называемых «безрубашечников», этих своеобразных «бунтарей». Об этом мне сказал Айярса, демагог и лидер неопределенных левацких сил. Однажды, прослеживая, как мимо нас плывут в тесном объятии пары танцующих, он заметил:

— Между прочим, в этом явлении заложен глубокий социальный смысл,— говоря это, он присвистывал в конце слов, чем обычно отличается произношение здешних чистильщиков сапог.— Болеро — чисто латиноамериканская музыка, она отражает неуловимые настроения народа, стремящегося сбросить сковывающие его цепи. Кончилась эпоха североамериканских ритмов!

Несколько дней спустя Айярса пригласил меня на политический митинг, на котором ему предстояло выступить от имени тех, кого он называл «мое движение». Кстати, в этом столпотворении я потерял золотой портсигар, который подарил мне Монжелас в день моего сорокалетия, о чем свидетельствовала дарственная надпись, им же самим выгравированная. Но я бы не пожалел еще дюжины таких портсигаров за возможность наблюдать подобное зрелище! Айярса (он славился в местных кругах как великий оратор) начал свою речь словами, которые были встречены присутствующими громом аплодисментов. Это были слова модного болеро, несколько переиначенные:

— Меня обвиняют в грехе. В том, что я — демагог. Не знаю, возможно, это и грех. Возможно, я и заслужил кару божию. Но если это грех, я признаюсь в нем, ибо в этом мире, как и в потустороннем, прощаются лишь грехи, совершенные во имя любви. В час, когда мне придется предстать перед судом народным, я смогу заявить с полным правом: да, я грешен! Грешен перед моим народом в одном: я люблю его!

К этому приему Айярса прибегал не раз в своей речи:

— Как листья, иссушенные зноем, жаждут росы, с таким же нетерпением ждем мы слез представителей олигархии. Как сказал поэт: «Слезы, пролитые в золотой кубок, вызывают лишь сочувствие». И так как эти слезы они прольют, раскаявшись в своих деяниях, мы должны будем простить их, как некогда Христос простил грешницу Магдалину. И слезы олигархов станут высочайшим свидетельством их смирения перед волей народа.

Снова шквал аплодисментов. Айярса продолжал:

— Результаты предстоящих выборов не интересуют меня. Мы уже терпели поражения. Но мы вернемся к борьбе. И я вернусь к борьбе! И буду возвращаться к ней всегда, ибо я люблю свой народ! Я должен вернуться в бой! Без народа я перестану существовать. Те, кто сегодня нас преследует, завтра будут искать нас! Они будут заверять нас в своей любви, и мы поверим в то, что нам говорят. Ведь народу нельзя лгать! И все будут знать, что они пришли к нам раскаявшись и что впредь олигархи нас не предадут!

Айярса прекрасно знал секрет своего ораторского искусства и степень собственной популярности.

— Известна ли вам карьера Евы Перон? — спросил меня однажды Айярса.— Современный политический строй в Аргентине — результат определенного влияния танго. Народ этой страны в течение десятков лет слушал мелодии и слова танго: бедная девушка из пред-

местья — «аррабаля», и благородный полковник, и презрение высокомерных богачей.

В те месяцы жизнь моя текла весьма размеренно. Я делил свое время между встречами с друзьями из числа всесильных, несложными сделками, приносившими мне порой неплохую прибыль, и игрой в теннис. По вечерам же я допоздна упражнялся в потреблении спиртных напитков.

Однажды в субботу, после того как все мы в баре клуба «Атлантик» выпили несколько более обычного, Мьюир попросил меня отвезти его домой: квартира, которую он занимал, находилась в центре города. Нам совершенно не о чем было говорить, поэтому, чтобы как-то завязать беседу и заодно польстить его мужскому самолюбию, я сказал:

— Вы пользуетесь великим успехом у женщин! Дамы ходят за вами по пятам! Многое я отдал бы, чтобы иметь ваш возраст!

— Так было всегда. И везде,— ответил Мьюир.— Ходят многие, за исключением одной, которая тебе нужна...

Я тут же подумал об Ольге, хотя вначале не предполагал, что Мьюир мог иметь в виду именно ее. С подчеркнуто безразличной улыбкой я произнес:

— Кто же это, например? Уж не наша ли общая знакомая — маникюрша Ольга?

— Она как раз из тех, кто меня ищет. Но мне она совершенно не нужна. Как-то я пригласил ее поужинать, и представьте: она вместо аперитива выпила... бокал пива! Болтала и болтала — и все какие-то глупости о своем семействе. В конце концов Ольга так мне надоела, что я отвез ее домой, а сам отправился спать. Примерно два месяца после этого она мне не давала покоя. Всякий раз, когда я приходил в «Прадо», она спрашивала, чем мне не угодила, почему я не приглашаю ее. Я подумал, что девочка в общем-то недурна и почему бы не воспользоваться ее настойчивостью?! Но дело в том, что я совсем запутался в отношениях с некой замужней дамой, так что на Ольгу у меня просто не хватает времени. Но она по-прежнему докучает мне звонками. Приходится постоянно отвечать, что я занят.

Каким идиотом я почувствовал себя! Какое же это счастье — быть молодым! Подумать только! Я часами стоял с коробкой конфет у входа в захудалый кинотеатрик, ждал назначенных и несостоявшихся свиданий с Ольгой, отворачиваясь от удивленных взглядов, привлеченных моими щегольскими перчатками и великолепной тростью. А в это время Ольга выклянчивала у Мьюира встречи! Я поклялся самому себе никогда более не видеть Ольгу, всячески избегать встреч с ней, даже сменить парикмахерскую. Твердо решил обходить улицу, где она работает, и надо сделать это без всяких объяснений, которые вынудили бы меня признаться в том, что понимаю, каким дураком я был все это время.

В среду, последовавшую за излияниями Мьюира, я отправился искать другую парикмахерскую, хотя мне было очень нелегко изменять своим привычкам. Я зашел в какой-то салон. Толстая, неприветливая женщина уже в летах, молча подпиливала мне ногти. Мне показалось, что у нее — огромные зубы. В воображении опять встали чистые зеленые глаза и почти детская улыбка Ольги, ее неизменный вопрос: «Ну, что? Как дела?»

Ничего более не будет. Никогда. Я уже не услышу ее рассказов о домашних трудностях, о ссорах с сестрами, о человеке, который бросил ее с сыном, не думая, как ей будет тяжко жить.

Несколькими фразами об Ольге Мьюир растоптал все мои иллюзии. Я не пожалел бы времени, чтобы разузнать, каким образом она

добилась, чтобы Мьюир пригласил ее в ресторан. И не потому, что я собирался вновь встречаться с ней. Я стремился разгадать характер этого существа, столь коварно со мной обошедшегося без всякой на то причины. Что заставляло Ольгу столько раз заверять меня, что она хочет меня видеть? Видимо, лишь какое-то удовлетворение от сознания, что я — у ее ног.

Как от поворота кинжала в ране болью отозвались в сознании брошенные Мьюиром слова: «...и попросила бокал пива».

Идол слетел с пьедестала и, не разбившись, превратился в глиняную куклу. Может быть, Ольга и у Мьюира просила взаймы, когда они впервые остались вдвоем? Я собственными глазами видел, как ее благосклонности добивались все клиенты салона «Прадо». И не мог понять, почему эта женщина, способная просить деньги у мужчины, была такой сдержанной с теми, кто пытался ухаживать за ней. Возможно, в этом была ее тактика, приносившая ей немало успехов? Сначала заставить поклонника несколько месяцев находиться в постоянном, напряженном ожидании. После этого, видимо, она уже чувствовала себя вправе просить у мужчины денег, как это и произошло со мной.

Особенно неприятно мне было вспоминать ее лицемерные высказывания о Мьюире. В этом я видел еще одно свидетельство низости ее натуры. Зачем она исповедовалась мне в своих отношениях с «гринго»? Ведь ее никто не просил об этом. Почему Ольга с таким презрением говорила о самоуверенности «гринго» и в то же время, по его свидетельству, искала встреч? Почему она не скрывала это презрение, а хвасталась им, да так откровенно, что я только восторгался ею, видя в этом проявление ее независимой натуры, столь редкое в атмосфере верноподданничества, окружавшего Мьюира?!

Я понимал, что у нас с Ольгой нет ничего общего и что мои заботы никогда не смогут заинтересовать ее. Какое ей дело, когда придет конец войне: через месяц, через год или через десять лет? «Конец войны» и «мир», понятия, полные для меня такого значения, для Ольги были пустыми словами. Она никогда не смогла бы понять, что с наступлением мира и возвращением на родину сразу же было бы покончено со всеми моими злоключениями. В ее жизни проблемы никогда не могли быть решены сразу.

— Ольга, почему вы не выходите замуж? — спросил я ее.

— За кого? Никто не захочет брать женщину с ребенком. Кроме того, мне гораздо удобнее жить одной.

— Почему удобнее?

— Потому что я чувствую себя независимой. Я мечтаю только о том, что когда-нибудь встречу хорошего человека и буду жить с ним.

Что могла ждать Ольга от жизни? И существовал ли наяву этот ее «хороший человек»? А может быть, судьбой ее было до конца переходить из одних рук в другие? Ей придется работать в салоне всю жизнь; со временем ее изящество исчезнет, она станет непривлекательным, безликим существом, как та пожилая женщина в другой парикмахерской, чьи длинные зубы вызвали во мне непреодолимое отвращение. Щедрые чаевые будут оседать в руках более молоденьких и обольстительных женщин, и постепенно Ольге придется мириться с тем, что клиенты будут обращаться к ее услугам лишь в тех случаях, когда остальные кресла заняты.

Но ведь жизнь Ольги могла стать иной. Пусть у нее не было любви ко мне, но могла же она согласиться жить со мной и позволить мне обеспечивать ее. Почему бы мне не стать тем «хорошим человеком», о котором она мечтала. Ну да ладно. Пусть как знает. Нечто новое вторглось в наши отношения, и от этого никуда не уйти. Я узнал

ее с совершенно иной стороны, которую долго не мог разглядеть и которую постиг благодаря признаниям Мьюира. Она уже не была в моих глазах жертвой обстоятельств, вынужденной, как она мне твердила, угождать клиентам, избегать их приставаний, не осмеливаясь при этом сказать правду. И я более не считал ее страдалицей, с ранней юности познавшей одиночество. Беспринципное существо, привыкшее лгать с колыбели!

Естественно, я не мог винить Ольгу за то, что она не испытывала желания ходить со мной в кино и по ресторанам, или за то, что она предпочла столь обольстительного молодого человека, каким был Мьюир. Но почему же тогда с самого начала она не отвергла моих приглашений? Почему принимала их и заставляла меня бегать на свидания, уклоняясь затем от встреч под всякими детскими предлогами? Никогда не смогу простить, что она поставила меня в столь глупое положение. Я даже не стану упрекать ее — она ни о чем не узнает. Какой толк от того, что я вновь встречусь с ней и раздраженно заявлю, что мне известны ее лицемерие и что я не настаиваю на продолжении знакомства? Ведь я не был ни другом, ни любовником, ни мужем ее. Я был всего лишь одним из тех, кого она избрала и вовлекла в свою игру.

Хорошо, что мираж рассеялся. Я мог утерять чувство реальности и заблудиться в пустыне. И это в момент, когда я начинал завоевывать мир, который еще несколько месяцев назад был для меня неизведанным и странным.

Проходили недели и месяцы. Постепенно стихала боль, приковывавшая меня к радиоприемнику в ожидании новостей. По мере того как ширился круг моих связей и процветали мои дела, все реже думал я об окончании войны. Теперь я брал газеты или слушал радио лишь по ночам, да и то все получаемые сведения казались мне такими однообразными, что я предпочитал услышать их из уст моих соседок по пансиону.

Весь январь я отдыхал на побережье. На всем пляже возвышался лишь один отель, куда съезжались выдающиеся личности из крупнейших городов страны. Постепенно я забывал Ольгу и даже перестал испытывать неприязнь к ней, возникшую после разговора с Мьюиром. Все было так давно! Рана, нанесенная моему самолюбию, зарубцевалась. По возвращении в столицу я вновь зачастил в клуб «Атлантик».

К тому времени у меня окончательно созрело решение расстаться с еще оставшимися акциями «Сентраль». Вместе с Пересом и Лаинесом я задумал в начале следующего года создать акционерное общество.

IX

Столь привычная для каждого европейца смена времен года — осеннее умирание природы и возрождение ее весной — неизвестна в этой части Андских гор. Здесь не увидишь обнаженных рук-ветвей и ветер не гонит по дорогам опавшие листья. Глаз не порадуется зазеленевшему кусту, который наподобие первого луча, победившего хмурое утро, возвестит о наступлении новой, лучшей поры. Свет и сумерки здесь распределены поровну; дни и ночи круглый год одинаковы, разве что разные дозы дождя и солнца отличают их. Связать воспоминания о том или ином событии с ярким солнечным днем невозможно, можно только вспомнить, было в тот день холодно или жарко. Мой соотечественник Александр Гумбольдт, более века назад побывавший в этих местах, писал, что здесь царит вечная весна. Я бы ска-

зал — вечная осень. Дождь идет почти непрестанно. Местные жители делают вид, что это их очень удивляет, всякий раз заверяя иностранца, что «никогда еще не было столь холодной зимы». В январе — феврале — марте солнце появляется чаще, пока наконец не наступает засуха, которую здесь почему-то привыкли называть летом. У водопроводных колонок, питающих город питьевой водой (причем в количествах, совершенно недостаточных), выстраиваются очереди. А нам, иностранцам, снова и снова толкуют, что «никогда не было столь затяжного лета». Дороги покрываются пылью, и ездить по ним бывает довольно неприятно. Поля приобретают пепельный оттенок, сохраняющийся до наступления первых дождей.

Из года в год мне приходилось слышать одни и те же, похожие на припев грустной песенки, слова:

— Боже, какая долгая зима!

— Боже, какое невыносимое лето!

Фразы-штампы...

Характерное для тропиков однообразие времен года могло бы сделать мою жизнь невыносимо серой, как это бывало у европейцев, не располагавших автомашинами и вынужденных постоянно торчать в городе. Я находился в ином положении. Благодаря дружеским связям, которые изо дня в день становились все многочисленнее, я проводил обычно конец недели в долинах, у отрогов гор. При этом я выбирал местность, климат которой приходился мне по вкусу. Такие путешествия — всегда в сопровождении трех-четырех членов клуба «Атлантик» — обладали для меня особой привлекательностью. Во время всей поездки мы обильно угощались, последнее обстоятельство и объясняет дух близкого товарищества, царивший между нами. Там, наверху в горах, оставалась столица, окруженная полями. Они были разлинованы каналами и колючей проволокой, как в Голландии, с той лишь разницей, что классические ветряные мельницы здесь были заменены какими-то чудовищными механическими сооружениями, лишенными всякой поэзии.

Все дальше спускаясь с гор, мы въезжали в тропическую зону. Постепенно окружающая природа до неузнаваемости менялась. По каменным полуразвалившимся изгородям лепились цветущие орхидеи. В тени огромных деревьев, где все дышало тяжелыми испарениями, кустились папоротники. Посаженные по склонам гор кофейные деревца казались отсюда карликовыми черешнями, усыпанными спелыми плодами. Слух наш ласкал рокот водопадов — это заканчивали свой бег по горным ущельям сотни ручейков. Даже воздух, по мере того как мы удалялись от гор, наполнялся особым ароматом. То и дело из-под колес машины вспархивали птицы диковинного оперения. Мы, европейцы, таких птиц видели лишь в детстве на картинках.

Жара врывалась в машину, и в конце концов всем приходилось снимать пиджаки и продолжать путь в спортивных рубашках. Я лично так и не смог привыкнуть к этому. Оставаясь в душе благопристойным буржуа конца XIX века, я неизменно испытывал во время этой процедуры сильную неловкость: слишком давно я родился, чтобы позволить себе это в присутствии дам. Иногда мы останавливались в маленьких харчевнях, рассеянных вдоль дороги,— обычно они располагались по окраинам деревушек. Я уже привык к тому, что ночью мы обязательно встретим в одной из таких харчевен двух-трех пьяных работников, которые при мерцающем свете керосиновой лампы в сумерках крохотного зальца во все горло спорят о политике, пересыпая каждое слово отборной руганью. Для меня эти разговоры были столь же неожиданны, как если бы я увидел вдруг на дороге... райскую птицу! Всегда такие набожные и тихие, люди эти давали выход своей го-

речи, избирая в качестве мишени либо Христа, либо непорочную деву Марию, либо папу римского, которых они награждали самыми нелестными эпитетами. В странах протестантской религии сквернословие в адрес святых не принято.

А в этом словесном жанре, как я слыхал, испанцы — великие мастера. Однако, ни в Швеции, ни в Германии слепая злоба человека никогда не бывает направлена против имени божьего или слуг господних. Вольтер мог быть продуктом только такой страны, как Франция: его нападки на святыни не встретили бы понимания среди протестантов.

Когда же я смогу проникнуть в этот мир недоступных тайн, столь же загадочный, как и окружающая его природа?

X

Фусагасугá. Фу-са-га-су-гá... Это индейское название было мне известно задолго до приезда в Америку — еще в детстве я с трудом учился произносить его. Дядюшка Самуэль в письмах к моему отцу рассказывал чудеса об этих местах, где он приобрел летнее шале — «Эль Арболито». Детьми, полные восторга, мы слушали рассказы о дикорастущих орхидеях, о тропических ливнях, которые длятся по нескольку часов. По словам дядюшки, однажды в течение грозы он прочел при свете молний полный номер лондонского «Таймса» времен Крымской войны! Для нас, детей, не менее диковинным, чем страшная буря, казалось это индейское слово, которое невозможно было произнести: Фусагасуга! Кто бы из нас мог тогда подумать, что настанет время, когда это место станет лагерем заключения земляков моего дядюшки!

...Дорога резко поворачивала, и под сенью гигантских фламбуайянов, кроны которых пламенели огненно-красными цветами, возникали первые стены домов крохотного городка, увитые бугамбилией и лианой «ночная красавица». Вскоре мы уже въезжали на городскую площадь, где по воскресеньям, по окончании церковной службы, открывался базар. Мне доставляло удовольствие наблюдать, как отдыхавшие здесь в роскошных виллах перебирали, прежде чем купить, горы экзотических фруктов, как затем вступали в бурные споры с продавцами, в результате которых последние сбавляли несколько мелких монет.

Именно в этом городке я узнал, что между Мьюиром и моим кузеном Фрицем существуют какие-то отношения. И раскрылось это в одно из воскресений. Мы уже собирались отправиться в модный местный отель, когда Мерседес — она была в курсе моего разлада с Фрицем — предупредила меня, что только что видела американца и моего кузена на террасе ресторана. Мы решили поехать в другое место. Раз уж зашел разговор о Мьюире, я посчитал нужным воспользоваться случаем и рассказать Мерседес о том, с каким презрением отзывался он о ее родине и ее народе.

— Проклятый «гринго»! — возмущенно воскликнула Мерседес, и я услышал в ее восклицании отзвук голоса Ольги.— Из всех иностранцев, приезжающих в нашу страну, они единственные всегда живут особняком — «the American colony»[1]. Получая жалованье от своего правительства или от крупных североамериканских компаний, тот или иной «гринго» никогда не станет рисковать своими деньгами. Никогда не начнет «дела», полагаясь лишь на свои силы и сообразуясь со свои-

[1] Американская колония *(англ.)*.

ми возможностями. Американцы не заводят здесь друзей, не женятся на местных женщинах, не вступают с местными в торговые сделки,— не переставала возмущаться Мерседес.— Они не рубили здесь лес, не возделывали поля! Не создали ни одного предприятия, которое не явилось бы филиалом американской фирмы! А вот немцы — те внесли свой вклад в развитие нашей страны. Создали авиационные компании, распространили скотоводство, выстроили фабрики. Разве мы можем испытывать к осевшим у нас немцам ненависть только за то, что в стране, которую они покинули тридцать лет назад, сегодня существует жестокая диктатура?

Меня тронул взрыв негодования Мерседес, но я смолчал. Странное явление, по-видимому, представляли американцы в этом мире; мне они казались похожими на Маугли, известного героя Киплинга. Выросшее в джунглях дитя не только научилось распознавать секреты леса, но и покорять его!

Мерседес продолжала:

— Моя золовка высказалась обо всем этом гораздо точнее. Вот что однажды она заявила: «Немцы помогли даже нашим старым девам избавиться от печалей»... А «гринго» только и занимаются тем, что снимают «сливки» с рабского почитания окружающих. И начало этому положили дамы высшего света.

Я несколько растерялся. Неужели, как утверждала Мерседес, американцы злоупотребляли экономическим превосходством, чтобы осуществлять свои сугубо личные планы?

...Ветви деревьев сельвы, сплетаясь над моей головой, образовали плотную крышу, не пропускавшую дневной свет...

Я вновь подумал об Ольге, но уже с меньшим возмущением. Если то, что говорила Мерседес,— правда, не слишком ли суровым был мой суд над Ольгой? Ведь она — лишь жертва ситуации. Но ревность заставляла меня пойти в своих размышлениях далее. Ведь я осуждал в Ольге не то, что она влюблена в Мьюира. Дело заключалось в ином. Она пыталась убедить меня, что презирает Мьюира, потому что он — «гринго» и потому что он позволяет себе в обращении с ней вольности.

— Ваша вина, что американцы типа Мьюира чувствуют себя в вашей стране хозяевами,— сказал я Мерседес.— Сначала вы ими восхищаетесь, всячески угождаете, а потом удивляетесь, что они становятся деспотами.

— Кто ими восхищается? Кто им угождает? — воскликнула она с непритворным удивлением.

— Да все вы. Богатые, бедные, женщины, мужчины! Члены политической партии А и члены политической партии Б! Мне все это уже знакомо. То же самое происходило с англичанами в Румынии в давние годы.

— Англичане — другое дело,— возразила Мерседес.— Они, правда, упрямы до нелепости, что, впрочем, поможет им воевать. Британцы не меняют ни меры весов, ни денежные единицы, по-прежнему водят машины по левой стороне. Однако в конце концов ими управляет разум, а у американцев в жизни существует одно: деньги и только деньги. И больше ничего. У нас каждый считает, что тот, кто изъясняется по-английски,— богат. Потому к таким людям всегда тянутся.

— Я говорю о том же — вы сами сделали из американцев идолов. Что здесь играет роль — богатство или владение английским языком — неважно. Факт остается фактом.

— Да, деньги дают американцам все,— продолжала Мерседес.— Иногда позволяют им даже терпеть крах, не рискуя потерять ореол могущества. Провалились американские фирмы, которые асфальтировали наши города. Провалились и компании, строившие ирригацион-

ные системы и железные дороги! Обанкротились американские предсказатели будущего нашей экономики. Но этого будто никто не замечает. Для того чтобы в нашей среде заставить поверить в эффективность любого проекта, следует лишь дать понять, что он был «изучен американцами».

— Мне прекрасно известны эти истины,— подтвердил я.— Вы, например, считаете, что ваши политические партии делятся на друзей и врагов Соединенных Штатов Америки. Как обычно, партия, находящаяся в данный момент в оппозиции, выступает против сотрудничества с американцами. Не обманывайте себя, Мерседес. Завтра эта оппозиционная партия придет к власти и, став еще более проамериканской, чем ее предшественники, заставит народ вашей страны умирать за дело американцев где-нибудь в Салониках, на Алеутских островах или на реке Ялу. А партия, занявшая траншеи оппозиции, будет винить во всех своих провалах политику госдепартамента США, обвиняя его в том, что он превращает человеческие жизни в деньги.

— Не думаю. Война воздвигла непреодолимый барьер между американцами и теми местными партиями, которые заявили о своей солидарности с нацизмом.

— Вы убедитесь сами. Но сегодня я более думаю о времени, когда атмосфера антиимпериализма станет политическим оружием против правительств, финансируемых Вашингтоном.

В этот момент к нам подошел промышленник Кастаньеда, друг Бететы. Кастаньеда, как всегда, пересыпал свою речь английскими словечками и выражениями, особенно если речь заходила о бизнесе или о Соединенных Штатах. И даже тон его голоса становился менторским:

— Нет, Мерседес! Look how efficient [1] эти американцы! Ну скажи, кто, кроме американцев, смог бы высадиться в Северной Африке?! Они — единственные, кто обладает секретом «know how» [2]. Метод, метод и только метод — вот чего нам не хватает. «They get things done...»[3].— Кастаньеда ударил рукой по столу, как если бы был генералом Эйзенхауэром, отдающим приказ о высадке войск.

Я слушал, как изъясняется Кастаньеда по-английски, и он казался мне кукушонком, подкинутым в куриное гнездо. Однако не во всем я был согласен с Мерседес. Жаль, что такая умная женщина не умела владеть собой. И повод-то был пустяковым: слова Мьюира, которые я ей передал. Разве американский народ, вся нация несет вину за то, что один из ее представителей грязно отзывается о латиноамериканцах? Как можно судить о всей стране по скудоумию одного из ее граждан?

— Вы впадаете в крайность,— сказал я Мерседес.— Американцы отнюдь не так уж великолепны, как считают некоторые. Но и не так плохи, как считают другие. Они как все. В саду божием есть место для всякой твари...

— Но ведь они относятся к нам так, будто мы — их колония! Удивительно, до чего американцы любят давать нам советы. Во всем! Они даже не трудятся учесть наши особенности, ближе познакомиться с нашим образом жизни. Именно это и возмущает меня. Особенно разительно это бросается в глаза, если сравнивать отношение европейцев. Американцы считают, что все, что «сработало» когда-то в их стране — их образ жизни, их манеры,— все это должно «сработать» точно таким же образом и в других странах.

---

[1] Посмотри, насколько активны *(англ.)*.
[2] Знать, как *(англ.)*.
[3] Они добиваются своего *(англ.)*.

На этом наш разговор иссяк. Настало время возвращаться в город, и мы вместе с остальными сели в автомобиль.

...Лианы, точно осьминоги сельвы, щупальцами с тысячами крохотных присосков-корешков обвивают стволы деревьев и, лишая жизненных соков, душат их...

Своим доверием, стремясь сделать из меня единомышленника, Мерседес постепенно лишала меня воздуха и света моих прежних убеждений.

Мы ехали в полной темноте. Паузы в разговоре становились все более длительными. Одна из сидевших в машине женщин вполголоса стала напевать слова какого-то болеро.

— Не будь смешной. Лучше включи радио,— послышался чей-то голос. Женщина ответила шуткой, потом замолчала. Но слова болеро уже долетели до слуха того, кому были адресованы. Мы успели опустошить две бутылки виски, к тому же за город выезжали всегда одной и той же компанией, так что нас связывали взаимные симпатии. Алкоголь, интимная обстановка, песенка с намеком... Невидимые узы все крепли.

Нередко, сидя в автомобиле, я случайно натыкался на чью-то руку, которая тайно искала руку соседки. Руки сочетались в секундном пожатии и вновь разъединялись. Постепенно мы сближались все теснее, и у каждого мужчины появились свои «слабости». У меня такой «слабостью» стала Мерседес. Повод просить дружеские советы у замужних женщин, по-моему, может вернее, чем что-либо иное, послужить толчком для развития совершенно особых отношений между мужчиной и женщиной. Я в первую очередь ценил атмосферу трогательного доверия, которую сумела создать Мерседес. Однако последствия таких отношений трудно было предугадать. Куда приведет нас эта дружба?

...Не лучше ли бежать из полумрака завораживающей сельвы? Вновь вернуться в бескрайние равнинные просторы, выйти к свету и там обосноваться?

В этом мире стремление сделать соучастником своих личных проблем лиц противоположного пола было неудержимым. Врачи и адвокаты Ла Кабреры об интимной жизни своих клиентов имели намного больше сведений, чем познаний в собственном ремесле. В атмосфере исповедей, сплетен, доверительных признаний мало кого могли интересовать истинные духовники. Изо дня в день, точнее в каждое воскресенье, когда мы собирались вместе, наши подруги рассказывали нам в мельчайших деталях о своей частной жизни. Здесь было все: и несбывшиеся желания, и мечты, и отзвук соперничества мужей в торговле и делах, и тысячи иных любопытнейших сведений, истоком которых всегда было ущемленное самолюбие. За всеми проблемами просматривалась еще одна: секс.

Католическая церковь была в курсе положения дел и, видимо, как-то стремилась его исправить. Как раз в те дни приходская газетка «Вида дель альма» — «Жизнь души», издаваемая модной здесь церковью, пролила кипящее масло на открытые раны. Газета передавалась в клубе «Атлантик» от столика к столику, и чтение ее вызывало не раз взрывы смеха. Под заголовком «Не исповедуйтесь чужим — вам это невыгодно!» газета писала, в частности: «Мы хотим напомнить девушкам и дамам нашего прихода, что святая исповедь установлена от бога. Только через исповедь и только через исповедь своему священнику вы можете завоевать благодать божию — и к исповеди лишь своему падре вы обязаны прибегать, когда испытываете сомнение и душевные колебания».

XI

Мерседес не устояла перед искушением превратить меня в своего «духовника». Это произошло во время второго заседания военного трибунала, разбиравшего дело генерала Бельо, обвиненного в заговоре против правительства.

Какое я имел отношение к этому процессу? Но необходимо побыть некоторое время в кругах Ла Кабреры, чтобы понять это. Только так прежде я считал себя обязанным вместе с друзьями присутствовать на открытии моцартовского фестиваля в Зальцбурге или с Линдингом и Монжеласом — в «Гранд-отеле» в Церматте, когда начинался сезон. А в этой стране, где самым большим традиционным праздником было рождество, мне приходилось участвовать вместе с друзьями на светских «зрелищах». В иные годы одним из наиболее популярных праздников был бал-маскарад в пользу Красного креста, либо — университета «Атлантида», либо — детей, пострадавших от полиомиелита. В другие годы балы и приемы следовали один за другим в честь возвращения в страну очередной супружеской четы, которая, прожив длительное время за рубежом, тем не менее не теряла расположения своих местных друзей. В таких случаях забывались фамилии, все обращались друг к другу лишь по именам: Диего и Мария, Алехандро и Эва, Мигель и Беатрис, Альберто и Эмма или Энрике и Элиса...

...Так же рабочие в сельве называют отобранные ими для обработки стволы деревьев-каучуконосов: «крокодил», «крест», «плакса»...

В тот год событием, открывшим «сезон», были заседания военного трибунала по делу генерала Бельо, министра обороны.

— Бедная Сарита, она так волнуется из-за этого процесса,— однажды сказала мне Мерседес.— Бедняжка просила всех нас, своих друзей, присутствовать на заседаниях, чтобы создать в суде атмосферу, благоприятную для отца.

— Но я — иностранец! Не думаю, чтобы мое присутствие в трибунале могло иметь какое-либо значение,— возразил я.

— Неважно,— ответила Мерседес.— Пойдемте с нами. Уверяю вас, зрелище стоит того, чтобы на нем побывать. Хотя бы ради туалетов. Ведь в суде соберется весь свет!

...Когда в пампе на стадо нападает пума, быки сгоняют коров в середину, а сами выстраиваются вокруг, выставив острые рога...

Форма, в которой Мерседес высказала свое предложение, была из тех, против которых невозможно устоять: я вынужден был согласиться.

Заседание трибунала, происходившее в здании военной академии, напоминало открытие оперного сезона в Европе. Меня окружал цвет Ла Кабреры. На сцене, то есть на трибуне, разместились те, кто должен был судить генерала Бельо. Все в парадных мундирах, увешаны орденами и медалями; перед судьями лежала большая книга. Как я мог догадаться — кодекс военной юстиции. Генерал Бельо, похожий на героя-любовника из испанских оперетт — орлиный нос, небольшой рот, безукоризненный гражданский костюм,— сидел несколько ниже, рядом со своим адвокатом. Напротив него расположился полковник, выступавший на процессе в качестве обвинителя. Военные, за исключением самого Бельо, который то и дело раскланивался с кем-то из публики, чувствовали себя довольно стесненно среди «сливок» аристократии. «Свет» явился сюда в порыве солидарности, чтобы поддержать одного из своих. Дирижером этого грандиозного оркестра выступала дочь генерала, ныне жена одного из тех «избранных», пе-

ред именами которых с детства открывались все двери и без ведома которых на территории страны не смел шевельнуться и листок на дереве!

Заседание открылось торжественно, в соответствии со всеми канонами. Но уже вскоре после начала публика по мановению руки Сариты, дочери генерала Бельо, стала активно проявлять свои симпатии «жертве официальных преследований», вызывая среди членов военного трибунала полнейшую растерянность. Так бывает во время пожара в деревнях, когда испуганное стадо сокрушает изгородь и, вырвавшись на свободу, мчится неизвестно куда.

Для меня, иностранца, создать какое-либо объективное заключение о сути дела было практически невозможно, настолько влияла на ход процесса атмосфера, царившая в зале.

Надо заметить, что у представителей высшего света правительство не пользовалось никакой популярностью. Объяснялось это прежде всего тем, что в стране недавно были проведены меры, направленные против инфляции, порожденной войной. Выгодным операциям Мануэля, Кастаньеды и адвоката Переса эти меры нанесли значительный ущерб. И в первую очередь причиной недовольства служил недавно созданный правительством комитет по надзору за ценами. Был установлен также контроль над железом, электротоварами, запасными частями для автомашин и другими предметами промышленности и быта, нехватка которых все острее ощущалась в стране. По сути правительство осмелилось притормозить спекуляции власть действительно имущих. Во всех этих мерах была увидена попытка посягнуть на самые священные права Ла Кабреры — права легкого обогащения. Вопрос стоял даже не о праве, а о святом долге, как если бы речь шла о защите национальной территории!

Обвинителем выступал некий полковник, похоже, довольно скромного происхождения. Было заметно, что его сильно угнетало присутствие друзей Сариты. Свою речь он начал бесцветно, решив почему-то перечислять все события в военной карьере генерала Бельо, все ступени его служебной лестницы.

Я узнал, что, будучи совсем молодым, Бельо начал свою учебу в Чили, где и дослужился до звания лейтенанта. Истинный член клана привилегированных, Бельо затем отдался коммерции — области, в которой, правда, не имел особенного успеха. Уже сорокалетним, без определенных занятий, он вновь вернулся в армию, где получил пост начальника охраны президента. Здесь его повысили до капитана, а затем — майора. Позднее назначили в одно из посольств в Европе, что совпало по времени с последним международным конфликтом. Атташе произвел какую-то спекуляцию с оружием, за что и получил звание полковника. А чин генерала последовал, когда он уже сидел в кресле высшего чиновника министерства обороны. Карьера генерала Бельо мало чем отличалась от карьеры обычного бюрократа, занятого решением архиважных протокольных проблем, сжившегося с рутиной пыльных кабинетов. В этом человеке не было ни единой черты истинного военачальника, искусного в вопросах командования, в стратегии.

Генералу вменили в вину то, что он публично присоединился к демонстрации, враждебной президенту республики, и вдобавок же привлек к участию в ней нескольких подчиненных офицеров (последние, как стало известно, обо всем доложили властям). Гробовым молчанием зала было встречено обвинение, сформулированное представителем министерства внутренних дел. Обвинить генерала, принадлежащего к «добропорядочным», в организации заговора, который и заключался-то в том, что кто-то несколько раз высказался против пре-

зидента! Президента, согласно конституции — главы вооруженных сил. Бог мой, какая нелепость!

Защитник, обладавший великолепным даром слова (качество нередкое у жителей тропиков) завоевал аудиторию на второй же день слушания дела. Он подчеркнул сугубо светский аспект процесса:

— Созерцая прекрасных дам, среди которых находятся наиболее блистательные представительницы нашего общества, оказывающие мне честь своим вниманием, я задаю себе один и тот же вопрос. А не прав ли наш публицист Сирано из газеты «Эль меркурио», проправительственные взгляды которого не вызывают сомнений и который опубликовал комментарий по поводу процесса, потрясшего до глубины основы нашего общества, не прав ли Сирано, заявивший сегодня утром, что данный процесс — не просто ошибка правительства. Данный процесс — свидетельство того, что не у всех есть достаточно высокий вкус. Действительно, подвергнуть суду такого уважаемого человека, каким является генерал Бельо!

Всем нам пришлось аплодировать, после чего адвокат продолжал:

— Позволю себе зачитать некоторые абзацы из упомянутой выше статьи, неопровержимого и ценного доказательства, ибо оно принадлежит перу, которое я высоко ценю. Каждому известно, что большую часть моей жизни я сражался именно против этого пера! Итак, слушайте меня, господа члены суда и уважаемая публика. Вот что пишет Сирано: «Правительства обычно терпят крах не из-за своих ошибок, а из-за того, что правительствам недостает хорошего вкуса. Справедливо говорил Талейран о Наполеоне: «Как жаль, что подобный гений так плохо воспитан!» Падение Наполеона в немалой степени объясняется отсутствием у него светского такта. Во многих случаях, когда он мог сделать это, Наполеон не сумел подняться выше маленьких слабостей своих подчиненных! В то же время его племянник — Наполеон III, не имея даже крошечной доли качеств военного и государственного деятеля, которыми в избытке обладал первый из Бонапартов, тем не менее достиг трона и оставался на нем двадцать лет. И все благодаря своему «savoir faire» [1], своему такту. Лично я, не вникая в политику, проводимую газетой «Эль меркурио», считаю, что процесс против генерала Бельо означает отсутствие хорошего тона и рано или поздно неизбежно отразится на престиже правительства, которое мы сейчас защищаем. Я заранее признаю свое полное невежество в вопросах военной юрисдикции и даже в сути обсуждаемого вопроса. Однако, располагая информацией, которой, очевидно, располагает и широкая публика, я хотел бы задать естественный вопрос: как можно обвинять генерала Бельо в заговоре, когда по сути никакого заговора не было?! Вот если бы президент страны хотя бы на несколько часов был лишен свободы, если бы он вернул власть с помощью верных ему офицеров, вот тогда можно было бы судить за попытку заговора. Учитывая весь ход событий, можно смело утверждать, что правительство рискует потерять авторитет в глазах народа — и даже армии,— начиная процесс, который не сможет благополучно довести до конца».

Адвокат наконец благополучно закончил чтение газеты. Одной этой статьи — вернее, ее чтения на процессе (что превратило суд над Бельо в проблему, заключающуюся в том, что собой представляют хорошие манеры, а что — плохие),— одного этого, повторяю, уже было достаточно, чтобы выиграть процесс. Газета, внешне поддерживавшая правительство и в то же время кичившаяся своей независимостью, уделила очень скромное место политическому аспекту нашумевшего

[1] Умению делать *(франц.)*.

процесса. Зато страницы, посвященные светской хронике, на этот раз пестрели фотографиями присутствовавших. Особенно часто мелькали фотографии нашей приятельницы Сариты, чья красота, по словам репортера, выделялась особенно ярко благодаря тончайшей детали, свидетельствующей об изысканности этой дамы. Дело в том, что Сарита явилась в зал суда, надев вместо шляпки... военное кепи!

Адвокат был непревзойденным оратором, свободно изъяснявшимся на языке «избранных», и отвечал всем меркам условностей, которые царили здесь. Каждое слово его речи от начала до конца воспринималось публикой с бурным энтузиазмом. Как и следовало ожидать, Бельо был оправдан в тот же вечер. Пресса оппозиции немедленно возвела его на пьедестал национального героя, поставив рядом с теми, кто покрыл себя неувядаемой славой в борьбе за независимость страны.

Передо мной встал неразрешимый вопрос: каким образом этот генерал, обласканный правительствами, включая и то, против которого он организовал заговор, человек, для которого не существовали ни зависть, ни соперничество соратников, вынужденных вползать по обязательной лестнице военной службы, каким образом этот человек приобрел престиж, позволивший ему выйти победителем из зала суда? Ответ был один: его спас почтительный страх правосудия перед Ла Кабрерой, перед «избранными». Этот страх был неписаным законом мира сего.

Мои размышления были прерваны Мерседес:

— Приходите завтра ко мне на чай. Мне надо кое-что рассказать вам.

В условленный час я предстал перед Мерседес. Меня удивило, что она была одна. В маленьком кабинете, где она сидела, уютно горел камин. В углу слабо светила настольная лампа, подставка которой была сделана из свитых морских канатов. Рядом бурлил самовар, сделанный из великолепного английского серебра. Все было предусмотрено, чтобы не прибегать к помощи служанки.

Мерседес была одета с подчеркнутой простотой. Довольно долго она комментировала процесс, который, по всей видимости, страшно занимал ее. В какой-то момент она, очевидно, угадала мое недоумение, вызванное отсутствием ее мужа, потому что вдруг сказала:

— Я пригласила вас именно в этот час, пока нет мужа, чтобы мы могли поговорить наедине. Мне не с кем посоветоваться по сугубо личному вопросу. Я осмелилась подумать о вас. Хочу просить совета и помощи, так как уверена, что вы не будете обсуждать впоследствии с кем-либо то, что я вам доверю.

— Я глубоко благодарен вам за это свидетельство дружбы,— ответил я.— Но предпочел бы, чтобы вы доверили свои тайны кому-нибудь другому, кто лучше меня знаком с вашей средой.

Меня снова охватил страх: мне казалось, что огромный спрут все теснее обвивает меня своими отвратительными щупальцами.

— Я всегда видел в вас женщину, не похожую на других,— продолжал я.— Потому мне и не хочется, чтобы наша дружба свелась к тому, что вы превратите меня в вашего исповедника и станете моей «духовной дщерью». Не рассказывайте мне ничего, Мерседес. Я догадываюсь о многом, что происходит в вашей жизни, и всегда восхищаюсь тем, как вы умеете молчать. Не спускайтесь даже передо мной с пьедестала загадочного сфинкса. Честно говоря, я предпочитаю не слушать ваших исповедей.

— А я-то думала, что вы мне друг! — огорченно воскликнула она.— Лучше уж сразу скажите, что вам надоели горести и заботы ваших ближних! И не надо сказок о том, что вы предпочитаете видеть

меня на пьедестале молчания. Одинокие мужчины становятся такими эгоистами!

— Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду... я — холостяк. Это верно. Но не забывайте, что и я когда-то был женат. Кажется, я вам говорил даже, что из всех достоинств моей супруги самыми замечательными были ее замкнутость и скромность. Именно в этом было ее превосходство. Ирэн могла довольствоваться собственным обществом, поэтому наши супружеские отношения и потерпели крах.

Я походил на змею, пытавшуюся улизнуть от врага. Мне думалось, что таким хитрым маневром я смогу избежать доверительных излияний Мерседес, не обидев ее при этом.

На том наша беседа и закончилась. Через несколько дней мы вдвоем возвращались после полуночи из клуба «Атлантик», где супруг Мерседес решил остаться еще на пару часов. Вдруг Мерседес произнесла голосом, полным мольбы:

— Ради всего святого! Не будьте таким бессердечным!

— Мерседес, я никогда не избегал вас, и если когда-либо это бывало, то во имя вашего же блага. Кто знает... Доверив мне свои тайны, будете ли вы ко мне относиться по-прежнему? Не раскаетесь ли? Не будете ли себя укорять в том, что посвятили Б. К. в свои тайны? Однако если уж так вы настаиваете... Так что же с вами происходит?

— Вы знаете, я не люблю своего мужа,— сказала она голосом, не терпящим никаких возражений.— Думаю, это ни для кого не секрет. Как не секрет и то, что он меня тоже не любит.

— Честно говоря, знаю. Мне об этом уже говорили.

— Я долго терпела и никогда не изменяла ему. Я не строю иллюзий относительно своей привлекательности, я достаточно наблюдательна. Не знаю, почему я вышла за него замуж. Для него на первом месте — забота о самом себе. Иногда я думаю, что он женился на мне из-за моего богатства. Все, чем он располагает сегодня, он имеет благодаря мне, а теперь не дает мне ни своих денег, ни моих собственных. Его страсть — делать деньги! И только! В последнее время он откровенно пренебрегает мною, как, скажем, сегодня. Я не могу терпеть такое до бесконечности!

— Чего вы хотите?

— Вы прекрасно понимаете... Один из моих друзей вот уже два месяца приглашает меня покататься на машине, и я кончу тем, что приму его приглашение...

— Если вы примете приглашение только из чувства мести, не считаю, что эта прогулка принесет вам радость.

— Не только из чувства мести. Этот человек мне нравится. Он напоминает мне одного из моих прежних друзей — вы его не знали. Тот погиб от несчастного случая. Я познакомилась с ним вскоре после того, как вышла замуж. Он был адвокатом моей матери, на несколько лет старше меня. Он учился с мужем в университете, мы часто выезжали втроем. Как увлекательны были его рассказы! Он много читал, интересовался проблемами психоанализа. Я советовалась с ним абсолютно во всем... Погиб он нелепо: упал с лошади. Лошадь споткнулась, он перелетел через ее голову и сломал позвоночник. После его смерти я поняла, что любила его. А впоследствии от друзей узнала, что и он меня любил. Какая нелепость! Не правда ли?

— Не такая уж нелепость,— ответил я.— Гораздо нелепее пытаться заменить его новым другом, который, по всей видимости, просто симпатичный юноша и к тому же прекрасный танцор!..

— Да, вы правы. Я не стану с ним встречаться. Однако у меня к вам большая просьба. Вы имеете влияние на мужа, вас связывают общие дела. Скажите ему, пожалуйста, но так, как если бы это исходи-

ло только от вас. Пусть он будет более внимателен ко мне, особенно на людях.

Как мог я вмешиваться в семейные отношения людей, с которыми и знаком-то был всего несколько месяцев?! Все мое существо восставало против попыток втянуть меня в чужую жизнь, устои которой столь отличались от тех, что мне внушались в отчем доме. В нашей семье считалось, что демонстрация собственных чувств — «от лукавого».

Но было слишком поздно. Я принадлежал новому миру. Далекие берега моей отчизны растаяли в тумане, и я решил, что мне уже известны подводные течения океана, по которому я плыл на всех парусах...

— Так что же вы хотите, чтобы я еще сказал вашему супругу?

— Если вам представится случай, попросите, чтобы он купил мне новую верховую лошадь... Начинается зимний сезон, а я так некрасиво выгляжу на своем Султане!

Таким образом, я исполнил еще один ритуал Ла Кабреры: меня приобщили к лику исповедников. Как я уже упоминал, именно это и беспокоило католическую церковь, ибо за исповедями, как свидетельствовал опыт, всегда следовали любовные победы. Какая жалость, что я не моложе лет на двадцать — и не умею танцевать болеро так, как танцует Мьюир и ему подобные! Тогда бы моя роль не ограничивалась просьбами о приобретении скакунов чистой английской крови для моих духовных дочерей...

XII

«Я принес не мир, но меч»,— так говорится в евангелии от святого Матфея.

Сколько скучных воскресных часов провел я в своей юности над размышлениями о сути этих слов. «Не мир, но меч»... Жизнь осознавалась нами как постоянная борьба против наших собственных слабостей, овладевавших нами повсюду и всегда. Добродетель воспитывалась в нас с тем же рвением, что и суровость в воине: порой это влекло за собою всяческие жертвы. Но все делалось в надежде на получение когда-то каких-то высших наград. Правил ли моей жизнью и сейчас тот же принцип?

Нет. Я был вынужден признать, что порвал со своим прошлым окончательно и бесповоротно. Несмотря на все усилия раздувать в себе прежнее пламя неудовлетворенности своими поступками, я все чаще гасил его. Точнее, я променял этот тлеющий огонек на мир, окружающий меня. С абсолютной покорностью, как должное, я принимал и его пошлость, и его легкомыслие.

Мои коммерческие дела уже не носили характера сознательных операций, которыми я занимался во Франкфурте и которые давали мне в лучшем случае три-пять процентов дохода. Легкость биржевых операций, когда капитал удваивался за одну ночь, развратила меня.

В Европе я тщательно выбирал знакомых, избегая малейшей близости с теми, кого мало знал. Здесь же все было по-иному. Исчезло чувство «дистанции», исчезло «табу» личных отношений. Теперь от любой женщины, с которой только что познакомился на коктейле, я выслушивал сокровеннейшие подробности ее супружеской жизни. Я принял эту роль исповедника без особого неудовольствия, так как в глубине души она мне была чуть ли не приятна. Точно так же я легко принимал теперь приглашения в едва знакомые дома только потому, что был уверен, что встречу там друзей из Ла Кабреры. Мое

самолюбие было польщено: я буду одним из членов той касты, знакомство с которой было необходимо каждому, кто собирался подниматься по известной лестнице. Теперь меня уже не беспокоили моральные качества приглашавших меня. Я принимал любую дружбу без оглядок и угрызений совести.

Все глубже и глубже затягивала меня жажда обогащения.

...Так охотники-«серингерос» в поисках новых деревьев-каучуконосов забредают в непроходимые заросли сельвы...

Я льстил тем, кто мог быть мне чем-то полезен. В то же время я принимал лесть от тех, от кого я также предполагал в будущем заполучить какую-то выгоду. Привычка к пунктуальности, рабом которой я был всю свою прежнюю жизнь, была мною забыта. Ничто не угнетало мою совесть. Я приходил и уходил, когда мне вздумается, выполнял свои обещания, как мне вздумается.

Семейство К. в годы своего владения франкфуртским банком славилось своей пунктуальностью: мы погашали любой долг, как бы он ни был велик, максимум в течение трех месяцев. А ныне я испытывал восхитительное чувство раскрепощенности, продлевая до бесконечности сроки оплаты банковских счетов.

Климат этих мест может сломить даже человека несгибаемой воли; так тропические ливни превращают в труху дерево-великан. Но если я заболевал, то знал заранее, что визит врача доставит мне истинное удовольствие, в отличие от нуднейшей процедуры, как это выглядело во Франкфурте. Я запросто приезжал к одному из своих друзей в Ла Кабреру, разумеется, без всяких предварительных записей. Каждый из них был прекрасным специалистом, как правило, дипломированным либо во Франции, либо в США. Несмотря на толпу пациентов, ожидавшую в приемной, меня принимали немедленно. Если же мне было лень выходить из дома или не позволяло здоровье, я звонил любому из них и просил заехать в пансион мисс Грейс. После беглого осмотра и нескольких стаканов доброго шотландского виски со льдом наша беседа обычно сводилась к обмену светскими сплетнями:

— Диего проиграл процесс по управлению состоянием Кастаньеды.

— Говорят, у Рейесов плохи дела. Придется им продавать имение.

— Брак Мануэля и Луизы вот-вот распадется. Она уже с четверга живет у своей сестры.

— В этом году Эмма не будет принимать участия в конных состязаниях: уже три месяца, как она беременна.

— Увидите, акции на гекстиль вскоре возрастут в связи с запретом на ввоз пряжи. Я узнал от Диего. О, он — непререкаемый авторитет!

Самые разнообразные сведения распространялись в этом замкнутом мире с невероятной быстротой. Моя болезнь в данном случае была не главной темой беседы. Я испытывал огромное облегчение только от того, что вновь входил в курс происходившего в городе. Даже новости с военных фронтов — в частности, медленное продвижение американских войск в Северной Африке — уже не интересовали меня так, как в первые месяцы пребывания в этой стране.

Привычное все более отдалялось от меня. Все глубже затягивало, обвораживало, уводило в пески нечто новое.

Как-то вечером я присутствовал на очередном и обязательном событии «сезона»: в университете «Атлантида» шла лекция о значении струнной музыки. Неожиданно ко мне обратился Перес. Пред-

ложение его было ошеломляющим, но аргументы убедительными: он предложил мне принять местное гражданство....

— Мы вас так все любим. Вы как бы стали нашим соотечественником,— говорил мне Перес в антракте после того, как мы прослушали великолепный анализ квартетов Бетховена, сделанный молодым неизвестным немецким искусствоведом.— Почему бы вам не принять наше гражданство?

— Благодарю вас. Но ведь это — слишком сложная процедура, займет много времени.

— В вашем случае — нет. Я уверен, все будет оформлено месяца за три. Для иностранцев, которые в той или иной мере содействовали прогрессу страны, существуют исключения. Так что если вы пожертвуете десять тысяч долларов в фонд университета «Атлантида» и мы предадим гласности это обстоятельство, никаких сложностей вы не встретите.

— Я подумаю,— ответил я.

Я понимал, что вопрос о моем гражданстве решился бы довольно просто: ведь фактически я уже принадлежал к высшему кругу, к той власти, которую представляли мои друзья. Достаточно было лишь бросить взгляд на тех, кто пришел послушать лекцию, чтобы понять это. Председательствовал на ней сам ректор университета, бывший посол, а еще ранее — министр иностранных дел. Особый тон собранию придавало то обстоятельство, что здесь присутствовали дочери президента республики. В той или иной форме в зале были представлены все крупнейшие национальные монополии и экономические силы страны. Символом этих сил служили умопомрачительные драгоценности и меха, украшавшие дам. Я пересчитал: две страховые компании, два цементных завода, недавно заключившие «пакт о ненападении», два пивных завода (они только что поделили всю страну на сферы влияния). Далее по рядам кресел следовали: текстильная промышленность, которая по мере своего укрепления охватывала всю страну; начинающая кинопромышленность и могущественнейший трест сахаропромышленников, который разрешал осуществлять продажу товара лишь через своих посредников. Здесь же была представлена семейством К. и табачная промышленность.

А за стенами зала находились все остальные: десятки миллионов, полузадушенных неимоверно высокими ценами.

Где-то в уголках моего сознания все же оставалось уважение к тем, кто в течение многих лет прокладывал себе дорогу в жизнь, не считаясь с властью Ла Кабреры или тем более вопреки ей. Однако подавляющее большинство пытавшихся восстать против кончали тем, что склонялись перед ее величием. Так произошло, например, с моим другом Айярсой. Став защитником интересов всей этой публики, он немедленно превратился в ее любимца, хотя одновременно настроил против себя правительство, пытавшееся было накинуть узду на обитателей Ла Кабреры.

Так почему же не принять гражданство этой страны?! Разве не прав был адвокат, приводивший мне все преимущества моего нынешнего положения, чтобы в дальнейшем еще более выгодно использовать возможности, терять которые было бы бесконечно глупо!

Уже без былого волнения я воспринимал вести о событиях в Европе. Все ближе оказывались мне интересы и страсти, втягивавшие меня в орбиту Ла Кабреры. Суд над генералом Бельо еще раз подтвердил великую мощь «избранных», их власть над армией и самим правительством. Расположение или нерасположение касты привилегированных было делом немаловажным. Принадлежать или нет к тому кругу, который мой брат Фриц и его друзья называли «добропо-

рядочными» (меня также приучили к этому выражению), означало на языке кальвинистской догмы быть членом касты, одаренной судьбой. Глупый заговор генерала Бельо и последующий «суд» над ним не имели для этого кабинетного вояки никаких последствий. Любимцы богов — «избранные»,— поддерживавшие его на протяжении всей его военной карьеры, с не меньшим рвением защищали фаворита от наказания, которое неминуемо должно было бы постигнуть каждого, кто нарушил присягу верности правительству.

...Такого же рода инстинкт руководит стадом диких кабанов, бросающихся на того, кто ранит одного из них...

Влияние Ла Кабреры было столь всеобъемлющим, что даже тот, кто не принадлежал к ней, испытывал непреодолимое желание протестовать против наказания провинившегося любимца высшего общества.

...По неписаному закону джунглей львы созданы для того, чтобы перед ними трепетали лани, газели, олени, зайцы и прочие «низшие» представители фауны...

Комментатор Сирано из газеты «Эль меркурио» (этот сеньор, как оказывается, не брезговал рекламой фильмов и... ресторанов!), а также адвокат, защищавший генерала Бельо, были правы в своих циничных заявлениях: применять законы к одному из «избранных»— дурной вкус! В этом усматривалось нарушение морального закона, стоявшего выше всяческих юридических сводов и уложений, согласно которому люди «добропорядочные» не способны совершать преступления. Подобная логика вела к тому, что армия и церковь — два наиболее уважаемых института общества — неминуемо должны были превратиться в опору олигархии и плутократии. Правительство же становилось лишь инструментом в руках последних.

Процесс над генералом Бельо, конечно, предстал бесспорным свидетельством почтительного страха перед несколькими семействами «избранных». Бросить этим семействам вызов? Попытка могла окончиться печально. И тем не менее друзья уговорили меня отважиться на рискованный поступок: подвергнуть испытанию престиж моего кузена Фрица и, кроме того, пренебречь его ненавистью ко мне.

Мне предлагали загарпунить крупного каймана, качаясь в хрупкой лодчонке. Но меня уже охватило сладостное волнение охотника.

XIII

Корысть превратила меня в искателя приключений, заплутавшегося в непроходимых зарослях. Я стал пленником золоченой клетки, освещаемой одним лишь светом — сиянием денег. Жажда власти манила меня все глубже в чащу, заставляла блуждать по едва различимым тропинкам, не обращая внимания на какие-либо знаки, которые обычно оставляют на стволах деревьев, чтобы найти обратную дорогу.

Пятеро мужчин, представителей делового промышленного мира, сидели в удобных креслах огромного кабинета в здании правления акционерного общества «Лаинес и сыновья», куда их специально пригласил патрон фирмы.

Собрание напоминало скопище тигров, готовящихся к охоте.

— Цель этой встречи,— начал Лаинес, усевшись за письменным столом,— всем вам известна. Я говорил о ней каждому из вас.

Мы молча слушали.

— Однако мне хотелось,— продолжал дон Диего,— чтобы мы собрались все вместе еще до того, как состоится общее собрание акционеров табачной компании «Сентраль», с тем чтобы выработать единый план действий. Точнее, план нападения.

Он потер руки и продолжал:

— Должен сказать, что я лично не имею ничего ни против Фрица К., ни против любого другого члена директивного совета компании «Сентраль де сигаррильос». Все они — мои старые друзья, и я уверен, что после первых минут огорчения, которые естественны, когда теряешь пост администратора предприятия, наши отношения вновь станут такими же добрыми, какими были прежде. Всем ясно — борьба будет нелегкой, и нас ждут немалые трудности. Однако уже много лет мы толкуем о необходимости сменить руководство «Сентраль». Сегодня нам впервые представляется возможность завоевать в правлении большинство. Полагаю, мы не должны терять эту возможность.

— Мы действительно можем быть уверены в лояльности большинства? — спросил кто-то.

— Несомненно. Все вы знаете сеньора Б. К., который в свое время стал крупнейшим акционером этой фирмы. Ему принадлежало около сорока процентов акций. Как известно, он жил не в нашей стране и его интересы представлял родственник — Фриц К. Поэтому практически было невозможно создать блок большинства, который бы разделял наши интересы и мог бы выступить против этого человека. Ныне положение изменилось. Наш друг Б. К. сообщил мне о своем намерении голосовать вместе с нами на предстоящем собрании акционеров.

— Так в чем же заключается идея? — спросил кто-то из присутствующих, который, видимо, был не совсем в курсе наших замыслов.

— Идея состоит в том, чтобы представить наш собственный состав директивного совета, а также кандидатуру управляющего фирмы. Из списков будут исключены Фриц К., Хотчкис, Тавера и Рейес. С людьми Кастаньеды ничего не сделаешь — они наберут достаточное количество голосов, чтобы ввести в совет своего представителя.

— А как мы объясним стремление заменить руководство?

— Никак. И не надо никаких дискуссий. Просто в момент голосования мы представляем наш собственный список членов правления. И без всяких объяснений.

— Кого же предполагается выдвинуть на пост управляющего фирмы, а также в члены директивного совета вместо выбывающих?

— Мы просили дона Диего Лаинеса об особой любезности: занять пост управляющего,— ответил я.— Хотя бы на этот первый год. А трех других членов совета мы изберем сейчас из числа акционеров по нашему общему соглашению. Именно им, представляя новый список, мы и отдадим наши голоса.

В действительности вся эта затея с выдвижением Лаинеса на пост управляющего компании принадлежала ему самому. Однажды в частном разговоре он сказал мне об этом, причем в качестве особого одолжения просил представить дело так, как если бы инициатива исходила от меня лично. Мне пришлось поработать, чтобы его кандидатура получила голоса других акционеров.

Вскоре мы договорились о будущих членах правления. В списке стояло и мое имя. Я был обручен с плутократией — предстоящее общее собрание правления и акционеров должно было означать наше бракосочетание.

Чтобы заранее отпраздновать столь знаменательное событие, я решил организовать небольшой прием в клубе «Атлантик», на кото-

рый пригласил, не разглашая причины, самых близких моих друзей. Свой прием я наметил на субботний вечер, предшествовавший выборам, которые должны были состояться через месяц.

В памяти моей отчетливо сохранились воспоминания о двух неделях ожидания назначенного приема. Во-первых, на бирже неуклонно падала стоимость акций «Сентраль». В конце концов стоимость каждой достигла двенадцати песо тридцати сентаво. Это была самая низкая цена с 1930 года — эпохи великого кризиса. Во-вторых, столь же неуклонно рос мой престиж, чему способствовала реклама моего приема, всячески раздуваемая газетами.

Я долго колебался, приглашать Мьюира или нет. После того, как мне пришлось выслушать его пьяные излияния, я потерял к нему всякую симпатию и уважение; более того — он стал мне просто неприятен. Но, возможно, во мне говорила ревность? Я опасался, что, если не приглашу его, он сочтет меня врагом. А ведь дело происходило в войну, к тому же я — немец. Соображения по этому поводу постоянно удручали меня. Тем более Мьюир был популярнейшим членом клуба «Атлантик», и мои друзья, естественно, удивились бы, не встретив американца среди приглашенных. В конце концов я позвонил ему, в глубине души надеясь, что он откажется под каким-либо благовидным предлогом. И, действительно, Мьюир, для которого как будто не существовало в жизни ничего иного, кроме светских встреч и приглашений (особенно если речь шла о том круге, где он проводил большую часть своего времени), отклонил мое приглашение, заявив, что огромное количество работы заставит его провести воскресенье в кабинете. Таким образом, группа приглашенных оказалась довольно однородной. В нее не вошли те, с кем я не был связан искренней дружбой и которых обычно приглашают на такие праздники лишь в силу протокола. Видимо, я был прав в своих расчетах: за исключением Мьюира, все немедленно приняли мое приглашение и в субботу вечером в назначенный час явились в «Атлантик».

Я запомнил, что наиболее низкая котировка акций «Сентраль» была отмечена на бирже как раз накануне дня приема. Меня удивляли и тревожили эти сведения, напечатанные крупными буквами на первых полосах газеты «Эль меркурио».

В зал вошел Лаинес и, поздоровавшись, немедленно обратился ко мне:

— Предполагаю, что вы уже видели сегодняшние новости. Фриц продает свои акции по бросовой цене. Видимо, он уже в курсе, что мы собираемся отстранить его, и предпочитает расстаться с последней акцией и не идти против нас. Так что все будет гораздо проще, чем я думал.

...Выезд на охоту предполагал быть намного менее шумным, чем мы все ожидали вначале.

— Черт возьми! — воскликнул я, приятно пораженный услышанной новостью.— А мне казалось, где-то что-то происходит — и не в нашу пользу!

— Речь идет об отступлении без единого выстрела,— ответил Лаинес, улыбаясь.

Я уже упоминал, что в этом мире нами целиком и полностью владела одна мысль — о деньгах. Мы опять-таки становились похожими на «серингерос» — охотников за каучуком, проникшими в глубь сельвы. Вот так же и перед ними горизонт закрывают огромные деревья. Деревья обманутых надежд и разочарований.

Как и следовало ожидать, в тот вечер все только и говорили о сенсационной новости недели — падении акций «Сентраль». Никто

не знал, чем это было вызвано. Думаю, некоторые из гостей втайне испытывали по отношению ко мне нечто вроде сожаления, так как всем было известно, что мое имя стоит среди виднейших акционеров предприятия.

А я тем временем потешался про себя. Падение продлится едва ли несколько недель, а затем мы возьмем бразды правления в свои руки и станем хозяевами общества, взяв под контроль и его капиталы.

Праздник, несмотря на то что я совершенно разучился танцевать (к тому же эти афро-антильские ритмы не укладывались в мои представления о музыке), прошел очень весело. Для того чтобы оценить его, достаточно было выслушать пару комплиментов.

— Каким веселым и оживленным был у вас прием, сеньор К.! — говорили мне друзья не из числа самых близких.

— Ну и выпивон! — при этом меня кто-то громко хлопал по плечу и называл уменьшительным именем.

Видимо, это соответствовало действительности. Уже светало, а в центральном салоне «Атлантика» еще оставались кое-кто из друзей. Мы продолжали пить, кто-то пытался танцевать под звуки оркестра.

— Алисия слишком смугла, чтобы носить голубые платья, это — не ее ночь,— вдруг бросила мне Мерседес, после того как мы перебрали всех присутствовавших.

— Действительно, Алисия всегда так элегантна, а сегодня выглядит усталой. Может быть, она недостаточно накрасилась? — предположил я.

— Нет. Ей совершенно не идет голубой цвет!

— Зато Мэри! Она сегодня выглядит лет на десять моложе, хотя ее туалет давно вышел из моды!

— Я уже не раз видела ее в этом платье, его привезла Исольда из Буэнос-Айреса. Но так как оно очень хорошо сидит на Мэри и все ей об этом говорят, то она выходит в нем постоянно. А кто, по вашему мнению, сегодня лучше всех одет? Я хочу узнать, совпадают ли наши мнения.

— Вы, Мерседес!

— Нет, серьезно?!

Я вновь повернулся к танцевавшим парам, чтобы ответить на вопрос моей приятельницы. Но ответить было трудно. Супруга Лаинеса Элиса, унаследовавшая удлиненный разрез глаз от прабабки-индеянки, в этот вечер с неотразимым искусством демонстрировала свой совершенно восточный силуэт. Платье из тяжелого зеленого расшитого атласа, похожее на кимоно, подчеркивало легкость и изящество ее фигуры. Маруха, одна из небезызвестных «девочек победы», пребывавшая в состоянии постоянной охоты за американцами и, в частности, за Мьюиром, была в черном кружевном платье. Плечи ее были обнажены, сияла белизной в глубоком вырезе грудь. Этот контраст между белым и черным был весьма привлекательным. Так кого же предпочесть?

Наиболее элегантной из дам считалась обычно Исольда де Бетета. Я посмотрел на нее еще раз, чтобы убедиться, что и в этот вечер пальма первенства принадлежала ей. Она была одета в бархатное платье вишневого цвета; светлые волосы, легко зачесанные назад, делали ее очень молодой и заставляли забывать, что она — мать пятерых детей. Мне казалось, что я вижу Ольгу, ее чистую улыбку, ее зеленые глаза, когда она старалась предупредить мой очередной вопрос. Мозг пронзила неожиданная мысль (так бывает: путник в дебрях вздрагивает, когда на него неизвестно откуда падает солнечный

луч). Ольга была лишена вкуса, да и средства не позволяли ей хорошо одеваться. Я мог бы помочь ей в этом, посоветовать, какие выбирать платья, и затем испытывать удовлетворение от тех похвал, которые расточали ей другие мужчины. Даже если это была бы обычная фраза-штамп: «Ольга всегда отличается таким шиком!»

Я посмотрел на Мерседес и сказал довольно невпопад:

— Мне кажется, лучше всех Исольда. Она всегда отличается таким шиком!

Но настро́ение уже было отравлено — мне стало горько при одной мысли о трудностях, которые испытывает Ольга.

Мои гости пели хором модные песенки; стоя возле оркестра, они буквально захлебывались от восторга. Любители негритянских ритмов потрясали «мара́ками» [1], отобрав их у музыкантов, другие отбивали такт под барабаны «бонго́». Мне вдруг припомнились далекие годы первой мировой войны и те кутежи с цыганами, которые мы, немецкие офицеры, устраивали в своем гарнизоне для высшего света Бухареста. Забыв о политической розни, немцы и румыны стремились хотя бы на несколько часов уйти от обыденных забот. Забвение наступало с первыми звуками цыганских скрипок. Музыканты с блеском исполняли все, что бы их ни просили слушатели, уже достаточно разогретые водкой. В те времена была очень модной в Европе песенка «По рюмочке, по маленькой»...

Оргия в клубе «Атлантик» скорее напоминала разбушевавшееся стадо горилл, завороженных производимым ими же самими грохотом.

В ту ночь многие думали, что я праздную день своего ангела. В самый разгар веселья, после того как приглашенной мною танцевальной группой был исполнен испанский танец, что приятно поразило моих гостей, музыка вдруг оборвалась и несколько дам, следуя традициям местных англизированных кругов, хором запели:

Happy birthday to you,
Happy birthday to you,
Happy birthday to B.,
Happy birthday to K.![2]

Я отвечал на эту песенку самой любезной из имеющихся в моем арсенале улыбок. Слава богу, праздник уже кончался, ибо я испытывал серьезные опасения, что кто-либо из моих приятельниц опять уговорит меня танцевать, а я уже был изрядно пьян.

Страшно представить себе, что я — Б. К., отбросив присущую мне строгость и тесно прижавшись к партнерше, мог бы крутить бедрами, как того требуют все эти пляски африканского происхождения. Да еще в присутствии моих друзей!

Я заметил, что все мужчины уединились в одном из уголков зала и там разгорались бурные споры. Значит, опять заговорили о делах, решил я и тоже направился туда. Как всегда, женщины были совершенно забыты и разговоры вращались вокруг излюбленной темы: деньги.

— Я считаю, что мы должны вновь избрать Гарсиа — он вполне оправдывал себя на этом посту.

— Но ведь существует общее намерение провести смену руководства. И кто еще, как не Диего Лаинес, сможет быть управляющим? — последовало возражение.

---

[1] Марака — народный музыкальный инструмент, сделанный из пустой высушенной тыквы, в которую положено несколько камешков или орехов.

[2] Счастливого вам дня рождения, счастливого дня рождения, Б., счастливого дня рождения, К.! *(англ.)*.

— Если требуется вливание молодой крови, то самый подходящий человек — Тавера,— вмешался третий из присутствующих.

— Для такого поста одного имени недостаточно. Надо помнить и о жене будущего директора. Если правда, что Бетета остается в стране, нам следует воспользоваться этим. Ведь его Исольда так представительна! — произнес чей-то голос.

Я вначале не понял, о чем шла речь. Слушая называемые имена и фамилии, я решил, что разговор идет о будущем собрании акционеров «Сентраля». Мне показалось удивительным, что при этом ни разу не было упомянуто мое имя, тем более что вопрос обо мне давно уже был решен. О том, что я стану первым заместителем директора правления, договорились еще на нашем совещании в банке «Лаинес и сыновья». Однако нет. Разговор не касался руководства «Сентраль». Мои друзья обсуждали кандидатуру президента клуба «Атлантик» и, как всегда в таких случаях, перебирали те же имена и называли все тех же лиц. Положение не менялось, шла ли речь о посте управляющего какой-либо фирмы, посла, президента клуба. Таким образом, целиком занятый предстоящими выборами в «Сентраль», я на этот раз ошибся. Прожив более года в этой среде, я все еще не смог до конца оценить, какой замкнутый и неразрывный круг составляли «избранные», круг, от воли которого зависели благосостояние и даже жизнь простых граждан страны.

Да, в тот вечер я выпил немного лишнего. Я переходил от одной группы гостей к другой, произносил какие-то любезности, бросал комплименты дамам, которые их воспринимали с довольными улыбками. Мерседес взяла на себя роль хозяйки дома, в чьи обязанности входило следить за тем, чтобы мой прием имел надлежащий успех. Вместе с мужем она оставалась в клубе до последней минуты. Наблюдая, как она танцует, я пытался определить, кто же из моих приглашенных тот самый «друг», который, по ее словам, ухаживает за ней. Она держалась со всеми партнерами совершенно одинаково, так что я даже подумал, что, быть может, этот «друг» — всего лишь плод ее воображения, подогретого очередной домашней ссорой или попыткой вернуть внимание своего супруга. Может быть, именно это обстоятельство и требовало, чтобы я как можно быстрее занялся налаживанием ее семейных дел. Близился рассвет, но Мерседес оставалась по-прежнему собранной и свежей.

Праздник кончился. В одиночестве вернулся я в свой пансион. Какое-то предчувствие обреченности вдруг шевельнулось в моем затуманенном виски мозгу.

Зачем я в тот день не положил конец этой пустой жизни, столь недостойной моего возраста! Как мог я продолжать предавать принципы, внушенные мне в родительском доме?

Буйное веселье, царившее на моем приеме, носило тот налет болезненности, которым были отмечены наши оргии в годы первой мировой войны, накануне разгрома наших войск. Этот разгул и роскошь я невольно сравнивал с роскошными пиршествами русских вельмож и членов царской фамилии, столь прославившихся в Париже своими скандальными похождениями, что в обиход даже вошло выражение «tournée du Grand Duc»[1]. Не случайно это выражение повсюду связывается с падением русской империи.

Где я буду находиться в тот час, когда на это пошлое, жаждущее роскоши общество обрушится заслуженная кара?! Ведь я уже стал его частью.

---

[1] Турне великого князя *(франц.)*.

Мне хотелось, как обычно, перед сном заглянуть в библию, но в ушах билась навязчивая мелодия: «Танцуй, моя детка, танцуй... Танцуй, моя детка, танцуй...»

От виски и шампанского шумело в голове. Угрызения совести терзали меня, но откуда-то из углов спальни все настойчивее звучала музыка невидимого оркестра:

«Танцуй, моя детка, танцуй!»

В ушах все еще билась надоевшая до безумия мелодия, когда первые лучи солнца осветили мою спальню. И тем не менее я попытался, хотя и с опозданием, заснуть, несмотря на то что все нормальные смертные в этот час давно были на ногах. Но я уже принадлежал к тому миру, который расцветает ночью.

Мне все же удалось забыться коротким, беспокойным сном. И привиделось мне удивительное... Я — в Швейцарии. Таяли снега. Наступал апрель. Мои друзья из Ла Кабреры пришли пригласить меня в кабаре, похожее на «Beuf sur le toit» [1]. На эстраде возвышался огромный олень. Вокруг толпились оркестранты — все они выглядели достойно и были одеты в костюмы, обшитые галунами. Начальник объединенного штаба союзников генерал Маршалл бил в барабан «бонго́», а Мьюир — нынешний советник американского посольства — подсказывал на ухо генералу, что́ именно следовало пе́ть. Где-то вдали светились широкие улицы какого-то небольшого городка, и мы с Мерседес в окно пытались разглядеть их. Вдруг в центре города вспыхнуло странное сияние, было похоже, что начинается пожар. Красные отблески золотили окна, за которыми мы стояли, всполохи отражались на потолке.

— Скончался великий инквизитор! Жители разрушают город! — раздался голос из репродуктора в углу комнаты.

— Продолжайте танцевать! — приказал генерал Маршалл.

— Уже горит собор! — сообщал голос.

— Продолжайте танцевать! — вновь произнес генерал и яростно ударил в барабан, зажатый между ног.

— Уже пылает правительственный дворец!

— Танцуйте, танцуйте! — кричал генерал.

— Сокрушены главные здания города! Пьяные орды громят лавки!

— Рассчитывайте на наше секретное оружие, а также на защиту самой могущественной армии, когда-либо известной в истории. Мы охраняем ваш праздник. Вы можете до бесконечности веселиться среди пожаров!

И тогда я, почему-то одетый в костюм альпиниста, стал отплясывать румбу среди отблесков гигантского костра, в который превратился некогда цветущий город. Генерал одобрил мое поведение едва заметным кивком головы. А мы все пели хором старинную песенку «По рюмочке, по маленькой»...

XIV

Получив утренние газеты, я едва пробежал заголовки на первых полосах и поспешил углубиться в страницы хроники светской жизни. Там непременно должны были быть фотографии моего вчерашнего приема.

Середину одной из газетных полос украшал великолепный фотопортрет Исольды: она беседовала с Лаинесом. Подвал этой же стра-

[1] Знаменитое парижское кабаре, открытое после первой мировой войны. *(Прим. автора.)*

ницы был отдан фотографиям банкетного зала: читателям предлагалось изучить четыре ряда столиков, каждый из которых был накрыт по-своему: в качестве цветочных ваз красовались крестьянские сомбреро, в них — лесные цветы. Таким образом оформлению моего банкета была придана особая неповторимость или, как сказали мои друзья: «cachet» [1].

Только прочитав все заметки и статьи, посвященные приему в «Атлантике», я вновь вернулся к первой странице газеты, чтобы просмотреть сводки с фронтов. Любопытства ради я остановился на сообщении под заголовком: «Дополнения к Черному списку, составленному США». Затем в алфавитном порядке перечислялись фамилии лиц, подозреваемых в связи с противником, с его разведкой. Сначала указывался город, а затем шел список «подозрительных элементов», проживающих в нем. Я полюбопытствовал, кто же из моих знакомых «от столицы» вошел в этот мрачный список. Просматривая фамилии на букву «К», я вдруг обнаружил свою собственную — Б. К.! Естественно, я предположил, что речь идет о каком-то моем однофамильце, хотя до той поры никогда не слыхал о его существовании. Может быть, подумал я, это ошибка, легко объяснимая тем, что моя фамилия именно в этом номере газеты уже фигурировала столько раз в светской хронике. А может быть, это — вина уставшего или рассеянного наборщика, случайно поставившего мое явно немецкое имя среди других имен иностранного происхождения, заполнивших все колонки списка? Казалось просто невозможным, чтобы Мьюир, чья роль в составлении этих пресловутых списков всем была прекрасно известна, Мьюир, который меня прекрасно знал, заявил от имени государственного департамента США, что я являюсь агентом нацистов! Как и Мерседес и старые англичанки из пансиона мисс Грейс, Мьюир лучше других был осведомлен, до какой степени моя жизнь и благополучие зависят от победоносного завершения войны союзниками. Мне пришлось бежать из гитлеровской Германии, где меня обвиняли в неарийском происхождении. У меня конфисковали состояние в пользу третьего рейха. Нелепостью было подозревать меня в шпионаже в пользу нацистов или в сотрудничестве с ними во имя разгрома Соединенных Штатов, что логически привело бы к укреплению того режима, который преследовал меня, лишил имущества, мог бы лишить жизни.

У меня не было сомнений в том, что никакого труда не составит рассеять это недоразумение. Вот сейчас, не дожидаясь опровержения, я позвоню в контору адвоката Переса и попрошу от моего имени направить в редакцию «Эль меркурио» краткое письмо. В нем будут выражены надежды, что включение моего имени в «черный список» является, видимо, следствием рассеянности линотиписта или верстальщика.

— Сеньор К.? — переспросила меня Инес.— Нет, доктор [2] еще не пришел. Вчера он лег очень поздно. Не хотите ли передать для него?

— Да, пожалуйста, сеньорита. Сообщите ему, чтобы он мне позвонил, как только прибудет в контору.

С некоторым удовлетворением я про себя отметил, что Инес и понятия не имеет о том, что меня занесли в «черный список».

Вслед за этим я позвонил в американское посольство, попросил о встрече с мистером Мьюиром, на что секретарша, видимо догадываясь о причине моего звонка, ответила:

---

[1] Отпечаток элегантности *(франц.)*.

[2] Все, окончившие юридический факультет в этой стране, получают звание доктора. *(Прим. автора.)*

— Сегодня в посольстве слишком много народа. Были опубликованы дополнительные списки. Мистер Мьюир не принимает по предварительным звонкам. Если вы настаиваете, приезжайте сами.

В американском посольстве я обнаружил, что приемная Мьюира забита немцами, итальянцами, а также местными гражданами.

Я вручил служащей свою визитную карточку со словами:

— Передайте немедленно!

Затем я уселся и стал ждать, размышляя о том, сколь серьезные последствия влечет включение всех этих людей в списки лиц, нежелательных для страны, в жизни которой Соединенные Штаты играют такую громадную роль. Среди присутствовавших находились владельцы кофейных плантаций — впредь они уже не смогут никуда и никому сбывать свой продукт. Здесь же сидели несколько адвокатов — естественно, они немедленно потеряют клиентов. Среди ожидающих можно было увидеть хозяев мелких магазинов и фабричонок — эти вынуждены будут либо закрыть, либо продать свои предприятия; у них уже не появится возможность получать сырье или товары североамериканского происхождения.

В общем, все это походило на то, как если бы человек вдруг оказался брошенным на произвол судьбы в чаще сельвы.

— Сеньор К.,— возвестила через довольно длительный промежуток времени секретарша. Я вошел в кабинет Мьюира, не испытывая какой-либо неловкости.

— Мне очень жаль, что вас вчера не было в клубе «Атлантик». Вас очень не хватало...— были мои первые слова.

Мьюир ничего не ответил, и я почувствовал некоторую растерянность.

— Я решил побеспокоить вас,— продолжал я,— потому что, как вы, очевидно, могли заметить, мое имя появилось сегодня в газете «Эль меркурио» в американском дополнительном «черном списке».

— Да, сеньор, вы были включены в упомянутый список,— послышался сухой ответ.

— Я?! Но почему же?..

— За вашу антиамериканскую деятельность, за что же иначе?

— Но я не антиамериканец! Кто мог так информировать вас? Вы же знаете, что я эмигрант, бежал от нацистов и жду победы союзников, чтобы вернуться в новую Германию и восстановить мое состояние.

— Мне очень жаль, но я ничего не могу для вас сделать.— Ударив с силой кулаком левой руки в ладонь правой, Мьюир продолжал: — Все, кто ждут в приемной и кого вы, естественно, видели, приходят сюда, уверенные в том, что внесены в список по ошибке. Бегут сюда с просьбой изъять их из списков!

— Но ведь случай со мной совершенно иной. Я...

Мне не удалось закончить фразу.

— Каждый считает, что его случай «совершенно иной»,— прервал Мьюир.— Мы уже привыкли к тому, что, когда публикуется новый список, в посольстве немедленно появляются все упомянутые в нем. Наш посол даже дал указание, чтобы в такие дни сотрудники посольства приходили на работу раньше и в тот же день разрешали все возникающие проблемы. Это делается для того, чтобы посетители находились в посольстве недолго. Вы должны понять...— заключил Мьюир, и я понял, что фраза, произнесенная им, также заранее заготовлена, как и указание посла насчет посетителей.— Вы должны понять, что Соединенные Штаты ведут смертельную борьбу против стран «оси» и должны защищаться всеми доступными методами. Вопрос о публикации списков не является судебным иском со всеми

вытекающими отсюда последствиями. В данном случае не требуется ни очных ставок, ни вещественных доказательств, предъявляемых суду. Война — это жизнь или смерть, и у нас нет времени для поисков истины. Для нас важно выиграть войну. Пули на фронтах сражений не выбирают цели: они поражают как нацистов, так и тех, кто был вынужден сражаться в их рядах даже вопреки своей воле. Допускаю, может случиться,— продолжал Мьюир с пафосом,— что в «черных списках» по ошибке окажется невиновный человек. Но если из-за боязни, что в список попадут один-два невинных, мы будем тщательно исследовать деятельность каждого подозреваемого в сотрудничестве с нацистами, наша политика по нейтрализации влияния нацизма в Латинской Америке превратится в сказку про белого бычка.

Я спросил Мьюира, может ли он, по крайней мере, назвать мне имена лиц или человека, сообщившего посольству США о моей деятельности, якобы направленной в пользу нацизма, а также уточнить, какие обвинения мне были вменены. Сухо, но вежливо Мьюир ответил:

— Если мы будем сообщать фамилии наших осведомителей, они перестанут снабжать нас информацией.

Сраженный его логикой, я был вынужден удалиться.

Оказавшись на улице, я подумал о том, что же мне теперь делать. Куда направиться? Ни на первый, ни на второй вопрос ответа я не нашел. Я находился в состоянии такой же растерянности, как в тот день, когда Мьюир, который по возрасту вполне мог быть моим сыном, рассказал мне о том, как его преследовала своей любовью Ольга. Обстоятельства жизни распорядились таким образом, что едва оперившийся юнец вдруг оказал огромное влияние на мою судьбу.

Вернувшись в пансион, я заперся в своей комнате. Я был похож на человека, заболевшего постыдной болезнью или совершившего страшное преступление. Мне не хотелось никого видеть. Не хотелось ни о чем знать. Наверно, даже призрак смерти не испугал бы меня в те минуты. Жизнь беженца сама по себе довольно тяжела. Теперь же, после включения меня в «черные списки» американского посольства, я оказывался врагом союзников и косвенно страны, давшей мне приют. Что мог принести мне завтрашний день? И кто, за исключением узкого круга лучших друзей, поверит, что меня ошибочно посчитали врагом дела союзников? Как несправедливо считать меня неблагодарным стране, где у меня появилось столько привязанностей!

Я уже видел, как люди, встречая меня на улице, указывают на меня пальцем: «Вот идет опасный элемент. Он в «черном списке». Предчувствия мучили меня острее угрызений совести. Естественно, многим из тех, кто прочтет этот список, вообще неизвестно мое имя. Но с момента, когда я обнаружил свои имя и фамилию в этом проклятом листке, я ощущал на лбу печать проклятия, которая жгла меня.

Ни действовать, ни думать я не мог. Факт внесения моего имени в «опубликованный список» — как я стал называть этот документ, следуя примеру сотрудников американского посольства,— обрушился на меня, будто стихийное бедствие. Прошло довольно много времени, прежде чем я начал приходить в себя от этого удара и попытался искать какой-либо выход.

Сначала я решил, что мне следует притвориться больным и таким образом избежать всяких связей с внешним миром, пока мне не вернут права общаться с ним. Это соображение было вызвано тем, что я жил в доме, принадлежащем англичанке. Меня окружали люди, чьи судьбы были связаны с судьбами государств-союзников и

которые могли бы теперь усомниться в моей лояльности. Самоизоляция спасала меня от ненужных и раздражающих встреч. Был еще выход: уехать и поселиться в одном из загородных отелей, куда мы обычно выезжали на автомашине погреться на солнце или провести воскресенье. Несколько таких отелей принадлежали немцам, и я был бы здесь, конечно, желанным гостем. Но такой поступок означал бы отказ от решения выяснить случившуюся со мной ошибку, а также давал посторонним повод считать меня действительно виновным. С другой стороны, вся моя жизнь теперь целиком зависела от дальнейшего развития военных событий, я должен был следить за их ходом буквально каждый момент; следовательно, я не могу уехать далеко и таким образом лишить себя этой возможности. Горные массивы создавали помехи, и слушать радио за пределами столицы было довольно трудно. К тому же нередко в загородных отелях не было электроэнергии, нельзя было включить приемник. Что делать? Куда направиться?

Нередко в детстве, когда мать наказывала меня, я, чтобы не встречаться с нею, отказывался от еды. На этот раз, чтобы избежать каких-либо разговоров с моей хозяйкой — мисс Грейс,— я не спустился, как обычно, в столовую, а приказал слуге принести мне обед в номер. Здесь я чувствовал себя под защитой собственного одиночества. Вероятно, так же чувствует себя местный зверек-броненосец, когда заворачивается в свой панцирь в норе.

В номерах пансиона мисс Грейс не было телефонов. Только внизу на стойке, где регистрировали приезжих и вручали почту, стоял телефонный аппарат. В ту ночь мне кто-то звонил, в том числе и Перес, которому Инес, наверно, передала мои слова. Звонил и дон Диего Лаинес. Оба они, по-видимому, уже прочли в газетах «список», и адвокат, не изменив своей любезности, звонил мне, чтобы предложить свои услуги. Эти мелкие знаки внимания приобретали в моих глазах огромное значение, особенно в моем подавленном моральном состоянии.

Чтобы не встречаться с мисс Грейс, я не пошел к телефону, попросив слугу передать мои извинения, а также обещания позвонить этим людям на следующий день, поскольку «болезнь приковала меня к постели».

Голова раскалывалась от боли, тем более что после бурного веселья накануне спать мне пришлось всего часа два. Но главное было в ином: я чувствовал себя совершенно убитым размерами и жестокостью свалившегося на меня несчастья. Воля моя была подавлена. Я мечтал только об одном — уснуть и забыть обо всем... проспать бы эти первые часы, а затем размышлять о будущем со свежей головой. Во что бы то ни стало забыться! Не ощущать в голове эти удары молоточков, которые терзали меня с момента, когда я взял в руки утреннюю газету: за что?.. за что?.. за что?..

Мысль о спасительном сне — в котором человек забывает о мучительных попытках объяснить загадки вселенной и поведение существ, населяющих ее,— продолжала терзать меня, как наркомана терзает мысль о наркотике или алкоголика — о вине. Лишь бы забыться! Но мисс Грейс, будучи истой англичанкой, была непреклонна. Не обнаружив меня за столом, она передала со слугой, принесшим мне обед, что желает переговорить со мной. Минуту я колебался, все еще надеясь на возможность отложить этот разговор, хотел передать ей, что уже собрался спать. Но потом мне стало неудобно: ведь лакей, накрывавший мне стол в моей комнате, передаст ей, что я одет. Словом, я велел сказать мисс Грейс, что через несколько минут буду ждать ее в гостиной.

— Полагаю, сеньор К., что вы догадываетесь, зачем я вызвала вас,— начала мисс Грейс.— Мне самой очень жаль, что так произошло. Вы уже несколько месяцев живете в моем пансионе и никогда ни клиенты, ни служащие не жаловались на вас. Однако вы внесены в «черный список», составляемый союзниками. Являясь британской подданной, я обязана прервать какие-либо связи с врагами союзников, иначе меня обвинят в измене родине. Я рискую сама, таким образом, попасть в тот же список.

— Так что же вы от меня хотите? — спросил я с величайшим спокойствием.— Я отлично понимаю ваше положение и могу заверить вас, что и мне жаль выезжать из пансиона. Вы ведь прекрасно знаете, что в данном случае произошла ошибка.

— Я не вмешиваюсь в политические дела.

После этого я вынужден был спросить мисс Грейс, пытаясь сохранить ледяное спокойствие:

— Когда вам угодно, чтобы я выехал?

— Я не хочу торопить вас, но, откровенно говоря, чем скорее вы уедете отсюда, тем лучше. Мне не хотелось бы, чтобы на меня пало хоть малейшее подозрение.

— Я также не хочу, чтобы вы рисковали из-за меня. Завтра же я найду себе новое место жительства.

Весь этот разговор произошел гораздо быстрее, чем можно было предполагать. Обстоятельства заставляли меня принять любой довод мисс Грейс, не желавшей более видеть меня. Тот факт, что отныне я занесен в список официальных врагов, естественно, создавал между мною и мисс Грейс, а также ее клиентами совершенно немыслимые отношения. Самым лучшим было как можно скорее покончить со столь тягостным положением. Я вынужден был согласиться с любой инициативой хозяйки пансиона, в вежливой форме указавшей мне на дверь. Мне ничего не оставалось, как согласиться с ее жестом.

На следующий день с самого раннего утра, как и обещал мисс Грейс, я отправился на поиски номера в одном из столичных отелей.

Чтобы избежать каких бы то ни было неприятных разговоров позже, я так начинал беседу с управляющими отеля:

— В силу какой-то ошибки мое имя было включено в «дополнительный список», опубликованный вчера американским посольством. Эта ошибка разъяснится в ближайшие дни, но, возможно, расследование займет некоторое время. Я предупреждаю вас об этом со всей откровенностью, чтобы впоследствии не было нареканий...

— Вот в чем дело... Глубоко сожалею, но мы не сможем предоставить вам номер. Ваше присутствие может отпугнуть клиентов. Как только все разъяснится, мы к вашим услугам...

И лишь единственный из всех, с кем я говорил, некий француз по фамилии Готье, принял во мне участие.

— Ах, так вы, значит, попали в «черные списки»! — сказал он, потирая руки, будто речь шла о какой-то доброй вести. — Да-с! Ситуация деликатная! Пожалуй, мы сможем договориться с вами, если вы не будете настаивать на подписании контракта на проживание в течение месяца. Мы будем возобновлять контракт каждую неделю, будто вы находитесь в городе проездом. Как видите, я иду на определенный риск, и если об этом будет известно американцам, то положение мое станет угрожающим. Именно это и заставляет меня брать с вас на пятьдесят процентов более, чем платят другие клиенты. Ведь риск — что делать...

— Что же поделаешь! — сказал я, делая вид, что во всем соглашаюсь с ним.— Если вы не возражаете, я перееду к вам сегодня же

вечером и буду платить лишних пятьдесят процентов, раз вы так оцениваете риск предоставления мне приюта.

Небольшой отель «Ле Тукэ» был второсортным заведением, намного хуже, чем пансион мисс Грейс, хотя проживание у француза обходилось мне вдвое дороже. Но гораздо более всякого рода неудобств причиняли мне боль мои переживания. Как тяжело было находиться здесь! В номерах проживали в основном евреи — беженцы из Германии и оккупированных гитлеровцами стран Европы, недавно прибывшие сюда. Кроме того, среди клиентов я заметил двух-трех одиноких женщин, репутация которых была более чем сомнительной.

Зато парикмахерский салон «Прадо» находился недалеко от номеров мосье Готье. В дни, когда мы еще были с Ольгой друзьями, она говорила мне, что дважды или трижды ходила обедать в отель «Ле Тукэ», находившийся неподалеку. Название это было мне незнакомо, поэтому я не обратил на слова Ольги никакого внимания. Теперь же, после рассказа Мьюира и особенно после того, как я ближе познакомился с бытом данного, с позволения сказать, «отеля», завтраки Ольги в этом ресторане уже не казались мне такими безобидными, как в те дни, когда она рассказывала мне о них.

Бедная Ольга! Что она сейчас делает? Кого обманывает своими «невинными» разговорами? Иногда я испытывал непреодолимое желание вновь увидеть ее и сказать, что мне многое известно о ее жизни и что не следовало бы ей так жестоко обходиться со мной.

XV

С момента, когда мисс Грейс потребовала, чтобы я покинул ее пансион, у меня началась совершенно новая жизнь — жизнь отверженного. Правда, протекала она с не меньшим напряжением, чем та, которую я начал, намереваясь покорить загадочные для меня джунгли.

— Встретимся завтра в три часа в конторе Переса,— предложил мне Лаинес, когда я позвонил ему на следующий день после всего происшедшего.— То, о чем нам придется говорить, не следует доверять телефону. Я предпочел бы, чтобы вы не приходили более ко мне в контору. Вы ведь понимаете...

Я понял, что мое присутствие ему нежелательно. Мне не оставалось ничего иного, как сказать:

— Прекрасно.

За несколько минут до этого у меня был разговор с Пересом, который заявил мне:

— Дон Диего желает переговорить с вами по поводу дела с «черными списками». Я тоже подумаю, чем могу вам помочь. Договоритесь о встрече с Лаинесом у меня и приходите на полчаса раньше.

Я направился в контору Переса, полный радужных иллюзий. «Друзья придут мне на помощь»,— говорил я себе, вспоминая случай с генералом Бельо. Ла Кабрера — самое могущественное в стране — поможет прояснить мое положение.

Я уже начал подумывать, каким образом ответить на столь несомненные проявления дружбы, про себя продолжая начатый монолог: «Перес никогда не брал с меня гонораров в надежде, что мы создадим совместную фирму. Проект этот еще не осуществлен, и я сам займусь каким-либо предприятием, как только закончится нелепая история с «черными списками». А пока что я подарю Мерседес

лошадь, о которой она так мечтает. И тогда мне не придется призывать Переса к исполнению супружеского долга, отвлекать его от дел. И Мерседес получит огромное удовольствие».

Придя в контору, я застал адвоката за обсуждением с коллегой какого-то запутанного юридического дела. Мне, к счастью, удалось еще немного передохнуть в ожидании, пока он меня примет. Как всегда, Инес, секретарь адвоката, выполняла обязанности хозяйки дома, пока я сидел в ожидании приема.

— Я видела в газетах фотографии устроенного вами в клубе «Атлантик» праздника,— говорила она.— Наверно, праздник был прекрасным, судя по тому, что о нем говорят буквально все. У вас здесь так много друзей, сеньор К., и все вас глубоко уважают. Не так ли?

— Не все, Инес,— ответил я, улыбаясь. Мы старательно обходили болезненную тему.

— Дружище! — воскликнул, входя, Перес.— Вот незадача! Каким образом вас внесли в проклятый «черный список»? В обществе все говорят об этом, и все единодушно считают величайшей несправедливостью. Вы-то сами находите объяснение?

— Нет. Не нахожу. Я беседовал с Мьюиром, который заявил мне, что ничего сказать не может. Что это — военная тайна.

— Так-таки ничего и не сказал? Даже не назвал того, кто обвиняет? И не сказал, в чем обвиняют?

— Ничего не сказал. Оказывается, безопасность Соединенных Штатов зависит от того, чтобы я ничего не знал. Так Мьюир по крайней мере дал мне понять. Их интересует не справедливость, а победа, и в конце концов они по-своему правы. Война есть война. Как вы думаете, что я могу предпринять в моем положении?

— Не знаю. Думаю, нам следовало бы проконсультироваться с Бететой, ведь он еще и адвокат, хотя занимает пост дипломата. Тем более он тесно связан с американским посольством. После разговора с доном Диего Лаинесом мы могли бы отправиться обедать ко мне домой и обо всем переговорить.

— А Лаинес? Что он думает обо всем этом? И чего он хочет?

— Он придет, чтобы переговорить относительно выборов правления «Сентраль», которые намечены на послезавтра. Дело в том, что в список кандидатов директивного совета ваше имя теперь внесено быть не может. Это поставит под угрозу будущее фирмы.

— Я все прекрасно понимаю. И без всяких раздумий первый освобождаю предназначенное мне место.

В этот момент прибыл Лаинес. Его тут же поставили в известность о моем решении.

— Я потрясен...— начал Лаинес.— Никто не может объяснить, почему вас внесли в чертов список...— Он говорил очень медленно и по окончании каждой фразы прикрывал веки, будто молился.— Все совершенно необъяснимо, вы ведь никогда не говорите о политике. Таким образом, никто не может вас обвинить, заявив: «Сеньор К. допустил неосторожность»... Говорю вам: я потрясен!

— Благодарю вас. Я как раз сказал сеньору Пересу, чтобы меня исключили из списка членов правления «Сентраль». Мне не хотелось бы, чтобы вы испытывали трудности...

— Как вас отблагодарить! Вы всегда так здраво смотрите на вещи! Как жаль, что мы не можем рассчитывать на ваше сотрудничество. Хочу заверить вас, что как только ваше положение прояснится, вы немедленно будете введены в правление фирмы.

Больше говорить было не о чем, но Перес, всегда дотошный, затронул еще один вопрос:

— Нам надо продумать, кто же будет выступать от имени сеньора К. и представлять его акции,— сказал он.

— Даю вам полное право найти любого человека, который представлял бы меня. Однако мне кажется вполне логичным, чтобы это был сеньор Лаинес.

— Нет, уж лучше пусть будет сеньор Перес, тем более он адвокат, и в случае дискуссии...

Мы договорились, что Перес составит доверенность от моего имени и будет представлять меня. Было поздно. Мы выпили все вместе и направились к нему домой. Мне было приятно, что мои друзья с таким доброжелательством занялись моими делами. Мысль Переса о консультации с Бететой показалась мне великолепной. Когда мы прибыли к Пересу, к нам немедленно присоединилась Мерседес и приняла горячее участие в нашем разговоре. Правда, ко всей этой истории она отнеслась менее объективно, точнее, с более «дамских» позиций:

— Я же вам говорила про этих американцев, а вы не хотели мне верить. Теперь вы убедились, что они ни с кем не считаются?

Сеньора Переса, видимо, весьма обеспокоила точка зрения его супруги на мою проблему, поэтому он резко оборвал ее:

— Не следует заниматься никакими демонстрациями. Как тебе кажется мысль посоветоваться по этому поводу с Бететой?

— Мысль великолепна, однако не следует питать больших иллюзий. Бетета из тех, кто провожает своих друзей до кладбища, но в могилу с ними никогда не ляжет.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил я, заинтересованный ее словами.

— Никто не желает осложнять отношения с американским посольством. Если вас захотели проучить, то Бетета может помочь вам лишь при условии, что сам не попадет в круг нежелательных. Но если Бетете скажут, что ему не следует вмешиваться, он не пошевелит пальцем.

— Что вполне логично,— отметил я вслух.

— Вы не хотите понять одного,— продолжала Мерседес.— Вы требуете исключения сеньора Б. К. из известных списков от тех же лиц, которые его сами в эти списки внесли! Вы думаете, что информация, направленная против сеньора Б. К., прибыла из Вашингтона? А может быть, наоборот: она была направлена отсюда в Вашингтон, чтобы он и там был включен в списки лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу нацистов? Не заблуждайтесь! Естественно, это — инициатива посольства Соединенных Штатов. И также естественно, что посольство будет последним, кто сообщит в госдепартамент о совершенной ошибке.

Аргументы Мерседес заслуживали внимания.

— Но все это не затрагивает суть вопроса. Почему же все-таки сеньор Б. К. был занесен в «черные списки»? — сказал Перес.

— А вот это — не самое главное,— ответила Мерседес.— Мне кажется, что Мьюир стремится любым образом оправдать свой образ жизни «плэйбоя» и прожигателя жизни. Поэтому ему очень важно сейчас объявить, что он «раскрыл дело сеньора Б. К.» благодаря своим связям в высшем свете. Он хочет стать здесь незаменимым сотрудником посольства, чтобы его не отправили на фронт.

— Вот это да!

— Но это — самый вероятный вариант. Ведь гораздо лучше находиться в клубе «Атлантик», чем на «Холме смерти» острова Гуадал-

канал [1]. Единственное, чем он может удержаться здесь, так это «сенсационными открытиями» вроде дела Б. К. Человек из высшего света, как вы, богатый, с такими связями — это первоклассная добыча.

— Но что же Мьюир мог «открыть»? — снова спросил Перес.

— Ничего! — отрезала Мерседес.— Но когда я увидела ваше имя в «черном списке», я тотчас вспомнила, как мило он болтал с вашим кузеном Фрицем в Фусагасуге. Я сразу подумала: «черные списки» и имя сеньора Б. К.— все это связано и с Фрицем, и с компанией «Сентраль».

Мне бы в голову никогда не пришло подобное подозрение! Фриц — автор занесения меня в страшный список? Я не мог поверить этому. Мы действительно какое-то время находились в плохих отношениях, но наша враждебность никогда не доходила до того, чтобы у него появился повод нанести мне такой удар. Сделать из меня врага!

— Не верю,— ограничился я ответом.

Перес добавил:

— Лучше всего посоветоваться с Бететой. Если вы не против, я сейчас же позвоню ему, и мы встретимся завтра.

На следующий день я как раз выходил из номеров «Ле Тукэ», направляясь на свидание с Бететой, когда столкнулся с Ольгой. Она шла в свой салон на работу. Увидев меня, поздоровалась с преувеличенным оживлением, что меня несколько удивило.

— Как вы поживаете, сеньор К.? Как приятно вновь видеть вас! Так давно я ничего о вас не слышала! Вы уезжали? Болели?

Мне пришлось солгать:

— Да, я некоторое время провел на побережье. Только что вернулся. А теперь живу очень близко от вашего салона — вот здесь, в номерах «Ле Тукэ».

— Ах вот как! Значит, вы переменили место жительства? Почему же? Вы ведь жили в пансионе мисс Грейс,— при этом она игриво улыбалась, будто намекая на то, что когда-то я давал ей свой адрес.— И когда же вы снова придете к нам — увидеться со мной?

— Не знаю. Возможно, на будущей неделе... или в среду...

— Вот хорошо! Я буду ждать вас. Смотрите не заставляйте меня ждать долго. Мне так приятно будет вновь видеть вас!

Хотя я был твердо убежден в том, что Ольга — всего лишь пустая кокетка и ее слова ничего не стоят, меня удивило, почему она с такой теплотой настаивает на моем приходе в «Прадо». Я уже не строил никаких иллюзий относительно Ольги. Однако в любом случае, особенно при сложившихся обстоятельствах, я был благодарен ей за обман, за ее попытку убедить меня, что мое присутствие приводит ее в столь радужное состояние, что она не в силах хоть на секунду отпустить мои руки!

Расстался с Ольгой я другим человеком.

Стоял солнечный день, я был полон самых светлых надежд. В этих краях солнечные дни, чистое и безоблачное небо очень редки и потому влияют на настроение людей. Все немедленно веселеют, улицы заполняются народом, в магазинах не протолкнешься. Некоторые уверяли меня, что биржа, как барометр, отражает в зависимости от погоды повышение общего настроения. Возможно, и на Ольгу повлиял солнечный день? Мы будто очнулись после долгой и мрачной зимы. И беды мои через призму этого сияющего дня выглядели гораздо менее страшными, чем накануне. Несколько часов

[1] Район боев между американцами и японцами в период второй мировой войны. *(Прим. перев.)*

спустя я с большой охотой принял предложение Бететы. Кстати, оно ясно показывало, каким образом решаются такого рода проблемы в Ла Кабрере.

— Надо будет устроить Мьюиру обед на высоком уровне,— заявил Бетета.— Пригласить множество лиц, притом самых влиятельных. И не делать из включения вашего имени в «список» серьезного дела. В субботу, если у Исольды нет других встреч, я приглашу Мьюира к себе и буду развлекать его до рассвета. После чего я получаю полное право просить его о личном одолжении: вычеркнуть вас из «списков».

Против такого плана мне нечего было возразить.

Все было прекрасно! Ольга, план Бететы, радостное солнечное утро. То, что я фигурировал в пресловутом «списке», после встречи с Ольгой потеряло для меня всякое значение. В общем, через несколько недель все разрешится. А может быть, и через несколько дней.

Я отправился в парк подышать свежим воздухом. Эта система составления «черных списков» опять вернула меня к размышлениям о предначертанности судьбы грешников, о которых я часто слышал в родительском доме. Одни испокон веков были обречены богом на гонения, теперь их включают в «черные списки» человечества: воля провидения, не поддающаяся нашему разумению, сделала их таковыми. В то же время другие, также испокон веков, пребывали в праведниках. Смысл воли небес недоступен нам. Почему одни осуждены вечно страдать? Почему другие наслаждаются вечным блаженством?

...Мысль Бететы о приглашении Мьюира, чтобы как-то договориться с ним, чествуя, обхаживая его — так всегда решались дела в кругах жителей Ла Кабреры,— отвечала более человеческому взгляду на мироздание, чем пуританские концепции. За несколько месяцев до этого некий немец (естественно, он не был католиком) также был внесен в «черные списки». Я решил помочь ему и переговорить о нем с Мьюиром, с которым тогда имел прекрасные отношения.

— Не буду я ни у кого просить милостей,— ответил немец.— Подожду окончания войны.

Тогда я подумал: этот человек не хочет расследования своего дела, потому что виновен. Возможно, он сотрудничал с нацистами и прекрасно знает, почему его имя внесено в страшный список. Теперь-то я понимал, что и этот немец мог быть совершенно невиновен и что его высокомерное смирение просто отвечало нашему образу мыслей, было результатом кальвинистского воспитания, которое учило нас не ждать милостей ни от бога, ни от человека и не превращать молитву в перечень личных просьб.

Однако я был уже слишком испорчен и не мог похвастать подобным стоицизмом. Прогуливаясь в то светлое утро по парку, я чуть ли не пел, и все мои печали исчезли, будто по волшебству.

Близилось рождество, в витринах магазинов уже появлялись елочные украшения и игрушки, изображающие младенца Христа в яслях среди овечек. На столбах электрических фонарей, выстроившихся вдоль главного проспекта, красовались перехваченные красной лентой сосновые ветви, к ним были приколоты куски аптечной ваты, изображавшей снег. Здесь, на улицах, в преддверии рождества столкнулись две традиции: староиспанская с ее классическим празднеством и англосаксонский Санта-Клаус. И та и другая боролись и в моем сознании, и в моем сердце. По дороге в парк я развлекался тем, что разглядывал в витринах лавок изготовленные в Кито специально для этого праздника (как водилось в средневековой Касти-

лии) маленькие ясельки, где лежал игрушечный розовый младенец, окруженный такими же крохотными коровами и овцами. На рождество в этой стране поют древние полурелигиозные песни — «вильянсикос», едят сухое печенье, облитое медом,— «буньюэлос». А в нескольких метрах отсюда, в роскошных универсальных магазинах, над которыми сияли такие вывески, как «Бруммель», «Денди», «Оксфорд», среди сосновых веток и сияющих елочных шаров красовался традиционный европейский Санта-Клаус на фоне снега и саней, запряженных оленями, чего здесь в тропиках никто никогда и не видывал. Этот снег, сани, олени да и сам Санта-Клаус выглядели настолько неестественно и настолько неожиданно для обычаев и особенностей этой страны, что у меня возникло ощущение, будто я увидел экваториальную орхидею на вершине швейцарской горы Маттерхорн!

...Наверно, сейчас дети Исольды и Бететы уже строчат на английском языке письмо на Северный полюс Санта-Клаусу с просьбой прислать им рождественские игрушки, напоминая, чтобы он положил их у камина, через который он проникнет к ним в дом в ночь на 24 декабря. А сын Ольги пишет на испанском языке — если вообще умеет писать — письмо младенцу-спасителю, и адрес он указывает просто: «Небеса».

XVI

Возвращаясь после прогулки в номера «Ле Тукэ», я встретил на улице голландского посла, одного из завсегдатаев клуба «Атлантик», с которым часто играл в теннис. Вместо того чтобы как всегда радушно протянуть мне руку, посол перешел на другую сторону улицы, лишь удостоив меня церемонным кивком. Его сдержанное приветствие подействовало на меня, как удар, пробудив от утренних иллюзий и не оставив сомнений в том, что мои прежние дружеские отношения окончены и что отныне я — лицо из «опубликованных», как советовал Мьюир называть «черные списки». Удрученный, я провел остаток дня в спальне за чтением романа о жизни некоего молодого человека.

Собрание акционеров было назначено на одиннадцать утра, однако проводилось в полдень. Поэтому мы договорились с Пересом, что, прежде чем идти к нему обедать, мы встретимся в баре, где он расскажет мне о результатах нашего предприятия, которое Лаинес кратко называл «битвой за управление «Сентраль».

Я считал делом чести провести моего друга Лаинеса в состав руководства общества и выбить из правления Фрица, которому я объявил отныне смертельную борьбу.

С половины двенадцатого я уселся в баре «Лас Агилас», где мы назначили свидание, и стал терпеливо ждать. Время текло, однако Перес не подавал никаких признаков жизни.

«Традиционное опоздание на полчаса, не привыкать...» — подумал я. Но прошло еще полчаса, потом еще. Я не мог объяснить столь длительной задержки. Возможно, я перепутал место нашего свидания? А может быть, Перес забыл о нашей договоренности и отправился домой?

Я попытался позвонить ему, и мне ответили, что Перес еще не приезжал и что дома его ждут к обеду.

Единственным объяснением этой ситуации могло быть то, что собрание в «Сентраль» затянулось. Я подумал, что можно было бы позвонить в управление фирмы, чтобы выяснить, закончилось ли собрание акционеров, однако это показалось мне неосторожным. Фри-

цу, естественно, будет неприятно слышать мой голос, особенно в момент, когда он потерпел поражение, подготовленное мною. Еще бы: потерять завидный пост, который занимал ровно восемнадцать лет!

Я уже собрался было уходить, когда мне сообщили, что меня просит к телефону сеньор Перес.

— Что случилось? — спросил я.— Я жду уже два часа.

— Собрание все еще не закончилось. Оно идет очень бурно. Не ждите меня, я сам приеду к вам в гостиницу и расскажу обо всем.

— Плохие новости? Каковы результаты?

— Баланс прекрасен. Я все сообщу вам, но позднее. Пришлось претерпеть немало неприятностей, и теперь не все еще кончено. Сейчас выступает дон Диего. Вы же знаете, наша страна — страна ораторов!

Собранию, по всей видимости, не было видно конца. Пробило пять часов вечера; Перес вновь позвонил мне в гостиницу, где я продолжал оставаться в полном неведении о происходящем за стенами «Сентраль».

— Сейчас выступает Фриц. Как только он закончит, я немедленно направляюсь к вам. Я ужасно устал, страшно голоден. Все это ужасно.

— Что «это»?

— Не могу сейчас ничего сказать. Ждите меня.

Через полчаса вновь зазвонил телефон. Это была Ольга! Я сразу узнал ее голос, но сделал вид, что не имею представления, с кем говорю:

— Ольга? Какая Ольга?

— Ольга, маникюрша из салона «Прадо». Я хотела узнать, придете ли вы сегодня? Ждать мне вас? Ведь сегодня среда.

— Нет, я не могу.

— Хорошо. Всего лучшего,— только и сказала она.

Наконец около шести часов вечера примчался Перес, взволнованный и потный.

— Нас вымели!

— Как так? — спросил я, холодея от ужаса.

— Нам не позволили голосовать за вас.

— Почему же?

— Дайте мне что-нибудь перехватить, и я все расскажу. Дело слишком долгое.

Мы сели за стол, и Перес, взяв стакан с виски, начал свой рассказ:

— Фриц сегодня играл, как настоящий артист! Вчера он послал корзину цветов супруге Лаинеса, а сегодня Лаинес, когда мы входили в зал совещания, сказал мне — он ведь прекрасно знает, что такое Фриц: «Мне кажется, этот букет скрывает не один шип. Фриц что-то задумал». Прибыв на собрание,— продолжал, захлебываясь, Перес,— мы все представили свои полномочия. Я предъявил вашу доверенность, ее приняли без всяких оговорок. Вначале, как положено, был утвержден отчет, затем зачитан баланс года. Дело уже шло к голосованию, когда слово взял Вильясеньор, небезызвестный вам политик. Я подумал, к чему бы это? — и подошел к столу секретаря, чтобы посмотреть, кого представляет Вильясеньор и сколькими акциями располагает он лично. В книге акционеров за ним значились всего три акции, купленные за шесть дней до собрания. Тогда я посчитал, что он прибыл сюда, чтобы «толкнуть» очередную речь, и собрался выслушать его со вниманием. Дело в том, что если появляется такого рода тип, у которого в кармане всего две-три акции, значит он будет излагать чей-то план. Так вот, речь Вильясеньора бы-

ла контратакой Фрица против нас, причем придуманной едва ли не лучше, чем наша собственная.

— «Я прибыл сюда,— заявил он, и Вильясеньора слушали очень внимательно,— не потому, что у меня есть какие-либо собственные экономические интересы, связанные с этим предприятием. Все знают, что я беден и у меня нет иного богатства, чем мой патриотизм и одиночество».

Кстати, все это — лишь красивые слова, ибо каждому известно, что Вильясеньору покровительствовал крупный политический лидер, что он сам считался известнейшим адвокатом, ухватившим жирный кусок в пресловутом «деле Кастаньеды». Однако бить себя в грудь и кричать о своей бедности — одна из форм приумножать капитал у местных политиков. Так вот, Вильясеньор продолжал: «Я считаю своим долгом присутствовать на сегодняшнем собрании, хотя никогда не имел дела с крупными предприятиями. Меня вело сюда единственное чувство патриотизма и моральные соображения, которые должны быть свойственны каждому гражданину страны, тем более честному, каким я всегда был и что не раз доказал, когда вел большие дела государственного масштаба...»

То была великолепная политическая речь,— прервал свой рассказ Перес.— Не знаю, знакомы ли вы с Вильясеньором,— такой маленький, очень смуглый тип, полуальфонс. Когда он танцует, кажется, будто он руководит римской квадригой, а когда произносит речь — подавляет своим величием! «Некий тип, объявленный Соединенными Штатами Америки опасной личностью,— заявил далее Вильясеньор,— он был включен в «черные списки», закупил необходимые голоса, чтобы создать «ad hoc»[1] угодную ему лично дирекцию фирмы. Руководство, таким образом, подчинится приказам, которые он будет получать из гитлеровской Германии; все его действия будут подрывать интересы нашей родины, а ее все мы обязаны защищать своей грудью. Я хочу задать вопрос сидящим здесь господам акционерам «Сентраль», спросить во имя их же собственных интересов: устраивает ли вас, чтобы управляющий и дирекция фирмы зависели от воли гражданина одной из стран тоталитарной «оси»?» В таком роде Вильясеньор говорил без умолку. Час шел за часом, и невозможно было остановить поток его красноречия; акционеры были совершенно подавлены. Один за другим все наши друзья стали переползать в другой лагерь, не преминув принести при этом протокольные извинения: «Я даже не знал ничего!», «Неужели верно, что сеньор Б. К. фигурирует в «черных списках»?», «Положение очень серьезное! Но как великолепно говорит Вильясеньор! Конечно, я вполне симпатизирую дону Диего, но мы не можем ставить под удар экономическую стабильность нашего предприятия». И все согласно покачивали головами, подтверждая свою озабоченность. Тогда,— продолжал Перес,— я попросил слова. Я объяснил просто и четко возникавшие юридические проблемы, привел случаи из моей практики... Но все было напрасно. Никто не хотел меня слушать. Единственно, что на некоторое время смутило аудиторию, это то, что ваш кузен Фриц — тоже немец. Следуя логике, престиж предприятия мог быть подорван в глазах американцев. Однако бой был проигран. Мне казалось совершенно бессмысленным продолжать дискуссию, которая запуталась на вашем имени, фигурировавшем буквально в каждом выступлении. Тогда Лаинес, даже не советуясь со мной, встал и заявил, что он дал свое согласие занять пост управляющего компанией, о чем его просила группа акционеров. Хотя он лично не особенно заинте-

[1] Для данного случая *(лат.)*.

ресован в этом и не настаивает на этом, а лишь выдвигает свою кандидатуру. «В конце концов,— заявил Лаинес,— учитывая разумность возражений акционера Вильясеньора, я предпочел бы вообще снять свою кандидатуру, но не причинить малейший вред предприятию, которое всем нам так дорого и которое является гордостью не только хозяев акционерного общества, но и всей нации». В связи с отказом, высказанным Лаинесом, было решено прийти хоть к какому-то заключению, приемлемому для всех акционеров. С этой целью был подготовлен список членов правления, за который все и проголосовали. Из прежнего состава директивного совета в этом списке не значился лишь Тавера, его заменил сам Лаинес. Он заслужил бурные аплодисменты и всеобщее восхищение своим бескорыстным отказом. К тому же Лаинес тут же предложил не пользоваться правом голоса, представленного акциями сеньора Б. К., чтобы избежать каких-либо осложнений.

— Так, значит, обо мне много говорили как о враждебно настроенном иностранце? — спросил я Переса.— А мое имя конкретно называлось?

— Да. Даже возникла дискуссия, являетесь ли вы действительно врагом борющихся против нацизма стран. Пришлось вспомнить, чтобы избежать неясностей, что вам пришлось покинуть Германию из-за Гитлера. Кто-то из присутствующих вспомнил, что вас подозревали в неарийском происхождении. Фриц уточнил присутствующим, что это соответствует истине, но только по материнской линии, и что вашей отцовской ветвью были немцы. Представляете себе, что могло бы получиться, если бы решили всерьез заняться изучением вашего дела... Единственно, чего не хватало на этом заседании, так это ваших рентгеновских снимков!

— Немыслимо! — воскликнул я, до глубины души возмущенный.— Ведь речь идет лишь об управлении фабрикой. При чем же здесь мои предки?!

— Вы до сих пор не знаете нас! — коротко ответил Перес.

То, что он рассказал, было ужасно. Отчет и доклад управляющего о финансовом положении «Сентраль» занял всего полчаса. Значит, все остальное время собрание жонглировало моим именем, вспоминая моих предков и ползая по ветвям моего генеалогического древа!

Я подумал, что собрание правления «Сентраль», посвященное моей скромной персоне, немедленно получит самую широкую огласку. Те, кто еще не знал о включении меня в зловещие списки, тут же об этом узнают и постараются поскорее отказать мне в своей дружбе.

Как же быть? Как я смогу рассеять заблуждение и снять с себя столь неоправданное обвинение? Слова Переса звучали в ушах: «...до сих пор не знаете нас!»

На следующий день газета политической партии, к которой принадлежал Вильясеньор, жирным шрифтом сообщила о патриотическом выступлении «нашего замечательного трибуна молодежи, который, положив свое будущее на алтарь морали и человечности, не позволил осуществиться мрачным замыслам опасного иностранца».

Затем в очень обтекаемой форме та же газета излагала прения, рассыпавшись напоследок в горячих поздравлениях Лаинесу — «благороднейшему и бескорыстнейшему рыцарю чести», который не колеблясь вышел из игры, «как только обнаружил, что ему уготована роль троянского коня».

Прочитав все эти панегирики и остракизмы, я попытался связаться с доном Диего, чтобы просить его поместить в прессе хотя бы несколько строк в мою защиту и разъяснить предшествовавшие со-

бытия. Дон Диего опередил меня и, едва поздоровавшись, изложил мне свою точку зрения на случившееся:

— Наша группировка не смогла добиться полной победы, так как в дело было впутано слишком много людей. Пришлось вырвать буквально зубами хоть какой-то кусок! Однако благодаря уступкам, которые были сделаны в ходе дебатов, мы частично все же победили. Учитывая, что я введен в состав правления, я смогу теперь осуществлять контроль над действиями Фрица.

— Прекрасно, но мне-то что теперь прикажете делать? Против меня было сказано так много!

— Не волнуйтесь. Все это не имеет значения. Завтра об этом никто и не вспомнит. У нас не принимают всерьез то, что печатают газеты, все читатели к тому же хорошо понимают, что Вильясеньор пытается создать себе рекламу на политическом поприще.

— Все так. Однако мне хотелось бы, чтобы вы написали в редакцию газеты и четко разъяснили мою позицию во всем этом деле.

— Не следует так делать! — заверил он меня.— Если мы напишем в газету, дискуссия вспыхнет с новой силой, и уж тогда действительно никто не забудет о вашей истории. Давайте помолчим, пока не кончится газетный ливень.

...То был голос опытного проводника, способного не заблудиться в глухих джунглях. Голос, который завораживал меня...

«Пока не кончится газетный ливень»... Когда речь шла о лжи, о подрыве авторитетов, так вел себя каждый. «Моя история» такая же, как и многие другие. Обман или интриги — язык sui generis [1] этого мира.

Вранье здесь было целой наукой, и ею позволялось злоупотреблять без всякой кары за то. Искусство пользоваться ложью обнаруживало степень интеллекта того, кто врал: похоже, речь шла о виртуозе, в совершенстве владеющем музыкальным инструментом. Клевета — одно из проявлений лжи — была поднята местными политиканами на уровень добродетели.

Среди высших классов этой страны тип человека, каким был Вильясеньор, не считался предосудительным. Более того, к нему относились как к талантливому и многообещающему политику.

Надо отметить, что здесь член парламента, сенатор или даже просто оратор в воображении человека улицы — не просто специалист, овладевший вершинами красноречия и искусством ведения спора. В нем видят личность, способную разрешать личные проблемы окружающих. Самым желанным гостем на всех приемах в высшем свете здесь считается так называемый «causeur» [2], а вернее, самый главный сплетник. Человек, который в статье или в беседе ловко ввернутыми метафорами и сарказмом уничтожал чью-то репутацию, заслуживал в этом мире общее восхищение.

— Что же подумают обо мне мои друзья, а также члены клуба «Атлантик»? — спросил я снова у дона Диего, который все втолковывал мне, что нам не следует вносить разъяснения после речи Вильясеньора.

— Ах, да! Об этом я тоже хотел поговорить с вами. Видите ли, вам лучше не появляться в эти дни в клубе... Пусть пройдет хотя бы месяц и все забудут о вчерашнем случае.

Тот самый мир, который принял меня с распростертыми объятиями, когда я был богат и моя дружба могла принести выгоду, теперь отвернулся от меня.

---

[1] В своем роде *(лат.)*.

[2] Говорун, болтун *(франц.)*.

...Говорят, что обезьяны плачут, когда одна из их стаи падает с дерева, сраженная пулей охотника. У людей иное. Кто стоит наверху общества, глух к чужому несчастью. Лаинес первым сказал мне, что отныне они не хотят иметь со мной более ничего общего.

Я вернулся в сомнительной чистоты спальню, которую занимал в номерах «Ле Тукэ». Впервые мне стала ясна вся грандиозность скандала, возникшего вокруг моего имени. Я понял, какие последствия могут иметь для меня американские «черные списки». Единственное, что мне пришло в голову в тот момент, это позвонить Бетете и спросить его, чем закончились переговоры с Мьюиром.

— Пока еще ничего не могу сказать. Но все идет хорошо! Очень хорошо!

В этот момент появился человек, со стороны которого я меньше всего мог ожидать поддержки. Моя жизнь изменилась: я бросился к этому человеку, как измученный жаждой и палящей жарой путник — к оазису.

XVII

— Говорит Ольга. Вы очень заняты? Я хочу видеть вас сегодня вечером. Мы могли бы поужинать вместе?

— Удивительное создание! Вы уверены, что не заставите меня вновь ждать напрасно?

— Совершенно уверена!

— Где же мы встретимся?

— Если у вас есть машина, подождите меня в семь вечера за углом салона. Мы немного проедем. Мне надо кое-что сказать вам.

— Хорошо. Буду в семь.

— У вас все та же машина, в которой мы ездили однажды?

— Да, черный «шевроле».

— Значит, ровно в семь.

Вот так, совершенно неожиданно, когда я не предполагал, что снова увижу ее, появилась Ольга. Сама позвонила мне, сама назначила свидание. У меня не возникло никаких сомнений относительно того, что она действительно хочет меня видеть. Вначале я, правда, подумал, что она опять попросит меня одолжить ей денег, как это уже было. Тем не менее я принял ее приглашение без всяких раздумий. Уверенный, почти властный тон, которым она просила о свидании, свидетельствовал, что она действительно хочет видеть меня.

Я немедленно побежал за своей машиной, находившейся в тот момент в мастерской. Несмотря на то что она была еще не отремонтирована и не было вставлено выбитое стекло, я поехал на указанное Ольгой место и стал ждать. Как всегда, я прибыл первым, за несколько минут до назначенного часа. Мне пришлось прослушать по радио очередную модную песенку. Пробило семь. Я стал следить за прохожими. Прошло еще пять минут. Десять. Четверть часа. Ольги все не было.

«Вновь попался, как дитя. В пятый раз!» — подумал я, раздосадованный своей доверчивостью. И в этот момент я увидел на другой стороне улицы Ольгу. На ней был серый костюм, на голове — шелковая косынка; казалось, она только вымыла голову и не успела высушить волосы.

— Я заставила вас ждать? Извините меня. Так много работы! С трудом вырвалась...

— Не имеет значения. Давайте покатаемся,— с этими словами я открыл дверцу автомобиля.

— Куда мы направимся? — спросила она.

— Не знаю. Ведь инициатива сегодняшней поездки принадлежит вам. К тому же вы лучше знаете все здешние места. Вам надо поговорить со мной или мы пойдем в кино?

— Я должна поговорить с вами. Поедемте в «Марианао».

Я слышал, что ресторан «Марианао» находился где-то за городом в глухом парке. Еду там подавали прямо в машины, которые останавливались на разумном расстоянии друг от друга.

— Я не бывал в этом ресторане, но вы, видимо, бывали там — и не раз. Тогда показывайте дорогу.

Мы поехали. Я был еще настроен против Ольги, мне не хотелось разговаривать с ней. Сдержанность представлялась мне единственно достойной формой поведения.

— Что произошло? Почему вы больше не звонили? — начала она.— Если бы я не позвонила сама, вы никогда больше не появились бы?

— Я был очень занят.

— Но ведь где-то вы приводили в порядок руки? Почему вы перестали ходить ко мне?

— От меня ближе парикмахерская «Астория».

— Тогда почему не звонили?

— Ольга! Вы — странный человек! Зачем мне было звонить вам?

— Ну, чтобы погулять вместе.

— Но ведь я звонил вам сотни раз, и вы ни разу не приняли моего приглашения! Точнее, заставляли напрасно ждать.

— Это верно. Но я не могла тогда видеться с вами. Когда-нибудь я объясню, что тогда происходило.

Мы как раз подъехали к ресторану. К машине подошел официант.

— Что вы желаете, Ольга?

— Не знаю. Может быть, стакан пива...

Я приказал принести пива и снова вспомнил рассказ Мьюира о растерянности Ольги при выборе напитков. Это воспоминание окончательно заставило меня привести в исполнение план, который я набросал после того, как Ольга назначила мне свидание. Напрямик, без всяких «экивоков», как сама она выразила желание поужинать вместе, я спросил Ольгу:

— Зачем вы мне звонили? Что вы от меня хотите?

— Ничего. Просто хочу видеть вас, быть с вами вместе... Разговаривать, как раньше.

— Но мы никогда даже не были вдвоем...

— А разве вы не помните, как мы с вами беседовали? И о войне, и о моих сестрах, и об американцах....

— Так чего же вы все-таки желаете? — переспросил я сухо.

— Ничего. Что мне желать? Я уже сказала, что хочу побыть вместе с вами.

— Вы уверены, что не собираетесь попросить у меня денег, как в последний раз, когда мы с вами виделись? Кстати, мне очень жаль, что тогда я не смог их дать вам. У меня с собой ничего не было. А потом вы сами не захотели...

— Знаете, для чего мне были нужны деньги? Я хотела купить лекарство для сестры. Она чуть не умерла от почечных колик! Только ради сестры я могла так унизиться, чтобы попросить денег у мужчины! Мне казалось, вы меня достаточно знаете и не подумаете ничего плохого... вот почему я позволила себе это. Теперь я вижу: вы ничего не поняли! Вы — такой же, как все! Но мне и это безразлично. Вы можете унижать меня только потому, что я когда-то попроси-

ла у вас денег. Денег на лекарство! Но даю слово, я просила в долг и обязательно вернула бы его. Кроме того, можете не сомневаться, я никогда не попрошу вас ни о каком одолжении. Едем обратно.

— Одну минуту, я только допью.

Из приемника лилась мелодия, очень модная в те годы. Одна из тех, что служат условным языком влюбленным парам в клубе «Атлантик»:

Я так устал ее просить,
Я так устал ей говорить,
Что без нее
Мне остается умереть...

Наверно, я улыбнулся в тот момент, потому что на лице Ольги также мелькнуло подобие улыбки: показались ямочки на щеках. Я снова спросил:

— Ну, хорошо. Зачем же все-таки в этот раз вы заставили меня приехать?

— Чтобы увидеть вас.

— Послушайте, Ольга,— наконец решился я.— Мне не хотелось говорить об этом, но, если вы желаете знать, почему я не бываю в вашем салоне, скажу вам правду. Потому что не хочу, чтобы вы проделывали со мной те же трюки, что с другими клиентами, среди которых, кстати, у меня есть друзья. Вы ищете мужчин и каждому рассказываете разные басни. А я был настолько глуп, что поверил в вас как в хорошего, искреннего человека. Думал, что вам отвратительны приглашения, за которыми скрывается стремление соблазнить вас. Я чуть не сгорел от стыда, когда узнал, что лишь я принимал вас всерьез.

— Кто вам сказал все это? — воскликнула она, пораженная и негодующая.— Тот, кто так говорит,— лжец! Лжец! Клянусь вам собственным сыном, которого я люблю больше всех на свете,— никогда я не искала мужчины. У меня есть гордость!

— Однако я знаком с одним из тех, кому вы постоянно звоните, просите, чтобы он пригласил вас покататься. Он сам мне говорил об этом.

— Он лжет, кто бы он ни был. Если бы я пожелала, мне не пришлось бы никому звонить. Предложений хватает... Но кто же вам рассказал все это?

— Зачем вам его имя? Если это правда, вы сами должны знать, кто он.

И вдруг Ольга, захлебываясь слезами, заговорила:

— Если бы вы только могли знать, как долго я колебалась, прежде чем позвонить вам сегодня! Я никогда не звонила никому из мужчин. Но мне хотелось видеть вас, хотя я знала, что вы обижены! Вы правы! Столько раз я заставляла вас ждать, а затем приносила нелепые извинения. Потом я решила ничего не объяснять вам. Дело в том, что до последнего дня мы не были разведены с мужем, хотя не живем вместе. Он постоянно преследовал меня. Однажды, когда вы пригласили меня в кино, я собралась и уже вышла на улицу, как вдруг увидела его. Муж подкараулил меня, грозил, что изобьет меня, если увидит вместе с мужчиной. Я боялась, что это случится в вашем присутствии. Только потому я не пришла тогда. А потом мне было стыдно сказать вам, что мне очень хочется видеть вас. Я никак не могла решиться.

Ольга плакала, теперь уже тихо. Я не знал, что делать.

Взял ее руку, сжал в своих ладонях, Ольга вновь посмотрела на меня. Я поднес ее руку к губам — жест весьма распространенный в

Европе, означающий всего лишь знак уважения. Однако я находился в обществе женщины, которая была намного моложе меня, к тому же я почти ее не знал, так что жест мне самому показался смешным.

— Вы наконец все поняли? — спросила она.

— Да... поверю вам,— ответил я, опуская глаза. Мне не хотелось огорчать ее. И вдруг Ольга, совсем как маленькая девочка, прильнула к моему плечу. Ее лицо было так близко от моего... Я поцеловал ее в лоб, но она сама откинулась назад, подставив для поцелуя губы. Шелковый платок упал с головы, и русые волосы беспорядочными прядями упали на ее почти детское лицо. Я вглядывался в ее зеленые глаза, пытаясь угадать смысл встречи, о которой мечтал так долго и которая произошла при столь необычных обстоятельствах. Я поцеловал ее, потом еще раз, еще, повторяя:

— Ольга, Ольга...

Перебивая друг друга, мы стали говорить о том, как счастливо и вдруг победила наша любовь, пусть я уже и не рассчитывал когда-либо увидеть Ольгу.

— А я знала, что мы обязательно встретимся,— говорила она.— Мне приятно видеть вас после такого перерыва. А теперь скажите мне, кто же этот ваш друг, который уверяет, что я его преследую?

— Не имеет значения, Ольга. Я верю вашим словам, и не заставляйте меня произносить его имя.

Неужели она опять лгала мне? Правда ли, что никогда в жизни не звонила ни одному мужчине с просьбой пригласить ее в ресторан? Как можно было все это узнать и проверить?! Главное, что после россказней Мьюира я решил было не посещать салона, и Ольге пришлось сделать то, чего бы она никогда не осмелилась сделать в других обстоятельствах: позвонить мне и попросить о встрече. Какое значение могло иметь все остальное? Она открыто высказывала мне нечто большее, чем симпатию. О чем же более я — в моем возрасте — мог мечтать?

Мы проговорили еще два часа. Автомобили постепенно разъезжались, и в конце концов мы остались в парке одни. Ольга попросила отвезти ее домой, жила она в одном из самых бедных и отдаленных районов города.

Слабые фонари едва позволяли различать в темноте редкие силуэты прохожих, которые в этот поздний час еще не добрались до своего домашнего очага. Единственным признаком жизни в этой кладбищенской тишине был шум и огни ночных кабаре, зазывавших публику лихими рекламами. Машина скользила по мокрому асфальту. Ольга, как ребенок, продолжала болтать обо всем и ни о чем, это ее качество привлекало меня еще во время наших первых бесед в «Прадо».

— Я не выхожу поздно одна из дома. Я даже ни разу в жизни не была ни в ресторане, ни в кабаре. Муж очень ревновал и не позволял отлучаться из дома. Однажды меня пригласила подруга на день рождения, кто-то подарил ей бутылку вина, и ее супруг решил подпоить меня. У меня закружилась голова, я отвратительно себя чувствовала. А когда вернулась домой, муж избил меня. Палкой! Какое зверство! Не знаю, как я могла терпеть столько времени этого человека!

— Вы любили его?

— Сначала — да. Потом мы оставались вместе из-за ребенка. Я хотела, чтобы у мальчика был отец. Наверно, для ребенка это ужасно — то и дело видеть в доме новые мужские лица.

Автомашина продолжала плавно плыть по блестящему от дождя асфальту.

— Если бы вы только знали, как часто я представляла себе, что мы с вами едем вдвоем, вот как сейчас. Вместе, ночью, в автомобиле... И что на улице уже никого нет. Как будто мы уезжаем далеко, далеко...

— А теперь? Вы довольны?

— Я счастлива. Но давайте говорить друг другу «ты»...

— Ты счастлива? Мне так нравится, как ты это говоришь! Мне кажется, что слова твои идут от сердца!

— Все будет хорошо,— продолжала Ольга.— Теперь меня больше ничего не волнует. Когда я тебе позвонила, я уже все решила...

— Что же ты решила?

— Что ты будешь моим другом, любовником, мужем — кем угодно. Как это будет называться — не самое главное.

— Ты сегодня так искренна. Но ведь я уже в годах, и кто знает: может быть, завтра какой-нибудь юноша, очередной Мьюир, который умеет танцевать и болтать приятные пустяки, вытеснит меня из твоей души?

— Буду всегда с тобой, пока ты сам не захочешь со мной расстаться! Я много думала об этом. Наконец сказала сама себе: мне нужен Б. К.,— и тогда поняла, что смогу быть тебе верной всю жизнь. Мне не нужны мимолетные развлечения с красавчиками из высшего общества. Я хочу иметь опору, человека серьезного, который уважал бы и любил меня.

Я остановил автомашину, обнял Ольгу и горячо поцеловал.

— Нет, не здесь. Нас могут увидеть!

— Какое это теперь имеет значение?

— Нет, не сейчас.

Я все-таки поцеловал ее еще раз и неожиданно для себя спросил:

— Хочешь быть моей? Ты уже чувствуешь, что хочешь быть моей?

— Не спрашивай меня, об этом не говорят...

— Хорошо, не буду. Когда ты поймешь, что все неизбежно должно произойти, ты сама скажешь. Это будет доказательством того, что ты меня любишь. Я буду ждать, я уже так долго ждал!

— Зачем вы все это говорите? Чудной вы человек!

— Чудной? Почему же? Это естественное завершение любви между двумя свободными людьми.

— Верно, но все-таки об этом не говорят!

Опять влияние католической морали, хотя я к ней уже и привык.

— Знаешь, Ольга, какое счастье, что все так произошло! Еще месяца два назад я не нуждался в тебе так, как нуждаюсь сегодня. У меня было много друзей, большие связи. Я с успехом делал деньги... А теперь... Не знаю, известно ли тебе... В общем, меня занесли в «черный список»...

— А что это такое?

— Как тебе объяснить? Ты ведь знакома с Мьюиром? Верно? — при этом я пристально вглядывался ей в лицо, стараясь уловить ее реакцию, но Ольга едва кивнула утвердительно головой.— Ну, так вот. Мьюир выбирает среди немцев и итальянцев, проживающих здесь, тех, кто является врагом Соединенных Штатов Америки, кто помогает Гитлеру. И об этом должны знать все. Поэтому имена таких людей заносятся в списки, которые американцы называют «опубликованными», а народ — «черными». С этого момента каждый, кто оказывает содействие такому человеку в работе, в торговле, полити-

ке — всюду,— считается противником союзников и его также заносят в тот же список.

— Значит, все зависит от Мьюира?

— Не только от Мьюира. Ведь нужны определенные доказательства, которые подтверждают, что тот или иной человек сотрудничает с гитлеровским правительством.

— А ты? В чем ты помогал немцам?

— Я никогда и ни в чем им не помогал. Это величайшая несправедливость, что меня занесли в «черный список»!

— Но ведь за что-то тебя занесли?!

— Не знаю, за что. Для меня это загадка.

— И у тебя нет никаких предположений по этому поводу? Никто тебе ничего не говорил?

— Одна моя приятельница высказала мысль, которая поначалу показалась мне абсурдной, но теперь не кажется такой нелепой. Приблизительно около года назад я поссорился с моим кузеном, управляющим крупной фирмой. Он совсем выжил из ума! Кузен привык к тому, что мои акции всегда помогали ему занимать высокий пост. Кое-кто из моих друзей предложил мне сбросить моего кузена с пьедестала, передав им право моих акций на голосование. Его место должен был занять я сам. Возможно, чтобы отомстить за это и предупредить свой крах, кузен придумал что-то, после чего меня и внесли в эти проклятые списки. По крайней мере таково мнение моей знакомой. Сначала я ей не поверил, но некоторые события заставили меня сильно призадуматься.

— Сколько у вас, богатых, странностей... Постоянно между вами вражда,— прервала меня Ольга.

— Самое удивительное,— продолжал я,— что мы в самом деле встретили однажды в Фусагасуге моего кузена и Мьюира, они обедали вместе. А ведь когда я еще был в нормальных отношениях с Фрицем, они даже не были знакомы.

— И все из-за денег! Все ради денег! — повторила Ольга.— Боже мой! Чего я только не наслушалась о вас в своем салоне! Не знаю, поверишь ли, но сегодня один из клиентов, говоря о разложении светского общества, рассказал о какой-то богатой даме. О том, каким хитрым маневром она решила получить скаковую лошадь... Наверно, все это вранье. Но мы, бедняки, совершенно не похожи на богатых.

— Я знаком с такими людьми. Расскажи мне историю, которую ты слышала, и я скажу тебе, могла ли она произойти на самом деле.

— Не знаю, верить ли... Короче, этот сеньор говорил, что влюблен в какую-то замужнюю, очень знатную даму. Так вот, эта дама сказала ему якобы, что, если муж не подарит ей на рождество скакуна, она переспит с этим господином в отместку мужу.

Мне показалось, что земля уходит у меня из-под ног. Я не смог найти подходящего ответа, который удовлетворил бы любопытство Ольги, да и не было времени для раздумий, происходит ли нечто такое в Ла Кабрере. Я в растерянности спросил:

— А кто же этот клиент?

— Нет, сеньор...— возразила Ольга, тотчас же заметившая мою растерянность.— Я тебе ничего не скажу, пока ты не назовешь имени того мужчины, которого я якобы преследую.

— Я тебя спросил, потому что, возможно, это — один из моих знакомых. Видимо, он порядочный враль. Но если не хочешь назвать его, мне все равно.

— Я и не назову!

— По крайней мере скажи — я его знаю?

— Очень хорошо знаешь! Ты с ним встречался даже в «Прадо». Вы часто перебирали, где бывали вместе в течение недели...

— Ладно, не будем более говорить об этом. Поговорим о нас с тобой. Когда мы снова увидимся? Ты уверена, что сегодняшняя встреча — не каприз? Что ты не ищешь мимолетного развлечения, чтобы потом бросить меня?

— Ты меня не понимаешь. За всю жизнь я не знала никого, кроме мужа. Говорю тебе: я — не искательница приключений.

— Ты сможешь завтра позвонить мне в отель и повторить все?

— Хорошо, я позвоню тебе, и мы договоримся о новой встрече.

Я еще раз поцеловал Ольгу и вернулся в отель в гораздо более радужном настроении, чем юный студент, только что одержавший первую победу. Но эта история про даму и ее мечту о лошади — я почти забыл ее! Дамой этой могла быть только Мерседес...

Можно было сойти с ума, пытаясь распутать все эти загадки. Кто говорил правду: Ольга или Мьюир? Кто был тот «друг», которому Мерседес дала такое рискованное обещание? Зачем она рассказала мне о своем намерении изменить Пересу? И именно ли Мерседес героиня этой истории? А может быть, речь идет совсем о другой женщине, которая также захотела получить на рождество чистокровную лошадь? Видимо, это был самый вероятный вариант. Но странно, что оба рассказа совпадали до мельчайших подробностей!

Кроме того, Ольга утверждала, что главное действующее лицо этой истории — «мой друг». Невозможно было проверить, говорит ли она правду или выдумывает. В то же время рассказы Мьюира об Ольге выглядели достаточно правдивыми. К тому же она сегодня сама призналась, что находила глупые отговорки из-за страха перед мужем. А может быть, теперь она также лжет из страха передо мной? Во всяком случае, рассказ о лошади не мог быть выдуман. Какой смысл было выдумывать такую историю? Значит, Мерседес поведала о своих делах еще кому-то, кроме меня. А этот тип, чтобы заинтересовать Ольгу и поболтать с нею на пикантные темы, изобразил себя доверенным лицом. Видимо, так оно и было.

Вихрь жизни не прибил меня к укромному берегу, где я спокойно мог бы наслаждаться собственным благополучием. Напротив. Соперничество и интриги, столь схожие с войнами, которые ведут белые люди, попав в поисках золота в сельву, столкнули меня на дно пропасти. Такой пропастью для меня стал «черный список». И только Мьюир мог вытащить меня. Почему бы не проникнуть в дебри этого мира, который все еще продолжал волновать меня своей загадочностью, и не воспользоваться некоторыми дружескими связями?..

XVIII

В этих местах иногда испытываешь ощущение неожиданного прихода европейского лета. Кажется, что солнце дольше обычного задерживается на небосклоне, окрашивая пламенеющими отблесками силуэты гор. Чудеснейшим образом отодвигаются куда-то сумерки, хотя темнота здесь наступает сразу же после семи часов. Легкий ветер с тихим шелестом гонит листву и вызывает в памяти иностранца то время года, которое в Новой Англии называют «индейским летом», а в Европе — «бабьим». Так именуется мимолетный период тепла, который вдруг приходит в разгар осени, до того, как зимние туман и холод, неумолимые вестники близящейся кончины года, бесповоротно овладевают природой.

Такими представляются мне немногие дни, согретые последним горением моего сердца и освещенные светом детских глаз Ольги. Именно они и смягчали горечь моего изгнания.

Тот, кто не испытывал колдовских чар женщины, никогда не сможет понять моей страсти к существу столь невежественному, каким была Ольга. Ее наивность в сочетании с постоянно меняющимся мнением окончательно подчинили мою волю. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, будучи уже в состоянии хладнокровно анализировать свои чувства, я твердо знаю, что забыл бы обо всем и вновь полностью подчинился бы ее влиянию, если только мне было бы дано увидеться с нею в следующее воскресенье.

Это произошло после того, как мы встретились с Ольгой во второй раз. Она позвонила мне и подтвердила по телефону все, что сказала в парке у «Марианао», а именно: что она все решила окончательно и решения этого не изменит.

Любовь питается поочередно то сомнениями, то надеждами. Любовь умирает, когда побеждает разум, способный трезво судить любимое существо.

В некоторых женщинах настолько тесно переплетаются совершенно противоположные качества, что они представляются неразрешимой загадкой. И так как разгадать женщину невозможно, то она годами поддерживает в мужчинах пламя неугасимой и необъяснимой страсти. Необъяснимой для тех, кто никогда не попадал в невидимые сети сомнений.

Разве не уживаются в женщине изощренное хитроумие и прекрасная наивность?! Разве не сливается в ней тонкость души с грубым упрямством, причем в самых крайних его проявлениях?! Разве не изощренным кокетством можно назвать стремление женщины изобразить свои чувства к любимому как материнскую любовь? И разве презрение ее не является верным признаком любви?!

Ольга, подобно тому как манит нас таинственная бездна, волновала своей противоречивостью.

Кем же все-таки была Ольга? Изощренной кокеткой? Умницей? Пустышкой?

— Ольга, у меня уже были любовные приключения. Я хочу, чтобы все, что с тобою связано, было бóльшим, чем обыкновенная интрижка. Чтобы ты была не капризом, а последней любовью в моей жизни,— говорил я ей, вызывая на откровенность.

— Я ни для кого не буду «интрижкой». Тебе незачем говорить мне об этом.

— Меня не интересует «кто-то»! Я не хочу, чтобы так было со мною.

— Это — лишний разговор.

Кто из нас был прав?

— Ольга, я могу надеяться, что ты когда-нибудь захочешь стать моей? — вновь спросил я во время нашего второго свидания.

— Об этом не говорят,— повторила она.

— Но ведь ты сказала, что слова в данном случае ничего не значат. Что ты будешь моей подругой, женой, любовницей.

— Многое меняется. Есть вещи, о которых можно говорить, но есть и нечто, о чем нужно молчать.

— Для мужчины чувствовать, что женщина принадлежит ему по любви, значит неизмеримо больше, чем легкая победа.

— Я же сказала, что люблю тебя. Зачем нам говорить о столь некрасивых вещах...

— Ты правда меня любишь? Ты ждешь моей любви?

— Какой ты чудной...

Через несколько дней она мне сказала:

— Вчера вечером я встретила на улице мужа. Он при всех оскорбил меня, назвал шлюхой!..

— Он так и сказал?

— Да, и повторил дважды!

Она как будто испытывала удовольствие, повторяя грязное слово. А может быть, и в этом проявлялась ее испорченность? Или просто привычка не стесняться крепких слов. Я не хотел спрашивать Ольгу. Не хотел знать.

Иногда я давал ей книги, очерки об известных людях, романы, доступные ей. Я надеялся, что позднее мы вместе будем обсуждать прочитанное и это расширит ее кругозор. Но когда я пытался спрашивать ее о содержании книги, Ольга неизменно отвечала:

— У меня не было времени читать. Я прочту на будущей неделе.

Проходили дни, месяцы, но мы никак не могли найти общих точек соприкосновения в нашей духовной жизни. Желание возвратить книгу в срок — только оно одно заставляло Ольгу вспоминать о ней.

— У меня три твои книги. В четверг я принесу их тебе.

— Я их дал тебе не для того, чтобы ты их просто вернула. Ты прочла что-нибудь?

— Ну скажи, зачем мне читать их? Отец говорит, что романы научат плохому. Детские книжки я читать не хочу, а все другие полны грязи.

И странно — ее наивные ответы означали для моей любви гораздо больше, чем если бы я услышал от Ольги умный и точный анализ прочитанного.

— Ты права, моя девочка,— говорил я, лаская ее белокурые рассыпающиеся волосы.— Девочка моя!

— Я хочу тебя познакомить с моей семьей,— заявила однажды Ольга.— И мама, и сестры хотят повидать тебя. Ты сможешь приходить к нам по вечерам, когда захочешь.

— Нет, я не хочу знакомиться с ними.

— Значит, ты меня не любишь?

— Не в этом дело. Ведь я — друг твой, а не твоего семейства.

— А вот мой муж жил со мною...

— Но я ведь — не муж тебе и не могу жить в твоем доме.

— Значит, ты меня не любишь...

— Нет, люблю! Лучше я сниму тебе квартиру, ты будешь там одна, и мы сможем встречаться, когда нам захочется. И потом, та квартира будет гораздо лучше, чем нынешняя, в которой ты живешь сейчас.

— Я не хочу лучшей квартиры. Я хочу жить с матерью.

— Ну хорошо, возьми с собой мать.

— Но моя мать и сестры не могут принимать от тебя такие подарки. Если бы ты любил меня, то сделал бы приятное мне и приходил к нам домой, как я прошу тебя.

Она была права, я все-таки недостаточно любил ее, чтобы полностью подчиниться ее желанию и стать другом всего ее семейства.

— Ольга, давай поженимся!

— Нет, мы будем несчастны. Ты — богат, твои друзья — тоже богачи. Тебе будет стыдно представлять в качестве жены такую невежественную женщину, как я. Я никогда не путешествовала, не умею одеваться, не умею разговаривать....

— Я люблю тебя, а это самое главное. Мы уедем с тобой в Мексику, в Чили, куда хочешь. Будем заново строить нашу жизнь.

— Нет, мы и здесь можем быть счастливы, не заключая брачных договоров! Зачем создавать лишние трудности? Нас никто не

беспокоит, мы можем встречаться и любить друг друга, как сейчас. Если мы поженимся, то вынуждены будем жить вместе. А я никогда не смогу подняться до твоего уровня...

— Но ты уже...

Можно ли было проявить большее бескорыстие, большее благородство?! В разговоре о нашем возможном браке Ольга, не получившая образования, представала передо мной как человек, наделенный острым чувством реального. Я был вынужден примириться с очевидностью ее доводов. Мы не стали бы счастливы. Мы родились в столь разных условиях, принадлежали столь разным классам, что нечего было и думать о том, что мы сможем наслаждаться совместной жизнью. Ольга, несмотря на свою юность, уловила это; после первого порыва и я, и Ольга чувствовали бы себя не на своем месте.

Как я уже говорил, близилось рождество, и мне хотелось, как всегда, собрать друзей. Я решил заранее заказать в «Атлантике» столик и пригласить самых близких людей.

Я позвонил Бетете:

— Какие новости? Как продвигаются мои дела?

— Хорошо, очень хорошо. Как только станет что-либо ясно, я проинформирую вас.

— Не сможете ли вы вместе с Исольдой прийти в «Атлантик»? Мы бы вместе отпраздновали рождество.

— Встретимся сегодня и поговорим. Мне надо посоветоваться с женой.

Вечером он приехал ко мне с бутылкой коньяка — это был его рождественский подарок — и заявил с неизменной улыбкой, что он сожалеет, но неотложная встреча мешает ему принять мое приглашение. Бетета, как всегда, оставался человеком высшего света.

Я позвонил Лаинесу:

— Дон Диего! Не сможете ли вы принять мое приглашение и приехать в «Атлантик» на ужин вечером 24 декабря?

— Совершенно исключено, сеньор К.,— ответил тот.— Очень сожалею, очень. Но мы всегда встречаем этот праздник в семье, с женой и с матерью.

Я позвонил Мануэлю.

— Нет, не могу. Но нам было бы очень приятно увидеть вас днем у себя, в Эль Пинаре, на обеде.

— Благодарю. Я прибуду к часу.

Мануэль воспользовался случаем и пригласил на обед ветеринара, который должен был отобрать лучшие экземпляры из стада поместья на предстоящую выставку. Мы беседовали с врачом до позднего вечера. Супруга Мануэля сразу же после обеда удалилась за покупками, так как в тот же день в Эль Пинаре должен был состояться прием.

И только мой врач, доктор Фаусто, с присущим ему цинизмом, которым он славился в кругах Ла Кабреры, открыл мне глаза:

— Приходите вечером в бар «Лас Агилас», там поговорим. Сейчас я ничего не могу сказать.

Недорогой бар был набит народом. С огромным трудом мы нашли столик в дымном углу. Разговаривать было почти невозможно: от стойки неслись оглушительные крики.

— Послушайте, сеньор К.,— сказал мне доктор.— Я вас глубоко уважаю, но не могу рисковать. Тем более в таком месте, как клуб «Атлантик»... Ведь ваше имя фигурирует в «черном списке», и все об этом знают! Особенно после скандала в «Сентраль».

Мне нечего было возразить доктору. Я смотрел на него без всякого удивления. Он, видя мою реакцию, которую, по всей вероятности, ожидал, успокаивающе положил мне на плечо руку. Потом вынул ключи, бросил их на стол и сказал, улыбаясь:

— Не стройте никаких иллюзий о встрече праздника в публичном месте. Вот вам ключ от моего дома. Вы знаете, он находится в северной части города. Меня не будет всю неделю. В доме лишь старая служанка, глухая, как могила. Найдите себе подружку и проведите с ней праздник вдвоем. Рекомендую вам комнату, которая выходит на реку... В домашнем баре стоят напитки, у патефона вы найдете пластинки с последними болеро.

— Благодарю вас от души, но право же...

Однако в глубине души мысль о том, что сегодня же или в крайнем случае завтра я смогу отправиться в этот дом, чуть ли не заставила вырвать ключ из рук доктора. Но извечное ханжество протестанта вынуждало меня скрывать подлинные чувства.

— Возьмите этот ключ, сделайте мне праздничный подарок. Иначе я буду чувствовать себя неловко за мое предложение.

Я взял ключ и поблагодарил доктора Фаусто, добавив, что делаю это, только чтобы угодить ему.

В тот же вечер, когда мы, как обычно, ехали с Ольгой в автомашине, я сказал ей:

— А у меня для тебя есть сюрприз — нам с тобой повезло на «благотворительном базаре для бедных детишек».

«Благотворительные базары» — самые популярные в рождественские дни, которые проводятся якобы в пользу нищих детей.

— Что же это? Ты собираешься мне что-то подарить?

— Видишь эту бутылку шампанского? Мы выпьем ее с тобою в «Корабле», так называется дом моего приятеля. Огромный красивый дом. Ты таких еще и не видела. За садом — река. А в доме огромные окна, чтобы можно было бы любоваться звездами...

Ольга засмеялась:

— Я сегодня как раз надела красное платье. Ты говорил, что оно тебе нравится.

— Ты похожа на королеву, которая осчастливит обездоленных на их празднике! Самая настоящая королева!

Машина наша медленно продвигалась между дикими вишнями. Я держал Ольгу за руку.

— Мне всегда так нравились твои руки,— говорил я.— Они были моими первыми друзьями. Наше сближение началось с рук.

— У меня красивые руки? Но ведь они слишком большие, как у мужчины.

Это правда — удивительно, что у столь нежного создания были такие крупные руки, они совершенно не гармонировали с ее хрупкой фигурой. Ольга впервые говорила о своем недостатке.

— Пусть твои руки не очень красивы, зато они не тщеславны, а главное — верны.

Мы подъехали к самым дверям дома доктора Фаусто и быстро вошли, опасаясь ненужной встречи. Никого не было. Я опустил занавеси в гостиной и пошел за льдом и бокалами для нашего праздника — праздника обездоленных.

Ольга никогда не пробовала шампанского, она с удивлением следила за моими приготовлениями. Когда из бутылки с оглушительным хлопком вылетела пробка, Ольга сказала:

— Давай сделаем по глотку шампанского и поцелуемся. Я видела это в одном фильме.

И она поцеловала меня, осторожно перелив в мой рот вино. Действительно ли она видела это на экране?

— Твоя любовь кажется мне чудесным даром! Иногда я сомневаюсь, наяву ли все? Ты столько заставила меня ждать, столько времени могла пробыть без меня...

— Ты все еще сомневаешься? Но почему тогда я сегодня с тобой? Зачем же я пришла сюда?

«Зачем я пришла сюда?»... Не говорило ли в ней желание? Может быть, она уже сдается?

Я бережно взял Ольгу на руки и отнес на диван в самом укромном уголке гостиной, уже окутанном сумерками. Она лежала, как мертвая, с губ ее не слетело ни единого слова. Я пытался вызвать хоть кроху ответной нежности... Все было тщетно.

— Как же так? Как же так? — повторял я, не понимая сам, что говорю.

Ольга по-прежнему хранила молчание. Руки ее бессильно вытянуты вдоль тела, будто ею овладело полное безразличие ко всему, что происходит в мире живых людей. На ложе, подаренном мне в этот день судьбой, лежала словно не молодая и полная сил женщина, а сломанная ветка, дерево, принесенное откуда-то неиссякаемым потоком вечности.

Я жадно ласкал Ольгу. Мои руки скользили по ее телу, будили его, но оно оставалось холодным. От нее исходил аромат свежего плода, спелого персика, сорванного чьей-то грубой рукой. Запах этот кружил мне голову, путал мои мысли... Вокруг нас царила глубокая тишина. Ольга, как и прежде, молчала, была недвижна. В ответ на мои действия — ни слова протеста. Ни движения, которое означало бы согласие.

Ледяная скованность ставила меня в тупик. Ольга отдавалась моей воле. Но в руках у меня была всего лишь живая кукла, лишенная каких бы то ни было чувств, ничего общего не имевшая с существом, с которым несколько минут назад я жарко говорил о любви. Единственным признаком жизни было ее прерывистое дыхание. Аромат дыхания обволакивал меня, казалось, его источает все ее тело, губы, волосы, грудь, щека, прижатая к моей щеке. Мои чувства, обостренные предвкушением столь желанной победы, не подчинялись приказам разума. Я понимал, стоит Ольге проявить малейшую нежность, произнести пусть слово, наша встреча не закончится полным крахом.

— Что же это такое? Что же это?..

Все было напрасно. Мое тело уже не подчинялось импульсам сердца. У меня не оставалось иного выхода, как признать свое поражение.

Я поцеловал Ольгу. Несколько минут спустя, надеясь вернуть ее к жизни, я предложил ей допить шампанское, которое мы только распечатали.

— Не смогу успокоиться. Не смогу спать...— только и произнесла она.

Я испытывал смертельный стыд. Что она подумает обо мне? Какой позор! Мог ли я объяснить ей, что причина моего краха — испытания последних дней и слишком сильное желание обладать ею.

В полном молчании мы возвращались в город... Я терзался, думая о том, захочет ли Ольга встречаться со мною, боялся спросить ее об этом, предчувствуя, что ответ будет отрицательным, безжалостным.

В ужасном состоянии духа я вернулся в номера «Ле Тукэ», прежде проводив Ольгу до дома. Мы простились без обычного поцелуя,

без единого ласкового слова — каждый словно испытывал чувство собственной вины.

Здешний, чужой мир окончательно отбросил меня. Ни мои устремления, ни моя корысть, ни даже любовь не помогли мне проникнуть в него. Сама жизнь занесла меня в «черные списки», я был «чужим на земле», как гласит священное писание.

XIX

Подходил день рождества...

То, в каком положении оказывался так называемый «опасный иностранец», чье имя заносилось в «дополнительные к ранее опубликованным спискам», никого не интересовало. Я думаю, что многие из моих друзей были твердо уверены, что в отношении меня была совершена вопиющая несправедливость, что я не мог быть замешан в действиях, враждебных союзникам, что я абсолютно невиновен. По крайней мере говорили так при личных встречах.

Весьма точно выразился Мьюир во время нашей беседы в посольстве: «Посольство — не суд, и здесь не ведутся процессы, не приобщаются вещественные доказательства и заявления свидетелей. Посольство лишь представляет правительство США, и миссия посольства — помочь своему государству победоносно выиграть войну». С таким же успехом можно было обратиться к пуле с просьбой не поражать тех, кто идет на фронт не по своей воле...

Могло ли интересовать людей, виноват некий Б. К. или нет? У кого была охота проверять справедливость обвинений? Б. К. занесен в «черные списки», и этого достаточно, чтобы он стал «нежелательным».

Наверно, только прокаженным, бродившим в средние века по дорогам с лицами, закрытыми тряпкой, было бы понятно то отвращение, которое вызывали мы — из «черного списка» — у людей, даривших нам свою дружбу и гостеприимство. В тысячу раз лучше погибнуть на фронте, чем превратиться в парию, отвергнутого обществом, будто общение с нами грозит заразить чем-то постыдным.

На следующий день после рождества я прочитал в газетах, что Мануэль устроил пышный ужин в поместье Эль Пинар. Из списка его друзей был исключен только я... Правда, на полное одиночество я пожаловаться не мог, так как в тот же день получил приглашение от ветеринара, с которым я встречался у Мануэля.

По фотографиям, помещенным на газетных полосах, я узнал, кто присутствовал на приеме в «Атлантике». Во всем великолепии блистали супруги Бетета и супруги Кастаньеда. На балу был и Лаинес, в качестве предлога ссылавшийся на свою матушку, с которой якобы ни он, ни его супруга никогда не расставались. И, естественно, в центре внимания приглашенных и фотографов был Мьюир. Не хватало только Переса и Мерседес. Никто из названных выше лиц не захотел принять моего приглашения, так что мне пришлось искать гостей, как царю из библейской притчи.

Сначала я перебрал своих соотечественников, некогда посещавших меня в пансионе мисс Грейс. Пользуясь моим радушием, они проводили у меня долгие часы, сравнивали свое положение с моим и постоянно повторяли монотонными голосами: «Так больше продолжаться не может».

Преследуемый обладает особым чутьем, которое предупреждает его об опасности: сегодня те же соотечественники уже избегали ме-

ня и, встречаясь на улице, делали вид, что не замечают или не узнают.

Я подумал, что можно было бы пригласить кое-кого из них, но потом решил воздержаться — в полной уверенности, что мое приглашение будет отклонено и, возможно, в гораздо более откровенной и резкой форме, чем вежливые и подслащенные отказы моих приятелей из «Атлантика». В конце концов я был вынужден отпраздновать рождество в маленьком салоне отеля «Люкс» в обществе четырех добропорядочных немецких буржуа с их супругами, здоровыми и крепкими, как тягловые лошади.

Лучше бы я не собирал гостей и не устраивал этот праздник! Печаль, как и радость, заразительна, и скоро все мы испытывали ощущение одиночества и заброшенности. Жертвы неумолимой судьбы, все мы думали об одном: что же ждет нас после крушения нашей родины? Все надежды на лучшее будущее были связаны лишь с ее крахом. Когда же не останется камня на камне ни от Берлина, ни от Гамбурга, ни от Бремена, ни от Франкфурта, говорил я сам себе, тогда мир станет близким. Кто знает, сколько родных и друзей гибнет каждую ночь во время ужасных бомбардировок, сообщения о которых печатались на первых полосах газет. Но желание увидеть за гибелью надежду на наше собственное возрождение не казалось нам неестественным. Можно ли было придумать более страшную судьбу?

Ко всем этим мыслям примешивалось и чувство моего ничтожества. После последней встречи с Ольгой мы опять стали встречаться так же часто, как и прежде. Но воспоминание о моем позоре не отпускало нас. Мне казалось, будто наши руки, наши тела были разделены невидимой, но непроницаемой тканью, хотя ни один из нас не осмеливался вновь заговорить о том несчастном вечере в «Корабле».

Доктор Фаусто, с которым я поделился происшедшим, прервал меня веселым смехом:

— Я и не думал, что вы так сильно влюблены. Придется еще раз попытаться...

Но я не осмеливался. Я боялся. Боялся потерять тот единственный источник любви и нежности, которым стала для меня Ольга.

Накануне рождества я даже не стал поздравлять ее, просто вручил ей подарок. Мы покатались на машине, как это было уже много раз. Я поцеловал ее, всеми силами стараясь не вспоминать о неудавшемся «благотворительном базаре для бедных детишек». Я даже не предложил Ольге, что, видимо, следовало бы сделать, выпить вместе бутылку шампанского. Я не мог вспоминать о том поцелуе с вином во рту, чему она научилась якобы по фильмам.

Ольга же незаметно, но настойчиво пыталась выяснить, куда я отправляюсь в этот вечер.

— Ты сегодня идешь в «Люкс»? А где он находится?

Я ответил, но она продолжала:

— Да, там всегда был отель, но он назывался по-другому.

— Прежде это был отель «Линц». Пришлось хозяевам изменить название.

— Почему?

— Потому что «Линц» — типично немецкое слово, а теперь все немецкое запрещено. Чтобы название звучало похоже, но ближе к испанскому, перекрестили в «Люкс».

— Отель принадлежит немцу?

— Да.

— И там всегда много народа?

— Думаю, что до войны у него была более обширная клиентура.

Но сейчас с ним происходит то же, что со всеми отелями и ресторанами, принадлежащими немцам. Люди испытывают страх перед всем немецким, так что отели пустуют.

— Значит, туда никто почти не ходит?

— Нет. Только те немцы, которые попали в «черные списки». Нам нечего более терять.

Я говорил все это вполне искренне. Я был уверен, что занесение в проклятые списки навсегда оставит свой след. К своим соотечественникам, значащимся в том же списке, я испытывал чувство солидарности, подобное тому, которое вызывают в осужденном позорные полосы на одежде каторжника.

Мы поговорили о многом, даже о наших планах на будущее. Вдруг Ольга, без всякой связи со сказанным, произнесла:

— Знаешь, чего я хочу? Провести ночь вместе. Но только всю ночь, чтобы чувствовать себя как муж и жена...

— Да, да, непременно,— ответил я ей в полной растерянности. А вдруг постыдная сцена повторится?..

В тот грустный рождественский ужин мне не давала покоя еще одна мысль: презентовал ли Перес своей супруге лошадь, о чем я намекал ему, или же она все-таки решилась отдаться другому мужчине?

На следующее утро я отправился вручить супругам Перес традиционный подарок, однако дома никого не оказалось. С настойчивостью, которая должна была показаться служанке подозрительной, я стал выяснять, находятся ли они в городе или выехали, но женщина ничего не могла толком ответить. Если их не было в городе, значит Перес принял к сведению мои намеки и, возможно, уже обследовал вместе с Мерседес конюшни в поисках скакуна. Поскольку мне было известно состояние его дел, я не сомневался, что покупка чистокровной лошади не составляет для Переса никаких материальных затруднений. Как и все представители Ла Кабреры в этот год— решающий год войны,— Перес получал колоссальные прибыли. Кастаньеда называл операции Переса «cornering the market»[1], чтобы придать британскую пристойность спекуляциям на предметах первой необходимости, нехватка которых была все ощутимее. В последние месяцы Перес и его подручные обратились к лекарствам и автопокрышкам, цены на последние взлетели фантастически, особенно после того, как Япония захватила голландские колонии на островах Индонезии.

Три-четыре тысячи песо, которые могла стоить лошадь, абсолютно ничего для Переса не значили. Зато Мерседес в любой момент могла потерять репутацию порядочной женщины и попасть в «черный список», составленный самой жизнью, который так страшит женщин. В него попадают те, за кем идет слава «легкой женщины», а славу эту нелегко «отмыть». Попасть же в такой список «легких» весьма просто: достаточно лишь довериться кому-либо и стать героиней сплетни, подобно той, которую услышала Ольга. Моя дружба с Мерседес началась с разговора об изменах. Это произошло почти два года назад, когда однажды ночью в поместье Эль Пинар я привел ей старинную поговорку о женской неверности: «Обладание мужчины обжигает кожу женщины, как тавро». «Как звучит эта поговорка, сеньор К.?» — спросила меня Мерседес, после того как круг беседовавших распался. Я повторил, ничего не подозревая. О чем думала она тогда? Может быть, в ее уме уже зрел план измены, которую она намеревалась оправдать легковесным предлогом: муж — скряга. Кто

[1] Монополизируя рынок *(англ.)*.

же из моих знакомых мог стать этим счастливчиком? Я напрасно ломал голову, разгадывая, как в хорошем детективе, эту загадку. Кто же это? Кастаньеда? Мьюир? Мануэль? Бетета? Доктор Фаусто? Все были вполне достойными кандидатами, и все будили во мне невольную ревность. Если бы я был знаком с адвокатом ее матери, о котором рассказывала Мерседес, возможно, я сорвал бы покров тайны с ее любви.

Я вышел из отеля после рождественского ужина слегка опьяневший. Мне казалось, что я попал в мир теней; я помнил его еще с детства, когда, усевшись у волшебного фонаря, мы разглядывали на занавеске забавные силуэты. Окружавшие меня предметы походили на рисунок углем, по которому прошлась рука времени, стерев резкие штрихи...

Машины неслись с бешеной скоростью, как всегда бывает в праздники: за рулем сидели пьяные водители. Сады, прилегающие к домам, то и дело освещались разноцветным фейерверком, через полуоткрытые окна слышались звуки оркестра: «счастливчики» собирались танцевать до рассвета. И вдруг в таинство ночи вплелись совершенно новые звуки: то пели бродячие музыканты, которых нанимали здесь же, на улице. Они то ставили пластинки на диск старинного граммофона, который таскали за собой, то с превеликим удовольствием сами исполняли одну из популярных сентиментальных песенок.

Обратный путь как будто не имел конца.

XX

До скончания века мне будет слышаться голос Гомеса, читавшего по радио последние известия,— голос, походивший на завывание раненого зверя, тысячу раз отраженное лесным эхом. Так Гомес провозглашал: «Через несколько минут передадим полученное только нами сенсационное сообщение!»

В двенадцать тридцать дня и в семь тридцать вечера я бежал в номера «Ле Тукэ», надеясь услышать «подлинно сенсационную новость», от которой зависела моя жизнь: война окончена! В любой день один из заговоров против Гитлера может ведь завершиться успехом... А может быть, в руках союзников уже есть новое секретное оружие, о котором столько писали газеты, и нацистам ничего не остается, как капитулировать? Или, как это произошло в 1918 году, революция и общее недовольство внутри самой Германии положат конец военным действиям? Бог мой, хоть бы какая таинственная сила природы изменила наконец ход истории! Протекали дни, недели, месяцы. Однако сенсационная новость, столько раз обещанная Гомесом, сводилась в основном к сообщению о ночных бомбардировках того или иного немецкого города либо о потоплении того или иного судна. А у нас каждый вечер от горького ожидания перехватывало горло.

Дни казались мне нескончаемыми. Продвижение войск союзников в Африке, которое в первый момент в силу внезапности успешно развивалось в тунисских горах, стало мало-помалу замирать. Война здесь шла на медленное изматывание. Лениво тянулись недели. Ни одного утешительного для союзников события, ничего, что вновь бы подогрело наш давний энтузиазм, с которым мы встречали вести о высадках североамериканских войск. В наших душах вновь поселилась тоска и безнадежность. Сопротивление нацистов, казалось, никогда не кончится.

Те, кто следили за ходом событий из Латинской Америки, считали, что если уж в Африке, куда нацисты не могли перебросить

свои военно-морские силы, они могли оказать такое сопротивление, то вторжение союзников на европейский континент разгрому не поможет. Задача титаническая, невыполнимая. Что же произойдет, если попытка вторжения союзников в Европу провалится? Сколько месяцев, точнее лет, понадобится для новой перегруппировки союзных войск, оснащения их техникой в целях новой попытки овладеть европейской крепостью? А вдруг, учитывая невозможность дальнейшей высадки, союзники откажутся от этой идеи вообще и сведут войну к бесконечным бомбардировкам, как это уже советовали сделать некоторые американские специалисты в области авиации?

Самые мрачные соображения возникали в моем мозгу, когда я раздумывал над такой перспективой. Терзала мысль о том, что я никогда не смогу вернуться в Европу, никогда не узнаю о родных и друзьях. Моя жизнь в течение неопределенных лет будет тянуться в бездействии, ведь я — эмигрант, числящийся в списке врагов. Как на палубе тихоходного трансатлантического корабля, мне придется жить от еды до еды, проводя время за чтением и ожидая, когда позвонят в колокольчик, сзывая к столу. По средам я буду ходить в салон, приводить в порядок ногти и прическу. По субботам и воскресеньям играть в «Атлантике» в теннис все с теми же партнерами. Я не смогу выезжать в другие южноамериканские страны из-за принадлежности к немецкой нации, вызывающей недоверие каждого. Я даже не имел права на получение паспорта, ведь я — гражданин враждебной державы!

Иногда я приглашал пообедать со мною кого-нибудь из немногих друзей, которые еще оставались у меня среди местных жителей. Я все надеялся, что, как это некогда было, мы проведем время за интересной беседой до самого вечера, наслаждаясь кофе и покуривая дорогие гаванские сигары. Однако никто из моих приглашенных не соглашался на такое времяпрепровождение. Сразу же после обеда они вежливо прощались со мною, принося извинения за свои многочисленные дела и заботы. Вечер оставался пустым (это как раз были те часы, когда я во Франкфурте диктовал почту). Я все ждал, когда будут передавать последние известия. Тогда меня не могли отвлечь ни музеи, ни осмотр памятника, ни посещение выставки, ни лекции — все, чем я занимался, чтобы убивать время.

Я одиноко вышагивал по улице, входил в темный, почти всегда пустынный кинозал, чтобы смотреть фильм, сюжет которого был как две капли воды похож на сюжет только что виденного.

Тот, кто не знает монотонности жизни, лишенной каких бы то ни было занятий, да еще в маленьком городе, никогда не поймет, какой тоской было мое прозябание в бесконечной ночи эмиграции.

Я попал меж жерновов грандиознейшей политической интриги и не мог оттуда выползти. Я был брошен на произвол судьбы в глухих зарослях сельвы. Тысячи опасностей, о которых я прежде слышал, принимали теперь реальные очертания. Взбунтовавшиеся силы природы без малейшего сожаления влекли меня к пропасти, и моему разуму не было дано знать: что послужило поводом для подобного насилия? Может быть, на меня обрушилась чья-то личная месть? Каковы истоки этого потока несчастий, так изменившего мое положение?

Даже участники моей драмы не могли дать вразумительного ответа на то, что происходило со мной, и это как червь до сих пор точит мой разум.

Почему? Почему я должен быть раздавлен этим грузом необоснованных подозрений? Почему несправедливость так жестоко распорядилась моей судьбой?!

Лаинес, ставший членом руководства «Сентраль», сообщал мне, как идут дела.

— Любопытно,— сказал Лаинес однажды,— с некоторых пор Вильясеньор стал доверенным лицом Кастаньеды. Позавчера Кастаньеда предложил сделать его адвокатом фирмы, но директивный совет отклонил это предложение.

— Я считал, что Вильясеньор всего лишь политик,— заметил я.

— Еще несколько месяцев назад мы все так думали. А теперь он стал деловым человеком и забыл о своих высказываниях. В связи с тем, что мы не согласились сделать Вильясеньора адвокатом компании, Кастаньеда, который является также крупнейшим акционером общества «Флювиаль», назначил его официальным советником этого предприятия.

— Так вот каков этот «бескорыстный моралист»! А кричал, что ничего не зарабатывает на скандале, учиненном мне на собрании акционеров «Сентраль».— Я поражался той легкости, с какой принес меня в жертву этот человек.

— Да, вроде так. Я встретил его недавно на улице; он остановил меня, чтобы поговорить о коммерческих делах. Причем говорил о них с тем же жаром, с каким не так давно высказывался о политике левых партий или о необходимости национализировать общественные туалеты. Я спросил его, не думает ли он, что одна из актуальных проблем сейчас — слишком высокие цены на перевозки. Он ответил, что цены действительно очень высоки, но разрешить этот вопрос может только свобода конкуренции, а вот деятельности государства мешают постоянные выступления прокоммунистического толка.

— А Кастаньеда?

— Кастаньеда, напротив, стремится пробиться в политики. Мечтает стать министром, послом, даже президентом республики. Он на личные средства содержит правую газетенку, скупил большинство ее акций и требует от редакторов, чтобы в газете сообщалось все о тех промышленных компаниях, где он пользуется влиянием. Ходит слух, что Кастаньеду собираются сделать казначеем его партии... Очень ловкий, активный тип, но еще несколько неопытен. Он родился, как у нас говорят, с серебряной ложечкой во рту и не знал в своей жизни поражений. Кстати, единственное его поражение — потеря дела по наследству отца.

— В любом случае его жадность не имеет границ! Настоящий хищник!

— Потеряв право распоряжаться имуществом всей своей семьи и перестав себя чувствовать Морганом, он заметно изменился. Сейчас стремится сделать карьеру в обществе, компенсировать несколькими годами служения этому обществу все то, что было дано ему при рождении. Злые языки утверждают: он восхищается Вильясеньором потому, что сам он — неграмотный человек. А Вильясеньор редактирует его статьи и готовит речи, после чего Кастаньеда произносит их, выдавая за собственные. Тем более что все эти проповеди о роли частной инициативы в торговле, о необходимости свободной конкуренции в деле экономического прогресса нации, о зле, наносимом стране политиками,— это его собственные мысли, воплощенные Вильясеньором в яркие и впечатляющие слова. В настоящий момент Вильясеньор протестует против злоупотреблений профсоюзов и вмешательства государства в частные дела. Причем выступает с большим пылом, чем мы, капиталисты.

— Богу угодно, чтобы грешник не был казнен, а чтобы он раскаялся и жил...— ответил я, улыбаясь. При этом я отметил про

себя, что сей святой апостол капитализма не был поражен молнией в отличие от апостола библейского.

Я видел Вильясеньора несколько раз вместе с Фрицем, перед которым он был почтителен и раболепен. Легко можно было представить, как теперь Вильясеньор выслушивает приказы своих новых хозяев: он так же заботлив, так же поглаживает свои неизменные усики, демонстрируя рвение и усердие. И старается быть активным и полезным в любом поручаемом ему хозяевами деле!

Некоторое время спустя открылась сессия конгресса республики. Вильясеньор занимал в сенате кресло — был выдвинут Всеобщей конфедерацией трудящихся, официальным адвокатом и советником которой он являлся до того, как превратился в доверенное лицо капиталиста Кастаньеды. На сессии Вильясеньор представил проект закона о контроле над состоянием иностранцев, считающихся врагами нации. Мне подумалось, что идея этого проекта принадлежала Фрицу. Я, естественно, рисковал, что все мое имущество окажется в руках единственного моего родственника — Фрица, как это было со всеми акциями нашей семьи до моего приезда в страну.

Как только я узнал из газет о представленном в конгрессе проекте, я позвонил Пересу и попросил его посоветовать, что мне делать. Ведь я фактически оказывался вне закона. Перес успокоил меня:

— Это демагогия. Проект Вильясеньора не пройдет.

Бетета, который еще несколько месяцев назад обещал мне урегулировать вопрос с Мьюиром и с американским посольством (с ним все советовались, прямо как с оракулом), придерживался того же мнения:

— Я уже беседовал с Мьюиром в Эль Пинаре. Он обещал пересмотреть ваше дело, учитывая, что вам пришлось эмигрировать из Германии. Не придавайте значения этому законопроекту,— он, я полагаю, не будет принят. Во всяком случае, если даже его и одобрят, лично вас он не затронет. Уверен, что ваш вопрос будет разрешен прежде, чем закон войдет в силу.

Мне было известно влияние Бететы в дипломатических кругах, я не сомневался в успехе его начинаний и почти успокоился. Даже стал строить планы, связанные с исключением из «черных списков». Моей мечтой было провести несколько недель с Ольгой в маленьком отеле на берегу моря, вернуться в столицу загорелым и успокоенным и начать свои дела, связанные с основанием фирмы в компании с Лаинесом и Пересом. Ах, как я буду смеяться когда-нибудь над тревогами тех дней, прожитых под угрозой конфискации имущества, когда Фриц пытался выступать в качестве моего опекуна!

Каким ярким светом освещала сумерки моей тогдашней жизни любовь Ольги. Любовь эта не знала колебаний и отступлений. Мы не сговариваясь предали забвению нашу прежнюю неудачную встречу. Наконец под предлогом необходимого выезда на побережье я все же затронул тему наших отношений. Однако оставил себе путь для отступления.

— Надеюсь, что скоро выяснятся мои отношения с американцами. Тогда мы могли бы осуществить нашу мечту и вместе съездить на побережье, провести там две-три недели. Тебе хочется этого? — спросил я Ольгу однажды вечером.

— Конечно. Я ведь никогда не видела моря и уже три года не брала отпуск.

— А купальные костюмы у тебя есть? Наверно, нет. Я тебе подарю, как только все будет в порядке.

— Спасибо! Я знаю, где можно купить...

Я стремился использовать этот повод, чтобы выполнить мое давнее желание одеть Ольгу по своему вкусу. Прозрачные платья, палящий воздух тропиков, тени кокосовых пальм — все это было подходящим фоном для нашей любви. В свой первый приезд на модный курорт я убедился, что смена климата, яркое солнце, разнеженность, постоянное употребление крепких напитков пробуждают в мужчине бурю желаний. Правда, унять эту бурю я мог бы с первой попавшейся женщиной...

Я представлял себе, как будет выглядеть на пляже Ольга. В черном облегающем купальнике, ее белокурые волосы развеваются от ласкового морского ветра. Вот она разговаривает со мною, лежа на песке, и окружающие мужчины бросают на нее жадные взгляды. Так я мечтал найти утешение в обществе этой молодой женщины.

Клеймо американского «черного списка» неумолимо — столь же неумолимо, как печать Каина, узнав которую буйные ветры задували жертвенный огонь, зажженный грешником.

Несмотря на оптимизм, внушенный мне Бететой, а также надежду, что я смогу насладиться любовью Ольги, жизнь по-прежнему подставляла мне подножки. Я сказал Лаинесу, что собираюсь провести какое-то время на побережье и хотел бы, чтобы клуб «Атлантик» дал мне рекомендательное письмо в местный теннисный клуб, как это бывало прежде. Лаинес отвел глаза и, сладко улыбаясь, что являлось плохим предзнаменованием, произнес:

— Хочу воспользоваться возможностью, чтобы выполнить поручение правления клуба. Поверьте, это для меня очень тягостно. Вы же помните, что я как член правления помог вам вступить в члены «Атлантика»...

Я прервал его:

— Глубоко благодарен за это и надеюсь, вы немедленно сообщите, какое на вас возложено поручение. Постараюсь помочь вам в любом случае. Мне очень жаль, что вам приходится беспокоиться...

— Так вот,— продолжал Лаинес, нервно потирая тыльную сторону рук, будто с помощью невидимого мыла старался смыть невидимые пятна.— Руководство клуба считает, что было бы разумным с вашей стороны не посещать клуб до тех пор, пока ваши отношения с американским правительством — а мы не сомневаемся, что через несколько недель они будут выяснены,— не урегулируются.

Уже привыкнув к моему положению «неприкасаемого», я без всяких колебаний ответил:

— Не понимаю, что общего между игрой в теннис и обороной Соединенных Штатов Америки. Но если правление клуба считает так, то мне нечего возразить. Я более не буду посещать клуб, как вы того желаете.

Манера сглаживать острые углы, принятая среди представителей Ла Кабреры, не замедлила проявиться и здесь:

— Видите ли, члены клуба или тем более мы, ваши друзья, не согласны с тем, что вы не будете посещать «Атлантик». Наоборот! Многим, как мне, например, вас будет очень не хватать. Вы были так популярны у нас! В клубе даже готовят сосиски «имени сеньора Б. К.». Однако нам не хотелось бы вызвать недовольство американского правительства, мы не можем рисковать. Некоторые американцы и англичане очень давно состоят в членах «Атлантика», практически они были его основателями. И вот посольство Соединенных Штатов... Мьюир... вы ведь его знаете... Он неумолим к нацистам.

— Послушайте, но возможно ли, чтобы судьба моя, если не судьба всей страны, зависела от капризов тридцатилетнего щеголя! —

воскликнул я — Какие у него основания держать меня в «черных списках» или изгнать из «Атлантика»?

— Не следует думать, что мы принимаем все его прихоти только ради него самого, как вы говорите. Его «прихоти» имеют последствия, их поддерживают, ведь Мьюир является одним из официальных рупоров правительства Соединенных Штатов. В любой момент он может заявить: «Я вижу, что немцы продолжают посещать «Атлантик», поэтому заставлю правительство закрыть этот клуб». И нам придется принять меры, чтобы немцы более не посещали «Атлантик». Но вам я еще раз говорю: мера направлена не против вас лично. Все делается из страха перед Мьюиром...

Каким образом человеческое существо могло скатиться в такую пропасть?

— Я понимаю вас и более не буду посещать «Атлантик»,— сказал я.— Но по своему прежнему опыту могу сказать, что не только вы, но и сами американцы когда-либо раскаются: слишком нечестными, тоталитарными методами они пытаются здесь выиграть войну. Сначала якобы в жертву победе приносится справедливость, это касается меня лично. В нейтральных странах над проживающими там немцами установлен режим строгого наблюдения. Это естественно. Но потом подозрительность распространится и на граждан данной страны, появится неуверенность в их лояльности. От граждан и даже от государственных чиновников, как это сейчас происходит в Германии, потребуют присягу в верности правительству. Дело кончится тем, что, боясь обвинения в измене и предательстве, люди будут пребывать в постоянном страхе. Никто не сможет доказать свою честность. Вот тогда вспомните своего друга Б. К.,— сказал я Лаинесу.

Я метался, как дичь, попавшая в силки и окруженная голодными хищниками. Обвиненный в пронацистских симпатиях, я узнал всю горечь существования «неприкасаемого». Особенно меня терзало отношение тех, кто получал материальную выгоду во всей этой обстановке. Во имя этой выгоды они рабски ползали у пьедестала очередного тирана.

С вполне понятным вниманием следил я в течение нескольких дней за ходом дискуссии по законопроекту, представленному Вильясеньором. Перес продолжал настаивать, что проект не будет принят. Но не менее вероятным было и то, что проект будет принят к ознакомлению на первом же заседании; это означало, что большинство сенаторов считало вопрос, затронутый в проекте, достойным внимания. К счастью, правительство было занято другими проблемами, так что Бетета и Перес оказались правы. Сессия конгресса закончилась, и проект Вильясеньора не был проведен, его даже не выдвинули на вторичное обсуждение.

Однако я более не строил иллюзий относительно того, что меня исключат из «черных списков» в скором будущем. Окончание работы конгресса подействовало на меня благоприятно, будто я был исключен из полчища грешников,— поэтому решил исчезнуть из города. Мое желание поехать вместе с Ольгой к морю все более крепло.

XXI

Душевное облегчение, которое я испытал после провала гнусной инициативы Вильясеньора, не получившей законного признания, было огромным. Мой опыт научил меня не доверять полностью словам друзей, чем я грешил в первые месяцы пребывания в стране. Из

всех обещаний, данных мне, я высчитывал какой-то процент правды, он был весьма скромным.

Бетета и Перес продолжали со всей присущей им пылкостью заверять меня, что конгресс не даст дальнейшего хода законопроекту Вильясеньора, но постоянные сомнения не оставляли меня. Я уже был знаком с готовностью, свойственной лицам католического воспитания, успокоить ближнего. Может быть, мои друзья из лучших побуждений не хотят меня терзать попусту и потому заверяют, что события будут благоприятствовать мне. А на самом деле атмосфера среди сенаторов сулила быть совсем иной.

Известие о том, что в ближайшие шесть месяцев конгресс не будет собираться, успокаивало меня больше, чем клятвы и заверения моих официальных советников. Бетета, к которому я то и дело обращался с просьбой о помощи, заверял меня, что не прекращает переговоров с Мьюиром. Однако результатов не было никаких. Однажды Бетета заявил мне:

— Мьюир прекрасно к вам относится. Просите его о личной встрече и передайте ему кое-какую информацию, которую он потребует у вас.

Через несколько дней, как мне посоветовал Бетета, я был в кабинете Мьюира в американском посольстве. Встреча была мне назначена по телефону.

Я уже пытался переговорить с Мьюиром. В последний раз я провел два смертельно долгих часа в его приемной в компании соотечественника-немца, владельца и основателя компании «Объединенные воздушные линии». Третьим был итальянец — хозяин крупной кирпичной фабрики. Оба ждали встречи с Мьюиром по тому же поводу, что и я. Но секретарша в конце концов выпроводила нас из посольства со словами:

— Мистер Мьюир не приедет сегодня. Приходите через три дня.

Человеческому разуму не понять, как судьба распределяет свои блага. Почему этот американский парень мог по своему усмотрению распоряжаться не только нашим временем, но и нашей судьбой? Он даже не извинился за то, что заставил понапрасну надеяться трех человек много старше его.

Через несколько дней мы все трое вновь встретились в приемной Мьюира. И снова он не принял нас. Вероятно, накануне хорошо повеселился.

Мы не могли высказать ни жалобы, ни протеста. Уже сам факт, что нам разрешили посетить американское посольство, считался милостью. «Разве мы не находимся в состоянии войны? И разве мы не являемся подданными враждебного государства?»

Для меня было большой неожиданностью, когда наконец Мьюир согласился меня принять. Я увидел все того же сердечного и веселого Мьюира, которого знал по клубу «Атлантик», по встречам в салоне «Прадо».

— Как поживаете, сеньор К.? — приветствовал он меня.— Давно не имел удовольствия видеть вас. Как жаль, что нас развели в разные стороны политические разногласия.

Я знал, что эти слова ни в коей мере не отвечают его истинным чувствам. Однако меня радовало, что в конце концов его отношение ко мне хоть немного изменилось. Поэтому ответил в том же тоне:

— Мне также очень приятно вновь встретиться с вами. Надеюсь, что вскоре будет выяснено обстоятельство, которое вы называете «политическими разногласиями». У меня нет никаких разногласий с общим делом союзных держав. Я такой же демократ, как вы, и более, чем кто-либо, являюсь врагом Гитлера.

Он оглядел меня с ног до головы и медленно, будто колеблясь, произнес:

— Дай бог, чтобы все было именно так. Посол Бетета проявляет большой интерес к вашему делу, он и меня заинтересовал этим. Я позвонил вам с тем, чтобы вы подготовили мне меморандум об обстоятельствах, предшествующих вашему выезду из Германии. Я отправлю этот документ в Вашингтон.

— Что? — изумился я.

— Это должно быть краткое сообщение о вашем происхождении, о роде занятий до того, как вы покинули границы рейха. Причины вашей эмиграции, положение вашего состояния в Германии на основании последних сведений. Желательно также, чтобы вы перечислили своих ближайших родственников, которые остаются гражданами нацистского государства, и назвали время, когда вы имели от них последние вести. Документ не должен быть слишком длинным. Не следует вникать в детали. Можно подготовить краткую curriculum vitae [1], которая послужит нам основанием для изучения вопроса.

Я был потрясен неожиданным вниманием к своей особе со стороны американского правительства. Поэтому пообещал направить Мьюиру «меморандум» в тот же вечер, а затем мы расстались почти так же дружески, как это было в «Атлантике» после долгих часов, проведенных за игрой в кости в обществе друзей.

Теперь уже ничто не задерживало меня, и я мог осуществить столь желанную поездку к морю, где Ольга, по ее словам, хотела быть со мною как жена с мужем. Любопытно, смогу ли я выполнять эту роль?

С почти отеческой настойчивостью я упросил Ольгу позволить мне сопровождать ее в магазин, где, как она считала, можно было купить красивые костюмы для пляжа. То был роскошный — один из самых дорогих — магазин с каким-то иностранным названием, где в изобилии предлагались последние американские образцы женской одежды. На витрине красовались на фоне тропических декораций обворожительные манекены — обещание того, чем должен стать наш отдых. Ольге нравились подряд все платья, и, как всегда, она ни на чем не могла остановить свой выбор. Нерешительно, как и в ресторанах, где она просила стакан пива, Ольга все же изъявила желание купить одно платье, причем самое дешевое. Обычное белое платье будничного покроя.

— Выбирай любые, какие тебе хочется,— говорил я ей, советуя взять более подходящие для отдыха у моря.— Не хочется ли тебе эту желтую блузу для пляжа? Она очень мила, и, кроме того, этот цвет идет блондинкам. В городе ты можешь носить ее с юбкой. В бассейн или на пляж будешь ходить в шортах.

— Как это можно ходить с голыми ногами?

— Но все пользуются такими блузами, чтобы не сгореть на солнце!

— Да я сгорю от стыда, если покажусь в одной блузе и купальнике...

Какой инстинкт подсказывал ей все то, что создавало вокруг нее ореол невинности и делало ее в моих глазах совершенно недоступной?! В Ольге соединялись извечные противоречия латиноамериканки и католички. Она собиралась ехать со мной в качестве любовницы и в то же время стеснялась показать свои голые ноги на улицах какой-то приморской деревни!

---

[1] Автобиография *(лат.)*.

Мы сняли на десять дней домик в окрестностях самого модного пляжа, где было немноголюдно и где мы могли наслаждаться полной свободой и уединением. Нас там никто не знал — ни Ольгу, ни меня. Даже служанка, которую мы наняли, решила, что мы прекрасная супружеская пара, хотя и с большой разницей в возрасте.

Мы прилетели на побережье в удивительно ясный день. На небе — ни облачка. Ольга, как ребенок, наслаждалась окружающей природой. Она не останавливалась перед роскошными отелями, не взглянула на дорогие рестораны главной авениды, по которой мы ехали в такси, направляясь к нашему маленькому домику.

— Посмотри на закат! Боже мой, какие краски! — восклицала она, показывая на диск солнца, который с невероятной быстротой скатывался в море где-то прямо за пляжем.

Шофер, догадавшись, что мы — туристы, объяснял нам:

— Здесь почти никто не купается; опасный пляж, открытое море. Волны здесь всегда огромные. Первое, что делают приезжающие сюда американцы, это бегут посмотреть на пляж — берег «Большого прибоя». Говорят, что даже в Соединенных Штатах Америки не бывает таких больших волн.

И в словах простого шофера звучало вечное стремление этой страны быть не хуже других. Об этом я говорил Фрицу в первый день нашей ссоры.

Такси продвигалось вперед с большим трудом: наступал вечер, и народу на улицах становилось неимоверно много. Но я думал о другом: о том, что с каждой секундой близится момент, когда я должен буду выполнять обязанности супруга! В ушах у меня все еще гудело от шума моторов, но сильнее всего был страх, овладевший мною, едва самолет приземлился на этой гостеприимной земле, где мы наконец могли быть наедине.

Снятый мною домик состоял из двух спален, гостиной, столовой и крохотной кухни. Внутреннее убранство было очень скромным, помещение украшали лишь морские трофеи. И только радиоприемник в углу гостиной придавал современный вид этому незатейливому, отделанному грубым деревом жилищу. Если мы и испытывали некоторые неудобства, то они полностью восполнялись окружающими нас людьми. Жители побережья — народ искренний и открытый, общение с ними доставляло радость и украшало жизнь, освобожденную от липкой паутины светских условностей. Казалось, что все вокруг наслаждаются вечным праздником, что у местных жителей один закон — жить в радости, которой наградил их некий языческий бог. Напыщенность лаинесов, темные костюмы столичных адвокатов вспоминались здесь, как мрачный сон. Где-то далеко остались моя ожесточившаяся родня, «черный список», мои бесхарактерные друзья и их жены, которые укладывались в постели с друзьями мужей только потому, что последние не подарили им чистокровную лошадь. «Это все — дела богачей»,— просто и выразительно определяла Ольга. А еще дальше, совсем далеко, остались мое суровое детство, строгость кальвинистских догм, которые так затруднили мне жизнь, исключив возможность предполагать злые намерения в ближних. Я в избытке познал ложь и предательство. Сорвал не одну гроздь презрения и соперничества, процветающих в узком кругу «избранных». Именно здесь, как нигде, бушуют низменные страсти, едва прикрытые дружелюбием, которое так поразило меня в первый визит в поместье Эль Пинар.

Теперь передо мной открывался еще один, совершенно новый для меня мир. Я жаждал исследовать его дебри, пробираясь по руслу одной из тех жизненных рек, что бесшумно прорезают джунгли со-

циальных условностей, смывая все препятствия на своем пути. Откроются ли мне секреты этого мира в объятиях юного создания?

Я никогда в жизни не испытывал такого волнения, как перед нашей первой ночью на курорте. Страх парализовал мой разум, напоминая о беспощадной угрозе нового позора.

Как только мы вошли в дом, Ольга сменила красный костюм, в котором летела, на желтую блузу, более легкую и прохладную, ту самую, что мы с ней вместе купили в модном магазине. Пламя желания никогда еще так не пожирало меня. Каждая частичка ее кожи, размягченная теплом, казалось, жаждала поцелуя.

Горечь от всего случившегося со мной за последнее время, чувство отверженности и одиночества усиливали мое желание. Мне казалось, что и Ольга испытывает то же. Ее молчание было сильнее любого призыва. Боже мой, как же мне избежать неизбежного?

Закончив ужин, слегка опьяневшие, мы отправились каждый в свою комнату, не сказав друг другу ни слова, будто заранее договорились о том, что должно будет произойти в эту ночь. Несколько минут спустя я постучал в дверь комнаты Ольги, как если бы это происходило постоянно в нашей совместной жизни. Я вошел. Ольга немного подвинулась, освободив мне место, и, как только я лег, положила голову мне на плечо в ожидании ласки.

На стене вырисовывалась тень от вазы с несколькими цветами, отраженная лунным светом. Тень эта была похожа на стрелки огромных часов, показывавших вечность. Это придавало особую таинственность обстановке. А я опять боролся с застежками на белье лежавшей рядом со мной женщины!

Лишь шум волн, разбивающихся о прибрежные камни, напоминал о жизни на земле. Стена воды вырастала над поверхностью моря, приближалась к скалам, разбивалась с грохотом о них и откатывала от берега с тяжелыми всплесками. Возвращалась, уходила, возвращалась вновь. Мы потянулись друг к другу в непреодолимом желании. Несколько нежных слов, губы наши слились в поцелуе, и... Ольга впервые стала моей.

На этом берегу я вновь стал обычным смертным. Таким, как все, просто честным, уважаемым человеком, каким всегда был.

Боже мой, какое счастье! На меня не указывали пальцем, мне никого не надо было уверять в своей невиновности. Я чувствовал, что окружающие нас бедные люди относятся к нам вполне благожелательно, видя в нас мирную супружескую пару. Пожилой господин в сопровождении юной красавицы жены.

Каждое утро мы ходили на базар за фруктами к завтраку и совершали небольшую прогулку, прежде чем идти на пляж. Крестьяне здоровались с нами с искренней сердечностью.

— Молодая сеньора Ольга, а я принес вам чиримойяс!

— Купите помарросас [1], сеньор,— обращались ко мне,— они такие же красивые, как ваша супруга.

Ольгу окружала дюжина полуголых мальчишек, которые клянчили у нее монетку, восхваляя при этом ее молодость и красоту:

— Во имя богоматери де ла Канделарии! Мисс Вселенная! Подарите монетку!

— Какая она Мисс Вселенная? — возмущался другой.— Ведь она Королева моря!

— Какая Королева моря? Она Королева спорта! — настаивал третий.

---

[1] Тропические фрукты и ягоды.

Каждый награждал Ольгу титулом очередной королевы красоты, которые то и дело посещали этот город для участия в конкурсах на это высокое звание. Возможно, они лишь хотели польстить мне своими восхищенными возгласами, чтобы получить и от меня монеты. А может быть, искренне считали, что Ольга — одна из знаменитых королев красоты! Меня не интересовали причины их поведения. Я щедро награждал их, наблюдая, как Ольга, всегда такая серьезная и сдержанная в обращении со своими клиентами в парикмахерской, теперь принимала с детским удовольствием «комплименты» попрошаек.

Было ли известно что-либо этим людям, их отцам, братьям о грозных списках, составляемых Соединенными Штатами Америки, из-за которых их соотечественники ненавидели меня? Эти люди ничего не знали.

Однажды вечером, возвращаясь на паруснике с рыбной ловли — мы арендовали его у старика, «морского волка»,— мы увидели на набережной небывалое скопление людей. Здесь, у аптеки, продавались газеты, привозившиеся из соседнего города. Выйдя на берег, мы направились прямо к толпе узнать, в чем дело. Все были взволнованы и во весь голос кричали что-то. Я ничего не мог понять, пока Ольга не спросила полицейского, что же происходит. Потом взяла меня под руку и отвела в сторону.

— Только что стало известно, что германская подводная лодка потопила в океане наше каботажное судно, вышедшее три дня назад отсюда. Подлодка подобрала часть команды, которой удалось спастись. Говорят, радио Берлина сообщало о спасенных, чтобы их семьи знали, кто остался жив.

Сообщение это, полученное как раз в том порту, откуда вышло судно, не вызывало ни у кого сомнений. Я не знал, что делать, что сказать, еще не понимая всех последствий, которые мог иметь для меня этот факт. У меня не было ни малейшего чувства вины за то, что я был согражданином нацистских преступников. Ольга первая поняла, насколько опасно мне находиться здесь, среди родных и друзей жертв германской подлодки.

— Пошли домой. Там мы можем послушать радио,— сказала Ольга. И лишь тогда я понял, что меня ожидает...

Единственное, что нам удалось узнать по радио, это что на ближайшие дни назначено заседание конгресса — внеочередное,— на котором против нацистского рейха будут приняты меры экономического характера. В большинстве передач выражалось возмущение неслыханным нападением, но ни одна из них не делала никаких предположений по поводу последующего развития событий. Комментаторы соревновались в красноречии и эрудиции, произнося зажигательные речи. Однако догадаться, возможно ли объявление войны Германии, было совершенно нельзя. Только официальная нота правительства (кстати, ответ на нее так и не был получен) давала понять, что предстоят более решительные меры, чем разрыв дипломатических отношений, шаг, предусмотренный на конференции делегаций латиноамериканских стран в Рио-де-Жанейро.

Мы сидели в полной растерянности, раздумывая, как следует действовать в этой ситуации. Ольга считала, что нам надо немедленно вернуться в столицу, где я мог бы установить нужные контакты и быть в курсе событий. Однако из свойственного мне чувства противоречия, что стало моей второй натурой, я предпочитал переждать бурю, собирающуюся над моей головой, в этом благодатном оазисе, полном столь дорогими мне воспоминаниями.

В глубине души я таил надежду — сейчас я понимаю, это была надежда утопающего,— что вот-вот получу известия от Мьюира... Увы, я мечтал вернуться в столицу с гордо поднятой головой в момент, когда мое положение германского эмигранта грозило стать еще более тяжелым.

Как я ждал этого сообщения! Но оно так и не пришло. Никогда. Я передал в «Ле Тукэ», чтобы меня известили срочной телеграммой в случае, если от мистера Мьюира придет письмо или будет телефонный звонок. И каждый раз, когда я узнавал о письмах или звонках, надеялся: вот она, радостная весть!

Но ожидаемого послания, как я уже говорил, все не было. Мне пришлось вновь ограничиться передачами радио о дебатах в конгрессе по поводу отношений между нашими странами, осложнившихся потоплением мирного судна. На следующий же день я прочитывал в газетах сообщения о все тех же дискуссиях, с той лишь разницей, что они сопровождались комментариями политических обозревателей.

Для меня оставался загадкой ход мыслей представителей здешнего мира, тут все приводили в движение таинственные и противоречивые силы, знать суть которых было мне не дано. С утра и до вечера я следил, как мучительно складывается в конгрессе — мозгу нации — решение об объявлении войны нацистской Германии.

Заседания конгресса начинались между шестью и семью вечера. Стоило только нажать кнопку радиоприемника — слушай дискуссию в сенате! Для открытия сессии вовсе не обязательным было присутствие всех сенаторов. Но обязателен ритуал, великолепно отражающий значение Ла Кабреры в общественной жизни нации: при открытии заседания читались постановления об увековечении памяти тех или иных национальных деятелей, которые являли «возвышенный пример бескорыстного служения родине». Документы эти составлялись теми, кто стремился пробраться вверх и хотел заранее заручиться расположением столпов общества.

Этой первой части заседания никто не придавал значения, уж слишком опошлены были все «законопроекты» предшествовавшими их принятию махинациями и взятками. Настоящие дискуссии начинались, когда затрагивались актуальные темы. Слушая эти дебаты по радио, я зачастую не верил своим ушам! Но на следующий день, просматривая газеты, убеждался, что все именно так, как сообщало радио.

Политические дискуссии в конгрессе никогда не имели и оттенка объективности. Не было случая, чтобы в ходе этих дискуссий серьезно обсуждались аргументы «за» и «против» какого-либо решения. Дебаты скорее всего походили на изощренные споры средневековых богословов, когда и ортодоксы, и отступники с яростью защищали свою точку зрения в обсуждении самых абстрактных проблем, скажем: в чем грех Люцифера — в гордыне или в высокомерии? Отличается ли душа женщины от души мужчины?

Только так я мог объяснить тот факт, что проблема объявления войны нацистскому государству превратилась в сенате в нескончаемый метафизический спор, где говорилось обо всем: о реформах протестантизма, грехах английской королевы, будущем русского православия и так далее, хотя, на мой взгляд, подобные проблемы правомернее было бы затрагивать на сугубо академическом форуме. Однако парламент этой страны не был похож ни на один в мире, хотя данный государственный институт существует для выполнения конкретных задач. Со страстностью Савонаролы очередной оратор углублялся в дебри теологии, доказывая, что вторая мировая война — наказание

божие, ниспосланное англосаксонским странам, покинувшим под влиянием королевы Елизаветы I лоно римской церкви!

Нетерпимость каждого, ибо каждый считал только себя единственным носителем абсолютной правды (этот недостаток также является результатом католического воспитания), разжигала страсти фанатиков-ораторов. И особенно представителей правых сил. В потасовке не существовало никаких разумных доводов. Все сводилось к бесконечному — до отупения! — повторению все тех же аргументов и положений. Никто, никогда — даже в малом — не допускал мысли о возможной ошибке. В общем, заседания конгресса походили на форум, собравший полсотни католиков-священников и полсотни буддийских лам, которые пытались обратить друг друга в свою веру.

Слушатель получал великолепную возможность познакомиться с блестящими примерами ораторского искусства, и тщательно подготовленными, и сымпровизированными. Идеологические распри принимали порой столь драматический характер, что им мог бы позавидовать любой театр. Довольно часто можно было ощутить несостоятельность нашей буржуазной демократии. Можно было наблюдать горестные сцены, демонстрирующие деградацию человеческой личности во всей неприглядности. Можно было видеть победу невежества. Наблюдать за тем, сколь легкомысленно принимаются меры, решающие будущее граждан страны.

К вечеру ораторы бывают совершенно опьянены своими выступлениями.

Я с горечью внимал нескончаемым дебатам, вызванным потоплением мирного судна. Единственным моим собеседником была Ольга. Однако я не мог говорить с ней о том, что в этот решительный для всей нации час, накануне вступления в войну, политика страны идет по неожиданным и путаным тропам. Сохранится ли здесь демократия?

Никому я не доверил бы ужас, который испытывал, наблюдая, как политика управления государством превращается в недостойный фарс. Более чем когда-либо я ощущал себя чужаком, безнадежно заблудившимся в сельве.

— Послушай этого оратора, Ольга! Настоящий артист! Но ведь он совершенно не думает, о чем говорит! — наставлял я свою подругу.

— Да, но зато он говорит так красиво! Так горячо любит страну! — возражала она, очарованная словесными излияниями очередного политика.

— Он просто злоупотребляет вниманием публики, завоевывая популярность!

— Но у него такой великолепный голос! И говорит он так искренне! — утверждала Ольга, став жертвой массовой истерии тех дней.

— Он был бы прекрасен на подмостках,— пытался я возражать...

Я выделил в этом великолепном спектакле нескольких ораторов, достойных Нерона или Калигулы.

Сарказм, ирония, юмор, логика, полное отсутствие ее — словом, то, что хранится в арсенале опытных ораторов,— было использовано в прениях. Выступавшие напоминали ловких кукольников, которые знают, за какую веревочку дернуть, чтобы заставить сидящих в зале детей смеяться или плакать. Художники слова в поисках убедительности не брезговали никакими источниками, строили речь по своим — особым — канонам, демонстрируя при этом истинную культуру или пользуясь тривиальными цитатами из романов Александра Дюма, Виктора Гюго и Эжена Сю. Важно было увлечь толпу, заполнившую балконы сената и привлеченную сюда не столько желанием видеть, как осуществляется управление государством, сколько насладиться спек-

таклем, предлагаемым очередным политиком. Вот так же толпа заполняла арены Древнего Рима, упиваясь боями гладиаторов в надежде увидеть нового героя.

Чтобы помешать объявлению войны гитлеровской Германии, были приняты все меры. Договорились до того, что, пока не будет доказано, что потопление судна было совершено именно немецкой лодкой, никакие претензии рейху не предъявляются.

Бог мой, но почему моя жизнь зависела от прихотей этой сумасшедшей рулетки? Почему моя судьба, как и многих, зависела от карты, выдернутой другими?

— Непостижимо! — говорил я Ольге.— Естественно, я первый заинтересован, чтобы против немецких эмигрантов-антифашистов не было принято никаких мер. Но как же можно с таким пренебрежением относиться к очевидной истине?

Все было напрасно. Политическая ловкость прожженных демагогов позволила вывернуть наизнанку суть событий. Ложь была одним из маневров, принятых правилами этой редкостной игры. В игре разрешалось нарушать законы морали, дружбы, рыцарства, чести, не опасаясь при этом каких-либо последствий.

Очередной оратор с пафосом подхватывал:

— Кто может гарантировать, что наше судно было торпедировано не американцами, которые всячески стремятся втянуть нас в войну? Может быть, американцы просто-напросто выдали себя за немцев?!

Тут его кто-то прервал:

— Но ведь сами немцы признали, что это была их подводная лодка!

— Передачу могли фальсифицировать, настроившись на берлинскую волну,— парировал оратор.— Почему не подождать ответа на ноту? Как можно объявлять войну, если еще неизвестно — вдруг немцы предложат компенсацию за наше судно!

После двух дней, проведенных у радиоприемника, я понял, что объявление войны менее всего зависит от случившегося с местным судном и вообще от национальных интересов страны. Как в любой теологической дискуссии, где принимают участие люди разных верований, дебаты ушли в песок. Более того, через несколько дней объединились члены правительственной оппозиции и противники объявления войны. Это произошло после того, как главное место в дискуссии, как всегда, заняли проблемы внутреннего характера. Движимые своими соображениями, противники правительства опровергали все, что предлагало последнее, даже если было очевидно, что это в интересах страны. В свою очередь, все, против чего выступала оппозиция, немедленно поднималось на щит единоверцами правительства.

Некий сенатор — судя по усталому голосу и монотонности он, похоже, был очень стар — вновь стал играть на антиамериканских чувствах граждан: лишь бы помешать объявлению войны нацистской Германии. Он выступал на трех заседаниях подряд, повторяя одно и то же:

— Американский народ должен понять, что требовать от нас вступления в войну в момент, когда враг стучится в его собственную дверь, означает требовать самопожертвования выше нашего декорума. Этот путь приведет к пропасти... Мы принадлежим республике, которая в силу священных мандатов истории не может предложить Северной Америке ничего, кроме строжайшего нейтралитета...

— Как красиво он говорит! — замечала Ольга.— Я ненавижу «гринго»! И ты должен ненавидеть их за то, что тебя занесли в «черные списки»!

Но я не мог ненавидеть американцев. Правда, опять в голову пришли мысли о Мьюире и Ольге: может быть, то, что он однажды рассказывал о ней,— правда? Может быть, она была его любовницей и ее ненависть к американцам — следствие обиды на отказ Мьюира встречаться с ней?..

Только единственный оратор упорно вел свою линию. Это был Вильясеньор. Он вновь представил свой законопроект, который несколько недель назад не получил поддержки. С настойчивостью муравья Вильясеньор выискивал малейшую возможность направить дискуссию в нужное ему русло. После полуночи сенат напоминал сумасшедший дом, а Вильясеньор был неумолим: вновь и вновь он возвращался к необходимости ограничения свободы действий иностранцев, как бы ни сложились дипломатические отношения между страной и Германией.

Вильясеньор то и дело упоминал о своей семье, о своем бескорыстии и патриотизме, о последовательности своих убеждений. Все это сопровождалось такими деталями из его собственной жизни и излагалось с таким пафосом, будто автобиография Вильясеньора была решающим фактором в решении вопроса.

По мере того как развертывалась дискуссия, мною овладевали сомнения: оппозиция, которая составляла меньшинство, не сможет предотвратить объявления войны. Таким образом, проект Вильясеньора имеет все шансы получить необходимое число голосов и стать законом. Мой пессимизм искал объяснения любому событию международной жизни. Что может задержать принятие закона?

Я попытался переговорить по телефону с Пересом. Он подтвердил мои опасения, вызвав меня телеграммой. Я должен был немедленно возвращаться в столицу.

...Жизнь мою окутали сумерки. Я брел, как слепой, не надеясь более увидеть свет. Я старался только избежать неожиданных ударов, уберечься от ран в моем бесконечном шествии в ночи...

XXII

По возвращении в столицу я решил просить Лаинеса, чтобы он продал некоторое количество из моих сохранившихся в его банке акций. Таким образом, я мог бы располагать каким-то количеством наличных денег. То была моя последняя надежда: распорядиться акциями до того, как законопроект вступит в силу, и передать деньги доверенному лицу, не вызывающему подозрений. Таким человеком была Ольга.

— Невозможно ничего сделать для вас,— ответил Лаинес в ответ на мою просьбу.— Вопрос о законопроекте зашел слишком далеко. Мой банк не может рисковать, распоряжаясь состоянием германского гражданина за несколько дней до принятия закона. Это налагает на меня колоссальную ответственность и может вызвать нарекания правительства.

— Значит, вы не в силах передать мне в руки мои собственные акции?

— И этого не могу сделать. После того как проект был представлен на вторичное обсуждение, ваши акции попали под официальный контроль.

— Похоже, что я разорен вторично... Первый раз я пострадал в гитлеровской Германии...— ответил я, потрясенный.

Из кабинета Лаинеса я вышел с таким ощущением, будто меня раздели догола и мне уже не найти лоскута, чтобы прикрыть наго-

ту. Вновь я попытался получить у Мьюира ответ на свою просьбу. Эту обязанность добровольно согласился взять на себя Перес.

— Сеньор К.— не единственный, кто находится в таком положении. В аналогичную ситуацию попали люди не только здесь, но и на всем континенте. Ему придется подождать. Вопрос может решиться не ранее, чем через несколько недель, а может быть и месяцев,— таков был ответ американца.

Утешением в последние дни моей свободы по-прежнему была Ольга. Я не мог заниматься каким-то делом более нескольких минут. Тревога заставляла меня метаться то туда, то сюда, и я находил покой и забвение только в ее объятиях. Дни текли в ожидании какой-то неожиданности, способной изменить неумолимый ход событий.

С безмерной теплотой Ольга стремилась удовлетворить все мои желания и капризы. А мною овладело состояние полубезумия.

— Хоть бы ты остался одиноким, бедным и больным. Тогда ты сможешь понять, как я люблю тебя,— говорила она в порыве искреннего самопожертвования.

— Значит, ты меня не оставишь, что бы ни произошло?

— Естественно!

— Даже если у нас будут только те деньги, которые ты сама зарабатываешь?

— Кто тебе сказал, что я пришла к тебе из-за твоих денег?

Прошло еще несколько дней. Но вот закончились последние формальности, закон был принят, и ко мне явился Лицт, секретарь моего кузена Фрица. Лицт сообщил мне, что согласно положению управляющим и опекуном всего моего состояния становится Фриц. Бедный секретарь! Божья коровка! Он служил своему хозяину как верный пес и тем не менее не мог скрыть своего смущения. Я всегда относился к нему прекрасно. Чуть ли не извиняясь, он говорил мне:

— Ваш кузен заявил, что не испытывает желания видеть вас, и просил меня быть посредником.

— Я также не стремлюсь встретиться с ним. Так чего же желает Фриц?

— Он хочет получить полную опись всего вашего имущества и состояния, за исключением акций «Сентраль», о которых ему известно как управляющему компанией.

— Все, что мне принадлежит, находится в ведении банка «Лаинес и сыновья». Так что вам придется разговаривать с доном Диего Лаинесом.

— Дон Фриц еще до того, как проект вступил в силу, беседовал с доном Диего. Акции останутся в распоряжении банка Лаинеса, как и проценты с них, однако под контролем правительственного инспектора. Есть ли у вас еще какая-нибудь собственность? Имейте в виду, что на того, кто скрывает размеры своего состояния, налагаются колоссальные штрафы.

— У меня более ничего нет. Вот разве автомашина...

— Я спрошу у сеньора Фрица, имеете ли вы право сохранить за собой машину, и сообщу об этом по телефону. Надеюсь, что такое право вам будет дано.

Так окончилась наша первая встреча. Срок жизни истекал. Приговоренному к смерти разрешают выразить свою последнюю волю и выбрать обед по своему усмотрению, глубина трагедии заставляет даже палачей относиться к обреченному снисходительно.

Погруженный в самые мрачные размышления, я отправился подышать свежим воздухом в парк. Еще недавно я встречал здесь бродягу с попугаем, который вытаскивал билетики с «судьбой» воспи-

танницам английского колледжа, выходившим погулять в сопровождении своей наставницы. Вокруг меня толпились продавцы лотерейных билетов. Они бесцеремонно совали мне под нос бумажные листки, повторяя на все лады: «Последний, последний билет! Завтра — тираж!» Напрасно я вежливо отговаривался, уверяя, что меня не интересует их «товар». Они бежали за мною и кричали как безумные, причем их слова звучали злой иронией, будто им были известны мои несчастья:

— Купите билет! Выигрыш получите наличными!

— Купите билет, мистер! Вернетесь к себе в страну богатым!

— Купите билет, сеньор! Хороший подарок для медового месяца!

Меня ранило, что меня приняли за американца. Но не менее болезненно подействовало на меня предложение торговца использовать билет как подарок к медовому месяцу! И это в моем-то возрасте! Конечно, то была шутка, но звучала она достаточно жестоко. Тем более что в самом скором времени я мог потерять любовь, как потерял состояние и свободу.

Какая дикость — игра в лотерею! Откуда эта слепая вера в то, что колесо фортуны может в мгновение ока изменить судьбу? После того как человек теряет надежду победить в жизни, он предается игре в лотерею. Эта игра, как и спекуляции на товарах первой необходимости, также приносила от пятидесяти до ста процентов чистой прибыли, поэтому лотерею здесь нередко называли «бизнесом». Ольга, например, считала, что лотерея может изменить ее жизнь.

...Принадлежать к миру «избранных» — тоже лотерея. Если на горизонте не возникает никакой опасности...

Стоило ли удивляться настойчивости продавцов? В этой стране все взоры устремлены в будущее, которое строится лишь на одних обещаниях, а настоящее здесь не принимается всерьез.

В то утро мне показалось, что все продавцы лотерейных билетов в городе сговорились атаковать меня. Они кружили вокруг, как рой разъяренных пчел:

— Купите свое счастье!

— Кому беспроигрышный билетик?

Бессильная ярость слепила меня. Я так мечтал побыть наедине с самим собой, поразмышлять.

— Оставьте меня в покое! — крикнул я в полном бешенстве одному из самых нахальных.

— Проклятый иностранец! Отправляйся в свою страну, если тебе не нравится у нас! Ты нам не нужен! — пригрозил парень, показав мне кулак.

Проклятие следовало за мною, как за Каином.

Только во сне разум забывал о жестокости, жертвой которой я стал. Только в забытьи мозг не терзался постоянным вопросом — «за что?», который мучил меня, заставляя забывать о материальных лишениях. А может быть, я умру, не дождавшись восхода дня, когда буду оправдан? Но мне не было дано проникнуть за пелену времени и видеть конец моей трагедии.

Мысль о смерти постепенно завладевала моим разумом. Даже не мысль — то было какое-то физическое ощущение, распространявшееся по всему телу. Я взглядывал в зеркало и каждый день обнаруживал новые морщины. Расчесывал волосы и, взглянув на гребенку, убеждался, что они умирают. Без всякой горечи я говорил себе: «Ну, вот и кончается мое путешествие. Так долго длиться не может». Кончается завод пружины, дающей жизнь моему организму. Как только он окончится, разум перестанет отсчитывать дни и часы. И нечего более ждать. Сознание погрузится в вечный мрак.

XXIII

Фусагасуга. Фусагасуга... Фу-са-га-су-га... Фу-са-га-су-га! Нелегко выговорить название местечка, где мой дядюшка Самуэль выращивал орхидеи. Вот уже два месяца, как я здесь. Меня выслали сюда, как «опасного иностранца», вместе с другими немцами и итальянцами. Нас разместили в старой летней гостинице, которая до войны принадлежала немцам по фамилии Ульм, в настоящее время окончательно разорившимся.

Жизнь наша отличается удивительной монотонностью. К тому же постоянно льет дождь. Вокруг дома разбит прекрасный тропический сад, где нам иногда разрешают подышать воздухом. Однако невозможно отделаться от ощущения, что мы — в тюрьме. Люди, проезжающие по дороге, задерживаются у забора, увитого вьющимися растениями, и подолгу разглядывают нас. Некоторые при этом показывают пальцами, как будто мы — злейшие преступники. Свидетельством того, что мы не просто заключенные, а «военные враги», служат солдаты, стоящие с винтовками у входа в наше здание. Это будит любопытство, и за каждым нашим движением постоянно кто-то следит. Так обычно следят за повадками дикого зверя, запертого в клетку. Прохожие, увидев кого-то из нас, шепчут что-то друг другу; возможно, они удивлены, что у нас не такой уж страшный вид. А может быть, им известны какие-то подробности нашей жизни. Но ни разу ни от кого я не слышал слова сострадания, сомнения в том, правильно ли с нами поступили.

Среди моих соотечественников есть люди разные. Одни, как и я, понятия не имеют о причине заключения и, скорее всего, не узнают никогда. Другие лелеют надежду, что их извлечет отсюда какой-нибудь друг или влиятельный адвокат. Третьи даже пытаются шутить, говоря, что им предоставлен бесплатный отдых в таком райском месте. Но есть, конечно, и другие: нацисты-фанатики, которые гордятся тем, что «выполняли свой долг перед рейхом».

Я же испытываю постоянные страдания от того, что стал жертвой чудовищной несправедливости. Все мои мысли кружат вокруг вечного «почему?». Безуспешно пытаюсь докопаться до источника несправедливости, лишившей меня всего.

Сразу же, как только проект Вильясеньора стал законом, было решено, что подданные стран «оси», занесенные в «черные списки», должны быть изолированы и размещены в местах заключения. С этого момента я потерял последнюю надежду. Полное безразличие овладело мною: я смирился и, как сторонний наблюдатель, бесстрастно слежу за событиями, будто все происходит на театральных подмостках и я жду от этого спектакля лишь развлечения.

Завтра воскресенье. Как всегда, приедет Ольга. Она привезет мою почту и какие-нибудь местные лакомства. Я должен буду съесть их в ее присутствии, чтобы доставить ей удовольствие, хотя терпеть сладости не могу. Уже без десяти десять. Пора выходить в сад, к забору, откуда я слежу за автобусами, спускающимися в облаках пыли по дороге. Из города до моей тюрьмы — четыре часа езды. В одном из таких автобусов приедет Ольга. С ней я получу также газеты и счета от Фрица. Возможно, будут письма от Лаинеса или Бететы, написанные по всем правилам конспирации. Ольга расскажет, какие она выполнила поручения из тех, что я давал ей в прошлое воскресенье.

Так шло с начала моего заключения в Фусагасуге. Мы беседуем до пяти часов, прогуливаясь по саду. А ровно в пять Ольга пойдет к автобусу, и я прощусь с ней, поцеловав ее в лоб, что всегда при-

водит в изумление солдат охраны и пассажиров автобуса, ломавших голову над тем, что может связывать столь разных людей.

Прошли первые месяцы безоглядной любви. Теперь Ольга мне никто: ни любовница, ни подруга. Она могла бы изменять мне без всяких угрызений совести. Тем не менее она ведет себя как самая верная жена.

Мужчина, вопреки широко распространенному мнению,— однолюб. Естественно, его могут привлекать одновременно несколько женщин, но связан брачными узами он может быть только с одной. «Однолюб» — это значит не одна любовь, а одна-единственная привязанность.

Ольга самоотверженно, почти по-матерински относилась ко мне. В том мире, где мне было отказано в последней справедливости, она заняла место Ирэн. Ирэн... Где она теперь? Жива ли? Какими были бы эти годы, если бы она оставалась со мной?

Жизнь течет, дни идут за днями — проходят мимо. Я отношусь к жизни абсолютно безучастно, будто речь идет о воспоминаниях, написанных много веков назад.

Разве сегодня имеет для меня значение арест Маргулиса? Из газет я узнал, что этот сотрудник торгового отдела посольства США был заключен в тюрьму собственным правительством. С помощью записывающих аппаратов было доказано, что Маргулис злоупотреблял своим служебным положением, занимаясь незаконными операциями по скупке хинина в этой стране.

В газетах говорилось также, что даже в Соединенных Штатах вызывали возмущение махинации неких молодых дипломатов, принадлежащих к «золотой молодежи», которые по-своему использовали свои дипломатические обязанности наподобие Маргулиса. Этих типов там называли «бостонской группой» (речь, видимо, шла об американской Ла Кабрере). Я бы не удивился, если бы среди этой молодежи фигурировал и Мьюир. Богатые наследники, владеющие разными языками, прекрасно танцующие, прожигающие жизнь в кутежах,— родители уберегли их от окопов...

■

Мое состояние под управлением Фрица множится, хотя я лично имею право тратить на свои нужды лишь четыреста песо, предусмотренные законом Вильясеньора. Ловкий рулевой, Фриц сумел удвоить принадлежащий мне капитал, заменив мои акции другими, более выгодными.

В конце недели секретарь Лицт передает Ольге сводку о биржевых операциях с моими акциями, и каждый раз я убеждаюсь, что сальдо вполне удовлетворительно, и настолько, что в других обстоятельствах вполне отвечало бы моим самым смелым устремлениям.

«Все это — дела богачей»,— так говорит Ольга. Деньги работают на нас, капитал растет, множится. Инфляция, разоряющая служащих, обогащает только нас. Мы покупаем товар в кредит. Через несколько месяцев, придержав его, выпускаем на рынок, получая такую прибыль, что лишь одной ее частью легко покрываем свой долг.

Мой кузен Фриц, всеми уважаемый член четырех или пяти правлений банков и промышленных компаний, прекрасно знает, что́ именно следует покупать и что именно следует продавать в тот или иной момент. С хладнокровием ученого применяет он свои знания в управлении капиталами, в том числе и теми, которые ему поручают. Моим капиталом, например.

...Автобус, привозящий Ольгу, доставляет мне и полный отчет

о том, как «работают» и какие приносят доходы мои невидимые рабы — деньги. Мое состояние, правда, не так велико, как легендарное состояние Кастаньеды. Но и оно, подобно ожившему чудовищу, растет, размножается, принимает новые формы, далеко простирая свои щупальца. Это чудовище обладает способностью сделать талантливым, красивым, достойным того, кто вдохнул в него жизнь и кто владеет им. Я помню, как некий сеньор Куэрво из университета «Атлантида» настаивал на том, чтобы пост ректора был предложен магнату Кастаньеде вместо известного ученого-биолога. Титулы и ученые звания не играют никакой роли Богатый человек может с таким же успехом занимать пост президента Ассоциации молодых католиков, Кружка журналистов или Синдиката по пропаганде шахмат. Как говорили римские правоведы, второстепенное следует за главным. А главное — это деньги. Если деньги Кастаньеды вложены в торговлю, значит он будет назначен управляющим Федерации торговли. Если в индустрию, то он будет руководить промышленниками. Если в сельское хозяйство, то и здесь он будет назначен экспертом по вопросам сохранения почвы или по борьбе с ящуром. А если его деньги вложены всюду, значит он может стать экспертом в любой области!

Фриц в свое время говорил мне, что Кастаньеде следовало бы быть президентом республики ибо страна развивается только благодаря таким людям, как он. Довольно часто я вспоминаю торжественную церемонию посвящения Кастаньеды в «рыцари» старинного Королевского святейшего колледжа богоматери де ла Канделарии. На обряд были приглашены все мы — его друзья и обитатели Ла Кабреры. Стоя в толпе студентов и публики, мы наблюдали, как проплывали мимо нас по древним плитам монастыря, по которым были разбросаны белые лилии, в белоснежных мантиях пятеро, удостоенные этого высочайшего знака отличия. Устав гласил, что основатель этого учебного заведения — доминиканский монах — утвердил награду тем юношам, которые с помощью «святой богоматери не познали ни женщин, ни вина» Наш ловкий друг, отдавший изучению торгового права в этих стенах ничтожный срок, видимо, был единственным за все триста лет существования лишея, кто умудрился получить награду, имея.. жену и троих детей! Мы — его сподвижники по бурным возлияниям в баре клуба «Атлантик» — испытывали некоторое смущение от аромата, источаемого целомудренными лилиями.

Как и многих других, Кастаньеду развратило постоянное преклонение перед его капиталами Вначале его английские словечки и выражения вроде «you are right» «you are wrong» [1] казались мне даже милыми Позже я понял иное. Монахи нередко обращались к латинским афоризмам, чтобы подчеркнуть ошибки в логике или построении речи студента Научившись секретам риторики у иезуитов, Кастаньеда с помощью английских выражений ухитрялся придать особый вес своим словам.

Всегда внимательный, Бетета каждую неделю присылает мне записочку, заверяя, что «все идет хорошо, очень хорошо». При этом он прикладывает счета нанятых им адвокатов; Фриц аккуратно эти счета погашает.

Лаинес также довольно часто пишет мне. Его имя тоже нередко фигурирует в счетах, оплачиваемых Фрицем: Лаинесу полагаются комиссионные с биржевых операций по моим акциям. Банкир сообщает, что «Сентраль» (где он занимает кресло только благодаря моему провалу!) процветает; что Фриц, по его мнению, долго не удержится, что единственное достижение его — стабильность в произво

[1] Вы правы. Вы не правы. *(англ.).*

ственной стоимости продукции. Учитывая, что государство получало в виде налогов значительную сумму, это достижение Фрица имело для фирмы огромное значение.

«Кормчие промышленности»! Чаще всего их деятельность сводилась к подкупу сенаторов и должностных лиц, чем к труду в цехах фабрик и заводов. Трижды за последние двенадцать лет возникал в конгрессе вопрос об увеличении налога. Его поднимал каждый новый министр финансов на следующий же день после своего назначения. Но Фриц добивался того, что налог оставался прежним.

И несмотря на все это, по словам Лаинеса, Фриц вынужден будет рано или поздно потерять свое завидное положение и кресло, в котором чувствовал себя так уверенно: его заметили в злоупотреблениях наличными суммами, предназначенными для иных целей.

За всем этим я наблюдал с полнейшим равнодушием.

Мануэль и супруги Перес, кое-какие друзья по «Атлантику» также не забывают приветствовать меня, если приезжают отдохнуть в Фусагасугу. Для них это посещение — акт милосердия по отношению к преследуемому. В такие дни Ольге приходится отходить в сторонку, будто мы не знакомы с нею. Обычно визиты друзей отличаются молниеносностью, хотя очевидно, что служат им очередным развлечением. Так нередко дамы в высшем обществе «помогают» детям-паралитикам, организуя в их пользу балы-маскарады.

Все мои друзья только и говорили о великом проекте: «Атлантик» должен стать самым первоклассным и большим клубом в Латинской Америке.

...«Через пятьдесят лет мы тоже будем походить на Соединенные Штаты»,— говорил Перес в первую же ночь нашего знакомства в Эль Пинаре, и слова его до сих пор звучат оптимистической музыкой в моих ушах.

И тут же мне вспоминается звон колокольчиков игрушечной карусели в базарные дни, когда, ухватившись за руку няньки, я следил за проносившимися по кругу марионетками: джентльменами в цилиндрах, элегантно одетыми дамами, восседавшими на необъезженных деревянных конях, вздыбившихся подобно Султану, жеребцу Мерседес. Их силуэты безостановочно крутились перед моими глазами — в дымке какого-то странного сна — под монотонную и одуряющую мелодию: пум-па... пум-па... па... па... пум-па... пум... па... па... пум-па... па... па...

(На этом обрывается рукопись Б. К.)

■

СТАНИСЛАВ ЕЖИ ЛЕЦ

Стихи и фрашки

Перевод с польского и вступление В. БРИТАНИШСКОГО

«Все в руках человека. Поэтому следует их мыть почаще». Это один из полутора тысяч афоризмов — «непричесанных мыслей»,— принесших широкую известность польскому поэту Станиславу Ежи Лецу. Русский читатель успел полюбить «непричесанные мысли» Леца по многочисленным публикациям в наших журналах и газетах.

«Они совершенно заслонили меня как лирика»,— жаловался на свои афоризмы сам Лец. Выходу первой книги афоризмов 48-летнего поэта («Непричесанные мысли», 1957) предшествовало 25 лет творчества Леца — лирика и сатирика.

Еще до войны популярны были фрашки Леца. Фрашку — польскую эпиграмму — создал в XVI веке Ян Кохановский, «скрестив» латинскую эпиграмму с польской народной пословицей. Лучшим фрашкописцем нашего времени был именно Лец. Первые же фрашки молодого Леца в начале 30-х годов привлекли внимание Юлиана Тувима, который включил их в свою антологию «Четыре века польской фрашки». Пример лаконизма и отточенности — двустишие Леца «О демагогах» (1938):

Видно, бог бывает шутником зловредным,
если златоустов лбом украсил медным.

В классических по форме фрашках молодой Лец выступил как наследник польских поэтов XVI—XVIII веков. Зато в ранней лирике поэта (первая книга стихов «Цвета», 1933) явственно звучали интонации поэтов-новаторов XX века: Маяковского и Бруно Ясенского. Ораторский стих Леца в его лирике и стихотворных сатирах 30-х годов — свидетельство поисков нового стиля в польской революционной поэзии этого времени.

В годы войны лирика Леца становится проще и классичнее, традиционнее по форме. Документальностью и точностью деталей выделяется на фоне польской поэзии военных лет книга партизанских стихов Леца «Полевой блокнот» (издана в 1946 г.). Меняется и стихосложение: наряду с дольниками, характерными для ранней лирики Леца, но приобретшими теперь мелодичность, напевность (стихотворение «Песня»), в книгах «Полевой блокнот» и «Новые стихи» (1950) появляются регулярные размеры, в частности, четырехстопный ямб и силлабический стих. В лирике последующих лет Лец обращается и к современному свободному стиху, сохраняя при этом строгую законченность формы, точность и афористичность.

С появлением афоризмов в конце 50-х годов складывается триединство творчества позднего Леца, творчества, убедительного именно в своей цельности. Польский поэт и прозаик Тадеуш Новак подчеркивает эту цельность в статье «Лец — мудрец, фрашкописец и лирик». «Творчество Леца,— пишет Т. Новак,— трехраздельно, но каждая из трех его составных частей так сцеплена с другими, что рассматривать их по отдельности просто невозможно. Это сообщающиеся сосуды...» За последние десять лет жизни Лец опубликовал четыре книги лирики, две книги фрашек и две книги афоризмов. В нашей публикации мы предлагаем читателям лирику и фрашки Леца, поскольку третий жанр — афоризмы — публиковался по-русски неоднократно, в том числе и в журнале «Иностранная литература» (№ 1, 1965 г.).

В лирике, в сатире, в парадоксе Лец прежде всего гуманист, который оберегает положительные идеалы, ненавидит нигилистическое безразличие, помогает слабым и сомневающимся, берет на себя, поэта, ответственность: «Помните: у человека нет выбора. Он должен быть человеком».

Лец далек от какой-либо замкнутости, элитарности и герметизма. В одном из стихотворений он пишет:

Телом становится слово,
коль им обменялись люди.

Поэт пишет просто, но чем более основательно образован его читатель, тем больше он у Леца прочтет. «Один из читателей,— рассказывал Лец,— прислал мне однажды письмо: «Чтобы понять ваши «непричесанные», нужно быть начитанным». Я тут же телеграфировал ему: «Нужно, нужно». Фрашка Леца о гноме, которого не тронет гроза, понятна и сама по себе, но нечто дополнительное увидит в ней тот, кто вспомнит слова Горация: «Молния ударяет лишь по вершинам». Название книги стихов Леца «Объявление о розыске» (1963) понятно лишь в соотнесении с диогеновским «Ищу человека».

Разумеется, ни Гораций, которого Лец читал, ни Гёте или Бертольт Брехт, которых он переводил, не сделали бы Леца Лецем. «Мысли проникают в голову изнутри»,— делился своим профессиональным секретом автор «непричесанных мыслей». За лирикой, фрашками и афоризмами Леца, за всеми его «думами» стоит «былое» — огромный биографический опыт. Биография Леца, как писал в газете «Трибуна люду» его многолетний друг, поэт Ян Спевак, могла бы дать материал для нескольких повестей.

Еще студентом во Львовском университете, в 1930 году, Лец вместе с друзьями, поэтами-студентами Л. Пастернаком и Я. Спеваком, организует журнал «Трыбы» («Шестерни»), почти сразу же закрытый цензурой. По окончании университета Лец живет в Варшаве, сотрудничает в левой печати как сатирик и публицист. Вскоре, после участия в известном львовском съезде работников культуры (1936), организованном по инициативе польских коммунистов, Лец вынужден был скрываться от польской полиции в румынской деревушке близ границы. В годы фашистской оккупации гитлеровцы бросают Леца в концлагерь. Дважды выводили его на расстрел и он чудом оставался жив. В книге стихов «Авелю и Каину» (1961) он говорит о пережитом:

Кто рыл себе могилу,
на труд могильщика глядит
серьезно,
но без педантизма:
ведь тот
работает
не для себя.

В 1943 году, переодевшись в форму эсэсовца, Лец бежал из лагеря. Пользуясь своим прекрасным знанием немецкого языка, он дерзко добрался до Варшавы и связался с подпольной организацией ППР. Зимой 1943/44 годов он редактирует в Прушкове под Варшавой подпольную газету «Жолнеж в бою» («Солдат в бою»). В 1944 году участвует в партизанских боях Армии Людовой на Люблинщине, затем вступает в регулярную польскую армию в чине майора. В первые годы после войны Лец — редактор сатирического журнала «Шпильки», затем — атташе по делам прессы и культуры при миссии ПНР в Вене. Последние годы Лец живет в Варшаве. Здесь, в кавярнях, в трамваях, прямо на улицах, рождались его афоризмы, фрашки, лирические миниатюры. Здесь он скончался десять лет назад, в 1966 году, в возрасте 57 лет. Взвод польских солдат салютовал над гробом бывшего партизана, кавалера креста Отважных, Партизанского креста и ордена Возрождения Польши.

Из книг стихов 40—50-х годов

Песня

Чернику я не забуду,
пылившуюся от маршей,
от ягод черные зубы,
сверкавшие в рукопашной.

И в песнях лесных и болотных
от ягод горчащих сладость.
Для нас, окровавленных, потных,
черника постелью стлалась.

Письмо диктовал мне товарищ,
был мох под ногами мягок.
— Пиши, о чем тут мечтаешь,
чернилами черных ягод.

На запад приказ нас бросил,
и Висла вот-вот уже близко.
Товарищ лежит среди сосен,
а лоб черникой обрызган.

Мосты

Мне сыну города, где не было реки,
мосты, взлетев дугой дугу бровей взметали,
и долго снились мне замшелые быки,
седые шубы волн и пышные их шали.

Я у перил стоял — менялись города,
текли в моих глазах рек разноцветных струи.
Под каменной дугой геснились волн стада,
вечерний город пил вино реки, смакуя.

Век был минирован, враждебен был мостам,
я сам, по грудь в воде шнур поджигал бикфордов.
В густой крови болот тонули звезды там,
и ржавая трава росла сквозь трупы мертвых.

Взрыв оглушал меня, лазурь небес взболтав
и землю из-под ног спасительную выбив...
Хочу, чтоб над водой Дунаев, Висл и Влтав
вновь напрягли мосты тугой, упругий выгиб.

С берега на берег мосты пусть прыгнут вновь.
Не верю в радуги мосты завета бога.
Но не отдам свой мост через войну и кровь,
а сыну моему дарю мосты Ван Гога.

■

Всех народов тепло я познал и на всех языках
ветку пахнущих листьев сорву человеку на радость.
В каждой крови есть слезы, а в каждой слезинке есть алость,
это жизнь в нас дрожит, как живая вода в родниках.

Не замкнул я ушей для любого наречия в мире,
в каждом слышу, как травы растут, удивляются дети,
в каждом вижу, как в дереве, тонкие кольца столетий,
от средины ствола расходящиеся все шире.

Знаю и ненавижу в любом языке болтунов,
что хотели бы гибели слово заставить нас слушать,
небо ливнями бомб или атомной бурей обрушить
на вот этот, живой и прекраснейший мир из миров.

■

Стихи, не высказанные людям,
уже стихи? А быть может —
лишь след муравья, что грешит словоблудьем
и лист чернилами мажет?

Что́ трель соловья для зверя лесного,
не знаю — олени ль судьи?
Но знаю — телом становится слово,
коль им обменялись люди.

С поезда на поезд

Летом во время отпуска
на какой-то железнодорожной станции
молодая мать, как индийское божество, многорукая,
как плодовитая груша, гяжело нагруженная,
на каждой ветке —
сумки, пакеты, сетки,
чтобы, не знаю которой уж там, рукой ухватить еще один узел,
неожиданно подала мне своего младенца.
О, муза расписанья поездов!
Я внезапно почувствовал в разгаре мертвого сезона
жизнь в моих руках
взаправдашнюю, мокрую, как мох ранним утречком,
жизнь.

Из книг стихов 60-х годов

Нет поэта

Нет поэта,
который не знал бы мгновенья,
когда сквозь черепаший панцирь,
сквозь шкуру труса,
сквозь кафтан безумца,
сквозь натуральную людскую кожу
из сердца брызнет кровь,
потом опять
сомкнется черепаший панцирь,
трус шерстью зарастет,
кафтан безумца запахнется,
затянется людская кожа
до следующего раза.

Тяжелая слеза

Тяжелая слеза должна
быть грозной, как тяжелая вода,
сверкать
в людских глазах
угрозой
силам зла.

Кто белым флагом

Кто белым флагом
машет,
тот забывает,
что могут
обагрить его кровью,
и тогда уж с полным основаньем,
как тряпку,
отбросят
условный знак
сдающихся на милость.

Там, где ведает смехом гиена

Там, где ведает смехом гиена,
смех питается мертвечиной,
эхо стелется низко
и похоже на стон.

Когда видишь, как два левши

Когда видишь, как два левши
подают друг другу
правую руку,
убеждаешься
визуально,
сколь машинальна
сила традиций
и часто
не идет
от души.

Кто ж низшей низости достигнет

Кто ж низшей низости достигнет:
хоть бы под землю провалился,
все будет тень его дымиться
под ним, сгоревшим от стыда.

Когда, маршируя в ногу

Когда, маршируя в ногу,
рыба попрет на сушу,
не будет кончины света,
вот только не сможет рыба
по прежней цене продаться,
хотя себя доставляет
прямо акулам в пасть.

Я увидал проект

Я увидал проект Небытия.
Он разработан был
до мелочей,
конкретный,
аккуратный.
Небытие,
безглазое,
так пристально глядело,
так выглядело натурально,
лежало перед нами
как на ладони,
которая протягивалась к нам.

Коротки руки у смерти

Коротки руки у смерти,
чтоб рот зажать человеку.
Сквозь пальцы костлявые смерти
плюет он,
будто сквозь зубы.

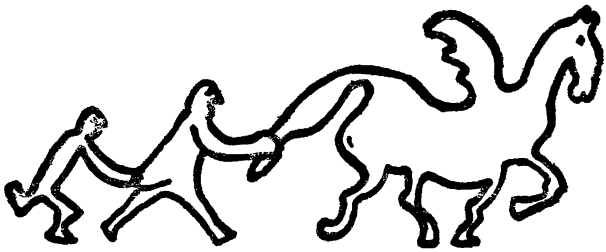
В эпоху космических полетов

В эпоху космических полетов
выросли у меня ангельские крылья.
Летать с такими стыдно.
В кабину залезать неловко.
Усесться просто невозможно.
И вновь,
хоть в ангельском обличье,
кричу,
как человек:
«Что делать?»

Мы кулаками колотим

Мы
кулаками колотим
в ворота рая
может быть ангелы
пламенные мечи погасивши
уснули
ведь может
ангел
стать человеком
хотя бы
у райских врат

Из книг фрашек[1]



О ЯЗЫКЕ

Мне говорят, что язык у меня — острый и неприличный,
а я им язык показываю: польский язык, обычный!
Он острый, покуда собственное мнение им говорится,
но если начнет подлизываться, сразу же притупится.

О ЧЕЛОВЕКЕ

Начальника лагеря спросили в судебном зале:
«Зачем же вы в землю живьем людей зарывали?»
А тот, сокрушенный, ответил адептам права:
«Убить человека я не решился бы, право!»

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ

Страдал, когда жгли людей на кострах:
дым щекотал в ноздрях.

---

[1] Рисунки художника Яна Млодожеица к книге «Сбор фрашек» (1966).

БЕСЕДА

Беседовало молчанье с молчаньем,
я слушал с ужасом и отчаяньем.

ОБ ЭГОИСТЕ

В яблоке съел червяка и кричит, что дурно ему.
Эгоист! Подумал бы о червяке! Каково тому!

ОБ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Знал я как-то сороконожку
с тридцатью девятью ногами.
Бог обидел бедную крошку —
и терзалась она годами.

ЭХ!!!

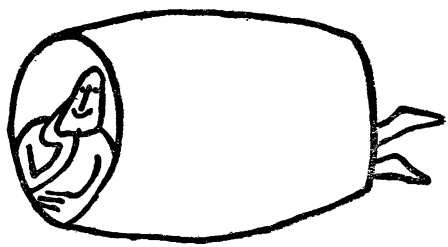
Аскеты
досыта могут вкусить диеты.

О ЦЕЛЯХ

Девицы и дамы, к мужчинам вы слишком суровы.
Их цели прозрачны не больше, чем ваши покровы.

ЗАДАЧА ФИЛОСОФИИ

Придать плоти
чуть-чуть сути.



ИСТИННЫЙ ЭРУДИТ

Истинный эрудит
в книги уже не глядит.

О НАМЕКАХ

Боишься намеков? Словаря не трожь!
Ведь за каждым словом там намек прочтешь.

ОСОБАЯ ПРИМЕТА

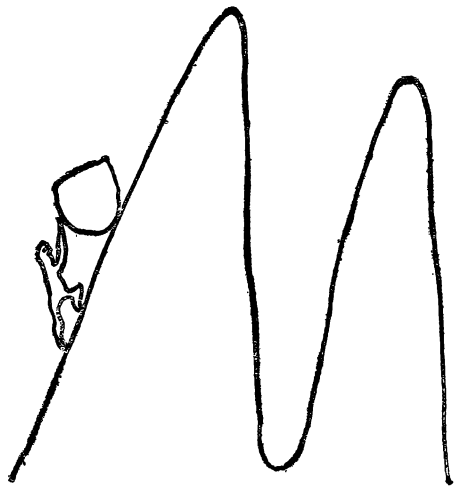
Легко опознать его, помня примету:
пятно на совести, которой нету.

ОБЕ

Обе стороны медали
выбиты в одном металле.

ЭХО

Часто пафоса эхо
так и трясется от смеха.



СТРАННО

Особенно громко поют: «Осанна»,
когда им рты наполняет манна.

ОБЩНОСТЬ

У бедного духа
с телом общее брюхо.

РОДИВШИЕСЯ В РУБАШКЕ

Лишь в одном счастлив гном:
в гнома редко метит гром.

НЕ ДЕЛАЙ

Не делай другому, что тебе немило:
вдруг бы для другого счастьем это было!

БЫЛА ЛИ

Была ли на земле такая каста,
которая себе сказала: «Баста!»

РЕЦЕПТ

Не нужно травить псами,
коль можем загрызть сами.

ВРЯД ЛИ

То, что прошло сквозь сито,
вряд ли — элита.

О ЧЕЛОВЕКЕ

Душа имеет тело,
чтобы душа болела.

ПРИМИРЕНЧЕСКАЯ ФРАШКА

Ладно, в конце концов
я согласен жить во веки веков.

■

У ХАНЬ

Разжалование Хай Жуя

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА В 9 ДЕЙСТВИЯХ

Перевод с китайского и вступление В. ГОДЫНЫ, стихи в переводе Л. ЧЕРКАССКОГО

Не боясь преувеличения, можно сказать, что в Китае самым любимым видом искусства является театр, а из сценических жанров — историческая драма. Она дает возможность осмыслить современность с позиций истории и тем самым яснее увидеть проблемы сегодняшнего дня.

Особое место в этом смысле занимает историческая драма У Ханя «Разжалование Хай Жуя». Судьба ее сложилась и счастливо и трагично. Сразу же после своего появления в 1961 году пьеса завоевала широкую популярность, в частности, благодаря тому, что ее главный герой, справедливый и неподкупный чиновник Хай Жуй,— личность не вымышленная, а историческая: он жил в XVI веке и был любим народом. Но все-таки главная причина большого успеха пьесы заключалась в том, что, используя исторические аналогии, У Хань одним из первых в Китае на рубеже 60-х годов заговорил о таких актуальных для страны проблемах, как взаимоотношения правителя и народа, место и поведение честного чиновника и — шире — гражданина в обществе, переживающем серьезные негативные процессы. Идея борьбы с общественным злом, протест против несправедливого разжалования, звучащие в драме У Ханя, наводили на мысли о судьбе министра обороны Китая Пэн Дэ-хуая, одного из тех, кто в 1959 году выступил с критикой авантюристической политики «большого скачка», проводимой Мао Цзэдуном. За свою справедливую критику Пэн Дэ-хуай был «разжалован», как в свое время герой пьесы Хай Жуй. Эта ассоциативность была «запрограммирована» У Ханем, историком по специальности, который свою драму написал под влиянием современных ему событий.

Однако приемы иносказания лишь до поры до времени оберегали дра-

матурга: скрытая между строк его произведения критика была ясна для тех, кто оказался ее объектом. Осенью 1965 года Мао Цзэ-дун лично дал указание «раскритиковать» драму У Ханя, заметив: «Император разжаловал Хай Жуя, а мы дали отставку Пэн Дэ-хуаю. Пэн Дэ-хуай — тот же Хай Жуй».

Критика драмы «Разжалование Хай Жуя» совпала по времени с началом пресловутой «культурной революции». Таким образом, не только Пэн Дэ-хуая, но и самого У Ханя, как и многих прогрессивных деятелей, видимо, постигла судьба главного героя его пьесы, с той лишь разницей, что последний пострадал от императорского произвола в XVI веке, а У Хань стал одной из первых жертв «культурной революции» в Китае 60-х годов нашего века и судьба его поныне не известна.

На табличке надпись: «Контрреволюционер, ревизионист». Текст под фотографией: «Бывший заместитель мэра Пекина контрреволюционер, ревизионист У Хань». Снимок из китайской печати времен «культурной революции».

Действие первое

НАРОДНЫЙ ГНЕВ

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: 1569 год, День поминовения усопших.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: уезд Хуатин области Сун цзян, подножие горы Хэннюн-шань.

Действующие лица: Сюй Ин, третий сын Сюй Цзе, помещик-тиран, около 40 лет;
Чжао Юй-шань, крестьянин, 65 лет;
Хуя А-лань, сноха Чжао, 31 года;
Чжао Сяо-лань, внучка Чжао Юй-шаня, 16 лет;
Ван Мин-ю, начальник уезда Хуатин, продажный чиновник, 40 лет;
слуги Сюй Цзе, чиновники хуатинского ямыня, крестьяне жалобщики, деревенские жители.

Сюй Ин верхом на коне, за ним следуют прислуга и челядь.

Сюй Ин *(декламирует).*

Весна явилась в город и предместье, мне не до сна,
Лечу, как птица, по полям и весям, и стремена
Звенят-сверкают, и, благоуханьем напоена
Великой силой наполняет меня весна.

Я — Сюй Ин, третий сын Сюя. Приехал погулять у могил предков. Вот и собак выпустил, и сокола. Ну и раздолье! Ба! Кто это там у могилы? Две красотки! Совсем недурно поразвлечься с ними. Эй, слуги! За мною, живо!

Сюй Ин и слуги уходят. Появляются Хуя А-лань и Чжао Сяо-лань, несут благовонные палочки и ритуальные деньги[1].

[1] Предметы, используемые китайцами во время похоронного обряда. *(Здесь и далее — примечания переводчика.)*

Хун А-лань *(поет).*

В день Цинмин [1] ритуальные деньги я жгу на могиле,
О супруге скорблю, год прошел, как его схоронили,
Расцветают цветы, только мы о весне позабыли,
Свекор стар, дочь мала, горемычное сердце разбили.

От кого ждать помощи? Воскури свечи, Сяо-лань, сожги деньги. Поклонись праху отца! *(Женщины кланяются, плачут.)* О, отец Сяо-лань! [2] *(Продолжает петь.)*

Был опорой семьи и один обрабатывал поле,
Возвращался с луной, поднимался еще до рассвета,
Никогда не роптал на крестьянскую тяжкую долю,
А налоги росли, и в судьбе никакого просвета.
Тут другую напасть небеса на деревню наслали,
Сюи отняли все и оброком людей доконали.
Подал жалобу ты, и другие ее подавали,
Но в уездном ямыне чиновники слушать не стали.
Кровь из горла пошла от обиды такой и печали,
А потом под горой мы, рыдая, могилу копали.

Как тяжко нам с дочкой живется! Когда же свершится возмездие?!

Чжао Сяо-лань. Мама, не плачь! Смотри! Сюда едут!

Мать и дочь быстро складывают жертвенную утварь, собираются уйти. Появляется Сюй Ин со слугами, хватает Сяо-лань за руку, девушка вырывается. Хун А-лань становится между ними.

Сюй Ин. Иди, иди! Мне девочка нужна, а не ты!

Хун А-лань. Будьте учтивы, господин. Это — моя дочь.

Сюй Ин. Вот и прекрасно! Вместе с нею пойдешь ко мне в дом.

Хун А-лань. К вам в дом? С какой стати? Мы не родные вам, не знакомые.

Сюй Ин. Ну и что! Обе станете моими наложницами.

Хун А-лань. Как можете вы говорить такое?! Пойдем скорей отсюда, Сяо-лань.

Сюй Ин жестом повелевает слугам задержать женщин.

Спасите нас, односельчане, помогите! Над женщинами измываются!

Сюй Ин. Чего шумишь? Я зла тебе не собираюсь причинять и обижать не стану.

Хун А-лань. Он убийца моего мужа, мой лютый враг. Спасите же нас, помогите!

Появляются сельские жители, в суматохе мать с дочерью убегают.

Односельчане. Опять этот мерзавец Сюй людей тиранит. Хоть бы его всевышний покарал!

Сюй Ин. Догнать!

Слуги Сюй Ина разгоняют толпу и пускаются в погоню.
Появляется Хун А-лань, Чжао Сяо-лань и Чжао Юй-шань.
Чжао Юй-шань преграждает путь помещику и его слугам.

Мне потолковать с тобой надо.

Чжао Юй-шань. Не о чем нам толковать. Вы захватили нашу землю, загубили единственного моего сына. А теперь за меня взялись, требуете, чтобы я долг вам отработал! Но вам и этого мало. Решили опозорить несчастную вдову и ее дочь! Нет от вас бедным людям житья!

Сюй Ин. Подумай хорошенько, Чжао Юй-шань. Ведь ты бедняк, к тому же стар. Тебе не прокормить сноху и внучку. Смирись, пусть будут у меня. Я наряжу красоток в бархат и шелка, дам им прислужниц. Ну и тебе кое-что перепадет.

Чжао Юй-шань. Молчи, Сюй Ин! Иди своей дорогой. Хоть я бедняк, но чести не забыл и торговать людьми не стану!

Сюй Ин. Не хочешь, негодяй? А ну-ка, люди, взять ее!

Девушку хватают, Чжао Юй-шань и Хун А-лань пытаются ее спасти.

Всыпьте этому мерзавцу хорошенько!

Слуги бросаются к Чжао Юй-шаню, сноха и внучка стараются его защитить. Старика жестоко избивают. Сяо-лань уводят.

Крестьяне. Где справедливость? Где закон? Избить человека! Средь бела дня похитить девушку! Ну и жизнь!

---

[1] День поминовения усопших.
[2] В старом Китае жена не имела права называть мужа по имени.

Хун А-лань громко плачет, люди помогают Чжао Юй-шаню подняться, старик медленно приходит в себя.

Чжао Юй-шань. Сношенька, сейчас не время плакать. Спеши с жалобой в уезд. Надо Сяо-лань спасать! *(Поет.)*

Как тигр, как волк, помещик лют,
Но есть на свете правый суд,
И справедливость, и закон,—
Они невинного спасут.

Хун А-лань. Как же вас избили! Живого места нет! Если я из дому отлучусь, некому будет за вами присмотреть.

Крестьяне. Ты иди, А-лань, неси жалобу в уезд, ну а мы за стариком присмотрим. Не тревожься!

Хун А-лань. Что ж, большое вам спасибо. Я пойду.

Чжао Юй-шань. Возвращайся поскорее. Внучку спасай!

Хун А-лань. Ладно. *(Уходит, вслед за ней уходят крестьяне и уводят Чжао Юй-шаня.)*

Зал в ямыне. В окружении чиновников появляется уездный начальник Ван Мин-ю и крестьяне-жалобщики.

Ван Мин-ю *(декламирует).*

Я судья седьмого ранга.
Господа такого ранга
Поклоняются богам:
Не Наукам, а Деньгам.
Будь преступник ты сановный,
Дашь мне взятку —
Невиновный,
Мне отца дороже ты.
А без денег нет лекарства
Для спасенья правоты!

Эй! Кто там с жалобами?

Жалобщики. Мы. *(Протягивают бумаги.)*

Ван Мин-ю. На кого жалуетесь?

Первый жалобщик. На семью государева наставника Сюя силой землю отнял!

Второй жалобщик. На Сюя жалуюсь, ограбил меня.

Третий жалобщик. На третьего сына Сюя жалуюсь: дом у меня забрал!

Ван Мин-ю. Странно! С той поры как я вступил в должность, что ни день, то слышу жалобы на Сюя. Так и нынче. И толкуют все одно и то же: землю отнял, захватил имущество А не думают о том, что не годится затевать тяжбу с государевым наставником. Правду говорили, что в местах сих подлый люд живет. Эй, гоните вон сутяжников!

Служащие ямыня прогоняют жалобщиков. Появляется Хун А-лань, бьет в барабан[1]: когда ее вводят в зал, опускается на колени.

Еще одна с жалобой Наверняка на Сюев. Эй, женщина, на кого жалуешься?

Хун А-лань. Всемилостивейший господин, сама я женщина простая, бедная, а жалуюсь на третьего сына из семьи Сюев. Он дочь мою увез насильно, жестоко избил свекра-старика. Вступитесь, господин, за обездоленных! *(Плачет.)*

Ван Мин-ю. Я привык решать дела точно и без промедленья. Говори, что с твоей дочерью случилось?

Хун А-лань. Ее увел насильно третий сын Сюя.

Ван Мин-ю. Кто может это подтвердить?

Хун А-лань. Односельчане.

Ван Мин-ю. Где же они?

Хун А-лань. Остались присматривать за свекром-стариком, его избили.

Ван Мин-ю. Так я и знал: свидетелей нет и доказательств — тоже. А где старик?

Хун А-лань. Я ведь сказала, что его избили. Он двинуться не в силах.

Ван Мин-ю. Избили, говоришь? Такое дело требует проверки. В Поднебесной справедливость должна торжествовать! Старик твой не пришел сюда, так кто ж докажет, что его избили? Ты вот пришла в ямынь, а с чем пришла? Где твоя жалоба, написанная на бумаге, где доказательства, свидетели? Нет ничего, все клевета! Скажи спасибо, что ты женщина, к тому же впервые нарушила закон, не то я наказал бы тебя по всей строгости. Эй, гоните ее прочь!

Хун А-лань. Явите милость, господин! Я правду говорю, не лгу — меня обидели.

Ван Мин-ю. Если обидели — я все решу по справедливости. За клевету ты понесешь кару. Я не глупец, чтобы твою болтовню принять на веру, мне нужны доказательства.

Хун А-лань. О ваша милость, о справедливый господин! Не оставляйте без внимания обиду бедной женщины.

---

[1] Так в старом Китае извещали о приходе в ямынь.

Ван Мин-ю. Да, ты права, я справедлив. Но если мое решение тебе не по душе, приходи в другой раз и помни: без свидетелей и доказательств я дела разбирать не стану. А сейчас ступай.

Хун А-лань, плача, уходит.

Нелегкая мне предстоит задача. Опять увел насильно девушку, избил жестоко старика. Решать по справедливости... Но кто я такой, чтобы с государевым наставником тягаться? Однако эта женщина не оставит меня в покое, каждый день будет являться, замучает до смерти. Как же быть? *(Задумывается.)*. Кажется, придумал, нашел выход! Доложу-ка я всю эту историю самому Ли Пинду, правителю области. Он человек бывалый! Недаром говорят:

Народ хитер и зол,
Не жди добра от черни.
Избавлю я себя
От бед и огорчений.

(Уходит.)

Действие второе

СЛУШАНИЕ ДЕЛА

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: месяц спустя.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: ямынь уезда Хуатин.

Действующие лица: Сюй Ин, Сюй Фу, крестьяне, Чжао Юй-шань и Хун А-лань, начальник уезда Хуатин Ван Мин-ю, служащие суда, крестьяне.

Появляются Сюй Ин и Сюй Фу.

Сюй Ин *(декламирует)*.

Принес я слиток золотой,
И Правда стала Клеветой.
Мой план изящен, как стихи:
Всучу другим свои грехи.

Ну и старец, ну и Чжао Юй-шань, вздумал жаловаться на меня. Но, как говорят, солдату с офицером не сражаться. Я отправил золото в подарок: двести лянов начальнику уезда, триста лянов — правителю области. Всех подкупил. Ну, а Ван Мин-ю помог мне: сказал, что подлый люд не знает приличий, и возвел напраслину на честного чиновника, и потому достоин самой строгой кары. Что ж, Чжао Юй-шань, посмотрим, как решится это дело. Сюй Фу!

Сюй Фу. Здесь я.

Сюй Ин. Ступай к уездному начальнику и потихоньку выведай, что в тот день у них случилось. Только лишнего, смотри, не говори.

Сюй Фу. Не извольте беспокоиться, почтенный господин. *(Уходит.)*

Появляются Ван Мин-ю и служащие ямыня.

Ван Мин-ю *(декламирует)*.

Мне в эти дни изрядно повезло,
Ответчик щедр, и зло уже не зло.
Пусть Бао Чжэну[1] слава и почет,
А в мой карман пусть золото течет.

Бедняков всех обобрал как липку, ничего с них больше не возьмешь. Думал, где б еще поживиться. И вот нынче сам наставник Сюй прислал мне слиток золотой. Да, совсем не плохо быть чиновником! Но пора кончать сегодня с этим делом, чтоб никто не мог сказать: чиновник глуп, дело выеденного яйца не стоит, а он справиться не может, тянет. Эй, слуги, введите всех причастных к делу Хун А-лань.

Появляются Хун А-лань, Чжао Юй-шань, крестьяне.

Народ. Мы явились, господин судья.

Ван Мин-ю. Станьте в сторону. Должен вам сказать, что я все тщательно проверил, разобрал и сейчас начну слушание дела. Только говорите правду. Лжи не потерплю. Хун А-лань!

Хун А-лань. Я здесь, господин.

[1] Бао Чжэн — чиновник сунской эпохи, прославившийся справедливостью, проницательностью, неподкупностью.

Ван Мин-ю. Ты пожаловалась на Сюй Ина, что он увел твою дочь. Когда это было?
Хун А-лань. В День поминовения усопших.
Ван Мин-ю. Свидетели есть?
Крестьяне. Мы свидетели, собственными глазами видели.
Ван Мин-ю. Еще ты жалуешься, Хун А-лань, что Сюй Ин избил твоего свекра. Свекор здесь?
Чжао Юй-шань. Здесь, господин.
Ван Мин-ю. Где следы побоев?
Чжао Юй-шань. У меня все тело в ранах.
Ван Мин-ю. Свидетели есть?
Крестьяне. Мы свидетели, собственными глазами видели.
Ван Мин-ю. Следователь, произведи осмотр.

Следователь снимает с Юй-шаня одежду, производит осмотр.

Следователь. Господин судья, раны на теле не обнаружены, конечности целы.
Ван Мин-ю. А! Подлые! Оклеветали благородного человека Ну-ка, всыпьте этому мерзавцу хорошенько!
Чжао Юй-шань. Как же так, господин судья?! У меня живого места нет. Посмотрите, пожалуйста, еще раз!
Народ. Господин судья, мы же сами видели, как жестоко Сюй Ин избил старика. Если лжем, судите нас.
Ван Мин-ю. Ну и чудеса! Вам говорят, даже царапин нет, а вы свое твердите. Следователь, произведи осмотр еще раз!
Следователь. Тут вроде на колене ранка есть, и больше ничего.
Ван Мин-ю. Ввести Сюй Ина!

Входят Сюй Ин и Сюй Фу.

Сюй Ин. Почтенный господин, Сюй Ин явился.
Ван Мин-ю *(притворно строго)*. Стань в сторону, невежда! Жалуются на тебя, что ты насильно увел девушку, избил ни в чем не повинного старика. Признаешь себя виновным?
Сюй Ин. Я отпрыск знатной чиновничьей семьи, изучаю поэзию, постигаю высшую справедливость. И вдруг такое обвинение! Дозвольте же спросить, когда это случилось?
Ван Мин-ю. Жалобщики утверждают, будто случилось это в День поминовения усопших
Сюй Ин. В День поминовения усопших? Куда ж я в этот день ходил? А! Вспомнил! Как раз в тот день я навещал сюцая[1] Чжана, беседовал с ним о поэзии и никуда не выезжал из города.
Ван Мин-ю. Кто может это подтвердить?
Сюй Ин. Сюй Фу, один из домочадцев.
Ван Мин-ю. Сюй Фу, ездил куда-нибудь Сюй Ин в тот день?
Сюй Фу. Господин, в тот день хозяин мой и вправду ходил лишь в дом сюцая, из города не выезжал. Я был с ним вместе и тоже никуда не отлучался, что и свидетельствую.
Ван Мин-ю. Все ясно. В День поминовения усопших Сюй Ин был у сюцая. Не раздвоился же он в самом деле, чтобы в то же самое время очутиться за городом, увести насильно девушку и избить старика! Ну-ка, всыпьте этой подлой Хун А-лань!
Хун А-лань. Справедливый господин судья, не оклеветали мы его, это могут подтвердить даже крестьяне из соседних деревень. Умоляю вас, прислушайтесь к словам несчастной женщины. Моя дочь сейчас томится в доме Сюя, прикажите освободить ее!
Ван Мин-ю. До чего же ты строптива, женщина! Хочешь доказать, что только ты одна здесь правду говоришь, все остальные лгут? Я выслушал и жалобщиков, и ответчика. Но кто поверит бедняку, а не чиновнику! Эй, дать ей палок!
Чжао Юй-шань. Явите милость, господин начальник. Я бедный человек, грамоте не обучен, но разбираюсь, что к чему. От предков нам достался клочок земли, кой-какая утварь, тем мы и живем. А господин Сюй принес фальшивую бумагу и отнял все, чем мы владели. От горя и обиды единственный мой сын скончался, жену вдовой оставил, дочь — сиротой. Теперь нам надобно платить ему налоги да еще оброк натурой покрывать. Несправедливо это. А кому пожалуешься? В День поминовения усопших господин Сюй силой увел внучку, а меня избил. Горько нам, обида не дает покоя! И солнце в небе, и люди на земле — все могут быть у нас свидетелями. Господин судья не верит беднякам, не вступается за них, он защищает богачей. Где же справедливость? Где доброта? Нехорошо так, господин начальник, вступаться надо за простых людей!
Ван Мин-ю. Да как ты смеешь, дерзкий раб, говорить, что раны есть, когда их нет! Господин Сюй весь день провел у друга, из города не выезжал, а ты заявляешь,

[1] Сюцай — низшая степень в системе ученых званий в старом Китае.

будто он был в деревне, избил тебя и увел твою внучку. Это ли справедливость? Это ли доброта? Не только достояние твое скудно, но и ум, вот почему ты ничего не смыслишь в законе, клевещешь на чиновника. Злость и коварство овладели тобою. Эй, взять его да всыпать хорошенько, чтоб неповадно было!

Чжао Юй-шань. Я жаловаться буду, господин судья.

Ван Мин-ю. Куда? Кому?

Чжао Юй-шань. В область пожалуюсь, а не поможет — дойду и до столицы! *(Поет.)*

Обидели кровно меня, старика, я руки простер к небесам,
Забрали девчонку, избили меня, не вняли мольбе и слезам.
Твоя справедливость и твой приговор на пользу одним господам,
В столицу на тех, кто закон предает, с надеждой бумагу подам!

Ван Мин-ю. Какая наглость! *(Поет.)*

Расхрабрился деревенский наш народ,
На чиновника клевещет, вздор несет.
Всыпать восемьдесят палок старику,
Да покрепче, чтобы думал наперед!

Слуги до смерти забивают старика.

Служащие. Господин начальник, преступник скончался.

Хун А-лань. Ай-я! *(Поет.)*

Я взываю к Небу,
В сердце боль и гнев,
Старика в ямыне
Били, озверев,
Дочку от позора
Не уберегла,
Где найти спасенье
От земного зла?

О, Небо, о Небо!

Ван Мин-ю *(от страха меняется в лице, но вскоре приходит в себя).* Тело унесите, остальных гоните прочь.

Старика уносят. Хун А-лань, горько плача, уходит. Удаляется, смеясь, Сюй Ин, за ним, строя рожи, следует Сюй Фу.

Дело приняло опасный оборот. Кто мог подумать, что старик не вынесет побоев? *(Задумывается.)* Впрочем, не так уж это страшно!

Служащий ямыня *(подает Ван Мин-ю правительственный вестник).* Господин начальник, срочная бумага. Ознакомьтесь, пожалуйста.

Ван Мин-ю *(раскрывает и испуганно роняет вестник).* Ай-я! Хай Жуй назначен губернатором десяти областей Интяни! Проклятье! Надо же было такому случиться, чтобы его прислали как раз в наши края. Что же делать? *(Поднимает бумагу и снова читает.)*

Служащий ямыня. Как, неужели сюда приезжает сам Хай Ясное Небо?[1] Теперь жди беды!

Ван Мин-ю. Приготовить все необходимое в путь, я немедленно отправляюсь в Сучжоу.

Ван Мин-ю и служащие суда уходят.

Действие третье

ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: начало июня 1569 года.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: беседка для встреч важных чиновников перед городскими воротами Сучжоу.

Действующие лица: Чжэн Юй, правитель области Сучжоу, 55 лет, честный, с добрым именем;

Сяо Янь — начальник уезда У, 45 лет, корыстный чиновник;

Ли Шин-ду, правитель области Сунцзян, по прозвищу Ли Шкуродер, около 50 лет, чиновник алчный и несправедливый;

Ван Мин-ю;

[1] Прозвище Хай Жуя, по-китайски — Хай Цин-тянь.

Хун А-лань и деревенские жители;
Хай Жуй, 54 лет, с проседью, в простой одежде;
госпожа Се, мать Хай Жуя, 71 года, строга и справедлива, вдова с молодых лет, пользуется любовью и уважением сына;
госпожа Ван, вторая жена Хай Жуя, 30 лет, добрая и боязливая. Почитает мужа, но боится, как бы его прямота не привела к беде. Узнав же суть дела, всегда принимает сторону мужа;
Хай Пэн — старик из семьи Хай, слуга Хай Жуя, прямой, честный, оберегает хозяина от неприятностей;
солдаты, стражники.

Появляются чиновники, солдаты, стражники, знаменосец.

Чжэн Юй. Господа, ревизор Хай Жуй выехал из Нанкина, но пока еще не прибыл. Боюсь, что и на сей раз мы его не дождемся.

Сяо Янь. Когда придворный советник Хун Мянь узнал, что прибывает ревизор, он уменьшил число носильщиков своего паланкина с восьми до четырех.

Ли Пин-ду. А у нас некоторые чиновники всю ночь перекрашивали красные ворота своих домов в черный цвет[1], чтоб не накликать беды...

Ван Мин-ю. Говорят, что Хай Жуй честный и справедливый, но еще не известно, правда ли это.

Чжэн Юй. Правда, господа. Я был в столице и сам убедился в этом. *(Поет.)*

Совершенные мужи, вы подобны горным пикам;
Написал Хай Жуй Доклад в дерзновении великом,
Мол, бессмертья в мире нет, не купить его владыкам,
Не бывало никогда мудреца с бессмертным ликом.
Воздержанье в честь небес и молитвы — все пустое,
Между тем в стране дела в запустенье и застое,
В дни Цзя-цзин[2] дома пусты...
Будь правления достоин,
С мудрой твердостью блюди наши древние устои.

От такой дерзости император пришел в неописуемую ярость, хотел казнить Хай Жуя, велел следить за ним, чтоб не сбежал. Узнав же, что тот сам давно ждет смерти, император сбит был с толку и спустя немного приказал Хай Жуя заточить в тюрьму. Пробыл он в неволе до тех пор, покуда император не скончался. Теперь его назначили в Цзяннань. Так что нам, господа, следует быть начеку!

Сяо Янь, Ли Пин-ду и Ван Мин-ю от страха меняются в лице.

Чжэн Юй. Ну и жарища! Давайте перейдем в беседку. Нам сообщат, когда он будет приближаться, без опозданья встретим.

Уходят в беседку.

Хай Жуй *(из-за сцены)*. Поспешим.

Появляются Хай Жуй, госпожа Се, госпожа Ван и Хай Пэн.

(Поет.)

Губернатором назначен Высочайшим повеленьем
И спешу в Цзиньчан с Указом, преисполненный стремленьем
Беззащитным стать защитой, дать покой и мир селеньям.
По душе чиновным лицам сверхналогообложенье,
Сборщик, алчный и жестокий, доводил до разоренья,
Из домов, пустых и темных, уходило населенье.
Говорят, мол, рай на небе, а Сучжоу лучше рая,
Я, Хай Жуй, в своем Докладе этот слух опровергаю.

Госпожа Ван. Мне так жарко, что даже нет охоты любоваться этим прелестным пейзажем.

Госпожа Се. Сынок, далеко еще до Сучжоу?

Хай Жуй. Теперь уже недалеко. Давайте, матушка, передохнем немного. Вы не против?

Госпожа Се. Я согласна.

Хай Жуй. Там впереди лесок, пойдемте! Хай Пэн, веди.

---

[1] Красные ворота в старом Китае означали, что дом принадлежит богатому человеку.

[2] Цзя-цзин *(кит.)* — «Благополучие и Спокойствие», девиз правления императора Ши Цзуна.

Госпожа Се, госпожа Ван и Хай Пэн уходят; появляются Хун А-лань и крестьяне.

Первый крестьянин. Давайте дух переведем. Жара измучила. Скажи, женщина, отчего ты плачешь?

Хун А-лань. Обидели меня, и вот решила я отправиться с жалобой в Сучжоу к губернатору.

Первый крестьянин. Кто ж тебя обидел?

Хун А-лань. Сюй Ин из уезда Хуатин и уездный начальник. Они землю у людей отнимают насильно, девушек уводят, насмерть забивают людей.

Первый крестьянин. Что же все-таки с тобой приключилось?

Хун А-лань. Ай-я! О Небо! *(Поет.)*

Жестокий Сюй царит в уезде,
Его злодействам нет конца,
Он дочь мою увел насильно,
Замучил бедного отца.
Ответчик в нашем Хуатине
Карает честного истца,
Я с жалобой спешу в Сучжоу,
Взывают к милости сердца.

Хай Жуй прислушивается, качает головой.

Первый крестьянин. Трудно этому поверить.

Второй крестьянин. Верь не верь, а я собственными глазами видел. *(Поет.)*

Прежде в могиле сына зарыли,
В свежей могиле отца схоронили.
Деда замучили, внучку схватили.
Три поколенья они оскорбили.

Хай Жуй. Почему жалобу не подали?

Третий крестьянин. Подавали, господин чиновник, только жалобщика до смерти забили.

Хай Жуй. А по какому праву?

Второй крестьянин. Судья сказал, что старик лжет, клевещет на чиновника.

Хай Жуй. Кто был свидетелем?

Второй крестьянин. Сюй Фу, управляющий Сюй Ина.

Хай Жуй. Как может быть слуга свидетелем хозяина! Ну и дела! Так что же он сказал, этот свидетель?

Третий крестьянин. Сказал, что в День поминовения усопших его хозяин был у сюцая и никуда не выезжал из города.

Хай Жуй. А кто такой этот Сюй Ин?

Второй крестьянин. Третий сын государева наставника Сюя.

Хай Жуй. Вот оно что! Но если он не выезжал из города, как же умудрился увезти девушку и избил старика?

Первый крестьянин. В том-то и дело, что выезжал. Я сам видел, как он увез девушку и избил старика. Не померешилось же мне.

Хай Жуй. В таком случае и ты виновен. Раз видел, в свидетели надо было идти.

Третий крестьянин. *(Поет.)*

В присутствие входим без звонких монет,
Ответчику верят, свидетелю нет;
Одну только правду приносим мы в суд,
А люди богатые взятку несут.

Хай Жуй. Выходит, богатый всегда прав, а бедный виноват?

Крестьяне. Выходит, так.

Хай Жуй. Но вас ведь много, а богач один! Как же это одному ему поверили?

Второй крестьянин. Неведома вам, господин, горькая доля бедняка: мы все берем в аренду землю Сюев Поэтому должны молчать.

Хай Жуй. Ага! Вы, значит все у Сюя арендаторы.

Крестьяне. Всю землю Сюй захватил да еще гребует оброк. Так тяжело нам, что и не расскажешь!

Хай Жуй. И все же вы неправы. Жаловаться надо!

Второй крестьянин.
Третий крестьянин. } Вы, господин чиновник, не из здешних мест, поэтому вам странно Правитель нашей области по имени Ли известен всем как Шкуродер, так Шкуродером и прозывается А уездный начальник взяточник. К кому же обращаться с жалобой? *(Поют.)*

В ямыне твоя не нужна правота,
Без денег нигде не раскроешь и рта.
Куда же податься простым беднякам?
Чиновники здесь и чиновники там.

Хай Жуй. Куда же вы сейчас идете с жалобой?
Первый крестьянин. В Сучжоу.
Хай Жуй. А тамошний правитель бескорыстен? Он вступится за вас?
Первый крестьянин. Вступится. Туда недавно назначили Хай Жуя, он справедлив и бескорыстен. Сейчас я вам про него расскажу. *(Поет.)*

В Чуннани много лет назад я рисом торговал,
В те дни о мудрости его твердили стар и мал.
Хай Жуй налоги сократил, народ возликовал,
Бедняк вернулся в край родной, где раньше помирал,
Хай Жуй был добр и справедлив и бедных понимал.
А сам Хай Жуй терпел нужду, еду не выбирал,
Жестокосердных не жалел, распутников карал.

Хай Жуй. Вы в самом деле верите в его справедливость?
Первый крестьянин. Верим. Он, правда, еще не прибыл на место назначения, но всех уже оповестили, что можно идти к нему с жалобами. Не зря прозывается он Ясное Небо.
Хай Жуй. Спасибо вам!

За сценой ударяют в барабан.

Второй крестьянин. Это чиновники пришли встречать Хай Цин-тяня. Давайте же и мы посмотрим на него.

Хун А-лань и крестьяне, толпясь, идут навстречу чиновникам. Стражники сбивают с ног первого крестьянина и Хай Жуя. Хай Жуй поднимается и наталкивается на Ли Пин-ду.

Ли Пин-ду. Слепая тварь, ты что меня толкаешь, не видишь — перед тобою господин? Бейте его!

Стражники хватают плети, но Чжэн Юй утихомиривает их.
Чиновники, стражники и солдаты уходят, вслед за ними уходят Хун А-лань и крестьяне.

Хай Жуй. Такая маленькая сошка — и столько спеси. Нетрудно догадаться, почему он так притесняет простой люд. *(Поет.)*

Злы чиновники и алчны, как собаки и лисицы,
Отбирают у народа все, чем можно поживиться,
Ходят с гордою осанкой, от людей не прячут лица,
Принимают подношенья, и никто не устыдится.
Я люблю народ всем сердцем я приехал из столицы,
Зло и алчность покараю, добродетель воцарится.

Воистину:

Нет в мире зла,
Над всем парит Закон.
За труд всей жизни
Ты вознагражден.

(Уходит.)

Действие четвертое

ВСТРЕЧА С СЮЕМ

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: десять дней спустя

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: поместье Сюй Цзе в уезде Хуатин.

Действующие лица. Хай Жуй, в красном халате и шелковой шляпе;
Хай Пэн;
Сюй Цзе, 75 лет, седобородый невысокого роста, белолицый, приятной наружности, одет по-домашнему;
слуги Сюя.

Появляется Сюй Цзе в сопровождении слуг.

Сюй Цзе *(поет)*:

Почетом и властью
Пресытился к зрелым годам,
Был к сонму героев
Причислен Двором навсегда;
Теперь я в отставке,

Вернулся к полям и садам.
Смешон не отшельник,
А тот, кто спешит в города.

Я — Сюй Цзе, был первым министром при двух императорах, стал стар и от дел удалился. Хозяйство мое на весь район Саньу распростерлось, слуг не счесть. Я знатен, богат, чего мне желать?! Месяц назад прочел в правительственном вестнике, что Хай Жуй назначен правителем в Цзяннань. Давно мы не виделись с ним. Сюда он наверняка приезжает по каким-то делам. *(Поет.)*

Рад, что добрый мой знакомый прибыл к нам со знаком власти,
Как и встарь, любимым книгам отдадим свои пристрастья;
Непреклонный и гуманный, спас народ он от напасти,
Будет славен он вовеки за дарованное счастье.

Я много лет служил при дворе, а сын мой и внуки жили в деревне. Случалось, что они совершали преступления против крестьян. А Хай Жуй человек дотошный, как начнет расспрашивать, не отвертишься. Что тогда? *(Задумывается.)* Ладно, велю сыну быть поосторожней, не делать глупостей. Главное, чтоб у Хай Жуя не было фактов в руках, тогда легче будет оттовориться. Да, приезд Хай Жуя и радует меня и тревожит.

Входит слуга.

Слуга. Господин наставник, пожаловал господин Хай.
Сюй Цзе. Скорей зови, да вели музыкантам играть.

Под звуки музыки входит Хай Жуй в сопровождении Хай Пэна.

Хай Жуй. Господин наставник!
Сюй Цзе. Хай Жуй!
Хай Жуй. С той поры как вступил в должность, все было недосуг, и только сегодня смог прийти повидаться, так что прошу покорнейше простить меня!
Сюй Цзе. Хай Жую не к лицу просить прощенья. Вы посланник императора, правитель области, облечены большим доверием. Это я должен извиниться, что не встретил вас. Но будьте снисходительны: чем больше лет, тем меньше сил. Пожалуйста, садитесь!
Хай Жуй. Нет, нет, вы садитесь первым. *(Кланяются друг другу и садятся.)* Мы столько лет не виделись, а вид у вас бодрее, нежели был прежде.
Сюй Цзе. Спасибо на добром слове. Но я за это время сильно постарел, лишь зубы сохранились — по-прежнему ем мясо. Я полагаю, Хай Жуй, что ваше драгоценное семейство пожаловало сюда вместе с вами?
Хай Жуй. Вы правы. Я сюда с семьей приехал. Мать, хоть и стара годами, все еще крепкая.
Сюй Цзе. Непременно нанесу вам визит.
Хай Жуй. Это будет для меня огромной честью.
Сюй Цзе. Чем обязан вашему визиту?
Хай Жуй. Я пришел навестить вас и пожелать здоровья, а заодно потолковать о деле, совета испросить.
Сюй Цзе. Чем смогу, тем непременно помогу.
Хай Жуй. Вы, господин наставник, служили при дворе, многое на своем веку повидали. И в здешних делах, надеюсь, тоже разбираетесь неплохо. Я ж только прибыл и не знаю, с чего начать. Надеюсь на ваши наставления.
Сюй Цзе. Ха-ха! К чему такая скромность! Но раз вы просите, я, не мудрствуя лукаво, без лишних церемоний обо всем вам откровенно расскажу. *(Поет.)*

Народ в Сучжоу подл и зол —
Сутяга на сутяге.
Лежат в присутствии горой
Судебные бумаги.
В делах правления нужны
Мужи большой отваги;
И пусть заботятся они
Об общем нашем благе.

Хай Жуй. Благодарю за совет. Жалобщиков и сутяг надо призывать к порядку и поступать с ними, как велит закон. Это ясно. Ну, а если чиновники измываются над бедными людьми, как тогда быть?
Сюй Цзе. Вы всегда были справедливы, и если смогли самому императору высказать правду, чем прославились в истории, то что для вас простой чиновник! *(Поет.)*

Закон династии един
На все четыре стороны,
Вельможа и простой народ
Пред ним смиренны и равны.

А злых шакалов и волков
Со всех постов вы гнать должны.
Восславьте драгоценный меч[1]
И мудрый опыт старины.

Хай Жуй. Весьма благодарен за указания, господин наставник! *(Поет.)*

Я в тот год забыл про пищу, сна лишился от волненья,
Но в Докладе Сыну Неба изложил свои сомненья.
Ныне люди от Хай Жуя ждут достойного правленья.
Строго следовать закону — наша воля и стремленье.

И еще хочу я поговорить с вами об одном деле.

Сюй Цзе. Говорите же, я весь внимание.

Хай Жуй. Жительница уезда Хуатин крестьянка Хун А-лань жалуется на вашу семью, говорит, что вы захватили ее землю, насильно увели дочь и избиваете ни в чем не повинных людей. Вот и решил я спросить у вас, как быть мне с этим делом.

Сюй Цзе *(меняется в лице)*. Вот оно что! А на кого именно она жалуется?

Хай Жуй. На Сюй Ина.

Сюй Цзе. На Сюй Ина? Это мой сын, по счету третий. Все, чем я владею — хозяйство и земля, принадлежит мне лично, о чем надеюсь, вам известно. Зачем же нам чужие земли? Что до Сюй Ина, он во всем меня слушается и поведенья вполне достойного. Во всяком случае, он не такой распущенный, чтоб увозить насильно или избивать людей... Только сейчас я говорил вам, что люди здесь сутяжничать привыкли. Вам надобно об этом помнить и не поддаваться на обман.

Хай Жуй. Значит, вы считаете, что жалоба несправедлива? Вашего сына оклеветали?

Сюй Цзе. Да, я так считаю!

Хай Жуй. Ну, а если вы ошибаетесь!

Сюй Цзе. Ошибаюсь?! Исключено!

Хай Жуй. Вам нужны доказательства?

Сюй Цзе. Да. Тогда можно будет вершить суд по закону.

Хай Жуй. Вот именно, по закону! А теперь разрешите удалиться.

Играет музыка. Сюй Цзе, кланяясь, провожает Хай Жуя.

Сюй Цзе. Ай-я! Дело, о котором говорил Хай Жуй, весьма опасное и не терпит отлагательств. Позову-ка я Сюй Ина да расспрошу обо всем подробно. Эй, младшего господина ко мне!

Слуга. Младшего господина к господину наставнику!

Входят Сюй Ин и Сюй Фу.

Сюй Ин. Здравствуйте, отец. Зачем звали?

Сюй Цзе. Жалуются на тебя: говорят, девушек увозишь, людей избиваешь. Это правда?

Сюй Ин. Было дело, только не дали ему хода, закрыли.

Сюй Цзе. Где закрыли?

Сюй Ин. В уезде Хуатин.

Сюй Цзе. Как же это удалось сделать?

Сюй Ин. Уездный судья велел мне показать на суде, будто тот день я провел у сюцая и из города не выезжал. А старика жалобщика стражники забили насмерть. На том все и кончилось.

Сюй Цзе *(испуганно)*. Ай-я! Забили насмерть! Насмерть! А кто свидетельствовал, что ты не выезжал из города?

Сюй Ин. Сюй Фу.

Сюй Цзе *(обращаясь к Сюй Фу)*. Ты был свидетелем?

Сюй Фу. Был, господин наставник!

Сюй Цзе. Но ведь слуга не может быть свидетелем у господина. *(Обращаясь к Сюй Ину.)* Дело дошло до губернатора. Не знаю, что теперь с тобою будет, негодник!

Сюй Ин. Ничего особенного! Можно откупиться. На серебро любой чиновник падок.

Сюй Цзе. Известно ли тебе, болван, кто губернатор?

Сюй Ин. Да кто бы ни был. Подумаешь, велика птица!

Сюй Цзе. Накликал ты беду, глупец несчастный. Нынче стал губернатором Хай Жуй, честнее нет чиновника на свете, непреклонный, бескорыстный. Если он станет решать дело по закону, прощайся с жизнью.

Сюй Ин *(испуганно)*. Ай-я! Хай Жуй стал губернатором? Как же нам быть, отец?

Сюй Цзе. Как быть?! Как быть?!

Сюй Ин. Я виноват, но надо побыстрей придумать выход.

---

[1] Императорский меч — один из символов власти, давался особо уполномоченным высокопоставленным чиновникам.

Сюй Цзе. Что тут придумаешь? Мало того, что старика забили насмерть, так ты еще в свидетели привел слугу! Не знаю, что и делать. Впрочем... И благородный муж может обмануть разок. Ну-ка, подойди, на ушко тебе шепну.

Отец и сын перешептываются, на лице Сюй Ина появляется улыбка.

Прикажи всем домочадцам, чтоб бесчинств не творили, вели себя пристойно.

Сюй Ин. Слушаюсь, отец.

Сюй Цзе. Как? Ты все еще здесь?!

Сюй Ин. Бегу!

Сюй Ин и Сюй Фу уходят.

Сюй Цзе. Ай-я! Значит, правда, что людей избивает, девушку увел. Жаль, что, беседуя с Хай Жуем, я был неосторожен и лишнего наговорил. Не приведи Небо, чтоб взялся он всерьез за это дело, ведь нам тогда несдобровать. Когда-то я оказал ему любезность, и если он и вправду благородный муж, на любезность любезностью ответит. Посмотрю, как станет он решать дело Сюй Ина, тогда и действовать начну. Быть может, еще удастся спасти сына. Словом, время покажет, надо подождать. Воистину:

Ушел в семейные дела,
Оставил все посты;
За преступления детей
Платить обязан ты.

Действие пятое

МАТЕРИНСКИЙ НАКАЗ

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: три дня спустя после описанных событий.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: внутренние покои сучжоуского областного ямыня.

Действующие лица: Хай Жуй, Хай Пэн, госпожа Се, госпожа Ван.

Появляются госпожа Се и госпожа Ван в сопровождении служанки.

Госпожа Се *(поет).*

Мой сын в присутствие спешит,
Не ест, не спит, дела вершит.

Госпожа Ван *(поет).*

Жестокосердных сокрушает,
Сердца людские ублажает.

Госпожа Се. Невестка, Хай Пэн сказал, что везде только и разговоров что о Хай Жуе, поистине ясном как небо, живом Будде среди людей. Его хвалят за то, что он сразу же взялся строить каналы и дамбы — будто миру явился сам Владыка водной стихии. Затяжные дожди принесли много бед, река Усун разлилась, вышла из берегов, но Хай Жуй созвал всех пострадавших, и они, благодаря Небо и Землю, укротили реку. Он поровну разделил землю между людьми, упорядочил налоги. Я очень рада, что народ хвалит моего сына. Не пропали, значит, зря мои старанья, когда я его растила. *(Поет.)*

Глаз ночами не смыкала рядом с сыном-сиротой,
Рос он, «Шуцзин» постигая, «чжун» и «сяо» [1] знал душой.
Был в учении прилежен, сдал экзамен непростой,
А теперь мой сын в Цзяннани занимает пост большой,
Населенье ограждая от злодейства добротой.

Госпожа Ван *(поет).*

Жена Хай Жуя, десять лет я следую за ним,
Деля с ним радость и печаль далекого пути;
Был в службе прям и верен был величию Дворца,
Но вдруг сверкнула и над ним Дракона чешуя!

За честь и преданность свою Двором он был гоним,
Попал в тюрьму и там легко из жизни мог уйти;
Своей высокой правоты держался до конца,—
Но пусть сегодня даст совет ему свекровь моя.

[1] «Чжун» и «сяо» *(кит.)* — преданность престолу и почтительность к родителям.

Госпожа Се. Твой муж прославился своей честностью и прямотой. Он был разжалован, брошен в тюрьму, но всегда оставался верен себе, мысли его и слова едины. Никто не в силах склонить его к несправедливости. Это ли не достоинства благородного человека? Прошу тебя, не надо так сильно волноваться за него!

Госпожа Ван. Я постараюсь быть спокойной.

В сопровождении Хай Пэна появляется одетый по-домашнему Хай Жуй.

Хай Жуй *(поет).*

Без подлых дел не проживут
Чиновники ни дня,
В груди народа вспыхнул гнев,
Не погасить огня.
Желаешь всадника сразить,
Сперва срази коня,
Начнем ревизию с казны,
Традицию храня.

Госпожа Ван. О, мой господин!

Хай Жуй. О, моя супруга! Добрый день, матушка!

Госпожа Се. Садись, сынок.

Хай Жуй. Благодарю.

Госпожа Се. Ты забыл о пище с той поры, как вступил в должность, вот уже несколько ночей не смыкаешь глаз. Трудолюбие — качество весьма похвальное, смотри только не переусердствуй.

Хай Жуй. Спасибо за совет. Я исполню вашу волю, матушка, но...

Госпожа Се. Что «но»?

Хай Жуй вздыхает.

Госпожа Се. Отчего ты, сын мой, так вздыхаешь?

Хай Жуй. Вам, матушка, неведомо, что с тех самых пор, как я стал правителем, все только и жалуются на государева наставника Сюя: он захватывает чужие земли, потакает бесчинствам сына, измывается над людьми, покрывает преступных чиновников. Поистине, корысти ради забыл о справедливости. Сын его, Сюй Ин, отнял землю и все имущество у крестьянина Чжао, увел его внучку-сироту, единственного сына издевательствами довел до могилы. Чжао пожаловался в суд, но Сюй Ин подкупил чиновников, и несчастного старика забили насмерть. Когда-то у наставника Сюя было доброе имя. Однажды он спас мне жизнь. Не понимаю, что стало с ним сейчас. *(Поет.)*

Он твердит о высшем долге, говорит об этикете,
Но душе его недоброй незнакомы чувства эти.
Сын его людей терзает, по деревне свищут плети,
Земли, деньги отбирает, позабыв об этикете.
В долг ссужает под проценты — выше не было на свете!—
Но отец его «гуманный» говорит об этикете.

Госпожа Се. Узнать человека, сынок, нелегко. «Чем жить воспоминаниями о прошлом, лучше подумать о будущем» [1]. Тебе он сделал добро, а народу причинил много зла. Как тут быть? Простить его в благодарность за оказанную услугу или поступить согласно закону? *(Поет.)*

Ты не раз читал и слышал, как издревле поступали,
Боевых машин колеса ханьцы в землю закопали,
Даже в наши дни в Куане преступленья искупали,
Незаконно осужденных из тюрьмы освобождали.
Справедливо поступают, справедливо поступали,
Мы в деяньях благородных никому не уступали!

Хай Жуй. И я так думаю. Завтра же открою присутствие. Как велит закон, с Сюй Ином разберусь, заставлю Сюев вернуть крестьянам захваченную землю; обнародую приказ, чтоб все без исключения чиновники, отнявшие чужие земли, отдали их тотчас же владельцам. Прошу вас дать мне еще один совет.

Хай Пэн. Дозвольте обратиться, господин. Только не прогневайтесь за мою прямоту. *(Поет.)*

Чиновники по всей земле тиранят бедный люд,
Свою обиду перед кем крестьяне изольют?
Сюй Цзе пока еще силен и на расправу крут,
Не торопитесь, господин, не зажигайте трут.

---

[1] Цитата из книги Конфуция «Беседы».

Хай Жуй. Ты не прав. Конечно, Сюи большую власть забрали, но меня этим не испугать! *(Поет.)*

Почтенный друг, ты прожил век,
Как видно, ты оговорился...

Я встретил в жизни много зла,
Но я ему не покорился.

Тиранов прочь, народу мир,
Я гласу совести внимаю.

Я знаю, Сюй еще силен,
Но и его я обломаю.

Госпожа Ван. Мой господин, слова Хай Пэна справедливы. Подумайте над ними хорошенько. *(Поет.)*

Ваш путь удачлив, господин, к вам Двор благоволит,
На новом поприще вас ждут высокие дела,
Но если будет Ин казнен, как требует закон,
Вас непременно упрекнут в забвении добра.

Сюй Цзе когда-то вам помог, теперь вам долг велит
Добром ответить на добро, не замечая зла.
В столице связи у него, хитер он и умен,
И может кончиться бедой вмешательство Двора.

Хай Жуй. Мне слушать не хочется подобные речи. Этот Сюй Цзе попустительствует всем бесчинствам своего сына, вы же советуете преступить закон в благодарность за некогда оказанную мне услугу. Как же я стану после этого матери в глаза глядеть, как перед троном предстану, перед народом?! *(Поет.)*

Сам отъявленный разбойник, Сюй потворствует разбою,
Он единственного сына увлекает за собою.
Изменить законам предков за содействие былое?
Беспристрастие и Твердость мне дарованы судьбою.

Госпожа Се. Постигая книги древних, верша мудрые дела, помогая народу, мой сын поступает так, как велит ему закон и совесть. Только так он может выразить благодарность императору и умиротворить народ. *(Поет.)*

Я горжусь упорством сына, мудрецов постиг уроки:
К тем, кто слаб, спешит на помощь, ненавидит он пороки,
Сюй прошел огонь и воду, сын его тиран жестокий,
Да свершится правосудье в уготованные сроки.
Мне, старухе, только в тягость губернаторство Хай Жуя,
Скромным платьем, грубой пищей в жизни больше дорожу я.
Пусть сместят тебя за правду, ссылку дальнюю даруя,
Мы вернемся на Циндао, где чисты речные струи.

Хай Жуй. Благодарю за наставление. *(Жене.)* Матушка устала, проводите ее в покои отдохнуть

Госпожа Се и госпожа Ван уходят.

Хай Пэн, пойди распорядись, чтоб завтра ровно к назначенному часу явились в присутствие все причастные к делу Хун А-лань, а также правители и чиновники Сучжоу и Сунцзяна.

Хай Пэн. Слушаюсь. *(Уходит.)*

Хай Жуй. Поистине:

Научить людей я жажду
Соблюдать святой закон,
А чиновников продажных
Из ямыня выгнать вон!

Действие шестое

СУД

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: следующий день.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: зал областного ямыня в Сучжоу.

Действующие лица: Хай Жуй;
чиновники;

Хун А-лань и крестьяне;
Сюй Ин, Сюй Фу (в платье сюцая);
инспектор училищ уезда Хуатин;
глашатай, стражники, солдаты, служащие ямыня.

Появляются чиновники.

Чжэн Юй *(декламирует).*

В ожиданье стою у высоких ворот.

Ли Пин-ду.

Почему губернатор в ямынь не зовет?

Сяо Янь.

Сердце в пятки уходит, от страха дрожу.

Ван Мин-ю.

Будто я, господа, на иголках сижу.

Сяо Янь. Милостивые господа, правитель Хай прибыл сюда тайно, поэтому мы и не смогли его встретить. Нынче он еще не открывал присутствия и никого из военных чиновников не принимал. Только и знает, что следить за строительством дамб да вести разговоры с крестьянами, ремесленниками и торговцами. Все это довольно странно.

Чжэн Юй. За то, что мы его не встретили, спросу никакого быть не может — ведь он приехал тайно. Другое беспокоит: с тех пор как он вступил в должность, ни разу еще не открыл присутствия и ни одного дела не решил.

Ли Пин-ду. Да, все это очень странно! Уж несколько дней подряд мы ждем его, а он как будто бы не замечает. В чем же тут причина?

Ван Мин-ю. Изо дня в день приходим и все без толку.

Глашатай. Все слушайте приказ правителя: открыть ворота, начать присутствие!

Чиновники уходят. Музыка. Появляются стражники, солдаты, служащие суда,
Хай Жуй — в одежде правителя, шелковой шляпе, красном халате.

Хай Жуй *(декламирует).*

Народ страдает и скорбит,
Всех бед не перечесть,
Чиновник лют, как дикий зверь,
И нет предела злу;
Прикончить тигров и волков —
Мужчины долг и честь,
И незачем ему в веках
За это петь хвалу.

Я, Хай Жуй, стал правителем Интяни. Вижу, как бесчинствуют чиновники, обманывают и притесняют народ. Надо всех свидетелей призвать и изжить порок суровой карой. Нынче я открываю присутствие. Необходимо строже блюсти законы, истребить зло во благо народа. Эй, зовите всех служащих в зал.

Глашатай. Служащим ямыней Сучжоу, Сунцзяна и прочих областей войти в зал.

Входят чиновники, глашатай вызывает всех по именам.

Служащие ямыней. Докладываем: чиновники явились по зову уважаемого господина. Ничтожные слуги совершили поступок, заслуживающий жестокого наказания — не встретили вас. С надеждой молим о прощении.

Хай Жуй. Извините, что доставил вам хлопоты. В том, что вы меня не встретили, нет вашей вины, ибо я никого не известил о своем прибытии. А вот сейчас мы встретились, так что прошу без лишних церемоний!

Ли Пин-ду. Осмелюсь спросить почтенного господина правителя, где мы прежде с вами встречались?

Хай Жуй. У беседки для приема чиновников. Взгляните на меня повнимательней.

Чиновники с испугом смотрят на Хай Жуя. Ли Пин-ду ни жив ни мертв от страха.

Хочу посоветоваться с вами по одному делу. Присаживайтесь.

Чиновники. Благодарствуем.

Чжэн Юй. Почтенный господин правитель, позвольте дерзкому спросить, в какой день вы намерены вскрыть печати[1] и приступить к разбору тяжб?

[1] Вскрытие печатей — процедура, символизирующая вступление чиновника в должность.

Хай Жуй. К чему же назначать особый день? Нынче и начнем. Глашатай, вскрой печати и объяви о разборе жалоб.

Глашатай. Слушаюсь, господин правитель. *(Вскрывает печати.)*

Хай Жуй. Прошу, милостивые господа.

Чиновники. Слушаемся, господин правитель.

Хай Жуй. Как вы справляетесь с обязанностями?

Чиновники. Службу несем честно и усердно. Трон почитаем, простому народу помогаем.

Хай Жуй. Вы в самом деле почитаете трон и помогаете простому народу?

Чиновники. Так мы и поступаем.

Хай Жуй. Ха-ха! Раз все вы справедливы и честны, прошу вас вместе со мною разобраться в одном деле. Здесь начальник уезда Хуатин?

Ван Мин-ю. Здесь.

Хай Жуй. Хочу спросить, как вы решили дело Хун А-лань?

Ван Мин-ю. Это дело... Это дело... я решил по справедливости. Оно, собственно, уже закрыто.

Хай Жуй. По справедливости решили, говорите? Тогда прошу вас объяснить, как именно?

Ван Мин-ю. Хун А-лань жаловалась на Сюй Ина, что он в День поминовения усопших насильно увез ее дочь, избил свекра. Но мне известно, что тот день Сюй Ин провел в доме у сюцая Чжана и из города не выезжал. Ясно, что обвинение ложное, и клеветники наказаны по заслугам.

Хай Жуй. Кто свидетельствовал, что в День поминовения усопших Сюй Ин не выезжал из города?

Ван Мин-ю. Управляющий Сюй Ина по имени Сюй Фу, он был вместе с хозяином.

Хай Жуй. Слуга хозяину не свидетель! Ладно, ответьте мне еще на один вопрос: при каких обстоятельствах умер старик Чжао Юй-шань?

Ван Мин-ю. Этот... Этот.... Его ударили разок-другой, совсем не сильно. Кто мог подумать, что он скончается? Видно, совсем дряхлым был.

Хай Жуй. Ха-ха-ха! «Кто мог подумать, что он скончается»! «Решил по справедливости»! Глашатай, позвать Хун А-лань и всех свидетелей.

Глашатай вводит в зал Хун А-лань, крестьян, Сюй Ина и Сюй Фу.

Хун А-лань *(плача)*. Милостивый господин, выслушайте бедную крестьянку.

Хай Жуй. Не плачь, лучше расскажи все как было.

Хун А-лань. Светлейший господин! *(Поет.)*

Обидели несправедливо,
Мученьям горьким нет конца,
Сперва супруга загубили,
Потом замучили отца:
А в день Цинмин украли дочку,
Забрали жалкий наш надел,
Начальник Ван вранью поверил,
А правде верить не хотел.

Хай Жуй. Захватили землю, загубили мужа, девушку насильно увезли, свекра до смерти забили. Нет предела гневу и негодованию! Сюй Ин!

Сюй Ин. Я здесь!

Хай Жуй. Хун А-лань жалуется, что ты отнял у нее землю, увез дочь, насмерть забил свекра. Правда это?

Сюй Ин. Я отпрыск знатной семьи. Как же мог совершить такое?! К тому же в тот день я не выезжал из города, сюцай Чжан может подтвердить. Судья Ван уже решил это дело. Надеюсь, ваша светлость тоже решит его по справедливости и не станет слушать речи подлых клеветников. Уповаю на ваше расположение к нашей семье.

Хай Жуй. Отчего ж не решить, раз есть свидетели.

Сюй Ин. Показания все точные, я головой ручаюсь.

Хай Жуй. Да. Ты ответишь мне головой, если свидетельства вдруг окажутся ложными. Сюцай Чжан!

Сюй Фу *(выдавая себя за сюцая Чжана)*. Я здесь.

Хай Жуй. Скажи честно, День поминовения усопших Сюй Ин провел у тебя в доме?

Сюй Фу. Да, у меня. В тот день господин Сюй не только читал книги, но и написал сочинение!

Хай Жуй. Какое сочинение?

Сюй Фу *(громко)*. «Тысячесловник», то есть я хотел сказать — «Сто фамилий» [1].

Сюй Ин меняется в лице.

Хай Жуй *(ударяет кулаком по столу)*. Ах, наглый раб! Ты лишь позоришь звание сюцая. Преступник!

[1] Своего рода китайские буквари.

Сюй Фу. Извините, господин правитель, но сюцай я настоящий и шапку ученого ношу настоящую.

Хай Жуй. Предположим. Тогда скажи мне, в каком году ты получил степень?

Сюй Фу. Степень... степень...

Сюй Ин. Почтенный господин правитель, он и в самом деле уездный сюцай, я могу подтвердить.

Хай Жуй. Замолчи. Здесь инспектор училищ уезда Хуатин?

Инспектор. Здесь.

Хай Жуй. Числится в вашем заведении такой сюцай?

Инспектор. Впервые о нем слышу.

Сюй Ина бросает в дрожь. Сюй Фу падает на колени.

Хай Жуй. Мошенник ты, а не ученый. За лжесвидетельство и клевету умрешь под палками.

Сюй Фу *(отбивая поклоны)*. Пошадите, светлейший господин судья! Я во всем сознаюсь.

Хай Жуй. Правду говори, тогда помилую. Ты кто такой?

Сюй Фу. Я Сюй Фу, слуга господина Сюя.

Хай Жуй. Если слуга, зачем выдаешь себя за сюцая?

Сюй Фу. За ложь достоин смерти, но солгал я не по доброй воле, заставили меня.

Хай Жуй. Наглый раб! Ответь же наконец, где был Сюй Ин в День поминовения усопших?

Сюй Фу. Ездил к горе Хэнъюньшань, на кладбище, погулять.

Хай Жуй. А где сейчас девушка Чжао Сяо-лань?

Сюй Фу. В доме господина. Он приказал мне увезти ее. Девушку пытали, но она не покорилась.

Хай Жуй. За что избили Чжао Юй-шаня?

Сюй Фу. За то, что он вступился за девушку. Господин приказал его избить.

Хай Жуй. Сильно избили?

Сюй Фу. Все тело старика было в глубоких ранах и рубцах.

Хай Жуй. Отчего же тогда при освидетельствовании в уезде Хуатин сказали, что ран нет?!

Сюй Фу. Областной и уездный начальники получили от господина взятку, я сам давал им деньги.

Ли Пин-ду и Ван Мин-ю, дрожа, поднимаются со своих мест.

Хай Жуй. Сколько дал? Свидетели есть? Все начистоту выкладывай.

Сюй Фу. Правителю области дал триста лянов золотом, начальнику уезда — двести.

Ли Пин-ду, Ван Мин-ю в страхе падают на колени.

Хай Жуй. Ты сам давал?

Сюй Фу. Собственными руками.

Хай Жуй. А как умер Чжао Юй-шань?

Сюй Фу. Его запороли насмерть.

Хай Жуй. Ты сам это видел?

Сюй Фу. Собственными глазами.

Ван Мин-ю, Ли Пин-ду и Сюй Ин отбивают поклоны, прося пощады.

Хай Жуй *(поет)*.

Чиновники в одеждах строгих
В наш век на подлость мастера,
Глумясь, последнее уносят
Они с крестьянского двора.
Народ во гневе, ждет решенья,
Пришла желанная пора,
Закону чуждо снисхожденье,
Закон незыблем, как гора.

Слушайте приговор: Сюй Ин, отнявший у матери дочь, избивший старика, подкупивший чиновников, по ложному свидетельству загубивший человека, приговаривается к смертной казни через повешение. Захваченное имущество возвращается пострадавшим, остальное идет в государственную казну. Похищенную девушку возвращают матери. Ван Мин-ю, нарушивший закон и загубивший жалобщика, приговаривается к обезглавливанию. Ли Пин-ду по прозвищу Шкуродер, алчный и корыстный, отстраняется от должности и будет отбывать срок в тюрьме до особого императорского повеления. Лжесвидетель Сюй Фу, выдававший себя за сюцая не по собственной воле, за чистосердечное признание заслуживает снисхождения, он приговаривается к ста палочным ударам и трем годам ссылки. Следователь за взятку и ложные освидетельствования со службы изгоняется, получает сто палочных ударов и два года ссылки. Справедлив ли приговор, милостивые господа?

Чжэн Юй. Великий губернатор печется о народе, искореняет зло. Мы подчиняемся всем сердцем.

Сюй Ин *(кланяется)*. Великий губернатор, прошу сохранить мне жизнь, хотя бы ради отца, с которым вы некогда были в дружбе.

Хай Жуй. Молчи! Перед законом все равны — и знатные, и простолюдины. Увести.

Стражники уводят Ван Мин-ю, Ли Пин-ду, Сюй Ина и Сюй Фу.

Хун А-лань, ты хочешь еще что-нибудь сказать?

Хун А-лань. Светлейший господин судья, вы отплатили за обиды обездоленных. Да продлится ваше благополучие на многие годы! *(Кланяется.)*

Хай Жуй. Почтенные, совсем недавно я беседовал с вами. Большое спасибо за наставления. Это дело завершено. Есть у вас ко мне еще какие-нибудь дела?

Первый крестьянин. Есть, господин правитель. Чиновники отобрали у нас землю и имущество и еще заставляют платить налоги. Народ бедствует. Уповаем на вашу доброту!

Первый крестьянин.
Второй крестьянин. } Великий судья, заступитесь за нас!

Хай Жуй. Глашатай, объяви! Приказываю всем чиновникам в десятидневный срок вернуть крестьянам землю и имущество. В противном случае они понесут суровую кару.

Глашатай. Слушаюсь.

Народ *(отбивая поклоны)*. Господин правитель — народный заступник. Пришли, наконец, к крестьянам Цзяннани светлые дни! Огромное вам спасибо за то, что облагодетельствовали нас. Мы начертаем ваш образ и с утра до вечера будем ему поклоняться! *(Поют.)*

Нынче ясное небо и счастливая доля,
Будем снова усердно обрабатывать поле.
Есть земля, нет печали о еде да одежде,
Ждет нас светлое время, не такое, как прежде.

Благодарствуем, великий судья!

Хай Жуй. Стоит ли так горячо благодарить! Вы свободны, можете идти по домам.

Хун А-лань и крестьяне, кланяясь, уходят.

Чжэн Юй.
Сяо Янь. } Позвольте и нам откланяться.

Хай Жуй. Погодите. Начальник уезда У здесь?

Сяо Янь. Здесь.

Хай Жуй. Ты брал взятки, тратил деньги из государственной казны, порочил имя чиновника. Признаешь свою вину?

Сяо Янь. Признаю!

Хай Жуй. Отстраняю тебя от должности. Глашатай, сними с него чиновничью шапку.

Глашатай снимает шапку с Сяо Яня. Сяо Янь уходит.

Правитель области Сучжоу здесь?

Чжэн Юй. Здесь.

Хай Жуй. Слыхал я, что службы ради вы не щадите сил. Отриньте же сомненья и тревоги.

Чжэн Юй. Благодарю. *(Удаляется.)*

Хай Жуй. Более десяти дней решали это дело. Нынче же в трех уездах приводят в порядок оросительные каналы, необходимо очистить реку Баймаохэ, а также установить размер налогов. Тогда народ вздохнет свободнее. Воистину:

Введу реформы,
Выкорчую зло.
Быть за народ —
Хай Жуя ремесло.

Появляются стражники. Глашатай со свитком под барабанную дробь зачитывает указ.

Глашатай. Слушайте все! Чиновники и простолюдины! Наместник десяти областей Интяни правитель Хай именем закона повелевает чиновникам-тиранам вернуть крестьянам землю, отнятую силой. В противном случае их ждет суровое наказание.

Крестьяне, радостные, с песнями и танцами, уходят, глашатай и стражники тоже удаляются.

ПРОШЕНИЕ О ПОМИЛОВАНИИ

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: три дня спустя после описанных событий.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: областной ямынь в Сучжоу.

Действующие лица: Хай Жуй, Хай Пэн, Сюй Цзе, слуги Сюя.

Сюй Цзе одет по-домашнему, в паланкине, в сопровождении слуг.

Сюй Цзе *(поет).*

Увы, увы! Покинул Двор,
Утратил милость государя.
Поля, сады, хозяйство, дом...
Семья терзает, душу старит...
Беспутный сын лез на рожон.
Не избежать суровой кары.
Я на детей гляжу в слезах,
И мне не вынести удара.
Забыв про стыд, пощады жду
Во имя дружбы нашей старой.
О, верю я, Хай Жуй простит.
Дружили прежде мы недаром.
Я все отдам, я штраф внесу.
Жду милосердия, как дара.

Вот и ямынь. Слуга, доложи!

Слуга. К господину Хаю пожаловал с визитом почтенный наставник Сюй.

Появляется Хай Жуй.

Хай Жуй. А, это Сюй явился с ответным визитом. Что ж, раз пришел, проси.

Сюй Цзе. В благодарность за то, что вы посетили меня, я тоже решил нанести вам визит.

Хай Жуй. Достоин ли я такой чести?! Прошу! Господин наставник, кажется, чем-то встревожен?

Сюй Цзе. Вы правы, весьма встревожен. *(Поет.)*

Я стар и сед, и близок мой закат.
Мой сын Сюй Ин безмерно виноват.
Молю вас вспомнить молодость и Двор
И отменить суровый приговор.

Хай Жуй *(поет).*

То грабеж, то похищенье,
Взятки, пытки старика...
Уповать на снисхожденье?
Но провинность велика!
Есть законы всех династий,
Их писали на века,
И не в нашей с вами власти
Участь вашего сынка.

Сюй Цзе. Господин Хай! У меня остался единственный сын, остальные все умерли. Имейте же сострадание к старику, будьте снисходительны. *(Поет.)*

Я очень стар, мне верно служит сын,
Его люблю, остался он один.
В дни юности я вас от смерти спас,
Так смилуйтесь и вы на этот раз.

Хай Жуй. Вот вы, наставник, любите своего сына. А подумали ли вы о Хун А-лань? О муже ее, сведенном в могилу, о насмерть забитом свекре? Вспомнили хоть раз об остальных сиротах и вдовах, о родителях, у которых отняли детей? *(Поет.)*

Меня наставник просвещал:
Закон империи един,
Пред ним смиренны и равны
Вельможа и простолюдин.
Меня наставник поучал:
Закон незыблем, как гора.
Сегодня вдруг забыли вы
Произнесенное вчера.

Сюй Цзе. Да, да, великий Хай, вы правы. Я говорил так. Но из тюрьмы тогда вас вызволил, замолвил перед императором словечко. Некогда нас связывала дружба, вспомните об этом! *(Поет.)*

В тот год и вы нарушили Указ,
Я вам помог, от лютой смерти спас.
Спасая вас, я рисковал собой —
И вы теперь обласканы судьбой.

Хай Жуй. Наставник Сюй, я помню, вы меня спасли, когда на мою голову пал гнев императора. Но я подал Доклад, потому что люблю свою страну и предан императору. Какое же тут преступленье? Сын ваш избивает людей, а после, чтобы откупиться, дает взятки. Вот и выходит, что я на пользу закона действую, а он — во вред. *(Поет.)*

Престолу преданный душой,
Я слышу похвалы людей;
Ваш сын законы предает,
Он кровопийца и злодей.
Меня наставник поучал:
Будь справедлив, закон блюди,
Искореняй повсюду зло
И виноватых не щади.

Сюй Цзе. Верно! Верно! Я действительно так говорил. И вот сейчас готов отдать часть земли, чтобы искупить вину сына. *(Поет.)*

Мой низкий сын законом пренебрег,
Но пусть Хай Жуй не будет слишком строг.
Верну я землю и немедля сдам
Налоги государевым войскам,
Внесу зерно, ничуть не поскуплюсь,
От наказанья щедро откуплюсь,
И будут и у нас соблюдены
Законы справедливой старины,
Мы все сдадим, отправим и внесем
И сына непутевого спасем.

Хай Жуй. Касательно земли уже издан приказ. Всем чиновникам, захватившим крестьянскую землю, велено вернуть ее прежним владельцам. Ваша семья захватила двести тысяч му земли, согласно закону вы вернете ее народу. *(Поет.)*

Помещик лют, как дикий зверь,
Сродни шакалам и волкам,
Крестьянский крохотный надел
И тот прибрал к своим рукам.
В Цзяннани горе и беда,
Крестьяне ссуды не берут,
И коль им землю не вернуть,
Они от голода умрут.

Сюй Цзе *(про себя)*. Двести тысяч му! Двести тысяч! Землю вернуть, сына казнить! Проклятье! Гнев меня душит! Ты рассудка лишился, Хай Жуй! *(Подходит к Хай Жую.)* Эй, эй, почтенный господин, послушайте-ка, что я вам скажу. *(Поет.)*

Называют вас в народе неподкупно-непреклонным,
Вы вредите честным людям, к вам явившимся с поклоном.
Все чиновники во гневе, осуждают лик надменный,
Не лишиться б вам, милейший, вашей шапки драгоценной.

Хай Жуй *(смеется)*. Шапки чиновника? Мне собственная голова не дорога, не то что шапка! Вот она! *(Снимает шапку. Поет.)*

Двадцать лет студентом нищим, глаз ночами не смыкая,
Постигал науку древних, Яо, Шуню [1] подражая.
Перед Троном вам не стыдно жить, лишь пользу извлекая
Из несчастия народа, им жестоко помыкая?

Наставник Сюй, вот она, шапка, вот! Хай Жуй не только чиновник, но и опора Небу и Земле. Государственный указ оглашен, без промедления верните землю!

Сюй Цзе. О, Хай Жуй! А наша дружба! Вы ею пренебрегли?

Хай Жуй. Хай Жуй не смеет ради личной дружбы поступиться великим законом империи!

Сюй Цзе. Нельзя ли смягчить Сюй Ину наказание?

[1] Яо, Шунь — легендарные правители Древнего Китая.

Хай Жуй. Вы сами говорили, что надобно закон блюсти и охранять порядок, перед законом все равны: бедняк и знатный. Раз преступленье налицо, преступника надо судить.

Сюй Цзе. А землю тоже непременно надо возвращать?

Хай Жуй. Земля отнята силой, а это противоречит и разуму, и чувствам. Поэтому ее необходимо вернуть.

Сюй Цзе. Но хоть немного можно оставить?

Хай Жуй. Нельзя. Закон незыблем, как гора!

Сюй Цзе. Смотри, Хай Жуй, как бы тебе потом не раскаяться.

Хай Жуй. Все едино для меня: и жизнь, и смерть, и слава, и позор. Я никогда ни в чем не раскаивался.

Сюй Цзе. Значит, нашей дружбе конец?

Хай Жуй. Конец!

Сюй Цзе. Ну что ж, Хай Жуй. *(Поет.)*

Обманом ты пролез в Высокий зал,
Чиновников безвинных наказал,
Моим советам дружеским не внял,
Смотри, Хай Жуй, уж близится финал.

Хай Жуй *(поет).*

Наставник Сюй, не надо лишних слов,
На мир давно взираете глумливо;
Я предан государю всей душой,
И помыслы мои красноречивы.
Пусть государь меня всего лишит,
Пусть не поймут высокого порыва;
Потомок дальний скажет обо мне:
«Он честно жил и правил справедливо».

Прошу!

Разгневанный Сюй Цзе уходит.

Так я и знал, что старик не смирится, придет и шум поднимет. Но и на этом, полагаю, он не успокоится. Поторопиться надо — решить пять самых важных дел: покончить с произволом, установить наказания для преступников, упорядочить налоги, улучшить систему орошения, возвратить крестьянскую землю и тем самым хоть немного облегчить заботы императора. *(Декламирует.)*

Старик надменен и спесив,
Как в прежние года.
Перед вельможей спину гнуть
Не стану никогда.

(Надевает шапку.) Ох уж эта шапка, шапка правителя! *(Смеется.)*

Действие восьмое

КОНТРМЕРЫ

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: следующий день.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: поместье Сюй Цзе в уезде Хуатин.

Действующие лица: Сюй Цзе, Первый друг семьи Сюев, Второй друг семьи Сюев, учитель семьи Сюев.

Появляются друзья семьи Сюев.

Первый друг *(декламирует).*

Внезапно прибыл Хай Цин-тянь,
От страха весь дрожу.

Второй друг.

Мерзавец этот Хай Цин-тянь,
По правде вам скажу.

Первый друг. Хай Жуй приказал вернуть землю крестьянам. Как быть?

Второй друг. Меня тоже об этом уведомили, и весьма строго. Видно, придется вернуть.

Первый друг. В ней вся моя жизнь. Как же отдать?

Второй друг. Хм! Думаете, другим легче, чем вам?

Первый друг. Вы куда идете?

Второй друг. К почтенному Сюю.
Первый друг. Пойду и я к нему, посоветуюсь, как быть. Сын его приговорен к смертной казни, и старик поехал в управу к правителю Хаю просить о помиловании. Дождемся его возвращения. Наверняка привезет новости.
Второй друг. Пойдемте же.
Первый друг. Вот и пришли. Есть кто-нибудь в доме?

Появляется слуга.

Слуга. А, это вы! Господин наставник еще не вернулся. Пожалуйста, пройдите в зал и подождите немного.
Первый друг. Позовите учителя.
Слуга. Слушаюсь.

Входит учитель.

Первый друг. Мы решили дождаться наставника.
Второй друг. Правитель Хай приказал вернуть землю крестьянам, чем навлек на себя гнев чиновников. Послушаем, что скажет наставник, когда вернется.
Учитель. В приказе все ясно сказано, и обсуждению он не подлежит. Так что вряд ли наставник сможет дать какой-нибудь совет.
Первый друг. Мало того, что приказ издал, так еще назначил приемный день для жалобщиков, и теперь чернь валом валит к нему с жалобами на нас, чиновников. Сей поступок его достоин всяческого порицания. Здесь и так народ привык сутяжничать, а правитель еще потакает этому, вот все и распоясались.
Второй друг. Как вы полагаете, учитель, есть надежда на помилование Сюй Ина?
Учитель. Хай Жуй и господин наставник—старые друзья. Несколько дней назад Хай Жуй его посетил, а нынче наставник поехал к нему с ответным визитом. Возможно, правитель, памятуя их прежнюю дружбу, проявит снисходительность. Впрочем, это еще неизвестно.
Первый друг. Не мог же Хай Жуй забыть, что господин наставник был первым министром при двух императорах.

Появляются Сюй Цзе и слуги.

Первый друг.
Второй друг.
Учитель. } Господин наставник вернулся!
Сюй Цзе. Вернулся. Гнев обуял меня, злость душит!
Первый друг.
Второй друг.
Учитель. } Как, неужели Хай Жуй не сделал вам снисхожденья?!
Сюй Цзе. Какое там «снисхожденье»! И землю приказал вернуть, и сына не помиловал.
Первый друг
Второй друг. } Раз господин наставник ничего не смог сделать, что о нас говорить!
Сюй Цзе. Соблюдайте спокойствие. Сейчас все обсудим. Придумаем что-нибудь.
Первый друг. Мы уже толковали и с областными чиновниками, и с уездными. Все в растерянности. Может быть, господин Сюй найдет выход. За деньгами дело не станет.
Сюй Цзе. Рубить — так под корень. Прежде всего надо его лишить должности, чего бы это нам ни стоило. Тогда мы снова станем хозяйничать в Поднебесной.
Второй друг. Есть выход! Я придумал: надо жалобу отправить императору и в жалобе той написать, что, мол, Хай Жуй простолюдинов подстрекает к клевете на знатных, нарушает местные порядки.
Сюй Цзе. Не годится. Пока жалоба до столицы дойдет, пока ее разберут, месяцы пройдут, а то и годы. Но, как говорится, дальней водой близкого огня не потушить.
Первый друг. Хай Жуя надобно убить, кого-нибудь подкупим, и пусть разделается с ним.
Сюй Цзе. Ну, это еще хуже. Во-первых, ему подвластны войска; во-вторых, у него надежная охрана. В случае провала нам грозит суровое наказание.
Первый друг.
Второй друг. } И так плохо, и эдак нехорошо. Выходит, мы в проигрыше?
Сюй Цзе. Что значит в проигрыше! Надо еще раз все хорошенько обдумать.
Учитель. Господин наставник, я придумал план.
Первый друг.
Второй друг. } Говорите же скорее!
Учитель. Жалобу надо отправить, только сделать это быстро, через своих людей. У господина наставника есть при дворе знакомые, напишем им письмо, пошлем дары, пусть похлопочут за нас. А чтоб покончить с этим делом, подкупим чиновников-земляков и попросим их подать жалобу. Будем атаковать его извне и изнутри и выживем из этих мест. Так все решится в нашу пользу.

Сюй Цзе. Отлично! Это и называется «рубить под корень», и результата ждать недолго. Как говорится, воткнешь палку — тут же тень ложится. Не только надобно его изгнать отсюда, но сделать так, чтобы его разжаловали навсегда, чтоб не был он чиновником и впредь.

Первый друг. } И в самом деле, план хорош. Похлопочите же за нас, почтенный
Второй друг. } господин наставник.

Сюй Цзе *(поет)*.

Не унывайте, впереди последнее сраженье,
Его заставим испытать позор и униженье.
Письмо в столицу повезет надежная охрана,
И мы избавимся, друзья, от подлого тирана.

Первый друг. } Ну, раз решили, надо поспешить. Расходы все поделим поровну.
Второй друг. } Гонца пошлем не мешкая, чтоб к ночи был в столице.

Сюй Цзе. Решенье справедливо, я тотчас же сажусь писать письмо. Пошлем три тысячи золотых лянов. Две тысячи — главному евнуху, тысячу — столичным чиновникам-землякам. Нужно только выяснить, кто из них самый надежный.

Второй друг. Родственника моего, который служит при Дворе, Дай Фын-сяна, тоже заставляют землю возвратить. Так что он уж постарается для нас.

Сюй Цзе. Дай Фын-сян — мой ученик, непременно похлопочет. Итак, быстрее надо посылать гонца в столицу.

Второй друг. Да-да. Пойду в дорогу собираться. Прощайте.

Друзья Сюй Цзе и учитель уходят.

Сюй Цзе. Ха-ха-ха!

Оседлан конь, беде конец,
В столицу скачет мой гонец.
Клянусь, друзья, забыть про сон,
Пока Хай Жуй вершит закон.

(Уходит.)

Действие девятое

РАЗЖАЛОВАНИЕ

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: пять месяцев спустя после описанных событий.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: большой зал областного ямыня в Сучжоу.

Действующие лица: Хай Жуй.
Дай Фын-сян, 50 лет, новый правитель Интяни;
Сюй Цзе, Сюй Ин, Ван Мин-ю, знаменосец Дай Фын-сяна, стражники, солдаты, служащие ямыня, глашатай Хай Жуя.

Появляются Дай Фын-сян в платье императорского посланника, стражники, солдаты, служащие ямыня с регалиями.

Дай Фын-сян *(декламирует)*.

В Цзяннань с повышеньем я прибыл чуть свет.
Я ждал много лет.
Со мною награда — сто тысяч монет.
Не ведаю бед.
Суду не подвластен богатый сосед.
Он знатен и сед.
Плыви по теченью, событьям вослед,—
Мой добрый совет.

Я, Дай Фын-сян, назначен правителем областей Интяни. На днях наставник Сюй прислал письмо, просил скорей приехать. Спешу, спешу!

Дай Фын-сян удаляется, входит Сюй Цзе.

Сюй Цзе *(декламирует).*

Нового правителя встречаю.
Из беды я сына выручаю.

Чиновник из отдела наказаний областного суда сообщил мне, что осенний вестник с императорскими указами должен прибыть со дня на день. Новый правитель Дай Фын-сян уже выехал из столицы. Ради спасения сына поспешу-ка ему навстречу. *(Сюй Цзе нахлестывает коня.)*

Появляется глашатай.

Глашатай. Присутствие открывается!

Входят чиновники, солдаты, стражники, Хай Жуй.

Хай Жуй *(декламирует).*

Получен императорский Указ:
Нам надлежит по совести и праву
Поспешествовать исправленью нравов,
Искорененью зла.
Так в добрый час!

Эй, ввести преступников сюда.

Стражники вводят Сюй Ина и Ван Мин-ю.

Высочайшее повеленье уже прибыло, и вы понесете заслуженную кару. *(Разворачивает приговор. Декламирует.)*

Поправ закон, погибнешь от закона,
Ты был жесток, он будет справедлив;
Не вечно злу шагать тропой знакомой,
Порой в конце — зияющий обрыв.

Сюй Ин.
Ван Мин-ю. } Молим о пощаде, великий господин! *(Кланяются.)*

Хай Жуй. Увести! В положенный час вас казнят.

Стражники уводят Сюй Ина и Ван Мин-ю, входит знаменоносец Дай Фын-сяна.

Знаменоносец. Я привез государев указ.

Музыка, появляются Дай Фын-сян, Сюй Цзе.

Дай Фын-сян. Императорский указ гласит, что отныне Хай Жуй освобождается от должности правителя Интяни и ему надлежит вернуться в свое имение. На его место назначается Дай Фын-сян. Быть посему.

Хай Жуй. Многие лета императору! Дозвольте спросить почтеннейшего посланца, за какое преступленье разжалован Хай Жуй?

Дай Фын-сян. Вы измываетесь над народом, притесняете чиновников.

Хай Жуй. Это клевета! *(Поет.)*

Как дикий зверь, чиновник лют,
Терзает бедный люд.
Чиновник — жертва? Сущий вздор,
Нелепый оговор.
Вот почему на этот раз
Несправедлив Указ.

Дозвольте спросить, когда прибывает новый губернатор?

Дай Фын-сян. Он перед вами. Желаю здравствовать.

Хай Жуй. Желаю здравствовать. Как новому правителю, я кое-что хочу сказать вам.

Дай Фын-сян. Прошу вас, говорите.

Хай Жуй *(поет).*

Творил чиновник произвол
В Цзяннани с давних пор,
Чиновник земли отбирал,
Сажал людей в тюрьму
И незаконный выносил
Судебный приговор...

Верните пахарю надел
И дайте мир ему.

Дай Фын-сян. Молчите! Вы отстраняетесь от должности за то, что притесняете чиновников и над народом издеваетесь. *(Поет.)*

Извечны знать и беднота —
У всех людей свои места.
Народ на муки обречен
За то, что туп и неумен.
Обоснованье этих слов
В трактатах древних мудрецов.
Народ свиреп, как дикий зверь,
С ним заодно и вы теперь.
Вы посягнули на чины
И от чинов отстранены.

Хай Жуй. Кто посягнул?

Дай Фын-сян. Вы.

Хай Жуй. Да как вы смеете такое говорить! *(Поет.)*

Зверьем назвали вы народ,
А знаете ли вы,

Что ваш чиновник лютый зверь,
Терзает всех окрест?

«Чиновник бедный жертвой пал!» —
Я слышу глас молвы,

А между тем простой народ
Одну мякину ест.

Народ — империи оплот,
Твердите всякий раз,

Но доброхоты и льстецы
Его же плетью бьют;

Вы государю не верны,
В почете зло у вас —

Мне эти мысли день и ночь
Покоя не дают.

Дай Фын-сян. Что за гнусность! Как вы смеете поносить людей?

Сюй Цзе. Господа, не надо оскорблять друг друга. Хай Жуй, я пробовал уговорить вас по-хорошему — не злить народ, не обижать чиновников, но вы не вняли моему совету, упорствовали в своем заблуждении, вот вас и разжаловали. Послушайте же, что я вам сейчас скажу. *(Поет.)*

Трудись не разгибая плеч,
Но мудрым не противоречь!

Блюди закон, но не калечь
Того, кого должно́ беречь.

Ни на одной из наших встреч
Вас не зажгла такая речь.

Корабль ваш дал снова течь,
Позвольте вас предостеречь:

Чиновников должно́ беречь,
На них не поднимайте меч!

Хай Жуй *(поет)*.

Наставнику недостает весьма
Глубокой мысли, здравого ума.
Я отстранен от важного поста,
Но совесть губернатора чиста.
А строить козни у чужой межи
Не станут совершенные мужи.

Сюй Цзе. Кто строит козни?
Хай Жуй. Вы! *(Поет.)*

Вы, Сюй Цзе, и в годы службы Инь от Ян[1] не отличали,
Но зато трактаты древних благородно изучали,
Вы правленье Яо, Шуня «образцовым» величали,
Злодеяний ваших близких будто и не замечали.
Сыну Неба вы солгали, честь и совесть потеряли,
Свой народ оклеветали, лютым зверем называли,
А чиновников-злодеев «жертвами» именовали,
От народа вам не скрыться, а народ простит едва ли.
Я, Хай Жуй, лишился власти, путь мой был прямой и честный,
Я вернусь, мне нет покоя в беспокойной Поднебесной.

Сюй Цзе. Вы чересчур многословны и упорствуете в своем заблуждении.
Глашатай. Настало время исполнить императорский указ.
Дай Фын-сян. } *(испуганно)*. Какой указ?
Сюй Цзе. }
Хай Жуй. Казнить Сюй Ина и Ван Мин-ю.
Сюй Цзе. А! *(Бледнеет и дрожит от страха.)*
Дай Фын-сян. Приказываю казнь отложить.
Хай Жуй. Приказываю предать казни.
Дай Фын-сян. Я теперь правитель и приказываю казнь отложить.
Хай Жуй. Пока еще правитель я. Приказываю предать казни.
Дай Фын-сян. Нельзя, господин Хай.
Хай Жуй. Почему?
Дай Фын-сян. Следуя наказу члена государственного совета сановника Ли и чиновника Фэна из управления церемоний, я заявляю, что наставник Сюй стар, имеет заслуги перед государством и сына его надобно помиловать. Вы обязаны выполнить императорский эдикт.
Хай Жуй. Где он?
Дай Фын-сян. Вскоре будет здесь.
Хай Жуй. Ну, а сейчас?
Дай Фын-сян. Сейчас я передаю устный приказ высших сановников смягчить наказание. Это также мой приказ.
Хай Жуй. Вы не имеете права приказывать.
Дай Фын-сян. Почему?
Хай Жуй. Печать и символ власти пока еще в моих руках!
Дай Фын-сян. Тогда прошу вас вручить их мне.
Хай Жуй. Это невозможно. Прежде я должен выполнить полученный мною императорский указ.
Дай Фын-сян. Господин Хай! *(Поет.)*

Вы нарушаете Указ,
За это Трон накажет вас.

Умрете вы, и весь ваш род
Незамедлительно умрет.

Наставник стар и знаменит,
Ему помочь вам долг велит.

Вы образумиться должны,
И люди будут спасены.

Хай Жуй. Ха-ха! *(Поет.)*

Закону я не изменю
И в срок преступников казню.

Забейте до смерти плетьми,
Останусь чист перед людьми.

Дай Фын-сян. Вы не боитесь казни?
Хай Жуй. Стыдно бояться смерти тому, кто служит опорой Небу и Земле! Только бесчестный человек может нарушить закон корысти ради. *(Поднимает жезл.)* Привести приговор в исполнение.

Глашатай *(принимая жезл)*. Слушаюсь.

Глашатай уходит, раздаются три пушечных выстрела; Сюй Цзе падает на землю, Дай Фын-сян, пораженный, застывает на месте. Хай Жуй передает ему большую печать.

[1] Мужское и женское начало в природе по древней натурфилософии — отрицательное и положительное, тьма и свет и т. д.

Хай Жуй. Вот печать, примите ее, господин Дай. А я удаляюсь.

Хай Жуй протягивает печать. Дай Фын-сян стоит, опустив голову.

Хор из-за сцены.

Земля морозна, небо стыло,
И ветра шум звучит уныло.

И думы тянутся, как нити,
От этих горестных событий.

На юг спешит Хай Жуй почтенный,
Разжалованный, незабвенный,

И возжигают свечи люди
В своих домах живому Будде.

Хай Жуй. Средневековая гравюра.

■

ДЖЕЙМС ДЖОЙС

Портрет художника в юности

РОМАН

Перевод с английского
М. БОГОСЛОВСКОЙ-БОБРОВОЙ

Глава 1

Et ignotas animum
dimittit in artes.[1]

Овидий. Метаморфозы, VIII, 18

Однажды, давным-давно, в старое доброе время, шла по дороге коровушка Му-му, шла и шла и встретила на дороге хорошенького-прехорошенького мальчика, а звали его Бу-бу...

Папа рассказывал ему эту сказку; папа смотрел на него через стеклышко. У него было волосатое лицо.

Он был мальчик Бу-бу. Му-му шла по дороге, где жила Бетти Берн: она продавала лимонные леденцы.

О, цветы дикой розы
На зеленом лугу.

Он пел эту песню. Это была его песня.

О, таритатам лозы...

Когда намочишь в постельку, сначала делается горячо, а потом холодно. Мама подкладывает клеенку. От нее такой чудной запах.

От мамы пахнет приятнее, чем от папы. Она играет ему на рояле матросский танец, чтобы он плясал. Он плясал:

Тра-ля-ля, ля-ля.
Тра-ля-ля, тра-ля-ля-ди.
Тра-ля-ля, ля-ля.
Тра-ля-ля, ля-ля.

Дядя Чарльз и Дэнти хлопали в ладоши. Они старее папы и мамы, но дядя Чарльз еще старее Дэнти.

Редакция выражает благодарность Н. А. Волжиной и Е. Ю. Гениевой за помощь в подготовке текста.

[1] И к ремеслу незнакомому дух устремил (*лат.*).

У Дэнти в шкафу две щетки. Щетка с коричневой бархатной спинкой в честь Майкла Девитта[1], а щетка с зеленой[2] бархатной спинкой в честь Парнелла[3]. Дэнти давала ему мятный леденец всякий раз, когда он приносил ей листик папиросной бумаги.

Вэнсы жили в доме семь. У них другие папа и мама. Это папа и мама Эйлин. Когда они вырастут большие, он женится на Эйлин. Он спрятался под стол. Мама сказала:

— Проси прощенья, Стивен.

Дэнти сказала:

— А не попросишь, прилетит орел и выклюет тебе глаза.

И выклюет тебе глаза,
Проси прощенья, егоза,
Проси прощенья, егоза,
И выклюет тебе глаза...

Проси прощенья, егоза,
И выклюет тебе глаза,
И выклюет тебе глаза,
Проси прощенья, егоза.

■

На больших спортивных площадках толпились мальчики. Все кричали, и воспитатели их громко подбадривали. Вечерний воздух был бледный и прохладный, и после каждой атаки и удара футболистов лоснящийся кожаный шар, как тяжелая птица, взлетал в сером свете. Он топтался в самом хвосте своей команды, подальше от воспитателя, подальше от грубых ног, и время от времени делал вид, что бегает. Он чувствовал себя маленьким и слабым среди толпы играющих, и глаза у него были слабые и слезились. Роди Кикем не такой: он будет капитаном третьей команды, говорили мальчики.

Роди Кикем хороший мальчик, а Вонючка Роуч — противный. У Роди Кикема щитки для ног в шкафу в раздевалке и корзинка со сладостями в столовой. У Вонючки Роуча огромные руки. Он говорит, что постный пудинг — это месиво в жиже. А как-то раз он спросил:

— Как тебя зовут?

Стивен ответил:

— Стивен Дедалус.

А Вонючка Роуч сказал:

— Что это за имя?

И когда Стивен не нашелся, что ответить, Вонючка Роуч спросил:

— Кто твой отец?

Стивен ответил:

— Джентльмен.

Тогда Вонючка Роуч спросил:

— А он не мировой судья?

Он топтался в самом хвосте своей команды, делая иногда короткие перебежки. Руки его посинели от холода. Он засунул их в боковые карманы своей серой подпоясанной куртки. Пояс — это такая штука над карманами. А вот в драке о тех, кто победил, говорят: за пояс заткнул.

Как-то один мальчик сказал Кэнтуэллу:

— Я бы тебя мигом за пояс заткнул.

А Кэнтуэлл ответил:

— Поди тягайся с кем-нибудь еще. Попробуй-ка Сесила Сандера за пояс заткнуть. Я посмотрю, как он тебе даст под зад.

Так некрасиво выражаться. Мама сказала, чтобы он не водился с грубыми мальчиками в колледже. Мама такая красивая. В первый день в приемной замка[4] она, когда

[1] Майкл Девитт (1846—1906) — активный участник движения фениев, ирландских мелкобуржуазных революционеров 50—60-х годов XIX в., выступавших против английского колониального гнета и массового сгона с земли ирландских арендаторов английскими лендлордами.

[2] Зеленый цвет — национальный цвет Ирландии.

[3] Чарльз Стюарт Парнелл (1846—1891)—ирландский политический деятель. В 1875 г. стал членом британского парламента, в 1877 г. возглавил движение за «гомруль», участники которого боролись за предоставление Ирландии политической автономии, а также за учреждение ирландского парламента в Дублине. Джойс считал, что Парнелл был, «быть может, самым большим человеком, который когда-либо вел за собой ирландцев».

[4] Колледж, основанный иезуитским орденом, помещается в замке Клонгоус, приобретенном орденом в 1814 г.

прощалась с ним, слегка подняла свою вуаль, чтобы поцеловать его, и нос и глаза у нее были красные. Но он притворился, будто не замечает, что она сейчас расплачется. Мама красивая, но когда она плачет, она уже не такая красивая. А папа дал ему два пятишиллинговика — пусть у него будут карманные деньги. И папа сказал, чтобы он написал домой, если ему что-нибудь понадобится, и чтобы он ни в коем случае не ябедничал на товарищей. Потом у выходной двери ректор пожал руки папе и маме, и сутана его развевалась на ветру, а коляска с папой и мамой стала отъезжать. Они махали руками и кричали ему из коляски:

— Прощай, Стивен, прощай.

— Прощай, Стивен, прощай.

Вокруг него началась свалка из-за мяча, и, страшась этих горящих глаз и грязных башмаков, он нагнулся и стал смотреть мальчикам под ноги. Они дрались, пыхтели, и ноги их топали, толкались и брыкались. Потом желтые ботинки Джека Лотена наподдали мяч и все другие ботинки и ноги ринулись за ним. Он пробежал немножко и остановился. Не стоило бежать. Скоро все поедут домой. После ужина, в классе, он переправит число, приклеенное у него в парте, с семидесяти семи на семьдесят шесть.

Лучше бы сейчас быть в классе, чем здесь, на холоде. Небо бледное и холодное, а в главном здании, в замке, огни. Он думал, из какого окна Гамильтон Роуэн[1] бросил свою шляпу на изгородь и были ли тогда цветочные клумбы под окнами. Однажды, когда он был в замке, тамошний служитель показал ему следы солдатских пуль на двери и дал ореховый сухарик, какие едят в общине. Как хорошо и тепло смотреть на огни в замке. Совсем как в книжке. Может быть, Лестерское аббатство было такое. А какие хорошие фразы были в учебнике д-ра Корнуэлла. Они похожи на стихи, но это только примеры, чтобы научиться писать правильно:

Уолси[2] умер в Лестерском аббатстве,
Где погребли его аббаты,
Растения съедают черви,
Животных съедает рак.

Хорошо бы лежать сейчас на коврике у камина, подперев голову руками, и думать про себя об этих фразах. Он вздрогнул, будто по телу его пробежала холодная липкая вода. Подло было со стороны Уэллса столкнуть его в очко уборной за то, что он не захотел обменять свою маленькую табакерку на игральную кость, которой Уэллс выиграл сорок раз в бабки. Какая холодная и липкая была вода! А один мальчик раз видел, как большая крыса прыгнула в жижу. Мама с Дэнти сидели у камина и дожидались, когда Бриджет подаст чай. Мама поставила ноги на решетку, и ее вышитые бисером ночные туфли нагрелись, и от них так хорошо и тепло пахло. Дэнти знала массу всяких вещей. Она учила его, где находится Мозамбикский пролив, и какая самая длинная река в Америке, и как называется самая высокая гора на Луне. Отец Арнолл знает больше, чем Дэнти, потому что он священник, но папа и дядя Чарльз оба говорили, что Дэнти умная и начитанная женщина. А иногда Дэнти делала такой звук после обеда и подносила руку ко рту: это была отрыжка.

Голос с дальнего конца площадки крикнул:

— Все домой!

Потом голоса из младшего и приготовительного классов подхватили:

— Домой! Все домой!

Мальчики сходились со всех сторон раскрасневшиеся и грязные, и он шагал среди них, радуясь, что идут домой. Роди Кикем держал мяч за скользкую шнуровку. Один мальчик попросил его поддать еще напоследок, но он шел себе и даже ничего не ответил. Саймон Мунен сказал, чтобы он этого не делал, так как на них смотрит надзиратель. Тогда тот мальчик повернулся к Саймону Мунену и сказал:

[1] Арчибальд Гамильтон Роуэн (1751—1834) — герой ирландского восстания 1798 г. После поражения восстания Роуэн, спасаясь от английских солдат, укрылся в библиотеке замка Клонгоус, из окна которой, желая подразнить своих преследователей, он выбросил шляпу. Ему удалось бежать во Францию.

[2] Томас Уолси (1475—1530) — кардинал, крупный английский государственный деятель времен короля Генриха VIII. Резко возражая против первого бракоразводного процесса короля, впал в немилость. Умер по пути в Лондон, где должен был предстать перед судом по обвинению в предательстве.

— Мы все знаем, почему ты так говоришь. Ты известный подлиза.

Какое странное слово подлиза. Мальчик обозвал так Саймона Мунена потому, что Саймон Мунен связывал иногда фальшивые рукава[1] на спине надзирателя Макглэйда, а тот делал вид, что сердится. Противный звук у этого слова. Однажды он мыл руки в уборной гостиницы в Уиклоу, а потом папа вынул пробку за цепочку и грязная вода стала стекать через отверстие в раковине. А когда она вся стекла потихоньку, отверстие в раковине сделало такой звук: д л и з с. Только громче.

Он вспоминал это и белые стены уборной, и ему делалось сначало холодно, а потом жарко. Там было два крана, которые надо было повернуть, и тогда шла вода холодная и горячая. Ему сделалось сначала холодно, а потом чуть-чуть жарко. И он видел слова, напечатанные на кранах. В этом было что-то странное.

А в коридоре тоже было холодно и воздух был какой-то особенный и сырой. Но скоро зажгут газ, и он будет тихонечко так петь, точно какую-то песенку. Все одну и ту же, и когда мальчики не шумят в рекреационной зале, ее слышно.

Урок арифметики начался. Отец Арнолл написал на доске трудный пример и сказал:

— Ну, кто победит? Живей, Йорк! Живей, Ланкастер![2]

Стивен старался изо всех сил, но пример был очень трудный, и он сбился. Маленький шелковый значок с белой розой, приколотый к его куртке на груди, начал дрожать. Он был не очень силен в арифметике, но старался изо всех сил, чтобы Йорки не проиграли. Отец Арнолл сделал очень строгое лицо, но он вовсе не сердился, он смеялся. Вдруг Джек Лотен хрустнул пальцами, и отец Арнолл посмотрел в его тетрадку и сказал:

— Верно. Браво, Ланкастер! Алая роза победила. Не отставай, Йорк! Ну-ка поднатужьтесь.

Джек Лотен поглядывал на них со своего места. Маленький шелковый значок с алой розой казался очень нарядным на его синей матроске. Стивен почувствовал, что его лицо тоже покраснело, когда он вспомнил, как мальчики держали пари, кто будет первым учеником в приготовительном: Джек Лотен или он. Были недели, когда Джек Лотен получал билет первого ученика, а были недели, когда он получал билет первого ученика. Его белый шелковый значок дрожал и дрожал все время, пока он решал следующий пример и слушал голос отца Арнолла. Потом все его рвение пропало и он почувствовал, как лицо у него сразу похолодело. Он подумал, что оно, должно быть, стало совсем белым, раз так похолодело. Он не мог решить пример, но это было не важно. Белые розы и алые розы: какие красивые цвета! И билеты первого, второго и третьего ученика тоже очень красивые: розовые, бледно-желтые и сиреневые. Бледно-желтые, сиреневые и розовые розы тоже красивые. Может быть, дикие розы как раз такие; и ему вспомнилась песенка о цветах дикой розы на зеленом лугу. А вот зеленых роз не бывает. А может быть, где-нибудь на свете они и есть.

Раздался звонок, и все классы потянулись один за другим по коридорам в столовую. Он сидел и смотрел на два кусочка масла у своего прибора, но не мог есть липкий хлеб. И скатерть была влажная и липкая. Но он проглотил залпом горячий жидкий чай, который плеснул ему в кружку неуклюжий служитель в белом фартуке. Вонючка Роуч и Сорин пили какао, которое им присылали из дома в жестяных коробках. Они говорили, что не могут пить этот чай, он как помои. У них отцы — мировые судьи, говорили мальчики.

Все мальчики казались ему очень странными. У них у всех были папы и мамы и у всех разные костюмы и голоса. Ему так хотелось очутиться дома и положить голову маме на колени. Но это было невозможно, и тогда ему захотелось, чтобы игры, уроки и молитвы уже кончились и он бы лежал в постели.

Он выпил еще кружку горячего чая, а Флеминг спросил:

— Что с тобой? У тебя что-нибудь болит?

— Я не знаю,— сказал Стивен.

---

[1] Деталь одежды некоторых монашеских орденов.

[2] Намек на гражданскую войну в Англии в конце XV в. между сторонниками династий Йорков и Ланкастеров; эмблема первой — белая, а второй — алая роза.

— Наверное, живот болит,— сказал Флеминг,— от этого ты и бледный такой. Ничего, пройдет.

— Да,— сказал Стивен.

Но у него болел не живот. Он подумал, что у него болит сердце, если только это место может болеть. Флеминг очень добрый, что спросил его. Ему хотелось плакать. Он положил локти на стол и стал зажимать, а потом открывать уши. Тогда всякий раз, как он открывал уши, он слышал шум в столовой. Это был такой гул, как от поезда ночью. А когда он зажимал уши, гул затихал, как будто поезд входил в туннель. В ту ночь в Доки поезд гудел вот так, а потом, когда он вошел в туннель, гул затих. Он закрыл глаза, и поезд пошел — гул, потом тихо, снова гул — тихо. Приятно слышать, как он гудит, потом затихает, и вот опять выскочил из туннеля, гудит, затих.

Потом мальчики старших классов построились и пошли по дорожке посреди столовой. Пэдди Рэт, и Джимми Мэджи, и испанец, которому разрешалось курить сигары, и маленький португалец, который ходил в шерстяном берете. Потом поднялись из-за стола младшие классы и приготовительные. И у каждого мальчика была своя, особенная походка.

Он сидел в углу рекреационной, делая вид, что следит за игрой в домино, и раз или два ему удалось услышать песенку газа. Надзиратель стоял у двери с мальчиками, и Саймон Мунен завязывал узлом его фальшивые рукава. Он рассказывал им что-то о Таллабеге[1].

Потом он отошел от двери, а Уэллс подошел к Стивену и спросил:

— Скажи-ка, Дедалус, ты целуешь свою маму перед тем, как лечь спать?

— Да,— ответил Стивен.

Уэллс повернулся к другим мальчикам и сказал:

— Слышите, этот мальчик говорит, что он каждый день целует свою маму перед тем, как лечь спать.

Мальчики перестали играть и все повернулись и засмеялись. Стивен вспыхнул под их взглядами и сказал:

— Нет, я не целую.

Уэллс подхватил:

— Слышите, этот мальчик говорит, что он не целует свою маму перед тем, как лечь спать.

Все опять засмеялись. Стивен пытался засмеяться вместе с ними. Он почувствовал, что ему стало сразу жарко и неловко. Как же надо было ответить? Он ответил по-разному, а Уэллс все равно смеялся. Но Уэллс, верно, знает, как надо ответить, потому что он в третьем классе. Он попробовал представить себе мать Уэллса, но боялся взглянуть Уэллсу в лицо. Ему не нравилось лицо Уэллса. Это Уэллс столкнул его накануне в очко уборной за то, что он не захотел обменять свою маленькую табакерку на его игральную кость, которой он сорок раз выиграл в бабки. Это было подло с его стороны, все мальчики так говорили. А какая холодная и тинистая была вода! А один мальчик раз видел, как большая крыса прыгнула — плюх! — прямо в жижу.

Холодная тина проползла по его телу, и когда прозвонил звонок на занятия и классы потянулись из рекреационной залы, он почувствовал, как холодный воздух в коридоре и на лестнице забирается ему под одежду. Он все еще думал, как нужно было ответить. Как же нужно — целовать или не целовать маму? Что значит целовать? Поднимешь вот так лицо, чтобы сказать маме «спокойной ночи», а мама наклонит свое. Это и есть целовать. Мама прижимала губы к его щеке, губы у нее мягкие, и они чуть-чуть холодили его щеку и издавали такой коротенький тонкий звук: пц. Зачем это люди прикладываются так друг к другу лицами?

Усевшись на свое место, он открыл крышку парты и переправил число, приклеенное внутри, с семидесяти семи на семьдесят шесть. Рождественские каникулы были еще так далеко, но когда-нибудь они придут, потому что ведь земля все время вертится.

На первой странице его учебника географии была нарисована земля. Большой шар посреди облаков. У Флеминга была коробка цветных карандашей, и однажды вечером во время пустого урока Флеминг раскрасил землю зеленым, а облака коричневым. Это

[1] Другая иезуитская закрытая школа, в 1886 г. объединившаяся с Клонгоусом.

вышло как две щетки у Дэнти в шкафу: щетка с зеленой бархатной спинкой в честь Парнелла и щетка с коричневой бархатной спинкой в честь Майкла Девитта. Но он не просил Флеминга раскрашивать в такие цвета. Флеминг сам так сделал.

Он открыл географию, чтобы учить урок, но не мог запомнить названий в Америке. Все разные места с разными названиями. Все они в разных странах, а страны на материках, а материки на Земле, а Земля во Вселенной.

Он опять открыл первую страницу и прочел то, что когда-то написал на этом листе: вот он сам, его фамилия и где он живет.

Стивен Дедалус
Приготовительный класс
Клонгоус Вуд Колледж
Сэллинз
Графство Килдэр
Ирландия
Европа
Земля
Вселенная.

Это было написано его рукой, а Флеминг однажды вечером в шутку написал на противоположной странице:

Стивен Дедалус — меня зовут,
Родина моя — Ирландия,
Клонгоус — мой приют,
Небо — моя надежда.

Он прочел стихи наоборот, но тогда получились не стихи. Тогда он прочитал снизу вверх всю первую страницу и дошел до своего имени. Вот это он сам. И он опять прочел все сверху вниз. А что после Вселенной? Ничего. Но, может быть, есть что-нибудь вокруг Вселенной, что отмечает, где она кончается и с какого места начинается это ничего? Вряд ли оно отгорожено стеной: но, может быть, там идет вокруг такой тоненький ободок. Все и везде — как это? — даже подумать нельзя. Такое под силу только богу. Он попытался представить себе эту огромную мысль, но ему представлялся только бог. Бог — так зовут бога, так же как его зовут Стивен. Dieu — так будет бог по-французски, и так тоже зовут бога, и когда кто-нибудь молится богу и говорит Dieu, бог сразу понимает, что это молится француз. Но хотя у бога разные имена на разных языках и бог понимает все, что говорят люди, которые молятся по-разному на своих языках, все-таки бог всегда остается тем же богом, и его настоящее имя Бог.

Он очень устал от этих мыслей. Ему казалось, что голова у него сделалась очень большой. Он перевернул страницу и сонно посмотрел на круглую зеленую землю посреди коричневых облаков. Он начал раздумывать, что правильнее — стоять за зеленый цвет или за коричневый, потому что Дэнти однажды отпорола ножницами зеленый бархат со щетки, которая была в честь Парнелла, и сказала ему, что Парнелл — дурной человек [1]. Он думал — спорят ли теперь об этом дома? Это называлось политика. И было две стороны: Дэнти была на одной стороне, а его папа и мистер Кейси — на другой, но мама и дядя Чарльз не были ни на какой стороне. Каждый день про это что-нибудь писали в газетах.

Его огорчало, что он не совсем понимает, что такое политика, и не знает, где кончается Вселенная. Он почувствовал себя маленьким и слабым. Когда еще он будет таким, как мальчики в классе поэзии и риторики?[2] У них голоса как у больших и большие башмаки, и они проходят тригонометрию. До этого еще очень далеко. Сначала будут каникулы, а потом следующий семестр, а потом опять каникулы, а потом опять еще один семестр, а потом опять каникулы. Это похоже на поезд, который входит и выходит из туннеля, и еще похоже на шум, если зажимать, а потом открывать уши в столовой. Семестр — каникулы; туннель — наружу; гул — тихо; как это еще далеко! Хорошо бы скорей в постель и спать. Вот только еще молитва в церкви — и в постель. Его зазнобило, и он зевнул. Приятно лежать в постели, когда простыни немножко согреются.

[1] Имеется в виду скандал из-за связи Парнелла с замужней женщиной Китти О'Ши, который послужил поводом для разногласий в лагере его сторонников, Ирландская католическая церковь подвергла его травле.
[2] Мальчики старших классов.

Сначала, как залезешь под одеяло, они такие холодные. Он вздрогнул, представив себе, какие они холодные. Но потом они становятся теплыми, и тогда можно заснуть. Приятно чувствовать себя усталым. Он опять зевнул. Вечерние молитвы — и в постель; он потянулся, и опять ему захотелось зевнуть. Приятно будет через несколько минут. Он почувствовал, как тепло ползет по холодным шуршащим простыням, все жарче, жарче, пока его всего не бросило в жар и не стало совсем жарко, и все-таки его чуть-чуть знобило и все еще хотелось зевать.

Прозвонил звонок на вечерние молитвы, и они пошли парами всем классом вниз по лестнице и по коридорам в церковь. Свет в коридорах тусклый, и в церкви свет тусклый. Скоро все погаснет и заснет. В церкви холодный, ночной воздух, а мраморные колонны такого цвета, как море ночью. Море холодное и днем и ночью, но ночью оно холодней. У мола, внизу, около их дома, холодно и темно. А дома уж кипит на огне котелок, чтобы варить пунш.

Священник читал молитвы у него над головой, и память его подхватывала стих за стихом:

Господи! Отверзи уста мои,
И уста мои возвестят хвалу Твою,
Поспеши, Боже, избавить меня,
Поспеши, Господи, на помощь мне.

В церкви стоял холодный, ночной запах. Но это был святой запах. Он не похож на запах старых крестьян, которые стояли на коленях позади них во время воскресной службы. То был запах воздуха, и дождя, и торфа, и грубой ткани. Но крестьяне были очень благочестивые. Они дышали ему в затылок и вздыхали, когда молились. Они живут в Клейне, сказал один мальчик. Там были маленькие домики, и он видел женщину, которая стояла у полуоткрытой двери с ребенком на руках, когда они ехали мимо из Сэллинза. Приятно было бы поспать одну ночь в этом домике около очага с дымящимся торфом, в темноте, освещенной тлеющим жаром, в теплой полутьме вдыхая запах крестьян, запах дождя, торфа и грубой ткани. Но как темно на дороге среди деревьев! Страшно заблудиться в темноте! Ему стало страшно, когда он об этом подумал. Он услышал голос священника, произносившего последнюю молитву. Он тоже стал молиться, думая все время о темноте там, снаружи, среди деревьев.

«Посети, Господи, обитель сию и избави нас от козней лукавого, да охранят нас святые ангелы твои и благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с нами. Аминь».

Пальцы его дрожали, когда он раздевался в дортуаре. Он подгонял их. Ему нужно было раздеться, стать на колени, прочитать молитвы и лечь в постель, прежде чем потушат газ. Он стянул чулки, быстро надел ночную рубашку, стал, дрожа, на колени около кровати и наспех прочел молитвы, боясь, что газ потушат. Плечи его тряслись, когда он шептал:

Господи, спаси папу и маму и сохрани их мне!
Господи, спаси моих маленьких братьев и сестер и сохрани их мне!
Господи, спаси Дэнти и дядю Чарльза и сохрани их мне!

Он перекрестился и быстро юркнул в постель, завернув ноги в подол рубашки, съежившись в комок под холодной белой простыней, дрожа всем телом. Он не попадет в ад после смерти, а дрожь скоро пройдет. Голос в дортуаре пожелал мальчикам спокойной ночи. Он выглянул на секунду из-под одеяла и увидел желтые занавески спереди и по бокам кровати, которые закрывали его со всех сторон. Газ тихонько потушили.

Шаги надзирателя удалились. Куда? Вниз по лестнице и по коридорам или к себе в комнату в конце коридора? Он увидел темноту. Правда ли это про черную собаку, будто она ходит здесь по ночам и у нее глаза огромные, как фонари на каретах? Говорят, что это призрак убийцы. Дрожь ужаса прошла по его телу. Он увидел темный вестибюль замка. Старые слуги в старинных ливреях собрались в гладильной над лестницей. Это было очень давно. Старые слуги сидели тихо. Огонь пылал в камине, но внизу было темно. Кто-то[1] поднимался по лестнице, ведущей из вестибюля. На нем был белый

[1] Замком Клонгоус в XVIII в. владела семья Браунов. Сын ирландского якобита Максимилиан фон Браун (1705—1757) стал маршалом в австрийской армии. Погиб в битве под Прагой в 1757 г. По преданию, в годовщину своей смерти призрак Брауна являлся слугам замка.

маршальский плащ, лицо бледное и отрешенное. Он прижимал руку к сердцу. Он отрешенно смотрел на старых слуг. Они смотрели на него, и узнали лицо и одежду своего господина, и поняли, что он получил смертельную рану. Но там, куда они смотрели, была только тьма, только темный, безмолвный воздух. Господин их получил смертельную рану на поле сражения под Прагой, далеко, далеко за морем. Он стоял на поле битвы, рука его была прижата к сердцу. У него было бледное, странное лицо, и одет он был в белое маршальское одеяние.

О, как холодно и непривычно жутко думать об этом! Как холодно и непривычно жутко в темноте. Странные, бледные лица кругом, огромные глаза, похожие на фонари. Это призраки убийц, тени маршалов, смертельно раненных на поле сражения далеко, далеко за морем. Что хотят сказать они, почему у них такие странные лица?

«Посети, Господи, обитель сию и избави нас от козней...»

Домой на каникулы! Как это будет хорошо! Мальчики рассказывали ему. Ранним зимним утром у подъезда замка все усаживаются в кебы. Колеса скрипят по щебню. Прощальные приветствия ректору.

Ура! Ура! Ура!

Кебы проедут мимо часовни, все снимут шапки. Весело выезжают на проселочную дорогу. Возчики указывают кнутами на Боденстаун [1]. Мальчики кричат «ура!». Проезжают мимо дома арендатора Джолли. Ура, ура и еще раз ура! Проезжают через Клейн, с криками, весело раскланиваясь, с ними тоже раскланиваются. Крестьянки стоят у полуоткрытых дверей, кое-где стоят мужчины. Чудесный запах в зимнем воздухе — запах Клейна: зимний воздух, дождь, тлеющий торф и грубая ткань крестьянской одежды.

Поезд битком набит мальчиками: длинный, длинный шоколадный поезд с кремовой обивкой. Кондукторы ходят взад и вперед, отпирая, закрывая, распахивая и захлопывая двери. Они в темно-синих с серебром мундирах; у них серебряные свистки, и ключи весело позвякивают: клик-клик, клик-клик.

И поезд мчится по гладким равнинам мимо холмов Эллина. Телеграфные столбы мимо... мимо...

Поезд мчится дальше и дальше... Он знает дорогу. А дома у них в холле фонарики, гирлянды зеленых веток. Плющ и остролист [2] вокруг трюмо, и плющ и остролист, зеленый и алый, переплетаются вокруг канделябров. Зеленый плющ и алый остролист вокруг старых портретов по стенам. Плющ и остролист ради него и ради рождества.

Как хорошо!

Все домашние. Здравствуй, Стивен! Радостные возгласы. Мама целует его. А нужно ли целовать? А папа его теперь маршал, это вам почище, чем мировой судья. Вот ты и дома. Здравствуй, Стивен.

Шум...

Это был шум отдергивающихся занавесок, плеск воды в раковинах. Шум пробужденья, одеванья и мытья в дортуаре; надзиратель, хлопая в ладоши, прохаживался взад и вперед, покрикивая на мальчиков, чтобы они поторапливались... Бледный солнечный свет падал на желтые отдернутые занавески, на смятые постели. Его постель была очень горячая, и лицо и тело тоже очень горячие.

Он поднялся и сел на край кровати. Он чувствовал слабость. Он попытался натянуть чулок. Чулок казался отвратительно шершавым на ощупь. Солнечный свет такой странный и холодный.

Флеминг спросил:

— Ты что, заболел?

Он сам не знал. Тогда Флеминг сказал:

— Полезай обратно в постель. Я скажу Макглэйду, что ты заболел.

— Он болен.

— Кто?

— Скажите Макглэйду.

— Ложись обратно.

---

[1] Кладбище, где похоронен ирландский политический деятель Теобальд Уолф Тон (1763—1798), боровшийся за независимость Ирландии. Пытался высадиться в Ирландии с помощью французов и свергнуть английское владычество. Попытка была неудачной, и Тон покончил жизнь самоубийством.

[2] Традиционные рождественские украшения.

— Он болен?

Какой-то мальчик держал его под руки, пока он стаскивал прилипший к ноге чулок и ложился обратно в горячую постель.

Он съежился под простыней, радуясь, что она еще теплая. Он слышал, как мальчики говорили о нем, одеваясь к обедне. Подло — столкнуть его в очко уборной, говорили они. Потом их голоса затихли, они ушли. Голос около его кровати сказал:

— Дедалус, ты не наябедничаешь на нас, правда?

Перед ним было лицо Уэллса. Он взглянул на него и увидел, что Уэллс боится.

— Я не нарочно. Правда, не скажешь?

Папа его говорил, чтобы он ни в коем случае не ябедничал на товарищей. Он помотал головой и сказал «нет» и почувствовал себя счастливым.

Уэллс сказал:

— Честное слово, я не нарочно. Я пошутил. Не сердись.

Лицо и голос исчезли. Просит прощенья, потому что боится. Боится, что это какая-нибудь страшная болезнь... Растения съедают черви, животных съедает рак, или наоборот. Как это было давно, тогда на площадке, в сумерках, он топтался в хвосте своей команды, и тяжелая птица пролетела низко в сером свете. В Лестерском аббатстве зажгли свет, Уолси умер там. Аббаты погребли его сами.

Теперь это было уже лицо не Уэллса, а надзирателя. Он не притворяется. Нет, нет, он в самом деле болен. Он не притворяется. И он почувствовал руку надзирателя на своем лбу и почувствовал, какой горячий и влажный у него лоб под рукой надзирателя. Как будто прикоснулась крыса — скользкая, влажная и холодная. У всякой крысы два глаза, чтобы смотреть. Гладкие, прилизанные, скользкие шкурки; маленькие ножки, поджатые, чтобы прыгать, черные скользкие глазки, чтобы смотреть. Они понимают, как надо прыгать. А вот тригонометрии они никогда не поймут. Дохлые, они лежат на боку, а шкурки у них высыхают. Тогда это просто падаль.

Надзиратель опять вернулся, это его голос говорит ему, что надо встать, что отец настоятель сказал, что надо встать, одеться и идти в лазарет. И в то время, как он одевался, торопясь изо всех сил, надзиратель сказал:

— Вот мы теперь пойдем к брату Майклу и скажем, что у нас в животике бунт.

Надзиратель говорил так, потому что он добрый. Это все для того, чтобы рассмешить его. Но он не мог смеяться, потому что щеки и губы у него дрожали, и тогда надзиратель сам засмеялся. А потом крикнул:

— Живо марш! Сено, солома!

Они пошли вместе вниз по лестнице, и по коридору, и мимо ванной. Проходя мимо двери ванной, он со смутным страхом вспомнил теплую, торфяного цвета болотистую воду, теплый влажный воздух, шум окунающихся тел, запах полотенец, похожий на запах лекарства.

Брат Майкл стоял в дверях лазарета, а из дверей темной комнаты, справа от него, шел запах, похожий на запах лекарства. Это от пузырьков на полках. Надзиратель заговорил с братом Майклом, и брат Майкл отвечал и называл надзирателя «сэр». У него были рыжеватые с проседью волосы и какой-то странный вид. Как странно, что он навсегда останется только братом. И так странно, что его нельзя называть «сэр», потому что он брат и не похож на остальных. Разве он не такой же благочестивый? Чем он хуже других?

В комнате были две кровати, и на одной кровати лежал мальчик, и, когда они вошли, он крикнул:

— Привет, приготовишка Дедалус! Что там, наверху?

— Наверху небо,— сказал брат Майкл.

Это был мальчик из третьего класса, и в то время как Стивен раздевался, он попросил брата Майкла дать ему ломоть поджаренного хлеба с маслом.

— Ну дайте, пожалуйста,— просил он.

— Ему еще с маслом! — сказал брат Майкл.— Выпишем тебя из лазарета, когда придет доктор.

— Выпишете? — переспросил мальчик.— Я еще не совсем выздоровел.

Брат Майкл повторил:

— Выпишем, будь уверен. Я тебе говорю.

Он нагнулся помешать огонь в камине. У него была длинная спина, как у лошади, которая возит конку. Он важно потряхивал кочергой и кивал головой мальчику из третьего класса.

Потом брат Майкл ушел, и немного погодя мальчик из третьего класса повернулся лицом к стене и уснул.

Вот он и в лазарете. Значит, он болен. Написали ли они домой, папе и маме? А еще лучше, если бы кто-нибудь из священников поехал и сказал им. Или он мог бы написать письмо, чтобы тот передал.

Дорогая мама!

Я болен. Я хочу домой. Пожалуйста, приезжай и возьми меня домой. Я в лазарете.

Твой любящий сын

Стивен.

Как они далеко! За окном сверкает холодный солнечный свет. А вдруг он умрет? Ведь умереть можно и в солнечный день. Может быть, он умрет раньше, чем приедет мама. Тогда в церкви отслужат заупокойную мессу, как было, когда умер Литтл,— ему рассказывали об этом. Все мальчики соберутся в церкви, одетые в черное, и все с грустными лицами. Уэллс тоже придет, но ни один мальчик не захочет смотреть больше на него. И священник будет в черном с золотом облачении, и на алтаре, и вокруг катафалка будут гореть большие желтые свечи. И потом гроб медленно вынесут из церкви и похоронят на маленьком кладбище общины за главной липовой аллеей. И Уэллс пожалеет о том, что сделал. И колокол будет медленно звонить.

Он даже слышал звон. Он повторил про себя песенку, которой его научила Бриджет:

Дин, дон, колокол, звени.
Прощай навеки, мама!
На старом кладбище меня схорони
Со старшим братцем рядом.
Гроб с черною каймою,
Шесть ангелов со мною:
Молятся двое, двое поют,
А двое душу понесут.

Как красиво и грустно! Какие красивые слова, где говорится «на старом кладбище меня схорони». Дрожь прошла по его телу. Как грустно и как красиво! Ему хотелось плакать, не о себе, а над этими словами, такими красивыми и грустными, как музыка. Колокол гудит. Прощай навеки! Прощай!

Холодный солнечный свет потускнел. Брат Майкл стоял у его кровати с чашкой бульона в руках. Он обрадовался, потому что во рту у него пересохло и горело. До него доносились крики играющих на площадке. Ведь день в колледже шел своим порядком, как если бы и он был там. Потом брат Майкл собрался уходить, и мальчик из третьего класса попросил его, чтобы он непременно пришел еще раз и рассказал ему все новости из газет. Он сказал Стивену, что его фамилия Этти и что отец его держит целую уйму скаковых лошадей, все призовые рысаки, и что отец его может сказать брату Майклу, на какую лошадь ему поставить, потому что брат Майкл очень добрый и всегда рассказывает ему новости из газет, которые каждый день получают в общине. В газетах масса всяких новостей, происшествия, кораблекрушения, спорт и политика.

— Теперь в газетах все только и пишут о политике,— сказал он.— Твои родители, наверно, тоже разговаривают об этом?

— Да,— сказал Стивен.

— Мои тоже,— сказал он.

Потом он подумал минутку и сказал:

— У тебя странная фамилия — Дедалус, и у меня тоже странная — Этти. Моя фамилия — это название города, а твоя похожа на латынь.

Потом он спросил:

— Ты хорошо отгадываешь загадки?

Стивен ответил:

— Не очень.

Тогда он сказал:

— А ну-ка отгадай, чем графство Килдэр похоже на грамматику?

Стивен подумал, какой бы мог быть ответ, потом сказал:

— Сдаюсь.

— Потому что и там и тут «эти». Понятно? Этти — город в графстве Килдэр, а в грамматике местоимение — эти.

— Понятно,— сказал Стивен.

— Это старая загадка,— сказал тот.

Помолчав несколько секунд, он сказал:

— Знаешь что?

— Что? — спросил Стивен.

— Ведь эту загадку можно загадать и по-другому.

— По-другому? — переспросил Стивен.

— Ту же самую загадку,— сказал он.— Знаешь, как загадать ее по-другому?

— Нет,— сказал Стивен.

— И не можешь догадаться?

Он смотрел на Стивена, приподнявшись на постели. Потом откинулся на подушки и сказал:

— Можно загадать по-другому, но как — не скажу.

Почему он не говорил? Его отец, у которого столько скаковых лошадей, должно быть, тоже мировой судья, как отец Сорина и Вонючки Роуча. Он вспомнил о своем отце, как тот пел, когда мама играла на рояле, и всегда давал ему шиллинг, если он просил несколько пенсов, и ему стало обидно за него, что он не мировой судья, как отцы у других мальчиков. Тогда зачем же его отдали сюда, вместе с ними? Но папа говорил ему, что он здесь будет свой, потому что пятьдесят лет тому назад его дедушка подносил здесь адрес Освободителю[1]. Людей того времени можно узнать по их старинным костюмам. В то время все было так торжественно — и он подумал, что, может быть, в то время воспитанники в Клонгоусе носили голубые куртки с медными пуговицами, и желтые жилеты, и шапки из кроличьих шкурок, и пили пиво, как взрослые, и держали собственных гончих для охоты на зайцев.

Он посмотрел в окно и увидел, что дневной свет стал еще слабее. Теперь над площадкой, наверное, серый, облачный свет. На площадке тихо. Мальчики, должно быть, в классе решают задачи, или отец Арнолл читает им вслух.

Странно, что ему не дают никакого лекарства. Может быть, брат Майкл принесет с собой, когда вернется. Говорили, что, когда попадаешь в лазарет, дают пить какую-то вонючую жидкость. Он чувствовал себя лучше, чем прежде. Хорошо бы выздоравливать потихоньку. Тогда можно попросить книжку. В библиотеке есть книжка о Голландии. В ней чудесные иностранные названия и картинки необыкновенных городов и кораблей. Так интересно их рассматривать!

Какой бледный свет в окне! Но это приятно. На стене огонь вздымается и падает. Это похоже на волны. Кто-то подложил углей, и он слышал голоса. Они разговаривали. Это шумели волны. Или это волны разговаривали между собой, вздымаясь и падая?

Он увидел море волн — длинные темные валы вздымались и падали, темные, в безлунной ночи. Слабый огонек мерцал на маяке в бухте, куда входил корабль, и он увидел множество людей, собравшихся на берегу, чтобы посмотреть на корабль, входящий в гавань. Высокий человек стоял на борту, глядя на темный плоский берег, и при свете маяка он увидел его лицо, скорбное лицо брата Майкла[2].

Он увидел, как брат Майкл протянул руку к толпе, и услышал громкий скорбный голос, пронесшийся над водой:

— Он умер. Мы видели его мертвым.

Скорбные причитания в толпе:

— Парнелл! Парнелл! Он умер!

---

[1] Имеется в виду Даниел О'Коннел (1775—1847) — лидер ирландского национального движения, его либерального крыла. Боролся против ограничения избирательных прав католиков. После проведения в Ирландии акта об эмансипации католиков в 1829 г. его стали называть Освободителем.

[2] Стивен мысленно представляет себе, как в Дублин привезли тело Парнелла, скончавшегося в Англии 6 октября 1891 г.

В глубокой скорби они, стеная, упали на колени.

И он увидел Дэнти в коричневом бархатном платье и в зеленой бархатной мантии, спускавшейся с плеч, шествующую гордо и безмолвно мимо толпы, которая стояла на коленях у самой воды.

■

Высокая груда раскаленного докрасна угля пылала в камине, а под увитыми плющом рожками люстры был накрыт рождественский стол. Они немножко опоздали, а обед все еще не был готов; но он будет готов сию минуту, сказала мама. Они ждали, когда откроются двери и войдут служанки с большими блюдами, накрытыми тяжелыми металлическими крышками.

Все ждали: дядя Чарльз сидел в глубине комнаты у окна, Дэнти и мистер Кейси — в креслах по обе стороны камина, а Стивен — на стуле между ними, положив ноги на каминную решетку. Мистер Дедалус посмотрел на себя в зеркало над камином, подкрутил кончики усов и, отвернув фалды фрака, стал спиной к огню, но время от времени он поднимал руку и снова покручивал то один, то другой кончик уса. Мистер Кейси, склонив голову набок и улыбаясь, пощелкивал себя по шее. И Стивен улыбался; теперь он знал, что это неправда, будто у мистера Кейси кошелек с серебром в горле. Ему было смешно подумать, как это мистер Кейси мог так его обманывать. А когда он попытался разжать его руку, чтобы посмотреть, не там ли этот кошелек с серебром, оказалось, что пальцы не разгибаются, и мистер Кейси сказал ему, что эти три пальца у него скрючились с тех пор, как он делал подарок для королевы Виктории ко дню ее рождения[1]. Мистер Кейси постукивал себя по шее и улыбался Стивену сонными глазами, а мистер Дедалус сказал:

— М-да. Ну, прекрасно. А хорошо мы прошлись! Не правда ли, Джон? М-да... Будет у нас сегодня обед, хотел бы я знать? М-да... Здорово мы озоном надышались. Неплохо, черт возьми.

Он обернулся к Дэнти и сказал:

— А вы сегодня совсем не выходили, миссис Райорден?

Дэнти нахмурилась и ответила коротко:

— Нет.

Мистер Дедалус отпустил фалды фрака и подошел к буфету. Он достал с полки большой глиняный кувшин с виски и стал медленно наливать в графин, нагибаясь то и дело, чтобы посмотреть, сколько он налил. Затем, поставив кувшин обратно в буфет, он налил немного виски в две рюмки, прибавил немного воды и возвратился с рюмками к камину.

— Рюмочку перед обедом для аппетита, Джон,— сказал он.

Мистер Кейси взял рюмку, выпил и поставил ее около себя на камин. Потом сказал:

— А я сейчас вспомнил нашего приятеля Кристофера, как он гонит...

Он захохотал, закашлялся, потом добавил:

— Гонит шампанское для своих ребят[2].

Мистер Дедалус громко рассмеялся.

— Это Кристи-то? — сказал он.— Да в любой бородавке на его плешивой голове хитрости побольше, чем у полдюжины плутов!

Он нагнул голову, закрыл глаза и, смачно облизывая губы, заговорил голосом хозяина гостиницы:

— А ведь каким простачком прикидывается! Как сладко поет, мошенник! Этакая святая невинность!

Мистер Кейси все еще не мог оправиться от кашля и смеха. По физиономии, по голосу отца Стивен узнал, услышал хозяина гостиницы, и ему стало смешно.

Мистер Дедалус вставил в глаз монокль и, посмотрев на сына, сказал спокойно и ласково:

---

[1] Имеется в виду время, которое мистер Кейси провел в тюрьме, где он, вероятно, щипал паклю.

[2] Подразумевается, что этот человек изготовлял бомбы, которые поставлял фениям.

— А ты, малыш, что смеешься, а?

Вошли служанки и поставили блюда на стол. За ними вошла миссис Дедалус и пригласила всех к столу.

— Садитесь, прошу вас,— сказала она.

Мистер Дедалус подошел к своему месту и сказал:

— Садитесь, миссис Райорден.

— Садитесь, Джон, голубчик.

Он посмотрел в ту сторону, где сидел дядя Чарльз, и прибавил:

— Пожалуйста, сэр, птичка ждет.

Когда все уселись, он положил руку на крышку блюда, но тотчас же спохватившись, отдернул ее и сказал:

— Ну, Стивен.

Стивен встал, чтобы прочитать молитву перед едой.

«Благослови нас, Господи, и благослови даяния сии, что милостью Твоею ниспосылаешь нам во имя Христа — Спасителя нашего. Аминь».

Все перекрестились, и мистер Дедалус, вздохнув от удовольствия, поднял с блюда тяжелую крышку, унизанную по краям блестящими каплями.

Стивен смотрел на жирную индейку, которую еще утром он видел на кухонном столе, связанную и проткнутую спицей. Он знал, что папа заплатил за нее гинею у Данна[1] на Д'Ольер-стрит и продавец долго тыкал ее в грудку, чтобы показать, какая это хорошая птица, и он вспомнил голос продавца:

— Берите эту, сэр. Спасибо скажете. Знатная птица.

Почему это мистер Баррет в Клонгоусе называет индюшкой свою линейку, которой бьют по рукам? Но Клонгоус далеко, а горячий, густой запах индейки, окорока и сельдерея поднимается от блюд и тарелок, и большое пламя в камине взлетает высоко и ярко, а зеленый плющ и алый остролист вызывают чувство такой радости! А потом, когда обед кончится, подадут громадный плам-пудинг, обсыпанный чищеным миндалем и украшенный остролистом, струйка синеватого огня бегает вокруг него, а маленький зеленый флажок развевается на верхушке.

Это был его первый рождественский обед, и он думал о своих маленьких братьях и сестрах, которые дожидались теперь в детской, когда появится пудинг, как и он дожидался столько раз. В форменной куртке с низким отложным воротником он чувствовал себя необычно и по-взрослому, и, когда его одели сегодня утром, чтобы идти к мессе, и мама привела его в гостиную, папа заплакал. Это потому, что он вспомнил о своем папе. Так и дядя Чарльз сказал.

Мистер Дедалус накрыл блюдо крышкой и с аппетитом принялся за еду.

— Бедняга Кристи,— промолвил он,— кажется, он совсем запутался в своих плутнях.

— Саймон,— сказала миссис Дедалус,— ты не предложил соуса миссис Райорден.

Мистер Дедалус схватил соусник.

— В самом деле,— воскликнул он.— Миссис Райорден, простите несчастного грешника.

Дэнти закрыла свою тарелку руками и сказала:

— Нет, благодарю вас.

Мистер Дедалус повернулся к дяде Чарльзу:

— А у вас, сэр?

— Все в порядке, Саймон.

— Вам, Джон?

— Мне хватит. Про себя не забудьте.

— Тебе, Мэри? Давай тарелку, Стивен. Ешь, ешь, скорей усы вырастут. Ну-ка!

Он щедро налил соуса в тарелку Стивена и поставил соусник на стол. Потом он спросил дядю Чарльза, нежное ли мясо. Дядя Чарльз не мог говорить, потому что у него был полон рот, но он кивнул головой.

— А ведь хорошо наш приятель ответил канонику? А? — сказал мистер Дедалус.

— Я не думал, что он на это способен,— сказал мистер Кейси.

---

[1] Фешенебельный магазин рядом с колледжем Святой Троицы в Дублине.

— «Я заплачу церковный сбор, отец мой, когда вы перестанете обращать дом божий в трибуну для агитации»[1].

— Нечего сказать, недурной ответ,— сказала Дэнти,— своему духовному отцу. Особенно для человека, который называет себя католиком.

— Им остается винить только себя,— сказал мистер Дедалус с нарочитой кротостью.— Будь они поумней, они занимались бы только религией, а не совались бы не в свои дела.

— Это и есть религия,— сказала Дэнти,— они исполняют свой долг, предостерегая народ.

— Мы приходим в дом господен,— сказал мистер Кейси,— смиренно молиться нашему создателю, а не слушать предвыборные речи.

— Это и есть религия,— повторила Дэнти.— Они правильно поступают. Они должны наставлять свою паству.

— И агитировать с амвона? — спросил мистер Дедалус.

— Разумеется,— сказала Дэнти.— Это касается общественной нравственности. Какой же это священник, если он не будет объяснять своей пастве, что хорошо и что дурно.

Миссис Дедалус опустила нож с вилкой и сказала:

— Ради бога, ради бога, избавьте нас от этих политических споров хоть на сегодня, в такой день!

— Совершенно верно, мэм,— сказал дядя Чарльз.— Довольно, Саймон. И больше ни слова.

— Хорошо, хорошо,— скороговоркой ответил мистер Дедалус.

Он решительным жестом снял крышку с блюда и спросил:

— А ну-ка? Кому еще индейки?

Никто не ответил. Дэнти повторила:

— Хорошие речи для католика, нечего сказать.

— Миссис Райорден, умоляю вас,— сказала миссис Дедалус,— оставим этот разговор хоть сегодня.

Дэнти повернулась к ней и сказала:

— По-вашему, я должна сидеть и слушать, как издеваются над пастырями церкви?

— Никто против них слова не скажет,— подхватил мистер Дедалус,— если они перестанут вмешиваться в политику.

— Епископы и священники Ирландии сказали свое слово,— возразила Дэнти,— им нужно повиноваться.

— Пусть они откажутся от политики,— вмешался мистер Кейси,— а не то народ откажется от церкви.

— Слышите? — сказала Дэнти, обращаясь к миссис Дедалус.

— Мистер Кейси! Саймон! Довольно, прошу вас,— умоляла миссис Дедалус.

— Нехорошо! Нехорошо! — сказал дядя Чарльз.

— Как! — воскликнул мистер Дедалус.— И мы должны были отступиться от него[2] по указке англичан!

— Он был уже недостоин вести народ,— сказала Дэнти.— Он жил во грехе, у всех на виду.

— Все мы грешники, окаянные грешники,— невозмутимо ответил мистер Кейси.

— «Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят,— сказала миссис Райорден.— Лучше было бы ему, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и бросили его в море, нежели бы он соблазнил одного из малых сих». Вот слова Священного писания.

— И очень скверные слова, если хотите знать мое мнение,— холодно заметил мистер Дедалус.

— Саймон! Саймон! — одернул его дядя Чарльз.— При мальчике!

— Да, да,— спохватился мистер Дедалус.— Я же говорю... Я хотел сказать... Скверные слова говорил носильщик на станции. Вот так, хорошо. Ну-ка, Стивен, подставляй тарелку, дружище. Да смотри доедай все.

---

[1] Намек на осуждение Парнелла с амвона католического храма.
[2] Имеется в виду Парнелл.

Он передал полную тарелку Стивену и положил дяде Чарльзу и мистеру Кейси по большому куску индейки, обильно политой соусом. Миссис Дедалус ела очень мало, а Дэнти сидела сложив руки на коленях. Лицо у нее было красное. Мистер Дедалус поковырял вилкой остатки индейки и сказал:

— Тут есть еще лакомый кусочек, называется он архиерейский кусочек. Леди и джентльмены, кому угодно?..

Он поднял на вилке кусок индейки. Никто не ответил. Он положил его к себе на тарелку и сказал:

— Мое дело предложить. Но, пожалуй, я съем его сам. Я что-то за последнее время сдал.

Он подмигнул Стивену, накрыл блюдо и опять принялся за еду. Пока он ел, все молчали.

— А погода все-таки разгулялась! — сказал он.— И приезжих много в городе.

Никто не ответил. Он опять заговорил:

— По-моему, в этом году больше приезжих, чем в прошлое рождество.

Он обвел взглядом лица присутствующих, склоненные над тарелками, и, не получив ответа, выждал секунду и сказал с досадой:

— Все-таки испортили мой рождественский обед!

— Не может быть ни счастья, ни благодати,— процедила Дэнти,— в доме, где нет уважения к пастырям церкви.

Мистер Дедалус со звоном швырнул вилку и нож на тарелку.

— Уважение! — сказал он.— Это к Билли-то[1] с его бесстыжей болтовней или к этому толстопузому обжоре из Арма![2] Уважение?!

— Князья церкви! — язвительно вставил мистер Кейси.

— Конюх лорда Лейтрима[3],— добавил мистер Дедалус.

— Они помазанники божии,— сказала Дэнти.— Гордость страны!

— Обжора толстопузый,— повторил мистер Дедалус.— Он только и хорош, когда спит. А посмотрели бы вы, как он в морозный денек уписывает у себя свинину с капустой! Красавец!

Он скорчил тупую рожу и зачмокал губами.

— Право, Саймон, не надо так говорить при мальчике. Это нехорошо.

— О да, он все припомнит, когда вырастет,— подхватила Дэнти с жаром,— все эти речи против бога, религии и священников, которых наслышался в родном доме.

— Пусть он припомнит,— закричал ей мистер Кейси через стол,— и речи, которыми священники и их прихвостни разбили сердце Парнеллу и свели его в могилу. Пусть он и это припомнит, когда вырастет.

— Сукины дети! — воскликнул мистер Дедалус.— Когда ему пришлось плохо, тут-то они его и предали! Накинулись и загрызли, как крысы поганые! Подлые псы! Они и похожи на псов. Ей-богу, похожи!

— Они правильно сделали,— крикнула Дэнти.— Они повиновались своим епископам и священникам. Честь и хвала им!

— Но ведь это просто ужасно! — воскликнула миссис Дедалус.— Ни одного дня в году нельзя провести без этих ужасных споров.

Дядя Чарльз, умиротворяюще подняв руки, сказал:

— Тише, тише, тише! Разве нельзя высказывать свое мнение без гнева и без ругательств! Право же, нехорошо.

Миссис Дедалус стала шепотом успокаивать Дэнти, но Дэнти громко ответила:

— А я не буду молчать! Я буду защищать мою церковь и веру, когда их поносят и оплевывают вероотступники.

Мистер Кейси резко отодвинул тарелку на середину стола и, положив локти на стол, заговорил хриплым голосом, обращаясь к хозяину дома:

— Скажите, я рассказывал вам историю о знаменитом плевке?

— Нет, Джон, не рассказывали,— ответил мистер Дедалус.

---

[1] Архиепископ Дублинский (1841—1921), участвовал в кампании против Парнелла.
[2] Майкл Лог (1840—1924) — архиепископ Армский, противник Парнелла.
[3] Намек на то, что ирландская церковь — служанка английских властей. Лорд Лейтрим, английский землевладелец в Ирландии, был известен своей жестокостью. Убит ирландскими повстанцами. Его конюх пытался помешать убийству.

— Как же,— сказал мистер Кейси,— весьма поучительная история. Это случилось не так давно в графстве Уиклоу, где мы и сейчас с вами находимся.

Он остановился и, повернувшись к Дэнти, произнес со сдержанным негодованием:

— Позвольте мне заметить вам, сударыня, что если вы имели в виду меня, так я не вероотступник. Я католик, какими были мой отец, и его отец, и отец его отца еще в то время, когда мы скорей готовы были расстаться с жизнью, чем предать свою веру.

— Тем постыдней для вас,— сказала Дэнти,— говорить то, что вы говорили сейчас.

— Рассказывайте, Джон,— сказал мистер Дедалус, улыбаясь.— Мы вас слушаем.

— Тоже мне католик! — повторила Дэнти иронически.— Самый отъявленный протестант не позволил бы себе таких выражений, какие я слышала сегодня.

Мистер Дедалус начал мотать головой из стороны в сторону, напевая сквозь зубы наподобие деревенского певца.

— Я не протестант, повторяю вам еще раз,— сказал мистер Кейси, вспыхнув.

Мистер Дедалус, все так же подвывая и мотая головой, вдруг запел хриплым, гнусавым голосом:

Придите, о вы, католики,
Которые к мессе не ходят!

Он взял нож и вилку и, снова принимаясь за еду, весело сказал мистеру Кейси:

— Рассказывайте, мы слушаем, Джон, это полезно для пищеварения.

Стивен с нежностью смотрел на лицо мистера Кейси, который, подперев голову руками, уставился прямо перед собой. Он любил сидеть рядом с ним у камина, глядя в его суровое, темное лицо. Но его темные глаза никогда не смотрели сурово, и было приятно слушать его неторопливый голос. Но почему же он против священников? Ведь тогда, выходит, Дэнти права. Он слышал, как папа говорил, будто в молодости Дэнти была монахиней, а потом, когда ее брат разбогател на браслетах и побрякушках, которые он продавал дикарям, ушла из монастыря в Аллеганы. Может быть, поэтому она против Парнелла? И еще — она не любит, чтобы он играл с Эйлин, потому что Эйлин протестантка, а когда Дэнти была молодая, она знала детей, которые водились с протестантами, и протестанты издевались над литанией пресвятой девы. «*Башня из слоновой кости,*— говорили они.— *Золотой чертог!*»[1] Как может быть женщина башней из слоновой кости или золотым чертогом? Кто же тогда прав? И ему вспомнился вечер в лазарете в Клонгоусе, темные волны, свет в бухте и горестные стоны людей, когда они услышали весть.

У Эйлин были длинные белые руки. Как-то вечером, когда они играли в жмурки, она прижала ему к глазам свои руки: длинные, белые, тонкие, холодные и нежные. Это и есть слоновая кость. Холодная и белая, вот что значит башня из слоновой кости.

— Рассказ короткий и занятный,— сказал мистер Кейси.— Это было как-то в Арклоу в холодный, пасмурный день, незадолго до того, как умер наш вождь. Помилуй господи его душу!

Он устало закрыл глаза и остановился. Мистер Дедалус взял кость с тарелки и, отдирая мясо зубами, сказал:

— До того, как его убили, вы хотите сказать?

Мистер Кейси открыл глаза, вздохнул и продолжал:

— Однажды он приехал в Арклоу. Мы были на митинге, и, когда митинг кончился, нам пришлось пробиваться сквозь толпу на станцию. Такого рева и воя мне еще никогда не приходилось слышать! Они поносили нас на все лады. А одна старуха, пьяная старая ведьма, почему-то привязалась именно ко мне. Она приплясывала в грязи рядом со мной, визжала и выкрикивала мне прямо в лицо: *Гонитель священников! Парижская биржа! Мистер Фокс!*[2] *Китти О'Ши!*

— И что же вы сделали, Джон? — спросил мистер Дедалус.

— Я не мешал ей визжать,— сказал мистер Кейси.— Было очень холодно, и, чтобы

---

[1] Слова из католической молитвы, обращенной к деве Марии.

[2] Парижская биржа — фенианская организация, которую возглавлял Парнелл в 1888 г. Парнелла несправедливо обвинили в незаконном использовании денег, что отразилось на его репутации лидера движения. Мистер Фокс — одно из имен, которое Парнелл использовал в переписке с Китти О'Ши.

подбодрить себя, я (прошу извинить меня, мадам) заложил за щеку порцию талламорского табаку, ну и, само собой, слова я не мог сказать, потому что рот был полон табачного сока.

— Ну и что же, Джон?

— Ну так вот. Я не мешал ей — пусть орет сколько душе угодно про Китти О'Ши и все такое,— пока, наконец, она не обозвала эту леди таким словом, которое я не повторю, чтобы не осквернять ни наш рождественский обед, ни ваш слух, мадам, ни свой собственный язык.

Он замолчал. Мистер Дедалус, подняв голову, спросил:

— Ну и что же вы сделали, Джон?

— Что я сделал? — сказал мистер Кейси.— Она приблизила ко мне свою отвратительную старую рожу, и у меня был полон рот табачного сока. Я наклонился к ней и сказал: «Тьфу!» — вот так.

Он отвернулся в сторону и показал, как это было.

— Тьфу! Прямо в глаз ей плюнул.

Он прижал руку к глазу и завопил, словно от боли:

— «Ой, Иисусе Христе, дева Мария, Иосиф! — вопила она.— Ой, я ослепла, ой, умираю!»

Он поперхнулся и, давясь от смеха и кашля, повторял:

— Ослепла, совсем ослепла!

Мистер Дедалус громко захохотал и откинулся на спинку стула, дядя Чарльз мотал головой из стороны в сторону. У Дэнти был очень сердитый вид, и, пока они смеялись, она не переставала повторять:

— Очень хорошо, нечего сказать, очень хорошо!

Нехорошо плевать женщине в глаза.

Но каким же словом она обозвала Китти О'Ши, если мистер Кейси даже не захотел повторить его? Он представил себе мистера Кейси среди толпы: вот он стоит на тележке и произносит речь. За это он и сидел в тюрьме. И он вспомнил, как однажды к ним пришел сержант О'Нил, он стоял в передней и тихо разговаривал с папой, нервно покусывая ремешок своей каски. И в тот вечер мистер Кейси не поехал поездом в Дублин, а к дому подкатила телега, и он слышал, как папа говорил что-то о дороге через Кэбинтили.

Он был за Ирландию и за Парнелла так же, как и папа, но ведь и Дэнти — тоже, потому что однажды, когда на эспланаде играл оркестр, она ударила одного господина зонтиком по голове за то, что тот снял шляпу, когда под конец заиграли: «Боже, храни королеву!».

Мистер Дедалус презрительно фыркнул.

— Э, Джон,— сказал он.— Так им и надо. Мы несчастный, задавленный попами народ. Так всегда было и так будет до скончания века.

Дядя Чарльз покачал головой и сказал:

— Да, плохи наши дела, плохи!

Мистер Дедалус повторил:

— Задавленный попами и покинутый богом народ!

Он показал на портрет своего деда направо от себя, на стене.

— Видите вы этого старика, Джон? — сказал он.— Честный ирландец — в его время люди жили не только ради денег. Он был одним из Белых Ребят, приговоренных к смерти. В тысяча семьсот шестидесятом году он был осужден на смерть как белый повстанец[1]. О наших друзьях-церковниках он любил говорить, что никого из них с собой за стол не посадит.

Дэнти вспыхнула:

— Мы должны гордиться тем, что нами управляют священники! Они — зеница ока божьего. Ибо касающийся вас касается зеницы ока его.

— Выходит, нам нельзя любить свою родину? — спросил мистер Кейси.— Нельзя идти за человеком, который был рожден, чтобы вести нас?

---

[1] Имеются в виду Белые Ребята — одна из крестьянских организаций в Ирландии, появившихся в начале 60-х годов XVIII в. Обычно они действовали ночью, надевая поверх одежды белые рубашки (отсюда название). Закон 1765 г. предписывал смертную казнь за участие в этой организации.

— Изменник родины,— возразила Дэнти.— Изменник, прелюбодей! Пастыри нашей церкви правильно поступили, отвернувшись от него. Пастыри всегда были истинными друзьями Ирландии.

— И вы этому верите? — сказал мистер Кейси.

Он ударил кулаком по столу и, сердито сдвинув брови, начал отгибать один палец за другим.

— Разве ирландские епископы не предали нас во времена унии [1], когда епископ Лэниген поднес верноподданнический адрес маркизу Корнуоллису? [2] Разве епископы и священники не продали в тысяча восемьсот двадцать девятом году чаяния своей страны за свободу католической религии? Не обличали фенианского движения с кафедры и в исповедальнях? Не обесчестили прах Теренса Белью Макмэнуса? [3]

Лицо Кейси гневно пылало, и Стивен чувствовал, что и его щеки начинают пылать от волнения, которое поднималось в нем от этих слов.

Мистер Дедалус захохотал злобно и презрительно.

— О боже,— вскричал он,— я и забыл старикашку Пола Каллина [4]. Вот еще тоже зеница ока божьего!

Дэнти перегнулась через стол и выкрикнула в лицо мистеру Кейси:

— Правильно, правильно! Они всегда поступали правильно! Бог, нравственность и религия прежде всего!

Миссис Дедалус, видя, как она разгневана, сказала ей:

— Миссис Райорден, поберегите себя, не отвечайте им.

— Бог и религия превыше всего!— кричала Дэнти.— Бог и религия превыше всего земного!

Мистер Кейси поднял сжатый кулак и с силой ударил им по столу.

— Хорошо,— крикнул он хрипло,— если так — не надо Ирландии бога!

— Джон, Джон!— вскричал мистер Дедалус, хватая гостя за руки.

Дэнти застыла, глядя на него в ужасе: щеки у нее дергались. Мистер Кейси с грохотом отодвинул стул и, перегнувшись к ней через весь стол, стал водить рукой у себя перед глазами, как бы отметая в сторону паутину.

— Не надо Ирландии бога!— кричал он.— Слишком много его было в Ирландии. Хватит с нас! Долой бога!

— Богохульник! Дьявол! — взвизгнула Дэнти, вскакивая с места, и только что не плюнула ему в лицо.

Дядя Чарльз и мистер Дедалус усадили мистера Кейси обратно на стул, они пытались успокоить его. Он смотрел перед собой темными, пылающими глазами и повторял:

— Долой бога, долой!

Дэнти с силой оттолкнула свой стул в сторону и вышла из-за стола, уронив кольцо от салфетки, которое медленно покатилось по ковру и остановилось у ножки кресла. Миссис Дедалус быстро поднялась и направилась за ней к двери.

В дверях Дэнти обернулась, щеки у нее дергались и пылали от ярости, она крикнула на всю комнату:

— Исчадие ада! Мы победили! Мы сокрушили его насмерть! Сатана!

Дверь с треском захлопнулась.

Оттолкнув державших его, мистер Кейси уронил голову на руки и зарыдал.

— Несчастный Парнелл!— громко простонал он.— Наш погибший король!

Он громко и горько рыдал.

Стивен, подняв побелевшее от ужаса лицо, увидел, что глаза отца полны слез.

---

[1] В 1799 г. английское правительство решило распустить ирландский парламент в Дублине и объединить его с английским парламентом в Лондоне. Эта акция уничтожала политическую независимость ирландского парламента. В Ирландии сторонниками унии были священнослужители.

[2] Чарльз Корнуоллис (1738—1805) — английский генерал и политический деятель, с 1708 по 1801 г.—вице-король Ирландии.

[3] Теренс Белью Макмэнус (1828—1860) — ирландский патриот, умер в Сан-Франциско, торжественно погребен в Дублине.

[4] Пол Каллин (1803—1878) — архиепископ, противник ирландских борцов за независимость. Осуждал демонстрации во время похорон Макмэнуса.

Стоя небольшими группами, мальчики разговаривали. Один сказал:

— Их поймали у Лайенс-Хилл.

— Кто поймал?

— Мистер Глисон и священник. Они ехали на телеге.

Тот же мальчик прибавил:

— Мне это рассказал один из старшего класса.

Флеминг спросил:

— А почему они бежали?

— Я знаю почему,— сказал Сесил Сандер.— Потому что стащили деньги из комнаты ректора.

— Кто стащил?

— Брат Кикема. А потом они поделились.

— Значит, украли? Как же они могли?

— Много ты знаешь, Сандер!— сказал Уэллс.— Я точно знаю, почему они удрали.

— Почему?

— Меня просили не говорить,— сказал Уэллс.

— Ну расскажи,— закричали все.— Не бойся, мы тебя не выдадим.

Стивен вытянул голову вперед, чтобы лучше слышать. Уэллс огляделся по сторонам, не идет ли кто. Потом проговорил шепотом:

— Знаете церковное вино, которое хранится в ризнице в шкафу?

— Да.

— Так вот, они выпили его, а когда стали искать виновных, по запаху их и узнали. Вот почему они скрылись, если хотите знать.

Мальчик, который заговорил первым, сказал:

— Да, да, я тоже так слышал от одного старшеклассника.

Все молчали. Стивен стоял среди них, не решаясь проронить ни слова, и слушал. Его чуть-чуть мутило от страха, он чувствовал слабость во всем теле. Как они могли так поступить? Он представил себе тихую темную ризницу. Там были деревянные шкафы, где лежали аккуратно сложенные по сгибам стихари. Это не часовня, но все-таки разговаривать можно только шепотом. Тут святое место. И он вспомнил летний вечер, когда его привели туда в день процессии к маленькой часовне в лесу, чтобы надеть на него облачение прислужника. Странное и святое место. Мальчик, который держал кадило, медленно размахивал им взад и вперед в дверях, а серебряная крышка чуть-чуть оттягивалась средней цепочкой, чтобы не погасли угли. Уголь был древесный, и когда мальчик медленно размахивал кадилом, уголь тихонько горел и от него шел кисловатый запах. А потом, когда все облачились, мальчик протянул кадило ректору и ректор насыпал в него полную ложку ладана, и ладан зашипел на раскаленных углях.

Мальчики разговаривали, собравшись группками там и сям на площадке. Ему казалось, что все они стали меньше ростом. Это оттого, что один из гонщиков, ученик второго класса, накануне сшиб его с ног. Велосипед столкнул его на посыпанную шлаком дорожку, и очки его разлетелись на три части и немного золы попало в рот.

Вот поэтому мальчики и казались ему меньше и гораздо дальше от него, а штанги ворот стали такими тонкими и далекими, и мягкое серое небо поднялось так высоко вверх. Но на спортивной площадке никого не было, потому что все собрались играть в крикет; некоторые говорили, что капитаном будет Барнс, другие считали, что Флауэрс. И по всей площадке бросали, наподдавали и запускали в воздух мячи. Удары крикетной биты разносились в мягком сером воздухе. Пик, пак, пок, пек — капельки воды в фонтане, медленно падающие в переполненный бассейн.

Этти, который до сих пор помалкивал, тихо сказал:

— И все вы не то говорите.

Все повернулись к нему.

— Почему?

— А ты знаешь?

— Кто тебе сказал?

— Расскажи, Этти!

Этти показал рукой через площадку туда, где Саймон Мунен прогуливался один, гоняя ногой камешек.

— Спросите у него,— сказал он.

Мальчики посмотрели туда, потом сказали:

— А почему у него?

— Разве и он тоже?

Этти понизил голос и сказал:

— Знаете, почему эти ребята удрали? Я скажу вам, но только не признавайтесь, что знаете.

— Ну, рассказывай, Этти, ну пожалуйста. Мы не проговоримся.

Он помолчал минутку, потом прошептал таинственно:

— Их застали с Саймоном Муненом и Киком Бойлом вечером в уборной.

Мальчики посмотрели на него и спросили:

— Застали?

— А что они делали?

Этти сказал:

— Щупались.

Все молчали.

— Вот почему,— сказал Этти.

Стивен взглянул на лица товарищей, но они все смотрели на ту сторону площадки. Ему хотелось спросить кого-нибудь. Что это значит — щупаться в уборной? Почему пять мальчиков из старшего класса убежали из-за этого? «Это — шутка»,— подумал он. Саймон Мунен всегда очень хорошо одет, а как-то раз вечером он показал ему шар со сливочными конфетами, который мальчики из футбольной команды подкатили ему по коврику посреди столовой, когда он стоял у двери. Это было в тот вечер, после состязания с бэктайвской командой, а шар был точь-в-точь как зеленое с красным яблоко, только он открывался, а внутри был набит сливочной карамелью. А один раз Бойл сказал, что у слона два «кика», вместо того, чтобы сказать — клыка, поэтому его и прозвали Кик Бойл. Но некоторые мальчики называли его Леди Бойл, потому что он всегда следил за своими ногтями, заботливо подпиливая их.

У Эйлин тоже были длинные тонкие прохладные белые руки, потому что она — девочка. Они были как слоновая кость, только мягкие. Вот что означало *Башня из слоновой кости,* но протестанты этого не понимали и потому смеялись. Однажды они стояли с ней и смотрели на двор гостиницы. Коридорный прилаживал к столбу длинную полосу флага, а по солнечному газону взад и вперед носился фокстерьер. Она засунула руку к нему в карман, где была его рука, и он почувствовал, какая прохладная, тонкая и мягкая у нее кисть. Она сказала, что очень забавно иметь карманы. А потом вдруг повернулась и побежала, смеясь, вниз по петляющей дорожке. Ее светлые волосы струились по спине, как золото на солнце. *Башня из слоновой кости. Золотой чертог.* Когда думаешь над чем-то, тогда начинаешь понимать.

Но почему в уборной? Ведь туда ходишь только по нужде. Там такие толстые каменные плиты, и вода капает весь день из маленьких дырочек, и стоит такой неприятный запах затхлой воды. А на двери одной кабины нарисован красным карандашом бородатый человек в римской тоге с кирпичом в каждой руке и внизу подпись к рисунку: «Балбес стену воздвигал» [1].

Кто-то из мальчиков нарисовал это для смеха. Лицо вышло очень смешное, но все-таки похоже на человека с бородой. А на стене другой кабины было написано справа налево очень красивым почерком: «Юлий Цезарь написал Белую Галку» [2].

Может быть, они просто забрались туда, потому что мальчики писали здесь ради шуток всякие такие вещи. Но все равно это неприятно, то, что сказал Этти и как он это сказал. Это уже не шутка, раз им пришлось убежать.

---

[1] Каламбур, основанный на искаженном звучании имени Луция Корнелия Бальбуса из Гадеса (Кадис), одного из друзей Юлия Цезаря.

[2] Игра слов, построенная на созвучии с названием труда Цезаря «Commenterii de bello Gallico» — «Записки о галльской войне».

Он посмотрел вместе со всеми через площадку, и ему стало страшно.

А Флеминг сказал:

— Что же, теперь нам всем из-за них попадет?

— Не вернусь я сюда после каникул, вот увидишь, не вернусь,— сказал Сесил Сандер.— По три дня молчать в столовой, а чуть что — еще и угодишь под штрафную линейку.

— Да,— сказал Уэллс.— А Баррет повадился свертывать штрафную тетрадку, так что, если развернуть, никак не сложишь по-старому — теперь не узнаешь, сколько тебе положено ударов.

— Я тоже не вернусь.

— Да,— сказал Сесил Сандер,— а классный инспектор был сегодня утром во втором классе.

— Давайте поднимем бунт,— сказал Флеминг.— А?

Все молчали. Воздух был очень тихий, удары крикетной биты раздавались медленнее, чем раньше: пик, пок.

Уэллс спросил:

— Что же им теперь будет?

— Саймона Мунена и Кика высекут,— сказал Этти,— а ученикам старшего класса предложили выбрать: порку или исключение.

— А что они выбрали?— спросил мальчик, который заговорил первым.

— Все выбрали исключение, кроме Корригена,— ответил Этти.— Его будет пороть мистер Глисон.

— Я знаю, почему Корриген так выбрал,— сказал Сесил Сандер,— и он прав, а другие мальчики нет, потому что ведь про порку все забудут, а если тебя исключат из колледжа, так это на всю жизнь. А потом, ведь Глисон будет не больно пороть.

— Да, уж лучше пусть он этого не делает,— сказал Флеминг.

— Не хотел бы я быть на месте Саймона Мунена или Кика,— сказал Сесил Сандер.— Но вряд ли их будут пороть. Может, только закатят здоровую порцию по рукам.

— Нет, нет,— сказал Этти,— им обоим всыплют по мягкому месту.

Уэллс почесался и сказал плаксивым голосом:

— Пожалуйста, сэр, отпустите меня, сэр...

Этти ухмыльнулся, засучил рукава куртки и сказал:

Теперь уже поздно хныкать,
Терпи, коль виноват,
Живей спускай штанишки
Да подставляй свой зад.

Мальчики засмеялись, но он чувствовал, что они все-таки побаиваются. В тишине мягкого, серого воздуха он слышал то тут, то там удары крикетной биты: пок, пок. Это был только звук удара, но когда тебя самого ударят, чувствуешь боль. Линейка, которой били по рукам, тоже издавала звук, но не такой. Мальчики говорили, что она сделана из китового уса и кожи со свинцом внутри, и он старался представить себе, какая от этого боль. Звуки бывают разные. У длинной тонкой тросточки звук высокий, свистящий, и он постарался представить себе, какая от нее боль. Эти мысли заставляли его вздрагивать, и ему делалось холодно, и от того, что говорил Этти — тоже. Но что тут смешного? Его передергивало, но это потому, что, когда спускаешь штанишки, всегда делается немножко холодно и чуть-чуть дрожишь. Так бывает и в ванной, когда раздеваешься. Он думал: кто же будет им снимать штаны — сами мальчики или наставник? Как можно смеяться над этим?!

Он смотрел на засученные рукава и на запачканные чернилами худые руки Этти. Он засучил рукава, чтобы показать, как засучит рукава мистер Глисон. Но у мистера Глисона круглые, сверкающие белизной манжеты и чистые белые пухлые руки, а ногти длинные и острые. Может быть, он тоже подпиливает их, как Леди Бойл. Только это были ужасно длинные и острые ногти. Такие длинные и жестокие, хотя белые пухлые руки были совсем не жестокие, а ласковые. И хотя Стивен дрожал от холода и страха, представляя себе жестокие длинные ногти и высокий, свистящий звук плетки и озноб, проходящий по коже в том месте, где кончается рубашка, когда раздеваешься, все же он испытывал чувство странного и тихого удовольствия, представляя себе бе-

лые пухлые руки, чистые, сильные и ласковые. И он подумал о том, что сказал Сесил Сандер: мистер Глисон не будет больно сечь Корригена. А Флеминг сказал: не будет, потому что он сам знает, что ему лучше этого не делать. А вот почему — не понятно.

Голос далеко на площадке крикнул:

— Все домой!

За ним другие голоса подхватили:

— Домой, все домой!

На уроке чистописания он сидел сложив руки и слушал медленный скрип перьев. Мистер Харфорд прохаживался взад и вперед, делая маленькие поправки красным карандашом и подсаживаясь иногда к кому-нибудь из мальчиков, чтобы показать, как держать перо. Он старался прочесть по буквам первую строчку на доске, хотя и знал, что́ там было написано,— ведь это была последняя фраза из учебника: *«Усердие без разумения подобно кораблю без руля»*. Но черточки букв были как тонкие невидимые нити, и только крепко-накрепко зажмурив правый глаз и пристально вглядываясь левым, он мог разобрать округлые очертания прописных букв.

Но мистер Харфорд был очень добрый и никогда не злился. Все другие учителя ужасно злились. Но почему им придется отвечать за то, что сделали ученики старшего класса? Уэллс сказал, что они выпили церковное вино из шкафа в ризнице и что это узнали по запаху. Может быть, они украли дароносицу и думали убежать и продать ее где-нибудь? Но ведь это страшный грех — войти тихонько ночью, открыть темный шкаф и украсть сверкающий золотом сосуд, в вине которого претворяется сам господь во время богослужения среди цветов и свечей, когда ладан облаками поднимается по обе стороны и прислужник размахивает кадилом, а Доминик Келли один ведет первый голос в хоре. Конечно, бога там не было, когда они украли дароносицу. Но даже прикасаться к ней — невообразимый, великий грех. Он думал об этом с благоговейным ужасом: страшный, невообразимый грех; сердце его замирало, когда он думал об этом в тишине, под легкий скрип перьев. Но ведь открыть шкаф и выпить церковное вино, и чтобы потом узнали по запаху, кто это сделал,— тоже грех, хотя не такой страшный и невообразимый. Только чуть-чуть тошнит от запаха вина. В тот день, когда он первый раз причащался в церкви, он закрыл глаза и открыл рот и высунул немножко язык, и когда ректор нагнулся, чтобы дать ему святое причастие, он почувствовал слабый винный запах от дыхания ректора. Красивое слово — вино. Представляешь себе темный пурпур, потому что виноградные грозди темно-пурпурные — те, что растут в Греции, около домов, похожих на белые храмы. И все же слабый запах от дыхания ректора вызвал у него тошноту в день его первого причастия. День первого причастия — это самый счастливый день в жизни. Однажды несколько генералов спросили Наполеона, какой самый счастливый день в его жизни. Они думали, что он назовет день, когда он выиграл какое-нибудь большое сражение, или день, когда он сделался императором. Но он сказал:

— Господа, самый счастливый день в моей жизни — это день первого святого причастия.

Вошел отец Арнолл, и начался урок латыни, а он по-прежнему сидел, прислонившись к спинке парты, со сложенными руками. Отец Арнолл раздал тетрадки с упражнениями и сказал: классная работа никуда не годится и чтобы все сейчас же переписали урок с поправками. Но самой плохой была тетрадка Флеминга, потому что страницы у нее слиплись от клякс. И отец Арнолл поднял ее за краешек и сказал, что подавать такую тетрадку — значит просто оскорблять учителя. Потом он вызвал Джека Лотена просклонять существительное mare[1], но Джек Лотен остановился на творительном падеже единственного числа и не знал, как будет во множественном.

— Стыдись,— сказал отец Арнолл строго.— Ты же — первый ученик!

Потом он вызвал другого мальчика, а потом еще и еще. Никто не знал. Отец Арнолл стал очень спокойным и делался все спокойнее и спокойнее по мере того, как вызванные ученики пытались и не могли ответить. Только лицо у него было хмурое, и глядел он пристально, а голос был спокойный. Наконец он вызвал Флеминга, и Флеминг сказал, что у этого слова нет множественного числа. Отец Арнолл вдруг захлопнул книгу и закричал:

[1] Море *(лат.)*.

— Стань на колени сейчас же посреди класса. Такого лентяя я еще не видывал. А вы все переписывайте упражнения!

Флеминг медленно поднялся со своего места, вышел на середину и стал на колени между двумя крайними партами. Остальные мальчики наклонились над своими тетрадками и начали писать. В классе воцарилась тишина, и Стивен, бросив робкий взгляд на хмурое лицо отца Арнолла, увидел, что оно покраснело от раздражения.

Грех ли, что отец Арнолл сердится, или ему можно сердиться, когда мальчики ленивы,— ведь от этого они лучше учатся? Или, может быть, он только делает вид, что сердится? И это ему можно, потому что он священник и сам знает, что считается грехом, и, конечно, не согрешит. Но если он согрешит как-нибудь нечаянно, где ему исповедоваться? Может быть, он пойдет исповедоваться к главе общины? А если глава общины согрешит, то пойдет к ректору, а ректор к провинциалу [1], а провинциал к генералу иезуитов. Это иезуитский орден, а он слышал, как папа говорил, что все иезуиты очень умные люди. Они могли бы сделаться очень важными людьми, если бы не стали иезуитами. И он старался представить себе, кем бы мог сделаться отец Арнолл, и Педди Баррет, и мистер Макглэйд, и мистер Глисон, если бы они не стали иезуитами. Представить это себе было трудно, потому что приходилось воображать их по-разному, в разного цвета сюртуках и брюках, с усами и с бородой и в разных шляпах.

Дверь бесшумно отворилась и закрылась. Быстрый шепот пронесся по классу: классный инспектор. Секунду стояла мертвая тишина, затем раздался громкий стук линейкой по последней парте. Сердце у Стивена екнуло.

— Не нуждается ли здесь кто-нибудь в порке, отец Арнолл? — крикнул классный инспектор.— Нет ли здесь ленивых бездельников, которым требуется порка?

Он дошел до середины класса и увидел Флеминга на коленях.

— Ага! — воскликнул он.— Кто это такой? Почему он на коленях? Как твоя фамилия?

— Флеминг, сэр.

— Ага, Флеминг! И, конечно, лентяй, я уж вижу по глазам. Почему он на коленях, отец Арнолл?

— Он плохо написал латинское упражнение,— сказал отец Арнолл,— и не ответил ни на один вопрос по грамматике.

— Ну, конечно,— закричал инспектор,— конечно. Отъявленный лентяй. По глазам видно.

Он стукнул по парте и крикнул:

— Встань, Флеминг! Живо!

Флеминг медленно поднялся с колен.

— Руку! — крикнул инспектор.

Флеминг протянул руку. Линейка опустилась с громким щелкающим звуком: раз, два, три, четыре, пять, шесть.

— Другую!

Линейка снова отсчитала шесть громких быстрых ударов.

— На колени! — крикнул инспектор.

Флеминг опустился на колени, засунув руки под мышки, и лицо у него исказилось от боли, хотя Стивен знал, что руки Флеминга жесткие, потому что Флеминг натирал их смолой. Но, может быть, ему было очень больно — ведь удары были ужасно громкие. Сердце у Стивена падало и замирало.

— Все за работу! — крикнул инспектор.— Нам здесь не нужны лентяи, бездельники и плуты, отлынивающие от работы! Все за работу! Отец Долан будет навещать вас каждый день. Отец Долан придет завтра.— Он толкнул одного из учеников линейкой в бок и сказал: — Ну-ка, ты! Когда придет отец Долан?

— Завтра, сэр,— раздался голос Тома Ферлонга.

— Завтра, и завтра, и еще завтра,— сказал инспектор.— Запомните это хорошенько. Отец Долан будет приходить каждый день. А теперь пишите. А ты кто такой?

Сердце у Стивена упало.

— Дедалус, сэр.

---

[1] Один из высших чинов в структуре иезуитского ордена. Провинциалы и генералы подчиняются непосредственно папе римскому.

— Почему ты не пишешь, как все?

— Я... свои...

От страха он не мог говорить.

— Почему он не пишет, отец Арнолл?

— Он разбил очки,— сказал отец Арнолл,— и я освободил его от занятий.

— Разбил? Это еще что такое? Как тебя зовут? — спросил инспектор.

— Дедалус, сэр.

— Поди сюда, Дедалус. Вот еще ленивый плутишка! Я по лицу вижу, что ты плут. Где ты разбил свои очки?

Стивен, торопясь, ничего не видя от страха и спотыкаясь, вышел на середину класса.

— Где ты разбил свои очки? — переспросил инспектор.

— На беговой дорожке, сэр.

— Ага, на беговой дорожке! — закричал инспектор.— Знаю я эти фокусы!

Стивен в изумлении поднял глаза и на мгновение увидел белесовато-серое, немолодое лицо отца Долана, его лысую белесовато-серую голову с пухом по бокам, стальную оправу очков и бесцветные глаза, глядящие сквозь стекла. Почему он сказал, что знает эти фокусы?

— Ленивый маленький бездельник! — кричал инспектор.— Разбил очки! Обычные ваши фокусы! Протяни руку сейчас же!

Стивен закрыл глаза и вытянул вперед свою дрожащую руку ладонью кверху. Он почувствовал, что инспектор на мгновение коснулся его пальцев, чтобы выпрямить их, услышал шелест взметнувшегося вверх рукава сутаны и свист линейки, взвившейся для удара. Язвящий, обжигающий, жесткий, хлесткий удар, будто переломили палку, заставил его дрожащую руку скорчиться, подобно листу на огне, и от звука удара и боли жгучие слезы выступили у него на глазах. Все тело дрожало от страха, и рука дрожала, и скорчившаяся пылающая багровая кисть вздрагивала, как лист, повисший в воздухе. Рыдание готово было сорваться с губ, вопль, чтобы его отпустили. Но хотя слезы жгли ему глаза и руки тряслись от боли и страха, он подавил жгучие слезы и вопль, застрявшие у него в горле.

— Другую руку! — крикнул инспектор.

Стивен опустил свою изуродованную, дрожащую руку и протянул левую. Опять шелест рукава сутаны, и свист линейки, взвившейся для удара, и громкий обрушившийся треск, и острая, невыносимая, обжигающая боль заставила его ладонь и пальцы сжаться в одну багровую вздрагивающую массу. Жгучие слезы брызнули у него из глаз, и, пылая от стыда, боли и страха, он в ужасе отдернул свою дрожащую руку и застонал. Все тело парализовал страх, и, корчась от стыда и отчаяния, он почувствовал, как сдавленный стон рвется у него из груди и жгучие слезы брызжут из глаз и текут по горящим щекам.

— На колени! — крикнул классный инспектор.

Стивен быстро опустился на колени, прижимая к бокам избитые руки. Он испытывал такую жалость к этим избитым и мгновенно распухшим от боли рукам, будто это были не его собственные, а чьи-то чужие руки, которые он жалел. И на коленях, подавляя последние утихавшие в горле рыдания и прижимая к бокам обжигающую жестокую боль, он представил себе свои руки, протянутые ладонями вверх, и твердое прикосновение рук инспектора, когда тот выпрямлял его дрожащие пальцы, и избитую, распухшую, покрасневшую мякоть ладони, и беспомощно вздрагивающие в воздухе пальцы.

— Все за работу! — крикнул инспектор, обернувшись в дверях.— Отец Долан будет проверять каждый день, нет ли здесь ленивых шалопаев и бездельников, нуждающихся в порке. Каждый день! Каждый день!

Дверь за ним затворилась.

Присмиревший класс продолжал переписывать упражнения. Отец Арнолл поднялся со своего стула и начал прохаживаться среди парт, ласковыми словами подбадривая мальчиков и объясняя им их ошибки. Голос у него сделался очень ласковый и мягкий. Затем он вернулся к своему столу и сказал Флемингу и Стивену:

— Можете идти на место, оба.

Флеминг и Стивен поднялись, пошли к своим партам и сели. Стивен, весь красный от стыда, поспешно открыл книгу одной рукой и нагнулся над ней, уткнувшись лицом в страницы.

Это было нечестно и жестоко, потому что доктор запретил ему читать без очков, и он написал домой папе сегодня утром, чтобы прислали другие. И отец Арнолл сказал ему, что он может не заниматься, пока не пришлют очки. А потом его обозвали плутом перед всем классом и побили, а он всегда шел первым или вторым учеником и считался вождем Йорков. Почему классный инспектор решил, что это плутни? Он почувствовал прикосновение пальцев инспектора, когда они выпрямляли его руку, и сначала ему показалось, что инспектор хочет поздороваться с ним, потому что пальцы были мягкие и крепкие; но тут же послышалось шуршание взмывшего вверх рукава сутаны и удар. Жестоко и нечестно заставлять его потом стоять на коленях посреди класса. И отец Арнолл сказал им, что они могут вернуться оба на место, не сделав между ними никакой разницы. Он слышал тихий и мягкий голос отца Арнолла, поправлявшего упражнения. Может быть, он раскаивается теперь и старается быть добрым. Но это нечестно и жестоко. Классный инспектор — священник, но это нечестно и жестоко. И его белесовато-серое лицо и бесцветные глаза за очками в стальной оправе смотрели жестоко, потому что он сперва выпрямил его руку своими крепкими мягкими пальцами, но только для того, чтобы ударить посильнее и погромче.

— Я считаю, что это гнусная подлость, вот и все,— сказал Флеминг в коридоре, когда классы вереницей тянулись в столовую.— Бить человека, когда он ни в чем не виноват.

— А ты правда нечаянно разбил свои очки? — спросил Вонючка Роуч.

Стивен почувствовал, как сердце его сжалось от слов Флеминга, и ничего не ответил.

— Конечно, нечаянно,— сказал Флеминг.— Я бы не стал терпеть. Я бы пошел и пожаловался ректору.

— Да,— живо подхватил Сесил Сандер,— и я видел, как он занес линейку за плечо. А он не имеет права так делать.

— А здорово больно было? — спросил Вонючка Роуч.

— Да, очень,— сказал Стивен.

— Я бы этого не потерпел от Плешивки, и ни от какого другого плешивки,—повторил Флеминг.— Просто гнусная и низкая подлость. Я бы пошел сразу после обеда к ректору и пожаловался ему.

— Конечно, пойди, конечно,— сказал Сесил Сандер.

— Да, да, иди, иди к ректору, Дедалус, и пожалуйся на него,— подхватил Вонючка Роуч,— ведь он сказал, что придет завтра и опять побьет тебя.

— Да, да, пожалуйся ректору,— закричали все.

Несколько мальчиков из второго класса слышали это, и один из них сказал:

— Сенат и римский народ постановили, что Дедалус был наказан незаслуженно.

Это было незаслуженно, это было нечестно и жестоко. Сидя в столовой, он снова и снова восстанавливал в памяти все пережитое, пока ему не пришло в голову: а вдруг по лицу его можно заподозрить в плутовстве? И он пожалел, что у него нет маленького зеркальца, чтобы проверить, так ли это. Но нет, быть того не может, и это несправедливо, и жестоко, и нечестно.

Он не мог есть темно-серые рыбные котлеты которые им давали во время великого поста по средам; на одной из картофелин был след заступа. Да, да, он сделает так, как говорили мальчики. Он пойдет и скажет ректору, что его наказали незаслуженно. Вот так же поступил когда-то один великий человек, чей портрет есть в учебнике истории. И ректор объявит, что он наказан незаслуженно,— ведь сенат и римский народ всегда оправдывали таких людей и объявляли, что они были наказаны незаслуженно. Это были те самые великие люди, чьи имена стояли в вопроснике Ричмела Мэгнолла[1]. И в истории, и в рассказах Питера Парли[2] про Грецию и Рим было про этих людей и про

[1] Ричмел Мэгнолл — автор учебника географии и истории, очень популярного в XIX в.

[2] Питер Парли — псевдоним Сэмюэля Гудрича (1793—1860), американского издателя, выпустившего серию книг для детей.

их дела. Сам Питер Парли изображен на картинке на первой странице. Там нарисована дорога через равнину, поросшая по обеим сторонам травой и кустарником, а Питер Парли в широкополой шляпе, как у протестантского пастора, с толстой палкой в руках быстро шагает по дороге в Грецию и в Рим.

Ведь это совсем не трудно — сделать то, что надо. Просто, когда он выйдет вместе со всеми после обеда, пойти не по коридору, а по лестнице, которая ведет в замок, только и всего; повернуть направо и быстро взбежать по лестнице, и через несколько секунд он очутится в низком, темном, узком коридоре, который ведет в комнату ректора. И все мальчики считают, что это нечестно, и даже мальчик из второго класса, который сказал про сенат и римский народ.

Что-то будет? Он услышал, как ученики старшего класса поднялись из-за стола; он слышал их шаги по ковровой дорожке посреди столовой. Пэдди Рэт, и Джимми Мэджи, и испанец, и португалец, а пятым шел большой Корриген, которого будет сечь мистер Глисон. А его классный инспектор обозвал плутом и побил ни за что; и, напрягая свои больные заплаканные глаза, он смотрел на широкие плечи Корригена, который, опустив свою черную голову, шел мимо него позади всех. Но ведь он что-то такое сделал, и, кроме того, мистер Глисон не будет его сечь больно. Он вспомнил, каким большим казался Корриген в бане. У него кожа такого же торфяного цвета, как болотистая вода в мелком конце бассейна. и, когда он идет по проходу, ноги его громко шлепают по мокрым плитам и ляжки слегка трясутся при каждом шаге, потому что он толстый.

Столовая уже наполовину опустела, и мальчики вереницей шли к выходу. Он пойдет по лестнице прямо наверх, потому что за дверями столовой никогда не бывает ни классного надзирателя, ни инспектора. Нет, он не пойдет. Ректор станет на сторону классного инспектора и скажет, что это все фокусы, и тогда все равно инспектор будет приходить каждый день, но это еще хуже, потому что он страшно обозлится на мальчика, который пожаловался на него ректору. Мальчики уговаривают его пойти, а ведь сами-то не пошли бы. Они уже забыли обо всем. Нет, лучше и ему забыть, и, может, классный инспектор только так сказал, что будет приходить каждый день. Нет, лучше просто не попадаться ему на глаза, потому что, если ты маленький и неприметный, тебя не тронут.

Мальчики за его столом поднялись. Он встал и пошел в паре вслед за другими к выходу. Нужно решать. Вот уже совсем близко дверь. Если он пойдет со всеми дальше, то уже не попадет к ректору, потому что ему никак нельзя будет уйти с площадки. А если пойдет и его все равно накажут, все будут дразнить его и рассказывать про маленького Дедалуса, который ходил к ректору жаловаться на классного инспектора.

Он шел по дорожке, пока не оказался перед дверью. Нет. Нельзя. Он не может. Он вспомнил лысую голову инспектора, его жестокие бесцветные глаза и услышал голос, переспросивший дважды, как его фамилия. Почему он не мог запомнить с первого раза? Оттого что не слушал первый раз или оттого, что насмехался над его фамилией? У великих людей в истории фамилии похожи на его, и никто над ними не насмехался. Пусть он насмехается над своей собственной фамилией, если ему уж так хочется. Долан — похоже на фамилию женщины, которая приходила к ним стирать.

Он шагнул за дверь, быстро повернув направо, пошел по лестнице и, прежде чем успел подумать, не вернуться ли назад, очутился в низком, темном, узком коридоре, ведущем в замок. Едва перешагнув порог в коридор, он, не поворачивая головы, увидел, что все мальчики, гуськом выходившие из столовой, смотрят ему вслед.

Он шел узким, темным коридором мимо низеньких дверок в кельи общины. Он вглядывался в полумрак прямо перед собой направо и налево и думал: вот здесь должны быть портреты на стенах. Кругом было темно и тихо, а глаза у него были больные и опухшие от слез, так что он не мог ничего рассмотреть. Но ему казалось, что портреты святых и великих людей ордена молча смотрели на него со стен, когда он проходил мимо: св. Игнатий Лойола[1] с раскрытой книгой в руке, указывающий перстом

[1] Игнатий Лойола (1491(?)—1556) — основатель иезуитского ордена.

на слова «Ad Majorem Dei Gloriam»[1], св. Франциск Ксаверий[2], указывающий на свою грудь, Лоренцо Риччи[3] в берете, точно классный наставник, и три патрона благочестивых отроков — св. Станислав Костка, св. Алоизий Гонзага и блаженный Иоанн Берхманс,— все с молодыми лицами, потому что они умерли молодыми, и отец Питер Кенни[4] в кресле, закутанный в большой плащ.

Он вышел на площадку над главным входом и осмотрелся. Вот здесь проходил Гамильтон Роуэн, и здесь были следы солдатских пуль. И здесь старые слуги видели призрак в белом одеянии маршала.

Старик прислужник подметал в конце площадки. Он спросил старика, где комната ректора, тот показал на дверь в противоположном конце и провожал его взглядом, пока он не подошел и не постучался.

Никто не ответил. Он постучал громче, и сердце у него упало, когда приглушенный голос произнес:

— Войдите.

Он повернул ручку, открыл дверь и ощупью старался найти ручку второй, внутренней, двери, обитой зеленым войлоком. Он нашел ее, нажал и вошел в комнату.

Ректор сидел за письменным столом и писал. На столе стоял череп, а в комнате был странный запах, как от кожаной обивки на старом кресле.

Сердце его сильно билось от того, что он находился в таком торжественном месте, и от того, что в комнате была тишина; он смотрел на череп и на ласковое лицо ректора.

— Ну, в чем дело, мальчуган? — спросил ректор.— Что случилось?

Стивен судорожно проглотил подступивший у него к горлу комок и сказал:

— Я разбил свои очки, сэр.

Ректор открыл рот и произнес:

— О!

Потом улыбнулся и сказал:

— Ну что ж, если мы разбили очки, придется написать домой, чтобы нам прислали новые.

— Я написал домой, сэр,— сказал Стивен,— и отец Арнолл сказал, чтобы я не занимался до тех пор, пока их не пришлют.

— Ну что же, отлично,— сказал ректор.

Стивен опять судорожно глотнул, стараясь остановить дрожь в ногах и в голосе.

— Но...

— Но что же?

— Отец Долан пришел сегодня и побил меня за то, что я не писал упражнений.

Ректор смотрел на него молча, и Стивен чувствовал, как кровь приливает у него к щекам и слезы вот-вот брызнут из глаз.

Ректор сказал:

— Твоя фамилия Дедалус, не так ли?

— Да, сэр.

— А где ты разбил свои очки?

— На беговой дорожке, сэр. Какой-то мальчик задел меня велосипедом, и я упал, и они разбились. Я не знаю фамилии этого мальчика.

Ректор опять молча посмотрел на него. Потом он улыбнулся и сказал:

— Ну, я уверен, что это просто недоразумение, отец Долан не знал, конечно.

— Но я сказал ему, что разбил их, сэр, а он наказал меня.

— Ты говорил ему, что написал домой, чтобы тебе прислали новые?

— Нет, сэр.

— Ну, тогда, конечно, отец Долан не понял. Можешь сказать, что я освободил тебя от занятий на несколько дней.

Стивен, дрожа от страха и боясь, что у него вот-вот прервется голос, добавил поспешно:

---

[1] К вящей славе божьей *(лат.)* — девиз иезуитского ордена.
[2] Франциск Ксаверий (1506—1552) — ученик Игнатия Лойолы, один из первых иезуитов-миссионеров.
[3] Лоренцо Риччи (1703—1775) — с 1758 г. генерал ордена иезуитов.
[4] Питер Кенни — иезуитский священник, основавший Клонгоусский колледж.

— Да сэр, но отец Долан сказал, что он придет завтра и опять побьет меня за это.

— Хорошо,— проговорил ректор,— это недоразумение, я сам поговорю с отцом Доланом. Ну, все?

Стивен почувствовал, что слезы застилают ему глаза, и прошептал:

— О да, спасибо, сэр.

Ректор протянул ему руку через стол с той стороны, где стоял череп, и Стивен на секунду почувствовал его холодную, влажную ладонь.

— Ну, до свидания,— сказал ректор, отнимая руку и кивая.

— До свидания, сэр,— сказал Стивен.

Он поклонился и тихо вышел из комнаты, медленно и осторожно закрыв за собой обе двери.

Но миновав старика прислужника на площадке и снова очутившись в низком, узком, темном коридоре, он зашагал быстрее. Все быстрее шагал он, торопясь в полутьме, задыхаясь от волнения. Локтем толкнул дверь в конце коридора, сбежал вниз по лестнице, еще двумя коридорами и — на волю.

Он уже слышал крики играющих на площадке. Он бросился бегом, быстрее, быстрее, пересек беговую дорожку и, запыхавшись, остановился на площадке около своего класса.

Мальчики видели, как он бежал. Они обступили его со всех сторон тесным кругом, отталкивая друг друга, чтобы лучше слышать.

— Ну, расскажи, расскажи!

— Что он сказал?

— Ты вошел к нему?

— Что он сказал?

— Расскажи, расскажи!

Он рассказал им, что говорил он и что говорил ректор, и когда он кончил, все как один подбросили фуражки в воздух и закричали:

— У р р а!..

Поймав фуражки, они снова запустили их вверх и снова закричали:

— Ура! Ура!

Потом сплели руки, усадили его и таскали до тех пор, пока он не начал вырываться. А когда он вырвался и убежал, они рассыпались в разные стороны и снова стали подбрасывать фуражки в воздух и свистели, когда они взвивались вверх, выкрикивая:

— У р а!

А потом они испустили три грозных крика на страх Плешивке Долану и троекратное «ура» в честь Конми и объявили его лучшим ректором со времен основания Клонгоуса.

Крики замерли вдали в мягком сером воздухе. Он был один. Ему было легко и радостно. Но все равно он не будет задаваться перед отцом Доланом, он будет очень тихим и послушным. И ему захотелось сделать отцу Долану что-нибудь хорошее, чтобы показать ему, что он не задается.

Воздух был мягкий, серый и спокойный; приближались сумерки. Запах сумерек стоял в воздухе, так пахнут поля в деревне, где они выкапывали репу во время прогулки к усадьбе майора Бартона, и тут же ее очищали и ели на ходу; так пахнет маленький лес за беседкой, где растут чернильные орешки.

Мальчики упражнялись в короткой и дальней подаче мяча. В мягкой серой тишине слышался глухой стук, и в этом покое со всех сторон раздавались удары крикетной биты: пик, пок, пок, пак — точно капельки воды в фонтане, мягко падающие в переполненный бассейн.

(Продолжение следует)

Критика

В. ПЕТРОВ

ЛУ СИНЬ И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Творчество Лу Синя приходится на первую треть XX века. Для Китая это время огромных социальных потрясений, для китайской литературы — время ее нового рождения.

Вступая в XX век, Китай имел все основания гордиться своим блистательным литературным прошлым, непревзойденными шедеврами национальной классики. Однако консервативная доктрина, ориентированная на защиту «чистоты национального духа», глухой стеной отделяла китайскую литературу от литературы всех остальных народов мира: от Шекспира и Байрона, Мольера и Бальзака, Толстого и Достоевского, Ирвинга и Марка Твена и других писателей Старого и Нового Света.

В начале XX века передовые люди Китая пробили в этой стене брешь, и в нее мощным потоком устремилась иностранная литература. В число первых зарубежных авторов, с которыми познакомились китайцы, вошли Крылов, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов, Горький. Одним из тех, кто понимал, как много значит для Китая приобщение к мировой литературе, был Лу Синь.

Не прошло и двух десятилетий — и в России победила Октябрьская революция. Огромный интерес передовой китайской интеллигенции к первому в мире государству рабочих и крестьян стимулировал внимание к русской литературе. Поэтому русских авторов переводили больше, чем всех остальных. Наверстывая упущенное, Китай с жадностью тянулся к новому, и победа Октябрьской революции сыграла решающую роль в выборе им дальнейшего пути развития. Предстояло найти свой путь и китайской литературе, и она, раскрепощенная литературной революцией периода «4 мая» 1919 года и стремившаяся идти в ногу с эпохой, искала творческие образцы в книгах советских писателей.

Росту авторитета советской литературы способствовала деятельность Лиги левых писателей Китая — организации, связавшей свою судьбу с революционной борьбой китайского пролетариата. Переводом и популяризацией советской литературы в 20—30-х годах занимались многие передовые литераторы, друзья Советского Союза, участники антиимпериалистического движения солидарности с СССР, но, как очень верно замечает Константин Симонов, «не было в китайской литературе человека, который был бы внутренне теснее, чем Лу Синь, связан с жизнью нашего общества, с его заботами, проблемами и трудностями, с его литературой...

Он просто-напросто был убежден, что для его родного Китая, сбрасывающего с себя оковы феодализма, сражающегося за свою свободу и независимость, не было примера более ценного и поучительного, чем пример советского общества, и не было литературы более демократической по своему духу, более действенной и прямо отвечающей интересам народа, чем пример советской литературы и той русской литературы, на демократические традиции которой опиралась в своем опыте советская литература».

В этих словах нет преувеличения.

В 1934 году, отвечая на вопросы журнала «Интернациональная литература», разосланные видным прогрессивным писателям мира, Лу Синь писал:

«Я чувствовал, что старое общество загниваст, и надеялся, что на смену ему придет общество новое, но еще не знал, каким оно должно быть. Не знал я также, будет ли оно непременно хорошим. Только после Октябрьской революции я понял, что творцом нового общества является пролетариат, но из-за контрпропаганды капиталистических стран относился к Октябрьской революции без особого восторга и мучился сомнениями. Теперь существование и успехи Советского Союза убедили меня в том, что бесклассовое общество возникнет обязательно, и это не только полностью рассеяло мои сомнения, но и сильно укрепило мое мужество...»

Будучи по характеру человеком прямым, Лу Синь в ответе «Интернациональной литературе» не скрывал, что какое-то время у него были сомнения, возникшие под воздействием буржуазной пропаганды. Оно и понятно. В китайской печати 20-х годов послереволюционная русская действительность часто представала в искаженном виде.

«Нас действительно долго обманывали империалисты и их приспешники,— писал Лу Синь.— После Октябрьской революции они все время твердили о том, как нищает Советский Союз, как ожесточается, как разрушает культуру...»

На каждое слово правды об Октябрьской революции, которое звучало в статьях пламенного публициста Ли Да-чжао, одного из первых китайских марксистов и основателей Компартии Китая, или содержалось в корреспонденциях Цюй Цю-бо, другого видного деятеля Коммунистической партии Китая, известного критика, публициста и переводчика русской литературы,— эти корреспонденции поступали от него из Москвы в пекинскую газету «Чэньбао»,— приходились тысячи слов лжи, клеветы, всевозможных небылиц, распространявшихся тогда врагами советской власти, перепечатывавшихся китайскими газетами из белоэмигрантских листков.

Да, Лу Синь сомневался, ничего не хотел принимать на веру. Однако он никогда не был в плену у антисоветской пропаганды, которая на все лады вопила о «гибели русской культуры». Лу Синь знал, что даже в годы гражданской войны и иностранной интервенции в Москве и Петрограде работали музеи и библиотеки, устраивались художественные выставки, выходили в свет первые произведения советской литературы, вызывавшие восхищение повсюду — «и в Западной Европе, и в Восточной Азии».

Отказ Советской России от неравноправных договоров, открытие советского полпредства в Пекине, приезд в Китай по приглашению Сунь Ят-сена советских военных советников для оказания помощи китайской революции, забота советской власти о народном просвещении, растущий авторитет молодой советской литературы — эти и многие другие факты очень скоро окончательно убедили Лу Синя в беспочвенности одолевавших его сомнений, на смену которым пришли открытые симпатии к Советской стране.

Симпатии переросли в убеждения, и Лу Синь всей своей последующей деятельностью, всем своим творчеством доказал, что является искренним и преданным другом Советского Союза. Сообщениям реакционной печати, которые Лу Синь называл «наглым обманом», он противопоставлял «Записки о виденном и слышанном в СССР» (1932) рабочего-металлурга Линь Кэ-до, «Впечатления о Москве» (1931) прогрессивного журналиста Ху Юй-чжи и другие честные книги, подчеркивая, что только из них, а никак не из «желтой» прессы, можно узнать правду о жизни советских людей. К книге Линь Кэ-до Лу Синь написал краткое предисловие, в котором были, в частности, такие слова:

«В политике и экономике я профан. Но при виде того, какой страх нагнал экспорт нефти и пшеницы из СССР за прошлый год на людей из цивилизованных капиталистических стран, мои многолетние сомнения рассеялись...»

Лу Синь был убежден, что только при социалистическом строе возможно последовательное осуществление высоких гуманистических идеалов. Его публицистика помогла многим китайцам узнать правду о Советском Союзе и понять причины ненависти империалистов к Советской стране, где «революция принесла счастье беднякам, а не богачам».

Определив свое отношение к СССР, Лу Синь оставался верен себе до конца жизни. Выбрав путь, он не сворачивал с него, а шел уверенно, отстаивая свои убеждения в боях с идейными противниками, давая отпор любым антисоветским выпадам и измышлениям.

Когда в июле 1929 года китайские милитаристы спровоцировали вооруженный конфликт с СССР и реакционная печать ударилась в антисоветскую истерию, Лу Синь с издевкой писал об отравленных шовинистическим угаром псевдопатриотах. «Все заявляют, что хотят драться с Россией, одни «готовы стать авангардом», другие «готовы быть опорой в тылу». Один из таких «патриотов» после бандитского захвата КВЖД солдатами милитариста Чжан Сюэ-ляна опубликовал статью под названием «Страница из истории наших войн за покорение России» — Лу Синь квалифицировал эту статью как «пространную и непревзойденную по глупости», недвусмысленно давая понять новоявленным «завоевателям», что они зря тщатся демонстрировать свою «мощь», напрасно хватаются за оружие.

Статья была прямой реакцией писателя на антисоветскую кампанию, начатую реакционной прессой. Газеты кричали о «красной опасности», призывали «проучить русских», а Лу Синь тем временем переводил статьи и рассказы советских авторов, и это тоже было своего рода дерзким вызовом, брошенным милитаристам.

Год спустя новая волна антикоммунизма обрушилась на Китай. В борьбе с инакомыслящими чанкайшистская реакция широко использовала запугивание и террор. Лу Синь угроз не испугался. Он решительно и твердо поддерживал движение солидарности с Советской Россией, беспощадно высмеивая бредовую идею «крестового похода» желтой расы на Москву — для искоренения коммунизма.

Лу Синя глубоко возмущало прославление паназиатизма, как и любые националистические и шовинистические идеи. Он понимал, что в условиях страны, считавшейся суверенной, где иностранцы чувствовали себя хозяевами, помыкали китайцами, втаптывали в грязь их национальные чувства, национализм становится особенно опасным. Обещание славы и легких военных побед в скором будущем кружило голову, и тогда позор в настоящем, обусловленный глубоким национальным кризисом, уже не казался таким страшным.

Вот почему Лу Синь, подлинный патриот Китая и вместе с тем убежденный интернационалист, счел своим долгом вступить в открытый бой с националистической литературой. Рядом с ним, плечом к плечу сражались Цюй Цю-бо и другие революционные литераторы. Лу Синь бесстрашно разоблачал антисоветизм писателей-националистов, издевался над их завоевательскими амбициями, показывал враждебность их «патриотической» доктрины национальным интересам китайского народа, которому в планируемых ратных походах отводилась роль пушечного мяса. В одном из главных аспектов — в разоблачении антисоветизма — борьба Лу Синя против националистической литературы была не чем иным, как проявлением интернациональной солидарности с Советским Союзом.

Успех первой пятилетки вызвал у врагов Советской страны новый прилив злобы и ненависти. Силы международной реакции стали готовиться к вооруженному нападению на СССР. Лу Синь писал: «Какие бы сплетни, проклятия, ненависть ни были пущены в ход, все оказалось безрезультатным, осталось только одно — готовиться к драке и пустить в дело кулаки».

Свое отношение к новому «крестовому походу» против Советского Союза Лу Синь четко сформулировал в статье «Нас больше не обманут» (1932). Он писал:

«Есть ли у империалистов такие интересы, которые не были бы прямо противоположны нашим интересам, если, конечно, не брать в расчет их лакеев? Поскольку наши болячки — это их сокровища, значит, их враги — наши друзья. Сами они вот-вот падут, им больше не удержаться. Ради того, чтобы оттянуть неизбежный конец, они злобствуют по поводу успехов Советского Союза...

...Лакеи империалистов намерены идти воевать. Что ж, пусть себе идут вслед за своими хозяевами и воюют. У нашего народа и у них интересы прямо противоположны. Мы — против нападения на Советский Союз. Наоборот, мы хотим повергнуть наземь злодеев, готовящих нападение на СССР, какими бы сладкими ни были их речи и какое бы благородство они на себя ни напускали. Это и есть наш собственный путь в жизни».

Интернационализм, выраженный столь ярко и смело в публицистике Лу Синя, лежал и в основе общественной деятельности писателя. Лу Синь участвовал в работе антиимпериалистических организаций, не раз выступал в поддержку борцов против фашизма. Когда в 1932 году были восстановлены дипломатические отношения между СССР и Китаем и большая группа китайских писателей левой ориентации направила по этому случаю приветственную телеграмму Совнаркому и трудящимся Советского Союза, Лу Синь подписался под ней одним из первых. Какие чувства владели тогда Лу Синем и его собратьями по перу? Об этом можно без труда догадаться, познакомившись с текстом телеграммы, опубликованным в журнале «Вэньсюэ юэбао» («Литературный ежемесячник»), печатном органе Лиги левых писателей Китая. Вот отрывок из этого приветственного послания китайских писателей:

«Советский Союз и Китай восстановили дипломатические отношения! Мы убеждены, что отныне дружба между народами двух стран сможет развиваться еще активнее. Вот уже год, как японские империалисты силой захватили три наши восточные провинции, а державы из Лиги Наций все это время открыто поддерживали Японию и тайно, за кулисами сговаривались о разделе Китая и о совместном управлении им. Китайский народ увидел теперь истинный облик империализма и одновременно еще больше убедился в миролюбии Советского Союза. Только Советский Союз является настоящим другом угнетенных наций! Восстановление сейчас советско-китайских отношений — это воплощение в жизнь горячих чаяний китайского народа.

Мы восхищены тем, с какой энергией советский народ развертывает ускоренными темпами социалистическое строительство, как смело реализует на практике самые высокие идеалы человечества. Теперь в нашей стране даже простые люди знают, что СССР — это страна мира и радости. Мы, ведущие работу в области культуры, особенно восхищены великой энергией советских деятелей культуры и их великим вкладом в социалистическую культуру».

■

Лу Синь охотно поддерживал дружеские и деловые контакты со многими советскими людьми. В 20-х годах в Пекинском университете, на русском отделении, преподавал писатель и журналист Сергей Михайлович Третьяков, широко прославившийся в дальнейшем как автор документальной повести из китайской жизни «Дэн Ши-хуа» и яркой антиимпериалистической пьесы «Рычи, Китай!», обошедшей сцены многих театров

В. ПЕТРОВ

ЛУ СИНЬ И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

мира. Другим преподавателем этого отделения был китаист Алексей Алексеевич Иванов, опубликовавший несколько книг и множество статей о политических событиях в Китае и выступавший в печати под псевдонимом А. Ивин. А. А. Иванов бывал у Лу Синя, вместе с ним и Вэй Су-юанем редактировал перевод «Двенадцати» А. Блока, сделанный студентом русского отделения Пекинского университета Ху Сяо и опубликованный в 1926 году. В послесловии к одному из номеров журнала «Бэньлю» («Поток») Лу Синь писал:

«Иванов и Третьяков... люди, в моем представлении, щедро наделенные талантом обучать и помогать другим. Тем, что у нас есть прямые переводы «Дискуссии о литературе Советской России» и «Двенадцати», притом переводы достоверные, мы обязаны советам этих двух людей».

К 1925 году относится знакомство Лу Синя с Борисом Александровичем Васильевым — ленинградским синологом, превосходным знатоком китайской литературы, первым переводчиком произведений Лу Синя на русский язык.

Весной 1925 года Б. А. Васильев, находившийся в Китае в длительной служебной командировке, приехал в Кайфэн с группой советских военных советников и познакомился с Цао Цзин-хуа, также работавшим переводчиком при этой группе. Любовь к литературе быстро сделала Б. А. Васильева и Цао хорошими друзьями.

Поощряемый Цюй Цю-бо и Лу Синем, Цао Цзин-хуа выступал тогда в печати со своими первыми переводами. В дальнейшем он много сделал для пропаганды русской классической и советской литературы. И потому очень трудно поверить, что сегодня он пишет нечто совсем иное, чем прежде, и о советской литературе и о стране, в которой прожил не один год.

Из воспоминаний Цао Цзин-хуа мы знаем, что по его совету именно тогда в Кайфэне Б. А. Васильев приступил к переводу «Подлинной истории А-Кью» на русский язык. С некоторыми жаргонными словами и диалектизмами ни переводчик, ни консультировавший его Цао Цзин-хуа справиться не могли, и тогда Цао обратился к Лу Синю с просьбой разъяснить непонятные места в тексте повести. Одновременно Б. А. Васильев от своего имени попросил писателя прислать для предполагаемого русского издания предисловие, автобиографию и портрет. Лу Синь ответил незамедлительно. Он не только дал необходимые разъяснения, но еще и сопроводил их рисунком и схемой: в правилах игры в мацзян разобраться было не так-то просто. Спустя три недели Лу Синь выслал Б. А. Васильеву предисловие, автобиографию и портрет. В пекинском мемориальном музее Лу Синя хранится подлинник письма Б. А. Васильева, в котором тот благодарит за присланные материалы. Письмо написано по-китайски. Вот его перевод:

«Вашу краткую биографию, предисловие и фотокарточку я получил через моего друга Цао Цзин-хуа, за что самым искренним образом благодарю Вас!

И краткая биография, и послесловие уже переведены и вместе с Вашей фотографией и полным текстом «Подлинной истории А-Кью» почтой отправлены в Москву для сдачи в печать. После выхода тотчас вышлю экземпляр.

Если мне случится быть в Пекине, обязательно навещу Вас, а пока посылаю на память свою фотографию. Позвольте на этом закончить и пожелать Вам благополучия.

С уважением Васильев».

В письме было сказано, что рукопись отправлена в Москву, однако в силу разных обстоятельств русский перевод «Подлинной истории А-Кью» увидел свет лишь четыре года спустя, а к Лу Синю попал еще через два года, опять через Цао Цзин-хуа, приславшего книгу из Ленинграда.

Летом 1925 года Б. А. Васильев вернулся из Кайфэна в Пекин и, по утверждению У Лань-ханя, автора статьи «Подлинная история А-Кью» в СССР», в августе — октябре имел несколько встреч с Лу Синем. О некоторых встречах сообщает нам «Дневник Лу Синя».

В первой половине 30-х годов Цао Цзин-хуа помог писателю установить контакты с советскими художниками, мастерами гравюры на дереве. Лу Синь посылал им китайскую бумагу и получал взамен авторские оттиски гравюр, которыми очень дорожил. За сравнительно короткий срок у него образовалась хорошая коллекция советской графики, и он трижды устраивал в Шанхае небольшие выставки из собственного собрания.

В бумагах ленинградского художника Л. С. Хижинского в начале 60-х годов был обнаружен русский перевод письма Лу Синя, которое он прислал в 1934 году пяти советским художникам-графикам — Л. С. Хижинскому, М. В. Алексееву, С. М. Пожарскому, С. М. Мочалову и Д. И. Митрохину. Письмо это интересно тем, что Лу Синь делится в нем своими впечатлениями о работах советских и китайских графиков, рассказывает об искусстве старой китайской гравюры. Из письма видно, что одновременно с ним Лу Синь послал несколько старинных китайских книг с иллюстрациями, чтобы познакомить советских художников с образцами традиционной книжной графики Китая.

Были у Лу Синя и другие корреспонденты в Советском Союзе. В 1934—1936 годах он переписывался (видимо на немецком языке) с Павлом Давидовичем Эттингером, искусствоведом, знатоком гравюры на дереве. В «Дневнике Лу Синя» есть также запись о получении из СССР номеров немецкого издания «Интернациональной литературы» и письма ее тогдашнего редактора Сергея Динамова.

Все эти факты — всего лишь отдельные штрихи, но в совокупности они дают представление о той дружбе, которая связывала Лу Синя с советскими китаистами, писателями и художниками.

По словам китайского поэта Сяо Саня (Эми Сяо), долгое время жившего в Советском Союзе, советские писатели и Международное объединение революционных пи-

сателей неоднократно приглашали Лу Синя приехать в Советский Союз на празднование Первого мая или Октябрьской революции... Однако ситуация в стране день ото дня осложнялась, и Лу Синь, ни на минуту не прекращавший борьбы, так и не смог выехать за границу.

Сведения, сообщаемые Сяо Санем, могут быть дополнены интересными воспоминаниями Лу Вань-мэя, в прошлом члена Лиги левых писателей, работавшего в ее пекинском отделении. Лу Вань-мэй встречался с Лу Синем в Пекине 13—28 ноября 1932 года. Предполагалось, что из Пекина Лу Синь отправится сначала в Японию, потом во Владивосток и оттуда — в Москву. Такой кружной маршрут пришлось выбрать потому, что путь через Маньчжурию был закрыт: ее оккупировали японские войска.

Лу Вань-мэй утверждает, что на этот раз приглашение Лу Синю приехать в СССР исходило от Горького — почетного председателя Оргкомитета I съезда советских писателей. Аналогичные приглашения были направлены Бернарду Шоу, Ромену Роллану, Анри Барбюсу. Лу Синь планировал пробыть в Советском Союзе сравнительно долго, отдохнуть и полечиться. Однако обстоятельства помешали поездке Лу Синя, и он вынужден был вернуться в Шанхай.

■

Лу Синь внимательно следил за успехами мирного строительства в СССР, за развитием новой, социалистической культуры, одухотворенной благородными идеалами и поставленной на службу широким народным массам. Он увлекался советской гравюрой на дереве, восхищался работами В. А. Фаворского, А. И. Кравченко, М. И. Пикова, Н. И. Пискарева и других советских графиков. В расцвете советского изобразительного искусства Лу Синь видел проявление могучего творческого начала, разбуженного революцией. Он радовался, что «изобразительное искусство советской России завоевывает авторитет во всем мире», и огорчался, что «только в Китае оно пока еще мало известно». С чувством гордости отозвался он об успехах русской графики, достигнутых в послереволюционные годы:

«После Октябрьской революции выдающиеся мастера, перенося голод и борясь с холодом, вооруженные лупой и набором резцов, неуклонно развивали эту отрасль искусства».

Лу Синь весьма энергично пропагандировал советскую графику, полагая, что она способна познакомить китайцев с «достижениями строительства в СССР», помочь им узнать «правду о положении в России», «понять происходящие там события». Он издал два очень интересных художественных альбома — «Извлечение яшмы» (1934) и «Советская графика» (1936). Эти альбомы, составленные со знанием дела и со вкусом оформленные, познакомили Китай с творчеством многих советских графиков, произведения которых, по словам писателя, отличали «правдивость и искренность».

■

Лу Синь интересовался разными сторонами жизни Советского Союза, но главным объектом его постоянного и самого пристального внимания всегда оставалась советская литература. Он любил ее и хорошо знал. Очень важно для него было и то, что она, революционная и новаторская по самой своей сути, вместе с тем наследовала и развила традиции русской классической литературы, которую Лу Синь называл своим «учителем и другом». Ему казался весьма знаменательным приход в советскую литературу писателей, получивших признание еще до Октябрьской революции,— Горького, А. Толстого, Вересаева, Пришвина, Маяковского, Серафимовича, Брюсова. Он был убежден в том, что такая преемственность шла на пользу советской литературе, умножала ее творческие силы.

Успехи советской литературы, так скоро пришедшее к ней международное признание радовали Лу Синя, и он писал о них в статье «Приветствую литературные связи Китая и России» (1932):

«За эти пятнадцать лет литература Советского Союза, который представляется империалистам исчадием ада, одержала победу на мировой литературной арене. Вот что подразумевается под тем, что названо здесь «победой»: способность благодаря выдающимся достижениям в содержании и мастерстве завоевать широкие читательские массы и дать читателям много полезного».

Лу Синь придавал огромное значение опыту советской литературы. Условия Китая диктовали, по мнению писателя, необходимость переводить на китайский язык прежде всего те произведения, которые рассказывали о борьбе и могли служить для китайской молодежи учебником революции.

«Я чувствую,— говорил Лу Синь,— что нынешние, повествующие о строительстве книги интересны мне и полезны, равно как и предшествующие им, рассказывающие о борьбе, такие как «Бронепоезд 14-69», «Разгром», «Железный поток». Я читаю советскую литературу главным образом потому, что хочу познакомить с нею Китай, а для Китая сейчас все еще остаются наиболее важными произведения о борьбе».

Лу Синь считал, что советская литература нужна Китаю еще и по другой, столь же существенной причине. Ее мощное духовное воздействие способствовало революционному воспитанию народа. Нравственные идеалы, утверждаемые ею, ее новые герои с их верой в великую правду нового мира, делавшую их свободными, мужественными, инициативными, готовыми и способными на подвиг,— все это должно было, как представлялось Лу Синю, побудить его соотечественников заглянуть в собственную душу, освободиться от рабской психологии и предрассудков прошлого, поверить в себя, научиться думать, действовать и жить по-но-

вому. К тому же Лу Синь надеялся, что процесс освоения духовных богатств другого народа мог помочь китайцам победить в себе извечные националистические предубеждения и воспитать чувство интернационализма.

Был, наконец, еще один важный аспект, на который Лу Синь неоднократно обращал внимание, когда говорил о советской литературе: китайским писателям, представлявшим новую революционную литературу, способную действенно помочь социальному и духовному прогрессу Китая, нужны были достойные творческие образцы. Иными словами, Лу Синь рассматривал советскую литературу не только как школу революционной борьбы, но и как школу мастерства.

Буржуазная критика тех лет находила, например, что в послереволюционной русской литературе слишком много крови, выстрелов, жестокости. Лу Синь решительно отказывался видеть в этом явлении некое постоянное и универсальное свойство советской литературы, объясняя его исключительно влиянием эпохи — героической, славной, но неимоверно трудной, когда в бескомпромиссных классовых схватках оказывались неизбежными и кровь, и жертвы, и лишения.

Лу Синь был хорошо осведомлен о новинках советской литературы и важнейших проблемах литературной жизни СССР, следил за появлением новых произведений, старался познакомиться с ними и, если предоставлялась возможность, перевести их или поручить перевод кому-нибудь из своих друзей. Если задаться целью перечислить все книги советских авторов, которые имелись в библиотеке Лу Синя, получится весьма внушительный список. Большинство составляют переводы — на японский и немецкий языки. Часть книг — русские издания, преимущественно присланные Лу Синю из Советского Союза. Многочисленные высказывания писателя позволяют сделать вывод, что самой крупной фигурой в послереволюционной литературе он считал Горького, называя его «великим писателем»: «Он велик, и, по-моему, нет никого, кто мог бы сравниться с ним».

Лу Синю были известны ленинские оценки творчества Горького, и он ссылался на них, когда писал о нем. Объясняя небывалый успех произведений Горького, Лу Синь прежде всего указывал на главное, с его точки зрения, обстоятельство, предопределившее этот успех. Дело заключалось не только в том, что Горький сам вышел из народа и по-настоящему хорошо знал его жизнь. Все творчество Горького — вдохновляющий пример служения народу, пример мужественной и непреклонной борьбы за народные интересы, которую великий писатель вел, находясь в одних рядах с революционными массами:

«...Вождь революции (имя Ленина Лу Синь по цензурным соображениям назвать не мог.— **В. П.**) больше двадцати лет тому назад угадал в нем великого художника новой России, увидел товарища по борьбе, который сражается с общим врагом и во имя общей цели, но только другим оружием. Его оружие — художественное слово — имеет огромное значение».

К мысли о теснейшей связи Горького с народом Лу Синь возвращался и в других своих высказываниях. Горький, отмечал он, «пользовался уважением при жизни и окружен почетом после смерти», потому что «вся его жизнь была слита с народными массами, его любовь и ненависть, скорбь и радость были любовью и ненавистью, скорбью и радостью народа».

После того как в 1929 году вышла первая, а в 1930 году вторая часть романа Горького «Мать» в переводе Шэнь Дуань-сяня, Лу Синь особенно четко осознал значение Горького для революционной борьбы рабоче-крестьянских масс Китая и для революционных китайских писателей. Посылая Хань Бай-ло иллюстрации художника Н. В. Алексеева к роману, он составил краткое введение, в котором, в частности, было сказано:

«Как только вышел из печати роман Горького «Мать», революционер (имеется в виду В. И. Ленин.— **В. П.**) сказал, что это «очень своевременная книга». Такой она была не только в те годы, но остается такой и сейчас. Я думаю, нет надобности много говорить, что это особенно верно для настоящего и будущего Китая, подтверждением чему служит перевод господина Шэнь Дуань-сяня».

Указывая на злободневность романа, Лу Синь исходил из того, что «Мать» Горького помогала китайским революционерам увидеть «власть тьмы» и «борющиеся массы», усвоить необходимый опыт борьбы. Победа русского пролетариата в революции, за которую боролись герои романа, вселяла в Лу Синя веру в неизбежность победы освободительного движения китайского народа.

Добавим к сказанному, что Лу Синь не только пропагандировал, но и переводил Горького — «Русские сказки», вышедшие отдельным изданием в августе 1935 года, рассказ «О черте», отрывки из статьи «О том, как я учился писать». В связи с шестидесятилетием Горького Лу Синем была переведена и напечатана в журнале «Бэньлю» большая статья японского русиста Нобори Сёму «Горький последних лет».

Лу Синь познакомил Китай и с творчеством многих других советских писателей, в частности с переведенным им «Разгромом» А. Фадеева. Эта книга, любимое детище Лу Синя, была, по его словам, особенно нужна китайским читателям, ибо имела большое воспитательное значение. Она учила, как надо бороться, закалять волю, побеждать и извлекать уроки из поражений, как надо верить в народ и в революцию. Лу Синю нравились герои «Разгрома», особенно большевик Левинсон — человек деятельный, волевой и активный, умеющий и понять, и организовать массы. А образ другого героя романа, Мечика, дал Лу Синю повод для важного и принципиального разговора о преодолении мелкобуржуазного индивидуализма в среде революционно настроенной интеллигенции, что в условиях Китая было весьма актуальной проблемой. «Разгром» в переводе

Лу Синя быстро завоевал широкую популярность. Восторженно откликнулся на его выход в свет Цюй Цю-бо.

В 1933 году в Шанхае вышли один за другим два сборника рассказов советских писателей, составленные и подготовленные к печати Лу Синем; первый назывался «Арфы», второй — «Рабочий день». К участию в этих сборниках Лу Синь привлек своих соратников и друзей — Цюй Цю-бо и Цао Цзин-хуа, поместил два перевода Жоу Ши, талантливого прозаика, члена Левой лиги, казненного в 1931 году гоминьдановскими реакционерами. Остальные пятнадцать рассказов из двадцати, составивших названные сборники, были переведены Лу Синем.

Включенные в сборники «Арфы» и «Рабочий день» произведения К. Федина, М. Шолохова, Д. Фурманова и другие отражают разные стороны предреволюционной и послереволюционной действительности, в них запечатлены разные настроения. Написаны они тоже по-разному. Однако при всей непохожести авторов этих рассказов объединял обостренный интерес к судьбе человека в эпоху великой революционной ломки, вовлеченного в водоворот революционных событий или по крайней мере затронутого ими.

В списке переводов Лу Синя из советской литературы кроме уже упоминавшихся произведений и авторов значатся также роман «Октябрь» А. Яковлева, повесть «Часы» Л. Пантелеева, рассказы М. Зощенко, работы по теории искусства и литературно-критические статьи А. Луначарского, составившие два сборника — «Об искусстве» и «Литература и критика», главы из книги «Новейшая русская литература» критика и литературоведа В. Львова-Рогачевского. В совокупности получается весьма впечатляющая картина. Однако она будет неполной, если не упомянуть о содействии Лу Синя изданию многих произведений советской литературы в переводах других литераторов. Среди них — «Железный поток» А. Серафимовича, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова и другие. Переводы этих книг Лу Синь либо редактировал, либо писал к ним предисловия или послесловия.

Лу Синь был выдающимся организатором переводческого дела в Китае, наставником литературной молодежи. В середине 20-х годов в Пекине общность литературных и переводческих интересов свела Лу Синя со студентами русского отделения Пекинского университета Ху Сяо, Жэнь Го-чжэном, Цао Цзин-хуа, Вэй Су-юанем. Все они, как и Лу Синь, были пионерами переводов советской литературы на китайский язык.

Созданные Лу Синем и его соратниками литературные общества «Без названия» и «Утренние цветы» считали своим первейшим долгом популяризацию в Китае русской классической и советской литературы. Позже, в середине 30-х годов, уже в Шанхае, Лу Синь активно участвовал в издании журнала «Ивэнь» («Переводная литература») и вновь собрал вокруг себя группу переводчиков-энтузиастов. Советской литературе на страницах «Ивэнь» отводилось достойное место.

Важной и актуальной миссией китайских писателей левого крыла Лу Синь считал изучение марксистской эстетики и теории литературы и искусства, без чего, по его убеждению, трудно было бы рассчитывать на успех в разработке теоретических основ революционной китайской литературы. Осуществление этой миссии также подразумевало использование опыта, накопленного в СССР в развитии марксистской литературной теории и эстетики.

С конца 20-х годов в литературных кругах Китая развернулись жаркие споры о путях развития китайской литературы. Как сторонники, так и противники обсуждавшегося лозунга революционной пролетарской литературы смело пускались в рассуждения по теоретическим вопросам, не имея, однако, достаточных знаний. Лу Синь, чувствуя, что его оппоненты да и он сам теоретически подготовлены слабо, вскоре после начала дискуссии всерьез взялся за перевод трудов по марксистской эстетике и теории искусства.

Среди переведенных книг Лу Синь отводил особую роль сборнику «Политика в литературе». Он был убежден, что включенные в этот сборник выступления участников совещания о политике партии в области литературы, состоявшегося в 1924 году, и еще в большей степени резолюция ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 года «О политике партии в области художественной литературы» «могут послужить определенным импульсом в разрешении наших споров внутри лагеря движения за пролетарскую литературу, центром которых является вопрос о соотношении политики и литературы».

В ходе дискуссии Лу Синя обвиняли в отсталости, в нежелании идти в ногу с эпохой. Позже всем стала очевидной абсурдность этих обвинений. Однако в то время Лу Синь должен был защищаться и, отстаивая свою точку зрения, обращаться к опыту советской литературы, к идеям и суждениям советской критики и, в частности, к работам А. В. Луначарского. Это означает, что советская литература была для Лу Синя не только ценнейшим духовным богатством, не только творческой школой, но и арсеналом, из которого он мог брать оружие, необходимое в литературной борьбе.

И в период дискуссии, и после нее Лу Синю не раз приходилось сталкиваться с тем, что участники движения за революционную пролетарскую литературу претендовали на роль единственных и, разумеется с их точки зрения, непогрешимых толкователей марксистской теории искусства. Случалось, что они, движимые самыми благими намерениями, забегали вперед в решении сложных

В. ПЕТРОВ

ЛУ СИНЬ И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

творческих проблем или, наоборот, цеплялись за омертвевшие схемы.

Умеряя пыл своих чересчур темпераментных оппонентов, Лу Синь не раз обращался к идеям и высказываниям В. И. Ленина, находя в его лице самого надежного и авторитетного союзника.

В ходе полемики некоторые молодые писатели спешили перечеркнуть достижения предшественников, отмежеваться от их наследства, превращали писателей-классиков в объект вульгарно-социологических разборов. Лу Синь напомнил им, как относился к культурному наследству В. И. Ленин, как он ценил писателей прошлого, в том числе и тех, кого никак нельзя было назвать представителями революционной литературы. Выступая 12 августа 1931 года в Обществе изучения общественных наук с характеристикой состояния литературной жизни Китая, Лу Синь удовлетворенно, хотя и не без иронии, отметил пересмотр недавних позиций писателями революционного направления:

«...Люди, еще в позапрошлом году так энергично ратовавшие за полное пренебрежение к нереволюционной литературе, в прошлом году вспомнили про любовь Ленина к произведениям Гончарова и вдруг поняли, что нереволюционная литература имеет весьма важное значение».

Лу Синь высоко ценил ленинские идеи о преемственности в развитии культуры, игнорирование которых, как показал, скажем, опыт Пролеткульта, вело к отрицательным последствиям. Поэтому он считал необходимым напомнить об этих идеях, когда в июне 1930 года в послесловии к китайскому переводу «Фауста и города» излагал взгляды А. В. Луначарского, вслед за Лениным «выступавшего за сохранение культурного наследия»:

«Поскольку новый класс (то есть пролетариат.— **В. П.**) и его культура вовсе не с неба свалились, а развились в противоборстве со старыми правителями и их культурой, в антагонистических противоречиях со старым, то, следовательно, новой культуре по-прежнему есть что наследовать, есть что брать из старой культуры...»

Помните, у Ленина: «Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда»[1]. Лу Синь усвоил эту мысль и старался руководствоваться ею.

Хорошо понимал Лу Синь и то, как существенна роль литературы и искусства в борьбе за сокрушение старых обычаев и привычек, стоящих на пути прогресса, мешающих движению общества вперед. Он помнил слова В. И. Ленина о том, что «сила привычки миллионов и десятков миллионов — самая страшная сила»[2]. В марте 1930 года в журнале «Мэнъя» («Всходы») Лу Синь опубликовал статью «Привычки и реформы», в которой писал:

«Настоящий революционер всегда имеет собственное мнение, как, например, господин Ульянов. Он включал «обычаи» и «привычки» в понятие «культура» и считал при этом, что переделать их ужасно трудно. Я думаю, что без переделки всего этого революция окажется сведенной на нет. Это все равно что возводить пагоду на песке: она тотчас рухнет».

Забвение этой истины таило в себе, по мнению Лу Синя, опасность недооценки современной реальности, того мрачного и страшного «сегодня» с его феодальными привычками и обычаями, против которых всегда смело и последовательно сражался Лу Синь, считавший, что только борьба, а никак не громкая фраза расчищает Китаю дорогу в будущее.

Гигантская работа, сделанная Лу Синем во имя того, чтобы открыть советской литературе, равно как и русской классической литературе, доступ к миллионам китайских читателей, сыграла выдающуюся роль в развитии культурных связей между народами СССР и Китая. Лу Синь отдавал этой работе много сил, потому что был убежден в невозможности до конца понять другой народ, не зная его прошлого и настоящего, его культуры, его духовных ценностей. Однако в Китае далеко не все разделяли его взгляды. Гоминьдановская цензура запрещала книги советских авторов, причем запрету подлежали не только произведения, подозреваемые в «коммунистической пропаганде» или в «подстрекательстве к мятежу», но даже книжки «с красными иероглифами на обложке». Целые тиражи часто изымались властями и уничтожались. Издатели же, боясь политических обвинений, шантажа синерубашечников и финансового нажима, отказывались печатать переводы с русского. Естественно, что в таких условиях работать было трудно.

Дружеские чувства Лу Синя к Советскому Союзу и к советской литературе вызывали озлобление реакционных властей. В чем только Лу Синя не обвиняли! И в том, что он-де является «коммунистическим агентом», в том, что действует «по приказу Москвы», и даже в том, что продается за русские рубли. Нужно было обладать глубокой убежденностью в собственной правоте, чтобы не поддаться на провокации, не дрогнуть, не сойти с намеченного пути. И Лу Синь обладал такой убежденностью. Он верил, что его усилия не пропадут даром и что в конечном счете настанет время, когда советская литература будет неотъемлемой частью духовных богатств нового Китая.

Таковы факты истории литературы. Такой предстает перед нами одна из важнейших сторон деятельности Лу Синя. И тем сильнее чувство неловкости, испытываемое сегодня каждым при чтении китайских газет, которые пишут о Лу Сине много, но «забывают» эти и многие другие факты, предпочитая надуманные построения, вызванные к жизни сиюминутными политическими установками. А если, случается, и вспоминают, то ради того, чтобы иметь лишний повод для очередных антисоветских выпадов.

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, стр. 304.

[2] Там же, стр. 27.

Узы дружбы, которые связывали Лу Синя с Советским Союзом и с советской литературой, ничто не могло ослабить. Если мы обратимся к двум последним записям из «Дневника Лу Синя» от 16 и 17 октября 1936 года, то увидим, что, уже будучи смертельно больным, писатель не оставлял работы, связанной с популяризацией советской литературы: 16-го, во второй половине дня, он закончил предисловие к «Сборнику семи советских авторов». Это было последнее написанное им предисловие, его последние слова о советской литературе.

Когда 19 октября 1936 года мир облетела весть о смерти Лу Синя, советские люди разделили великую скорбь с китайским народом. В тот же день родные писателя и президент Китайской Академии профессор Цай Юань-пэй получили телеграммы соболезнования от советского посла в Китае Д. В. Богомолова и от правления Всесоюзного общества культурных связей с заграницей.

Лу Синь был «великим писателем мирового масштаба, китайским Горьким,— говорилось в телеграмме посла.— Литература вашей страны потеряла учителя. Вместе с тем это и огромная потеря для всей мировой литературы».

Два дня спустя в Нанкин в Общество китайско-советских культурных связей поступила телеграмма Союза советских писателей, подписанная его генеральным секретарем Владимиром Ставским. Статьи памяти Лу Синя поместили «Правда», «Известия», другие центральные и местные газеты, а затем и журналы, в том числе «Интернациональная литература», где в международном редакционном совете вместе с Горьким, Барбюсом, Бехером, Ролланом и другими выдающимися писателями, начиная с первого номера, состоял Лу Синь.

1 ноября 1936 года в Ленинградском институте истории, философии и лингвистики (ЛИФЛИ) был проведен, как было написано в пригласительном билете, «вечер памяти Лу Синя, антифашиста, революционного писателя Китая, друга Советского Союза». Вечер открыл вступительной речью выдающийся советский синолог академик В. М. Алексеев. Тезисы этой речи сохранились в архиве. Она заканчивалась знаменательными словами:

«Для нас Лу Синь был самым чувствительным органом нового Китая, через который мы могли слышать биение его пульса жизни. Искренний и глубокий. Редкость в наши дни в Китае. Несомненно, друг нашего Союза и наших стремлений».

13 декабря 1936 года почтить память Лу Синя собрались московские писатели. В Доме писателя выступили А. Фадеев и С. Третьяков. Доклад о жизни и творчестве Лу Синя сделал Сяо Сань. Впоследствии, рассказывая о том, как почтили память Лу Синя в Советском Союзе печать, литературная и научная общественность, Сяо Сань привел в своей статье, опубликованной в газете «Цзюван жибао», которая выходила на китайском языке в Париже, такой интересный факт. При формировании редакционного комитета по подготовке к изданию Полного собрания сочинений Лу Синя было решено включить в его состав советских писателей — А. Фадеева и А. Серафимовича, которые через Сяо Саня сообщили в Китай о согласии участвовать в этом комитете. Инициаторы комитета остановили свой выбор на А. Фадееве и А. Серафимовиче отнюдь не случайно. Именно их произведения — «Разгром» и «Железный поток» — Лу Синь особенно высоко ценил и энергично пропагандировал.

С творчеством Лу Синя, сделавшего так много для распространения советской литературы и советского искусства в Китае, советские читатели познакомились еще в 1929 году, когда ленинградское издательство «Прибой» выпустило под редакцией и с предисловием Б. А. Васильева книгу прозы Лу Синя в переводах на русский язык. Она называлась *«Правдивая история А-Кея»* — по названию представленной в ней повести, наряду с которой в сборник вошло семь рассказов. В том же году в Москве в сборнике «Правдивое жизнеописание» вышел второй русский перевод «Подлинной истории А-Кью».

В дальнейшем книги Лу Синя довольно часто издавались на русском языке, переводились на многие языки народов СССР. Кроме того, у нас в стране произведения Лу Синя не только много переводили, но и весьма плодотворно изучали.

Последнее по времени издание повестей и рассказов Лу Синя увидело свет в 1971 году в составе «Библиотеки всемирной литературы». Оно выпущено тиражом 300 000 экземпляров. В этой связи вспоминаются слова, сказанные двадцать семь лет тому назад Александром Фадеевым:

«Нам, русским литераторам, творчество Лу Синя так близко, как только может стать близким творчество художника другой страны после родных писателей. По духу он — рядом с Чеховым и Горьким. И чем шире мы будем знакомить русского читателя с Лу Синем — а мы будем это делать,— тем шире будет распространяться в русском читателе это чувство родственной близости к Лу Синю».

Прошедшие годы подтверждают справедливость этих слов. Можно с гордостью сказать, что сегодня имя и творчество Лу Синя пользуются в СССР огромной популярностью и уважением. Лу Синь был подлинным другом нашей страны и советской литературы. А друзей, как известно, не забывают.

ВИТТОРЕ БРАНКА

БЕСПОКОЙНАЯ ПОЭЗИЯ МИКЕЛАНДЖЕЛО

Грандиозные прошлогодние торжества во всем мире, посвященные пятисотлетию со дня рождения Микеланджело, явно игнорировали Микеланджело как писателя. К юбилею не было даже завершено издание писем, начатое в 1965 году Центром Возрождения. И это после тома Роберта Клементса «Поэзия Микеланджело» (Нью-Йорк, 1965), после теперь уже классического итальянского издания «Стихотворений» под редакцией Энцо-Ноэ Джирарди (Бари, «Латерца», 1960), воспроизведенного недавно миланским издательством «Риццоли» в серии «Библиотека универсале Риццоли», и великолепных «Этюдов о Микеланджело-писателе» того же Джирарди (Венеция, «Ольшки», 1974). Лишь три поэта — Марио Луци Витторио Серени и Джованни Тестори — вдохновенно, но бегло затронули в юбилейном году тему: Микеланджело-литератор [1].

Поэтами были и те, кто первыми признали величие Микеланджело как писателя,— Берни, который в капитоло к Себастьяно дель Пьомбо уже в 1534 году противопоставлял Микеланджело петраркистам, заявляя: «Он говорит дело, а вы говорите слова», и Варки, обнародовавший в «Двух уроках», первой книге о Буонарроти, свою ученую трактовку сонета «Non ha l'ottimo artista...». Сам Микеланджело исключительно серьезно относился к собственным стихам и очень хотел, чтобы его считали поэтом (в 1546 году он замышлял издание своих стихотворений). Как поэт уже в 1510 году он изображен в «Парнасе» [1] Рафаэля, тоже, кстати, писавшего стихи, которых никто, однако, не помнит.

Следовательно, не об открытии поэзии Микеланджело романтиками нужно говорить, но о новом — антиаркадском и антипросветительском ее открытии: так, Фосколо (1822), а позднее Кине [2] и Мишле [3] видели в поэзии Микеланджело главным образом существенное свидетельство о его личности (на этом восприятии основывалось и восторженное отношение декадентов к его стихам). Ставшие с легкой руки романтиков едва ли не обязательными ссылки на биографию, и в особенности на изобразительный опыт Микеланджело, привели, однако, к длительному искажению смысла его стихов. Не кто иной, как Фосколо, любил сравнивать горькую суровость стихотворений Микеланджело с горькой суровостью его скульптур: то же самое делал и Кардуччи, воспевая сонет: «...e in aspre note e lente/Ti scolpia quella man che sí potente/Pugnò coi marmi a trarne vita fuori»[4].

Видеть отражение фигуративного послания в поэтическом послании Микеланджело — этого рокового соблазна не избежал

[1] Журнал «Иностранная литература» откликнулся на юбилей Микеланджело публикацией «Мой Микеланджело» Андрея Вознесенского (№ 3, 1975 г.).

[1] «Парнас» — одна из фресок в ватиканских «станцах Рафаэля», изображающая собрание знаменитых поэтов в присутствии Аполлона и муз. *(Здесь и далее—примечания переводчика.)*

[2] Эдгар Кине (1803—1875) — французский писатель, историк, философ.

[3] Жюль Мишле (1798—1874) — французский историк и эссеист, поборник романтической историографии.

[4] «...и из суровых и медленных нот тебя высекала та же могучая рука, что сражалась с мрамором, добывая из него жизнь».

даже Де Санктис[1]. Нелегко также устоять перед соблазном традиционной параллели между поэтом «Божественной комедии» и автором «Страшного суда». Вокруг «Комедии» и Сикстинской капеллы бушевал поток страниц, сплошь заполненных междометиями; то и дело объявлялись «микеланджеловскими» дантовы описания и «дантовскими» образы Микеланджело, не говоря уже о вакханалии эпитетов «титанический», «сверхчеловеческий», «божественный», восторженных восклицаний, зачастую подменяющих вдумчивое чтение.

Итак, для литературного критика тема Микеланджело-поэта — тема рискованная; вот почему, быть может, в XX веке к ней чаще, чем критики, обращались писатели: Ромен Роллан, Рильке, Томас Манн, Д'Аннунцио, Папини. Даже Кроче, не относившийся к Микеланджело-писателю ни с симпатией, ни с интересом, в сущности повторил восходящую к романтикам интерпретацию его стихотворений как поэтической биографии («...они не выходят за пределы истории эмпирической, или практической, личности»). Не кто иной, как Кроче, поощрил ставшее таким модным в двадцатые — тридцатые годы фрагментарное чтение Микеланджело, выделив «энергичные и ясные строки», в которых Буонарроти «иной раз удавалось совладать со словом». Не удивительно поэтому, что самый авторитетный из итальянистов-крочеанцев, Марио Фубини, еще каких-нибудь десять лет назад на вопрос: «Был ли Микеланджело и поэтом?», вынесенный в заголовок одной из его статей, ответил отрицательно.

Самостоятельная ценность поэтического опыта Микеланджело стала большой новаторской темой самых тонких и скрупулезных исследований посткрочеанской критики: стилистического направления, представляемого Контини и Бальдаччи, историко-психологического — в лице Бинни и Фридриха, филолого-экспрессивного (Боско и Джирарди) и направления, тяготеющего к символико-аллюзивному (Клементс и Маньяни).

Научно обоснованное издание стихотворений Микеланджело под редакцией Джирарди доказало, сколь неправы были романтики, отводившие им роль лишь непосредственных душеизлияний и исповедей. Пошатнулось также и крочеанское восприятие его поэзии как результата побочного занятия. Знаменитые стилистические шероховатости — вовсе не признак дилетантизма или недостаточно серьезного отношения к непокорному жанру, напротив, они итог сознательного художественного выбора, отвращения к дешевому эффекту. Когда Микеланджело признавался: «Писать мне очень трудно, поскольку это не мое искусство», он имел в виду одно: он так много вкладывает в стихи, что они его часто не удовлетворяют; точно так же говорил он о живописи: «Моя мертвая живопись» и даже о скульптуре: «Это не мое искусство». В этом признании отражается та основная драматическая ситуация, которая, как верно заметил Бинни, характерна для поэзии Микеланджело. Отнюдь не случайно, что он начинает писать стихи лишь после медицейского, аполлонического, периода[1], когда искусство оставалось еще воплощением силы, уверенности, совершенства; более того, не случайно, что основная их часть создана, когда ему было за шестьдесят, в пору мучительных и созерцательных римских десятилетий.

Можно, пожалуй, сказать, что поэзия в это время не только не является для него чем-то второстепенным, но что с нею связано его стремление выйти за пределы фигуративного и рельефного: она влечет его даже больше, чем живопись, чем скульптура. Когда Микеланджело отмечал, что «живописуют головой, а не руками», или утверждал в знаменитом сонете: «...solo a quello arriva /La man che ubbidisce all'intelleto»[2], возможно, он намекал именно на это обстоятельство. Несомненно, что глубокое и мучительное чувство невыразимого, незавершенного, характерное для его поэзии (что, кстати, находит «материальное» выражение в нагромождении «фрагментов»), как бы определяет «незаконченную бесконечность» последних работ, которую символизирует «Пьета» Ронданини. «La voglia invoglia e ella ha poi la doglia»[3] — этот лирический фрагмент мог бы считаться программным для всего заключительного периода творчества Микеланджело, периода, отмеченного, увы, тщетными порывами и безрезультатными исканиями. Даже жажда новой красоты — красоты души, а не оболочки — выражается теперь в неистовых и тревожных строках: «Tal io, col foco ancora/ D'amor dentro ristoro/ Il desir voto di beltà infinita»[4].

Лирику Микеланджело отличало исключительное внимание к материальным предметам, к повседневной действительности, стремление подняться над предметами и действительностью. Достигая реалистического, гротескного видения, Микеланджело предстает смелым и увлеченным исследователем возможностей поэтического слова,

---

[1] Франческо Де Санктис (1817—1883) — итальянский литературовед и критик, философ, автор классической «Истории итальянской литературы».

[1] В 1489 г. Микеланджело начал посещать художественную школу в саду Медичи во Флоренции; вскоре, по приглашению Лоренцо Великолепного, поселился у него во дворце, где прожил до 1492 г., общаясь с видными поэтами, художниками, мыслителями того времени. В этот период Микеланджело проникся гуманистическими идеями философов-платоников Марсилио Фичино (1433—1499) и Джованни Пико делла Мирандола (1463—1494).

[2] «Достигает этого (то есть полноты выражения.— *Е. С.*) лишь рука, подчиняющаяся разуму».

[3] «Жажда рождает жажду, в свою очередь порождающую боль».

[4] «Так я огнем любви питаю неудовлетворенную жажду бесконечной красоты».

нередко сопрягая прямо противоположные понятия (антитеза заключена в их символическом значении): ночь — день, тень — свет, сон — бдение, время — вечность... Эти понятия, эти ключевые слова настойчиво повторяются в его стихах. И одновременно он чаще обращается к изначальным субстанциям, таким как воздух, огонь, вода, земля, золото, серебро, медь, камень: «Non pur d'argento o d'oro /Vinto dal foco esser po' piena aspetta...»[1].

Реальность материй постоянно соотносится у Микеланджело с реальностью духа. Это своего рода лингвистический код, нередко восходящий к опыту колдунов и алхимиков,— правда, лишь в том, что касается приемов иносказания. Все это присутствует в поэзии Микеланджело со времен юности, отмеченной влиянием Фичино и Пико. Символическая реальность нужна ему, чтобы попытаться в какой-то мере запечатлеть невыразимое, придерживаясь в лирике «каменной» линии, идущей от Гвиттоне до Кампанеллы [2].

Но после разнообразных и смелых исканий, в том числе и в области чувства, незавершенное, невыразимое все больше открывается Микеланджело как извечное состояние действительности и человеческой жизни. Он, написавший: «Я напряженно тружусь в искусстве... чтобы продлить свою жизнь насколько могу»,— убеждается наконец, что слова — «дуновение ветра». «Le favole del mondo m'hanno tolto/ Il tempo...»; «Manca la speme e pur cresce il desio»; «Vivo al peccato, a me morendo vivo... A chè miseria, a che viver son nato!»; «...l'affettuosa fantasia /Chè l'arte mi fece idol e monarca/ conosco or ben com'era d'error carca»[3].

Похоже, что в последний период мучительных поисков и опытов, чтобы выразить себя, Микеланджело остаются едва ли не одни только слова, все более категоричные, слова, в которых все ощутимее грандиозные предбарочные поиски необычного, мистические намеки, метафизическое напряжение в духе Джона Донна. Теперь уже загадка жизни не представляется ему разрешимой иначе, чем в религиозном ключе. Он видит лишь один путь к спасению — тот, каким идут самые смиренные из людей: от сосредоточенной мысли о смерти — к новой, вечной жизни.

Смерть физическая и смерть духовная, вечный покой и истинная жизнь — такова реальность, в полном смысле слова доминирующая в лирике Микеланджело последних лет. Когда-то он написал с оттенком иронии герцогу Козимо Медичи: «...помышляя о смерти, с которой день и ночь я пытаюсь подружиться, дабы она была со мною не хуже, чем с другими стариками». Но сразу после этого, посылая Вазари вдохновенное стихотворение, он признавался: «В каждой мысли, рождающейся во мне, изваяна смерть».

Теперь же он настаивает: «Carico d'anni e di peccati pieno/ E còl trist'uso radicato e forte/ Vicin mi vèggio l'una e l'altro morte/ E partè e tor riutrisco di veleno; Di morte certo ma non gia dell'ora/ La vita è breve e poco mè n'avanza;/ Diletta al senso, è non però la stanza/ A l'alma, che mi prega pur ch'i' mora»[1].

Надежда делает его безмятежным, и он замечает: «La morte è 'l fin d'una prigione scura»[2].

Потом великий старик, самый глубокий и разочарованный художник жизни — и потому самый беспокойный поэт смерти, чувствуя, что он «достиг общего порта», иератически застывает в отрешенной позе и с выражением самой кроткой и религиозной искренности, по-якопоновски [3] обняв крест: «Gli amorosi pensier, già vani e lieti/ Che fien or, s'a duo morte m'avvicino?/ D'una so 'l certo, e e'altra mi minaccia./ Nè pinger, nè scolpir fie più che quieti/ L'anima, volta a quell' amor divino/ C'aperse, a prender noi, 'n croce le braccia»[4].

Перевод с итальянского Е. СОЛОНОВИЧА

---

[1] «Как пустая форма ждет, чтобы ее наполнили расплавленным на огне серебром или золотом...»

[2] Автор статьи видит истоки «земных», реалистических аллегорий дантовского цикла о каменной Даме («каменные канцоны») в экспрессивной поэзии Гвиттоне Д'Ареццо (ок. 1235—1294), продолжая «каменную» линию до поэзии Микеланджело и Томмазо Кампанеллы.

[3] «Мирские обманы отняли у меня время...»; «Надежды нет, зато растет желание...»: «Я живу, приверженный греху, живу, умирая, теряя себя... Для какой муки, для какой жизни я родился!»; «...теперь я хорошо знаю, что горячее воображение, сделавшее искусство моим кумиром и монархом, привело меня ко многим ошибкам».

[1] «Отягченный годами и полный грехов, с глубоко укоренившейся привычкой дурно поступать, я вижу себя на пороге одной и другой смерти и все равно питаю сердце ядом». «Уверенный, что умру, но не представляя когда, я знаю — жизнь коротка и мне мало остается жить; то, что я еще жив, приятно чувствам, но не душе, умоляющей меня чтобы я умер».

[2] «Смерть — освобождение из мрачной тюрьмы».

[3] Якопоне да Тоди (ок. 1230—1306) — итальянский поэт, защищавший в духовных песнях аскетическое пренебрежение земными благами.

[4] «Любовные думы, некогда тщетные и радостные,— чем они станут теперь, когда я приближаюсь к смерти? В одной смерти я уверен, другая мне грозит. Ни живопись, ни ваяние не смогут больше успокоить душу, обращенную к Христу, который, чтобы принять нас, раскрыл на кресте объятия».

ДЕНИЗА ЛЕВЕРТОВ

ПОЭЗИЯ В СЕГОДНЯШНЕМ МИРЕ

Имя Денизы Левертов известно советским читателям — ее стихи дважды публиковались «Иностранной литературой» (№ 9, 1966, № 10, 1972), вошли в антологию «Современная американская поэзия» (М., «Прогресс», 1975). В Америке она завоевала признание еще в 50-е годы. Дочь выходца из Белоруссии, англичанка по рождению и воспитанию, попавшая за океан уже после войны, Левертов, однако, оказалась по-особому восприимчивой к типично американским духовным и нравственным коллизиям, к той художественной проблематике, образности, ритмике, которые рождены драматичной и резко контрастной реальностью США XX века.

«Здесь и Сейчас» — так назывался программный для Левертов сборник 1955 года, книга, полемически заостренная против всевластных в ту пору элитаристских концепций «надмирности» искусства и отстаивавшая идею социального назначения поэзии, ее долга перед временем и перед страной.

Стремление проникнуть за поверхность явлений к их сущности, конкретность, аналитичность, высокая простота стиха — всему этому Левертов училась у одного из крупнейших американских поэтов нашего столетия Уильяма Карлоса Уильямса, чье влияние не ослабевает в ее творчестве и сегодня. От опыта Уильямса отталкивались многие современные поэты США, подчас истолковывая его искания чисто формалистически. Левертов переняла от своего учителя главное — способность воспринимать жизнь без односторонности, воспринимать ее живую диалектику, отвергнув расхожие тезисы насчет абсурдного круговорота бытия и трагической обреченности человека.

В понимании Левертов искусство должно из неупорядоченного и порою жестокого хаоса американской действительности вылепить гармонию и целостность. Ни на йоту не поступаясь правдой, оно призвано одухотворить реальность, выявив неубывающие творческие, разумные и гуманные устремления человека и помогая ему строить справедливый мир.

Писательница отстаивает идею содержательности каждого компонента стиха и свободы творческого искания в поэзии, целью которой неизменно остается глубинное проникновение в действительность, постижение ее «строгих законов»,— им, и только им, подчиняется работа поэта, если он верен своему высокому призванию. Высказываемые Левертов мысли порою спорны, в них многое идет от собственной практики — это мысли поэта, а не теоретика. Однако в своей основе ее понимание специфики и сущности поэтического творчества (и, в частности, свободного стиха) безусловно отвечает важнейшим принципам реалистической эстетики, которые были завещаны американской поэзии Уитменом.

«Заповедь», написанная в 1960 году в качестве автокомментария для антологии Д. Аллена «Новая американская поэзия», поясняет эстетический идеал, которому стремится следовать Левертов: поэзия органичная, то есть не признающая никакой искусственности, углубленная по мысли и совершенно естественная по языку, поэзия, сознающая свое общественное призвание — «будить спящих», сопротивляться нравственной апатии, равнодушию, настроениям безнадежности и отчаяния.

В 60-е годы лирика Левертов обогатилась новыми интонациями, четче выступила и ее идейная позиция — глубоко гражданственная позиция активного гуманизма. С первых же недель агрессии США во Вьетнаме Левертов участвовала в антивоенном движении, объединившем лучшие силы американской творческой интеллигенции. Стихи цикла «Жизнь во время войны» (1967), десятки выступлений на многотысячных митингах протеста, поездка в ДРВ весной 1973 года и вьетнамские репортажи, бичующие интервенцию и проникнутые пониманием справедливости дела героического народа,— все это факты, которые говорят сами за себя.

Гражданская и творческая биография поэта слились неразделимо, и их взаимопроникновением объясняется то новое художественное качество, которое всего полнее раскрылось в последних сборниках Левертов — «Чтобы жить» (1971), «Высвобождение праха» (1975). Творческие поиски Левертов направляются мыслью об особенно высокой в наши дни общественной ответственности искусства. Поэтом руководит потребность найти действенные средства вмешательства в сегодняшнюю борьбу за гуманистические ценности, за будущее, которое было бы достойно человека, за идеалы подлинного социального и духовного прогресса. Стихи Левертов — это гражданская поэзия, наследующая и развивающая наиболее демократические традиции американской литературы.

Предлагаемая подборка составлена по материалам сборника статей, лекций и публичных выступлений Денизы Левертов «Поэт и мир» (1973).

Заповедь

Я убеждена, что поэт — это тот инструмент, играя на котором поэзия утверждает свою власть.

Но поэт также и *творец*, мастер; провидцу дано видеть, но он обязан еще и передать то, что видит, чтобы те, кто не видит, прозрели, ибо «мы члены друг другу» [1].

Я убеждена, что каждая точка, каждая запятая — это живая плоть стиха, и они имеют в нем свое назначение так же, как имеет свое назначение каждый мускул, каждая жилка нашего организма. И то, как стихотворение разбито на строки,— тоже действенное начало, необходимое для всей его жизни.

Я убеждена, что содержание определяет форму, но вместе с тем это содержание лишь *через* форму проявляется И, как все живое, оно — тайна. Познание формы может само по себе стать источником глубокой радости: и все же я думаю, что форма как средство никогда не должна, по умыслу ли, по беспечности, навязчиво вставать между читателем и основным смыслом стихотворения,— форма и смысл должны быть сплавлены воедино.

Я не верю, что только воспроизведение ужасов нашего времени является назначением поэзии. Ужасы существуют — это само собой разумеется. Хаос у нас в Америке — обычное состояние. Вообще люди ко многому привыкают, становятся все более толстокожими. Я мечтаю о таких стихах, где внутренняя гармония противостоит хаосу, в котором они создаются. И если ты считаешь, что в поэзии есть социальный смысл, то он заключается в том, чтобы будить спящих, но не потрясением, а иными средствами.

Я считаю Роберта Данкена и Роберта Крили самыми значительными американскими поэтами моего поколения.

Великое достояние

Лекция, прочитанная в январе 1970 года нью-йоркскому обществу «Искусство, религия и современность». Перед лекцией я поставила пластинку с записью поп-ансамбля «Джефферсон Эрплэйн» «Мы можем быть вместе».

«Песни — это мысли, которые вырываются наружу, когда в человеке бурлят великие силы и обычных слов уже не хватает»,— сказал Расмуссену эскимосский поэт Орпингалик [2].

Мы живем во времена тоскливого страха и благоговейного восторга, в нас гаснут и вновь воспламеняются надежды, наша радость напоена горечью недолговечного цветка, а подлинное удовлетворение встречается так же редко, как какой-нибудь чудотворный гималайский лекарственный корень. Обычных слов уже не хватает.

И тем не менее то, что так громко провозглашает современная поэзия, как, впрочем, и проза, не идет дальше абсолютно безжизненных обычных слов. Современные стихи, как и американский хлеб, пекут из обесцвеченной мертвой пшеницы (которую

[1] «Новый Завет». Послание к эфесянам, 4,25. *(Прим. перев.)*

[2] Цитата заимствована из «Примитивной песни» сэра Мориса Боура (Нью-Йорк, 1963). *(Здесь и далее — прим. автора.)*

якобы витаминизируют, возвращая в потерявшую всякую ценность муку малую толику жизни), и подобные стихи только без пользы нагружают желудок. «Какую ценность может представить собой документальный реализм,— писал Пруст в «Возвращенном времени» [1],— если под теми несущественными деталями, которые ему удается заметить, как раз и прячется реальность — прелесть отдаленного рокота самолета или величавость стройных шпилей Сент-Илэр, прошлое, о котором вдруг напомнил вкус пирожного,— и все это не имеет смысла, если его не извлечь на свет. Наши мысли, наша жизнь — вся реальность складывается из цепочки неточных впечатлений, которые звено за звеном копились в нашей памяти и в которых уже ничего не осталось от того, что мы в действительности пережили, и вся эта ложь просто воспроизводится так называемым «искусством, отражающим жизнь», искусством тощим, скудным, как и сама жизнь, лишенная всякой красоты (я имею в виду поверхностную, ложную жизнь), искусством, являющимся лишь повторением того, что видит наш глаз и замечает наш ум (и опять же я это понимаю как поверхностную работу ума в отличие от глубокого понимания), искусством таким скучным, таким бесполезным, что непонятно, откуда в художнике появляется та веселая искорка энергии, которая заставляет его не бросать работу, выполнять свою задачу. Напротив, величие подлинного искусства... заключается в том, чтобы снова обнаружить, снова ухватить, сделать живой *ту реальность, которую мы все чаще теряем, подменяя ее тупо неопровержимыми знаниями из учебников; есть опасность, что мы так и умрем, не узнав эту реальность, а ведь она и есть сама наша настоящая жизнь*».

Рильке говорил об этой серьезной опасности. «Непрожитая жизнь, от которой можно умереть» — так он ее называл.

Та расхожая поэзия, которая, на мой взгляд, не отвечает нашим потребностям (и которую я, иногда, вероятно, несправедливо, называю «среднезападным стилистическим штампом»), заимствует «документальный реализм», как это ни парадоксально, у одного из величайших современных поэтов — Уильяма Карлоса Уильямса. Многочисленные публикующиеся и непубликующиеся поэты — отдают ли они себе в этом отчет, признаются ли в том, у кого заимствуют,— упростили и вульгаризировали все, что Уильямс сказал об американской манере выражения, о необходимости для живой поэзии черпать форму в интонации и ритмах местных говоров; они неправильно поняли и все, что он сам сделал, чтобы открыть нам неведомые миры вокруг нас. То, что началось как здоровая реакция, как отказ от бесплодной академической риторики, выродилось в небывалое производство *«заметок»*, то есть стихов, повествующих о том, что видено или сделано. Лишенные того энергичного, сочувствующего, вопрошающего духа, который пронизывал даже самые отрывочные стихи Уильямса, эти стихи не вызывают ни чувства сопереживания виденному или сделанному, ни осознания значения этого чувства, они не сообщают того острого ощущения жизни, которое, по словам Уоллеса Стивенса, является одной из главных функций поэзии.

Отсутствие в этих «заметках» всеобъединяющего ума, невидимого, но всеобъемлющего духа связано — и не случайно — с отсутствием в них музыки. Под музыкой я понимаю не простое благозвучие, а музыку языка, которая складывается из звука и ритма, в их взаимодействии со значением слов. Уильямс ревностно боролся за признание ритмической структуры американского языка, и его хилые последователи допускают ошибку, полагая, что он проповедует воспроизведение, легковесное подражание. Нет, он искал истоки, родники жизненной силы, он хотел вновь открыть глубину воображения (где бы ни свершилось это открытие — в языке или в событии), которое впервые одновременно создавало и постигало новое в новом мире; в реальном проявлении такое воображение каждый раз умирало в самом зародыше, его губили, прятали за старыми привычками и сковывающим страхом. Почитайте его произведения — короткие ранние стихи, и «Патерсона», и более длинные стихи его позднего расцвета, начиная с «Музыки пустыни»; и прозу, например, «На американской земле»; и такие очерки, как «Дух Америки»; и специально «литературоведческие» эссе о Паунде, Сэндберге или Стайн; и такие вещи, как «Простота беспорядка», которые трудно отнести к какому-либо определенному жанру. Там все это есть, ясное и глубокое, хотя и сказанное по-разному. Уильямс подчеркивает, что поэту важно быть конкретным, важно определить свое место в истории — но ни в коем случае не за счет воображения. «Они обнаружили,— писал он о первых поселенцах в «Духе Америки»,— что не только покинули Англию, но и прибыли на новое место, и чтобы выжить тут, одних лишь физических усилий было мало, нужно было больше уметь приспосабливаться и к полной перестройке всего, даже самого глубоко личного культурного склада».

Он оплакивает одну за другой неудачные попытки приспособиться, его огорчает роб-

[1] Эти строки приведены в «Творческом видении» (Нью-Йорк, 1960) под редакцией Гаскелл М. Блок и Германа Сэлинджера, которые ссылаются на издание «Рэндом хауз» (1932), где это произведение называется «Вернувшееся прошлое»; при этом они добавляют, что текст данного отрывка был исправлен «в соответствии с изданием «Галлимар», 1954 г.». Я пользуюсь словом «возвращенный» (retrieved), а не «вернувшийся» (recaptured) из соображений личного вкуса.

кое цепляние за формы, рожденные иными обстоятельствами; а редкий скачок воображения в необходимо новое, в новую необходимость наполняет его ликованием. Собрание поэтических произведений Сэндберга, вышедшее в 1948 году. Уильямс разгромил как раз за отсутствие четкой формы, отсутствие изобретательности Если он и недооценивал Уитмена (а это бывало), то только потому, что Уитмен, по его мнению, пошел недостаточно далеко, не создал структурную модель, которую последующие поэты могли бы использовать и затем пойти еще дальше,— таким образом, считает Уильямс, Уитмен отодвинул американскую поэзию назад, а не продвинул ее вперед (хотя, конечно, это можно с таким же успехом отнести за счет неготовности молодых писателей того времени оценить его попытки в этом направлении и использовать их). Уильямс критикует Уитмена и Сэндберга за американское, «домашнее» содержание и отчетливо американскую художественную манеру и превозносит По, Каммингса, Паунда, Марианну Мур, которые не могут похвастать тем, что вообще обращались к американской манере выражения или хоть сколько-нибудь последовательно подражали ей; они не воспроизводили ее в том виде, как это понимают те, кто всуе произносит имя Уильямса, защищая собственную тривиальность. Поскольку поэзия, о которой я здесь говорю, широко распространена, а творящие ее еще молоды (правда, им, как правило, уже под тридцать), то они, возможно, перерастут состояние, которое, если быть снисходительными, можно назвать необходимой фазой в их личном развитии. Поэтому я постараюсь избежать нападок на того или иного из них, приводя цитаты из конкретных произведений, и попробую, подобно орнитологу, в своей «полевой книжке» описать сам тип стихотворения. Обычно такое стихотворение — не удовлетворяющее нашим требованиям — начинается с личного местоимения, по крайней мере, местоимение входит в состав самого первого, обязательно короткого, предложения. Конечно, нельзя сказать, что это недопустимо ни при каких обстоятельствах; в поэзии нет недопустимого, важно, чтобы в стихе все жило и выполняло свою функцию. Но в той поэзии, о которой я говорю, начало с «Я» обнаруживает неосознанный эгоизм автора, считающего наш интерес к его личности закономерным, хотя ему не удается дальнейшим развитием стиха контекстуально обосновать этот интерес. В романтической традиции личное местоимение оправдывается каждый раз, когда поэт откровенно и без всякого стыда делает свои чувства предметом стихотворения, но действенность этого метода ставится под сомнение, как только поэт дерзает претендовать на объективность. Те стихи, которые я имею в виду, во-первых, должны быть названы банальными, серыми, даже газетными, во-вторых, объединяя в любопытной пропорции жалость к себе и хвастовство, они выпячивают на передний план личность поэта; прибавьте к этому проявления романтизма, который поэт сам в себе отрицает, романтизма, понятого неправильно и тем самым сниженного. Затем поэт обращается к описанию какого-либо события и нередко сообщает попутно, что ему уже за тридцать, что он преподаватель или доцент и довольно часто пьет пиво с другими доцентами и преподавателями, что у него есть или была жена, о чем он в некотором смысле сожалеет. Описываемое событие (а оно скорее описывается, чем показывается в ярких красках) носит тривиально-ностальгический характер, и автор вполне естественно проявляет здесь не страсть, а то, что принято называть «сухим юмором» (эвфемистическое обозначение кислого цинизма).

Поскольку глубинные, подсознательные источники песни и образа загнаны в глубокое подполье, мысли и впечатления так и не становятся песнями, а образы так и не вспыхивают, они лишь тлеют. Реакцией на подобную банальность является другая не менее популярная и столь же недоброкачественная поэзия, которую я называю «механическим сюрреализмом», так как под сюрреалистической формой здесь не скрывается настоящее сюрреалистическое содержание. Собранные из случайных заметок, припасенных в записной книжке на черный день, эти стихи ничего не исследуют, хотя и тщатся выдать себя за подлинное искусство; они — подделка, сознательная иррациональность; их творит не воображение, не фантазия, которым свойственно обаяние искренности, а *псевдо*воображение.

Несмотря на внешние различия в содержании, эти два вида поэзии на самом деле очень похожи, о чем свидетельствует отсутствие четких формальных расхождений между ними. Пишет ли поэт о пивных бутылках, воскресных комиксах и провинциальной тоске или о необычно напряженной и расплывчатой фантасмагории, его компетентные заметки остаются... всего лишь компетентными заметками, ничем не приметными и ничем не примечательными в ритмическом и звуковом отношениях.

Кто же нам тогда нужен? Нам нужна новая ипостась, нам нужен художник-переводчик. Я веду речь о «переводе» читателя в другие миры. Позвольте мне снова процитировать Пруста: «Я осознал, что для описания этих впечатлений, для того, чтобы написать главную книгу, единственную правдивую книгу, настоящему великому писателю не нужно ее выдумывать (в современном понимании этого слова), поскольку она уже заложена в каждом из нас; он должен лишь перевести ее. Долг и задача писателя — это долг и задача переводчика». Что он хотел этим сказать? Давайте проанализируем само слово. Оно происходит от причастия прошедшего времени латинского глагола transferre — переносить, перевозить на дальний берег. То, что Пруст называет

документальным реализмом, в лучшем случае повествует о том, что было, то есть переносит нас назад, а не вперед, и именно с той «фотографичной» верностью, которую он считал недостаточной для передачи всей сложности нашего опыта [1]. Почти всякий опыт мимолетен, нашим восприятием он переживается слишком быстро и поверхностно, поэтому больше всего мы нуждаемся не в том, чтобы *снова* ощутить его вкус (так же поверхностно), а в том, чтобы по-настоящему, *впервые* распробовать полноценную его сущность. Мой Вебстеровский словарь 1865 года издания определяет слово «перевод» (translation) как перенесение из одного места в другое, вознесение на небеса при жизни». Нам как раз и нужно искусство, которое перенесет нас на небеса подлинной реальности до того, как «мы умрем, так и не познав ее»; искусство, которое не отправит нам информацию, но нас самих перенесет к месту событий, и притом живыми. Английский глагол transmit, так же как и слова mission и missive, произошли от того же латинского корня (mittere — посылать), что и французское mettre или итальянское mettere, которые означают: поставить. Получается так, что в английском слове transmit основное значение связано с отправлением, а в итальянском слове trasmettere — с получением; я как раз сейчас использую английское слово в итальянском смысле, как будто оно означает «перемещать». Если поэтический перевод (или попытка перевода) оказывается слабым или надуманным, ненастоящим, он не только «не усиливает ощущение бытия», а, напротив, затрудняет правильное восприятие, уводит от реальности, от мира, вместо того чтобы глубже проникать в него,— а это своего рода смерть. Нам нужны стихи, которые отойдут от дискуссий и исповедей, описаний и фотографий, забудут о фантазиях ложного сюрреализма и придут к напряженной отточенности, будут стремиться вперед, к волшебству — и эти стихи заставят нас воскликнуть вместе с Карлейлем: «О, они поют!»

Поэзия, которая просто описывает или выдвигает на передний план мелочный эгоизм автора (эгоизм, мешающий глубинному самопроникновению), не свободна от случайностей и не выполняет того, что Дэвид Джонс называет основным условием, sine qua non, искусства, то есть «не воздвигает алтарей неизвестным богам». «Этот парадокс означает,— добавляет он,— что человек может действовать свободно именно потому, что он предан богам. Когда он растрачивает свою веру... ему в удел остается лишь полезное и его творчество начинает походить на работу термита» [2]. В конечном итоге поэзия, занимающаяся исключительно «самовыражением» (в современном понимании этого слова), не может считаться даже наиболее полезной, потому что приносит лишь временное «облегчение чувствам», льстит тщеславию, но не дает и не может дать писателю — а тем более читателю — того глубокого удовлетворения, которое дает автономная и раскованная поэзия.

В нынешнем десятилетии так получилось, что те поэты, которые наименее заурядно часто самым чудесным образом избегают «документального реализма», достигая «сверхъестественного» в поэзии, оказались как раз самыми политически сознательными, и в их творчестве поэтому нет четких границ между «политическим» и «лирическим» содержанием. Ярким примером такого взаимопроникновения двух разных областей может служить творчество Гинсберга и Данкена, Гэри Снайдера, Роберта Блая (в последних произведениях), Голуэя Киннела и Хэйдна Карета — но это относится также и ко многим другим поэтам, которые, на мой взгляд, дают нам то, что необходимо, когда «обычных слов уже не хватает». В наше время поэт, «в котором бурлят великие силы», должен жить столь же активной физической жизнью, сколь интеллектуальной; для того чтобы стать «участником в решении проблемы, а не частью ее самой», он должен научиться действовать там, где ему это под силу, и делать все для свержения Всемирной Федерации Смерти. Если же он не будет бороться против войны и угнетения, он сам перечеркнет все, о чем говорит своим творчеством, а вскоре не будет и человечества, которому он это говорит.

Но интерес поэта к вещам и людям, к мимолетному времени, до краев наполненному прошлым, настоящим и будущим, интерес к подлинной жизни, которая является нашим Великим достоянием, неотделим от интереса к языку и форме. Он должен сознавать, что поэзия революционна по своему существу, а не только потому, что обращается к одному предмету, а не к другому (хотя, если у поэта есть склонность к политике, этого не утаишь, а не быть политически ангажированным — в широком и глубоком смысле этого слова — для взрослого человека последней четверти двадцатого века просто невозможно). Однако, независимо от того, каково содержание — всеобъемлющее или частное, смешное или грустное, сердитое или радостное,— стихотворение может быть подлинно, глубоко революционным, быть настоящей поэзией, «песней, которая удовлетворяет наши нужды», только если в самой своей сути — в звуке и видении она станет восторженным порывом, источником жизни.

---

[1] Я употребляю термин «фотографичный», а не «фотографический». Я испытываю большое уважение к искусству фотографии.

[2] См. очерк известного критика Дэвида Джонса «Искусство и демократия» в кн.: «Эпоха и художник» (Лондон, 1959).

ДЕНИЗА ЛЕВЕРТОВ
ПОЭЗИЯ В СЕГОДНЯШНЕМ МИРЕ

Поэт и мир [1]

Поэт — словно мать в родовых муках. Ей говорили, что будет не больно, но ей так худо, что боль и напряжение кажутся сейчас единственной реальностью. В тот самый миг, как она чувствует, что наступает конец или даже что она уже в аду, слышатся слова доктора: «Это плечики проходят»,— и она понимает, что головка уже вышла и ребенок выскальзывает из нее настойчиво и нетерпеливо — рождается стихотворение.

Поэт—отец. В эту атмосферу, в этот фантастический интерьер родильного покоя, от начала до конца созданного руками человека, заставленного поблескивающими твердыми плоскостями, сверкающего сталью и стеклом, яркими белыми пятнами, безжалостно освещенного,— во всю эту жгучую обстановку входит тонконогий, головастый, со слизью на тонких черных волосиках человечек — результат его мечты, исполнившейся давно, за девять месяцев до этого, когда ритм стал словами, а слова были произнесены и записаны.

Поэт рождается. Он слеп, он уже ощущает новый мир вокруг себя, стенки чрева исчезли, что-то резкое щекочет нос, рот, легкие, и это — голос, и поэт оповещает о себе мир криком гнева и страдания — у него еще нет слез, а тем более смеха. И еще что-то резкое раздражает его глаза — предчувствие, обещание зрения,— и он уже видит. Острый запах дезинфекции штурмует его неокрепшие ноздри; множатся тупые, резкие, дребезжащие звуки — кладут какие-то вещи на стеклянную поверхность, откатывают в сторону столик на колесиках, несколько голосов говорят одновременно; чьи-то руки держат его, скользят по коже, делают что-то с его телом — он ощущает сырое, сырость, сухую мягкость, а потом вверх-вниз, движение — и вот покой в каком-то убежище, и необыкновенное, длящееся целую вечность ощущение того, что лежишь на плоской поверхности и, наконец, близость к чему-то смутно знакомому, мягкому, укрывающему его от всего спокойным голосом — и убаюкивающему.

Прошло два года. Поэт стоит на огромной, открытой площади, вымощенной серыми квадратными плитами. В расселинах между камнями ярко зеленеет мох. Он трогает его пальчиком, холодный на ощупь мох слегка колется и приминается. Внезапно резкое хлопанье крыльев и громкое воркованье отрывают его внимание от мха. Стоящие вокруг люди с длинными ногами боятся, как бы не напугала его стая голубей. но он в радостном восторге смеется и требует хлеба, чтобы кормить птиц. Он бросает кусочки хлеба обеими руками, и голуби взмывают вверх, а кто-то говорит: «Собор. Видишь большое здание? Это — собор». Но он видит лишь огромную дверь, пасть, внутри которой тьма. К его курточке пристало перышко. А потом он в плохо освещенной комнате, под столом, среди ножек стола и ног людей, обутых в ботинки, а одна пара ног без обуви — сброшенные туфли лежат рядом. Он незаметно выползает и впопыхах наступает на что-то—это маленький поезд, игрушка другого ребенка, и поезд сломан, поднимается шум, и снова хлопанье крыльев и громкие голоса, и он стоит среди этой суеты, в молчании и одиночестве, и птицы пролетают мимо, и тот ребенок плачет над своим сломанным поездом, и продолжает звучать слово «собор»... да, прошло уже десять лет, и двуглавая башня собора живет рядом с серыми плитами где-то в самом дальнем углу его обширной памяти, где взметающиеся ввысь башни и летящие голуби означают «собор», и тишина притаилась во тьме большой двери, та же тишина, которую он ощутил тогда под столом,— а голуби, хлопая крыльями в темноте, исчезли высоко в небесах.

В небо их выгнало Время, и он уже прожил десять, двадцать, тридцать лет; он прочел и забыл тысячи книг, и тысячи событий и людей из книг проникли в него звуками, мыслями, логикой, безрассудством — и все это поет и танцует, бродит и ползает, кричит и молчит в его памяти; и не только в его памяти, но и в том, как двигается его тело, в том, что он делает и как поступает, в своих снах ночью и в мечтах днем, и в том, как он располагает слова, идя по дороге, ведущей от ворот аллеи к самому собору, который темнеет в конце ее, удерживая в своем чреве тьму и тишину так же, как два камня удерживают между собой тонкую, шириной с палец, полоску мха.

Я утверждаю, что для поэта, для человека, который создает литературу, не существует такого изолированного предмета, как литературоведение. И для тех, кто хочет понять, что же создал поэт, тоже, следовательно, нет чистого литературоведения. Почему «следовательно»? Потому что нельзя полностью постичь результат, не ведая процесса, который к нему привел. Литературный критик или преподаватель литературы сможет только соскоблить тонкий слой с поверхности, если он в своей жизни ни разу сам не испытал того многомерного взаимодействия ощущений во времени, в пространстве, в памяти, в мечте, в самом своем существе, которые все вместе трепетно пронизывают каждое слово в творчестве поэта, или если он держит чтение в ящике с этикеткой «эстетические наслаждения», отделяя его от своей жизни, от своих поступков. Взаимопроникновение жизни и ис-

[1] Написано для симпозиума на тему «Может ли быть чистое литературоведение?», состоявшегося в Дженезио, штат Нью-Йорк, в апреле 1967 года.

кусства, влияние искусства на жизнь никогда не прекращаются. Цельному человеку необходима поэзия, а поэзии необходимо, чтобы ее не отрывали от жизни. Когда их разлучат, и жизнь, и поэзия увядают, сникают.

Обязанности поэта (это распространяется также и на всех других, кто связан с литературой узами любви, на критиков, преподавателей или просто читателей) заключаются не в том, чтобы обязательно писать «политические» стихи (или именно на них в основном сосредоточиваться, так как они, мол, более других художественных произведений соответствуют духу времени). Писатель обязан лишь *принимать на себя активную личную ответственность за все свои слова и отдавать себе отчет в их потенциальном влиянии на судьбы других людей.* Обязанностью преподавателей и критиков является: не препятствовать динамическому влиянию тех слов, которые они собираются донести до студентов и читателей. А в обязанности читателя входит не предаваться искусственному удовольствию, получая опыт через вторые руки и тем самым сводя литературу до понятия «просто слов», в конечном счете до пустого развлечения, не имеющего ничего общего с жизнью... Когда слова проникают глубоко внутрь нас, они меняют химический состав души, воображения. Писатели и преподаватели обязаны отвечать за все последствия.

Люди часто интересуются, как мне удается сочетать поэзию с политической деятельностью, стихи — с призывом к революции. Вам не кажется, спрашивают они, что когда вы вместе с другими поэтами тратите время на всякие сидячие забастовки, демонстрации, листовки и речи против капитализма, империализма, дискриминации женщин и всякого рода эксплуатации, вы предаете свое творчество? Я отвечаю — нет. Именно потому, что я поэт: как и мои соратники по борьбе, я знаю, что подлинная связь поэта с жизнью не может быть полной (и вообще окажется невозможной), если не осуществится и эта ее сторона. «Но, спрашивается, разве главная задача поэта не заключается в первую очередь в том, чтобы сохранять, оберегать жизнь?» Конечно. И если я говорю о революции, то именно потому, что убеждена — сейчас только революция может сохранить жизнь на земле, уберечь то самое чудо бытия, которое сохраняет и прославляет поэзия. «Но история доказывает, что поэты — даже великие поэты — чаще наблюдатели, а не участники политических событий; когда же они все-таки оказываются вовлеченными в политику, то начинают писать плохие стихи». Хорошие поэты, отвечаю я, пишут плохие политические стихи только в том случае, если намеренно впадают в риторику, используя свое искусство не по назначению, в целях пропаганды. Поэт должен не использовать поэзию, а служить ей. Употреблять ее в своих целях — значит злоупотреблять ею. Поэт, чувствующий необходимость говорить сам с собой о политике, вести внутренний диалог, будет на эту тему писать не хуже, чем на любую другую. Политика становится частью его жизни. Но ведь вопрос не в том, возможны ли хорошие «политические» стихи. Вопрос стоит по-другому: должен ли поэт быть наблюдателем или участником событий своего века? Если уж призывать в свидетели историю для доказательства того, что большинство поэтов не участвовало в событиях своего времени, а стояло в стороне или просто не хотело их замечать, то я могу ответить, что чувство истории должно включать и восприятие настоящего, острое ощущение перемен, кризисов; ведь то, что было уместно в той или иной ситуации прошлого, уже не отвечает требованиям сегодняшнего дня, мы сейчас постоянно живем в состоянии чрезвычайного положения, равного которому в истории еще не было; я думаю, мне не нужно подробно говорить об угрозе ядерного и химического оружия, об экономических катастрофах?

Когда мне было лет семь-восемь, а моей сестре — шестнадцать или семнадцать, она объяснила мне, что человеческий мозг — это нечто вроде комнаты с ящиками, расставленными на стеллажах, как книги в библиотеке, а на каждом ящике своя этикетка. Зная уже термин «серое вещество», я представила себе и комнату, и ящички серыми, как пыль. Смелое сравнение сестры произвело на меня впечатление, но я с удовлетворением вспоминаю, что во мне тут же закопошились сомнения в его достоверности. Однако с тех пор я часто встречала любителей поэзии и литературы, которые ведут себя так, будто они верят в комнату с ящичками и не допускают плодотворного взаимодействия между поэзией и действием.

«Нет мысли вне вещей»,— сказал Уильям Карлос Уильямс. Это не означает, что мыслей вообще нет. Он хочет сказать, что «язык (здесь я цитирую Вордсворта) не облачение мысли, а ее воплощение». «Нет мысли вне вещей», то есть нет голых мыслей,— по существу, это означает, что «все связано». И поэтому слова поэта — не столько манифест о мастерстве, не столько эстетическое кредо, сколько кредо нравственное (хотя и о первых двух их назначениях забывать не следует). Все связано. Бесплотных мыслей не бывает. Эти слова проходят через всю жизнь поэта, они прошли и через мою жизнь, и, я надеюсь, через вашу тоже, сливаясь с другими значениями в сознании, которое совсем не представляет собой серую комнату, заставленную маленькими ящичками...

ДЕНИЗА ЛЕВЕРТОВ
ПОЭЗИЯ В СЕГОДНЯШНЕМ МИРЕ

Из сборника «Писатели о Вьетнаме», 1966 г.

Я категорически против агрессии США во Вьетнаме. Дело не только в том, что эта война — ничем не оправданное вмешательство в чужие дела, лицемерно скрывающееся под маской борьбы за «свободу», хотя в действительности оно преследует лишь стратегические цели правительства, колоссальная власть которого подорвала его же собственные нравственные устои; дело и в том, что эта война ведется зверскими способами. В ней убивают и калечат больше детей, чем солдат. Напалм, фосфорные осколочные бомбы, предназначенные именно для мирного населения; отравленные поля, выжженные леса; эпидемии и кошмарный голод, которые идут следом; коррупция, проституция, всевозможные физические и душевные страдания — нет, ничто и никогда не сможет оправдать подобные преступления.

Насилие всегда порождает насилие и никогда не решит ни одной проблемы, пусть даже на какой-то период времени в нем и видится выход. Даже если мы своевременно остановимся, закончим эту войну и избежим глобальной катастрофы — все равно столь широкое распространение насилия сделает будущее Америки ужасным; ее наводнят люди, морально искалеченные, мучимые — сознательно или бессознательно — ощущением свершенного. Чтобы почувствовать угрызения совести, не обязательно летать на бомбардировщике; можно быть просто американцем, который ничего не сделал или недостаточно сделал, чтобы остановить войну, нужно быть просто человеком. В наше время трудно быть художником именно потому, что трудно оставаться человеком: в атмосфере тупого ужаса, вызываемого сообщениями с фронта, все труднее помнить о радости, о творческих возможностях человеческой души, все труднее реализовать их. Стыд, отчаяние, омерзение — вот что может заставить поэта умолкнуть, пусть даже он находится за тысячу миль от того места, где падают бомбы. И все-таки художники, все сторонники мира должны стремиться преодолеть свое отвращение и активно верить в возможность прекрасной жизни, то есть в то, чему их научило творчество. Я считаю, что прекращение всякого насилия во Вьетнаме и вывод оттуда войск — единственный правильный путь для США. Мне бы хотелось, чтобы после отвода войск Америка, раскаиваясь в содеянном, передала бы народу Вьетнама огромное количество продовольствия и других товаров, причем достаточно много — пусть люди здесь почувствуют, что они действительно отказываются от чего-то, а не просто жертвуют излишки. Мне бы хотелось, чтобы это был просто дар и чтобы всякие американские «советники» сюда не вмешивались, врачей же, сестер и других специалистов, которые действительно могут помочь в восстановлении опустошенной страны, обязали бы просить разрешения работать под руководством вьетнамцев. Это раскаяние, в отличие от чувства вины, которое не находит исхода, поможет нашим детям спокойно жить в будущем.

Выступление на митинге, 1970 г. [1]

Я включилась в движение за мир давно, еще в Нью-Йорке, когда в парке перед городской мэрией мы устроили демонстрацию против обязательных учебных тревог со спуском в бомбоубежище; мы выдвинули лозунг: «Наше единственное убежище — мир во всем мире». Мы носили значки с надписями: «Долой испытания» и «Стронций-90 выгоден лишь могильщикам». По примеру французской интеллигенции, которая выступила с протестом против политики своего правительства в Алжире, я, вместе с другими поэтами моего поколения, участвовала в создании серии реклам на тему «Писатели и художники протестуют против войны во Вьетнаме» для газеты «Нью-Йорк таймс». Митинги и демонстрации участились; ветераны уничтожали грамоты, полученные ими при увольнении из армии, и мы отвозили их в Вашингтон президенту в гробах; мы организовывали поэтические вечера и художественные выставки, издавали антологии и показывали слайды с изображением обожженных напалмом детей. Потом мы перешли к поддержке тех, кто отказался от призыва. Война все тянулась, все такой же оставалась нищета, и усиливался расизм. А демонстрации, становившиеся более многочисленными, все еще были посвящены одному вопросу — прекращению войны во Вьетнаме. И наконец, мою тупую голову, и другие тупые головы тоже, осенило, что борьба за один лозунг бессмысленна. Сегодня я уже понимаю, что конец войнам положить нельзя, не уничтожив систему капитализма и империализма,— я говорю «войны» во множественном числе, потому что войны ведутся во многих странах и повсюду США прикладывают к ним свою руку. Эти войны, взрывающиеся то в Азии, то в Латинской Америке, то еще где-нибудь,— национально-освободительные войны: даже когда американские войска в сражениях не участвуют, народ борется там за самоопределение, против Америки, против американских марионеточных правительств, против ЦРУ с его «советниками», против американского напалма и американских суперкорпораций.

[1] Митинг состоялся на территории Массачусетского университета в Амхерсте 15 апреля 1970 г.

В настоящее время движение за мир должно стать революционным движением, оно должно научить людей тому, например, что борьба негров в США — это борьба за самоопределение, подобная той, которая происходит вне США, и что если мы, радикалы с белой кожей, не будем стремиться к революции, у нас в стране начнутся расовые битвы. Одноаспектное движение за мир тщится одолеть лишь один симптом эпидемии, поразившей все сферы жизни нашего общества; точно так же для людей, обеспокоенных экологическими бедствиями и угрозой еще более страшных катастроф, важно понять, что причиной загрязнения среды является алчная, основанная на прибылях система, а не пытаться справиться с отдельными симптомами. Даже если мы пока боремся со следствиями, мы не имеем права ограничиться лишь одним из них, мы должны объединиться, чтобы уничтожить первопричину. Любой, кто борется за прекращение войны во Вьетнаме, но ничего не делает, чтобы уничтожить политическое и расовое неравноправие в стране, просто не понимает, что происходит. Тех, кто сегодня вышел на улицу с требованиями положить конец войне, нравственность и здравый смысл обязаны заставить выйти также с лозунгом о прекращении суда над Бобби Силом и другими членами организации «Черные пантеры». Когда в Нью-Хейвене начнется суд, туда должно отправиться не меньше демонстрантов, чем в Вашингтон в ноябре. Надо готовить к борьбе все большее количество людей. Кончились дни обычных демонстраций, когда протестовали отдельно против войны и расизма, загрязнения окружающей среды, социальной несправедливости и дискриминации женщин. Я с полной ответственностью за свои слова утверждаю — и если мое утверждение прозвучит апокалипсически, то так оно и должно быть,— что если все люди доброй воли не осознают всего этого немедленно, не начнут действовать сейчас же, у нас не будет будущего — нас ждет все разрастающийся кошмар, а потом — полное уничтожение. Даже в лучшем случае нам уже не избежать страха, террора, кровопролитий. Да и что говорить — посмотрите вокруг себя. Чтобы выжить, и не просто выжить, а обеспечить достойную человеческую жизнь себе, детям и детям детей, нам надо объединиться и признать необходимость радикальных перемен сейчас.

Перевод с английского Э. МЕДНИКОВОЙ

Заметки на полях

«СТАТЬЯ 3/3»

Пять лет назад в ФРГ был принят так называемый «закон о радикалах», который послужил юридической основой для преследований многих прогрессивно настроенных немцев. Слежка, доносы, допросы инакомыслящих и другие тени зловещего прошлого вновь заиграли на сцене Федеративной Республики. И вот Альфред Андерш, бывший узник нацистского лагеря и известный писатель, автор ряда остросоциальных антифашистских произведений, пишет стихотворение «Статья 3/3».

Подчеркнуто канцелярски-сухим названием он как бы говорит: люди, разве вы слепы?! Ведь при всей возможной гиперболичности разве вы не видите опасности понятного скольжения к той дате, роковые цифры которой в заголовке, хотя пока еще и разделенные хрупкой черточкой?! Вот констатирующая часть этого написанного верлибром стихотворения:

«Никто не может быть ущемлен в правах, равно как и пользоваться какими-либо преимуществами в силу своего пола, происхождения, расы, языка, места рождения, своей веры, религиозных или политических убеждений.

Экс-нацисты и их приспешники опять занимаются своим любимым спортом — травлей коммунистов, социалистов, гуманистов, левых, инакомыслящих.

Правые ухмыляются.

. . . . . .

Три десятилетия спустя десяток тысяч новых гестаповцев ведут допросы...

. . . . . .

Новый концлагерь уже построен. Радикально мыслящих изгоняют с государственной службы и, стало быть, загоняют в лагерь, сооружаемый для самой идеи о перестройке общественной сферы. Общество разделено на охранников и охраняемых, как бывало.

Разносится запах, запах газовых камер».

Эти строки стали в ФРГ событием большого политического и культурного значения. Споры, которые несколько месяцев бушевали вокруг поставленного Андершем вопроса, говорят не только о том, что удар пришелся в самую точку, но и о том, что пока существует пресловутый закон, существует и очаг смертельной болезни, которая может отравить весь организм Федеративной Республики.

Еще раз заметим, что реакция на стихотворение была неожиданно бурная. Обвинения, посыпавшиеся на А. Андерша справа, не отличались новизной — «злобное пасквилянтство», «дешевая пропаганда», «не литература вообще» и пр. Кого — от Лессинга, Гейне и до Брехта — миновали эти стрелы немецкой реакции? Одним из первых ринулся в атаку некто Рюле из «Франкфуртер альгемайне». Он обвинил крамольного литератора в незнании сегодняшней жизни в ФРГ (А. Андерш уже длительное время живет в Швейцарии) и клеветническом ее искажении, в злонамеренном «изолированном выхватывании» из ее многообразия «закона о радикалах», совершенно неправомерно сопоставляемого с практикой нацизма. Одним словом, А. Андерш якобы смотрит на западногерманскую действительность глазами «одномерного антифашиста», все, в лучшем случае, невероятно упрощающего, хватающегося за «избитые клише», запугивающего население. А вот «полимерный» демократ Рюле смотрит на вещи широко, всесторонне. Он даже готов допустить, что порожденное «запретом на профессии» беспокойство «можно понять», что о его обоснованности «можно спорить», что его применение «повело к различным сомнительным действиям». Он обнаруживает благосклонную готовность обсудить тезис о родстве «запрета на профессии» с маккартизмом. (Не может не вызывать при этом восхищения подлинно «полимерная» гибкость, с которой под прикрытием полуступчивых словечек Рюле уходит от определения собственной позиции по главному пункту обвинения.) Но, майн герр, сетует Рюле, как же можно бросаться такими словами, как «гестапо», «концлагерь», «газовые камеры»?! О каких пытках может идти речь, когда налицо более или менее нормальная процедура проверки лояльности? «Когда в нашей республике в семидесятые годы свободное слово звучит еще свободнее, чем в конце пятидесятых?»

Тут «многомерный» Рюле как будто бы на секунду медлит, собирается с мыслями и делает ошеломляющий курбет: если уж свободам действительно кто-либо угрожает, то это именно такие, как Андерш, с их идеологической нетерпимостью, стремлением заткнуть другим рот. Вы только вслушайтесь в язык этого пасквиля! Ведь это язык эсэсовской газетенки «Штюрмер»!!

Мы потому так подробно остановились на демагогии «многомерного» Рюле, что она представляет собой весьма характерный набор приемов, которыми постоянно пользуется шпрингеровская печать в травле левых сил ФРГ.

Дискуссия же вокруг стихотворения А. Андерша в умеренной буржуазной печати хотя и была бурной, не носила крайних форм. Она развертывалась в нескольких направлениях: «закон о радикалах» — изолированное ли это периферийное явление, насколько оно угрожает западногерманской демократии? Допустимы ли параллели с фашистской практикой? Сколь свободен художник в своем праве на социально-критическое истолкование действительности? Обеспечена ли свобода творчества реальными общественными условиями?

Риторичность первых вопросов разоблачается самой жизнью, бесспорными реальностями западногерманской панорамы 70-х годов. За четыре года, прошедших после решения об удалении с государственной службы «враждебных конституции» элементов (январь 1972 г.), более полумиллиона граждан ФРГ занесены на перфокарты компьютеров, около 50 тысяч кандидатов на государственную службу подверглись придирчивой проверке, к началу 1976 года велось расследование по делам примерно двух тысяч граждан. Несколько сотен служащих, учителей, юристов, преподавателей высшей школы, сотрудников радио и телевидения и даже железнодорожных служащих, телеграфистов, санитаров «скорой помощи» и других уже потеряли работу. Учащаются случаи, когда по подозрению в контактах с коммунистами жертвами преследований оказываются члены Социал-демократической партии и даже Свободной демократической партии (СвДП), беспартийные, вся вина которых состоит в том, что они когда-то участвовали в демонстрации против американской агрессии во Вьетнаме или собирали подписи под воззваниями в пользу европейской безопасности. Но существующие цифры и сведения отнюдь не исчерпывающи, официальных данных нет, а пресса весьма неохотно обращает свой взор на эту постыдную для западногерманской действительности сторону.

И все же и западногерманская, а в последнее время и международная общественность все чаще и тревожнее обращается к политическим преследованиям в ФРГ и срав-

нивает их со средневековой охотой на ведьм, с маккартизмом и с нацистской практикой. Бельгийский журнал «Хебдо» пишет об использовании гестаповских досье при расследовании дел детей и внуков узников третьего рейха. (Боннская демократия, кажется, вносит своеобразный вклад в сближение народов и культур: французская и английская печать нередко употребляет немецкое слово «беруфсфербот» — запрет на профессии — для обозначения подобной практики.) «Изолированное явление?!» Даже «Форвертс», орган СДПГ, министры которой способствовали принятию антиконституционного закона и ныне со всем рвением претворяют его в жизнь, писал недавно о «внутриполитическом климате нервозности и запуганности, пресмыкательства и доносительства» как прямом следствии кампании по проверке лояльности. Ему вторит гамбургский либеральный еженедельник «Цайт»:

> «От опасности нельзя отмахнуться: «закон о радикалах» воздействует на всю духовную жизнь страны... Все развитие событий ведет к ужесточению мер подавления и цензуре».

Полемизируя в дискуссии, А. Андерш решительно отказался вступить на примирительный «золотой мостик», который строили ему его оппоненты: параллель с нацистскими методами если и «сомнительный», то все же допустимый прием чисто литературной гиперболизации...

> «Я непоколебимо тверд. Я ничего не преувеличил. Концлагеря и пытки выражаются уже сегодня в том, как допрашивают учителя или юриста, а затем лишают работы, разрушают основу их существования. Я не ставлю ФРГ на одну доску с фашизмом, но характеризую вполне определенный элемент федеральной политики как фашистский. В этом обществе налицо раковая опухоль фашизма, которая любой ценой должна быть хирургически удалена».

За последнее время все множатся доказательства «свободы» творческой интеллигенции на берегах Рейна.

Событием, далеко идущие последствия которого остались как-то недооцененными западногерманской общественностью, стало введение в начале 1976 года своего рода цензуры в результате единодушного принятия бундестагом нового параграфа уголовного кодекса — 88а. Согласно этому параграфу трем годам тюремного заключения подвергается всякий,

> «кто будет распространять, публично демонстрировать, издавать или делать доступными, изготовлять, поставлять, хранить, предлагать, рекламировать, рекомендовать, пытаться ввозить или вывозить печатные материалы, подстрекающие к совершению преступлений против целостности и безопасности Федеративной Республики Германии или против ее конституционных принципов».

Содержащаяся оговорка, что эти положения не распространяются на произведения литературы, науки, искусства,— слишком хрупкая гарантия в нынешних западногерманских условиях. Кто же будет решать, где пролегает грань между искусством и политикой, наукой и классовой борьбой, литературой и пропагандой? Кто будет определять, представляет или не представляет собой покушение на конституционные принципы сочувственный репортаж о первой национальной забастовке печатников (май 1976 г.), произведение ли он искусства или «печатный пропагандистский материал»? Кто будет держать палец на весах боннской Фемиды, когда Федеральное ведомство по охране конституции бросит на одну из чаш магнитофонную ленту с записью университетской лекции по социологии, трактующей учение о классовой борьбе? Кто будет выносить решение, является ли она подстрекательством к нарушению безопасности или нет? Судьи и прокуроры, а на практике — еще чаще — исполнительная власть и бюрократия различных уровней.

Со ссылкой на «защиту демократически-правового строя» лишают дотации театр, если он отваживается поставить пьесу с социально-критической заостренностью, лишают средств хоровой ансамбль, включивший в свой репертуар произведения Брехта — Эйслера, упраздняется рубрика в теле- или радиожурнале, едва ее направленность на-

чинает казаться «сомнительной». Аннулируются контракты на заказанные фильмы и телепостановки, чуть только закрадывается подозрение в благонадежности материала. А уж если кто-то отважится в открытую, во всеоружии фактов и с указанием адресов напасть на сильных мира сего, то расправа — изгнание с работы и судебный процесс — вершится быстро и неминуемо. Классический пример подобного рода — дело журналиста Петера Клейнерта, сотрудника газеты «Кельнер штадт-анцайгер». Он создал документальный телевизионный фильм, в котором нанес двойной разоблачительный удар — по химическому заводу «Динамит Нобель АГ», входящему в могущественный концерн Флика, на котором из-за несоблюдения элементарных правил техники безопасности было зарегистрировано 120 отравлений и три смертельных случая, и по порядкам в мире прессы — в том числе и по своей газете, которая, будучи финансово зависимой от монополий, сознательно замалчивала информацию о преступной экономии на здоровье рабочих.

Об истинных масштабах подавления мысли и слова в Федеративной Республике середины 70-х годов судить по этим отдельным, проникшим на страницы печати фактам, разумеется, нельзя. Действительные последствия ужесточения законодательства, судебных и полицейских преследований уже сегодня неизмеримо шире и глубже. Запугивание, «дисциплинирование», атмосфера нетерпимости, введение «самоцензуры» — таковы реальные и важнейшие цели и результаты похода против честной прогрессивной интеллигенции.

Постепенно расширяется круг западногерманской интеллигенции, сознающей глубинные причины ограничений творческой свободы в ФРГ и пришедшей к пониманию зависимого, социально негарантированного положения художника в обществе прибылей и монополий. Для мироощущения более широких интеллигентских слоев, по-видимому, симптоматична появившаяся в полемике вокруг стихотворения А. Андерша статья Д. Биалласа, второго бургомистра Гамбурга, секретаря (то есть министра) по делам науки и искусства этого города, одного из руководителей гамбургской организации СвДП. Вот ее наиболее важные, не нуждающиеся в комментариях положения.

> «Нельзя удовлетворяться чисто правовой гарантией свободы, если мы не хотим, чтобы она и впредь оставалась всего лишь фикцией и иллюзией. Это относится и к свободе художественного творчества, она нуждается в каком-то минимуме социальных предпосылок, в общественном шансе на самовыражение... Этот шанс для писателя сегодня определяется в основном рынком».

Это убийственно для культуры, потому что «ведет к отказу от культурной политики». Писатель и художник бессильны перед лицом издательских концернов, телевизионных студий и радиостанций, они не свободны в выборе тем и выражении своих взглядов.

«Статья 3/3» — не первый акт демократического протеста творческой интеллигенции и писателей Западной Германии против травли левых сил на основе «закона о радикалах». Его осудили Б. Энгельман, Ф.-Й. Дегенхардт. П. Шнейдер выступил с повестью «...И вот ты уж и враг конституции». «Запрет на профессии» (с упоминанием имени А. Андерша) подвергся резкому осуждению съезда писателей ФРГ в Штутгарте.

...Прежде чем занавесу окончательно опуститься, к рампе выходит актер и читает стихи. Они вышли из-под пера Мартина Нимеллера, протестантского пастора, бывшего узника нацизма, всемирно известного борца за мир; в них — итог глубокого и жизнью выстраданного познания:

«Когда нацисты схватили коммунистов,
Я молчал. Я не был коммунистом.
Когда они отправили на каторгу социал-демократов,
Я молчал. Я не был социал-демократом.
Когда они взялись за католиков,
Я не протестовал. Я не был католиком.
Когда они схватили меня,
Уже не оставалось никого, кто мог бы протестовать».

Таков финал спектакля, поставленного (вопреки яростному сопротивлению ХДС) муниципальным театром во Франкфурте-на-Майне по материалам допроса и увольнения со службы двух молодых преподавательниц, игравших на сцене самих себя. В феврале

1976 года в Висбадене, в Гессенском государственном театре, состоялась премьера спектакля «Свобода умирает сантиметр за сантиметром...», поставленного по мотивам новеллы Хорвата, написанной еще до прихода нацистов к власти и рассказывающей о трагической судьбе учительницы, изгнанной со службы по обвинению в принадлежности к коммунистической партии. (Кстати, помнят ли «полимерно»-лицемерные демократы из «Вельт» и «Франкфуртер альгемайне», что уже в конце 20-х годов был издан закон против учителей-коммунистов и что в 1930 году Франкен, нацистский министр культуры земли Тюрингия, где фашисты уже вошли в правительство, уволил из школ и всех преподавателей социал-демократов?)

Выступления западногерманской интеллигенции против антиконституционных преследований и ограничений вливаются в более широкое демократическое движение. К началу 1976 года было собрано более миллиона подписей под призывами положить конец «запретам на профессии», острие которых объективно нацелено на левые силы в обстановке, когда правые чувствуют себя безнаказанно, активизируют свою деятельность, создают новые организации, продолжают занимать ответственные посты в государственных учреждениях. Большую работу ведут свыше 350 постоянных комитетов и инициативных групп. Особенно горячо и интенсивно борется лучшая часть университетской интеллигенции и студенчества. По призыву инициативных групп в высших учебных заведениях Гамбурга, Бремена, Геттингена, Фрейбурга и других более 2500 профессоров выразили публично свой протест против полицейской слежки и затыкания ртов.

Нет, не А. Андерш «придумал» сопоставление сегодняшних методов преследования инакомыслящих с фашистскими приемами травли прогрессивно настроенных немцев. Боннскую демократию подрывают ее самые ревностные «хранители». А исторические параллели на устах у многих — и внутри и вне Федеративной Республики.

В. ИЕРУСАЛИМСКИЙ

Публицистика

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ

I. ПОРТУГАЛИЯ: КАК БЫЛ РАСКРЫТ ЗАГОВОР

Репортаж с магнитофонной ленты

Репортаж западногерманского писателя и публициста Гюнтера Вальрафа о том, как им были раскрыты планы нового путча, который готовил в ту пору изгнанный из Португалии ее бывший президент генерал Спинола, на мой взгляд, принадлежит к самым блестящим публицистическим произведениям последнего десятилетия. А если добавить, что магнитофонные записи, легшие в основу этого репортажа, были сделаны Вальрафом с огромным и многократным риском для жизни, то думается, что вряд ли можно преувеличить тот интерес, с которым встретят читатели это произведение на страницах журнала «Иностранная литература».

И все-таки к тому общему интересу, который оно несомненно вызовет, у меня прибавляется и доля личного интереса, подтолкнувшего меня написать это вступительное слово. Дело в том, что я не только, как и все мы, следил за событиями в Португалии, не только читал о том, как генерал Спинола после антифашистского переворота в апреле 1974 года оказался сначала ее президентом, а затем, после двух своих неудачных путчей, контрреволюционным эмигрантом. Мне довелось еще и видеть генерала Спинолу всего через месяц с небольшим после революции, в тот период, когда генерал еще только распускал крылья в достаточно неожиданном для него качестве президента страны, народ и вооруженные силы которой свергли фашизм.

Прочитав репортаж Вальрафа, я заново вспомнил свою тогдашнюю встречу со Спинолой.

Встреча эта имела некоторый особый оттенок из-за состава той международной делегации, которую принимал генерал, ставший президентом. Это была делегация Всемирного Совета Мира, возглавлял ее бельгийский священник, а входили в нее французский левый радикал, финская социал-демократка, польский католик и советский коммунист. При существовавшем в делегации единстве взглядов на проблемы защиты мира и борьбы с фашизмом в любом его обличье состав делегации, как видим, был достаточно разнообразен для того, чтобы располагать осведомленного об этом генерала-президента к осторожности в своих высказываниях. Эту осторожность, надо ему отдать должное, он и проявил тогда.

Вернувшись в Москву, я отвечал на встревоженные вопросы людей, из памяти которых, так же как и из моей собственной, не выходила чилийская трагедия. Они спрашивали — а не произойдет ли в Португалии того, что произошло в Чили. И я отвечал, что, по-моему, нет, все-таки не произойдет, потому что слишком уж единодушно, по моим впечатлениям, было встречено португальцами падение фашистского режима. И после почти полувекового обрыдшего народу владычества этого режима почва для его немедленного и кровавого возрождения была слишком неблагодатной.

И все-таки мысль о возможности кровавых попыток повернуть вспять колесо истории приходила в голову и тогда. Но мысль эта связывалась с какими-то другими, неизвестными мне, где-то тайно существующими и действующими личностями, а от-

нюдь не с личностью генерала Спинолы, только что посаженного в президентское кресло свергнувшими фашизм силами и говорившего нам, делегатам Всемирного Совета Мира, о демократии, самоопределении народов и необходимости решения колониальных проблем.

Обращаясь ко мне и к моему польскому коллеге генерал Спинола с некоторой напряженностью в голосе, за которой мне почудилось даже волнение, счел нужным подчеркнуть, сколь существенное значение он придает будущему развитию отношений Португалии с социалистическими странами и сколь многое от этого может зависеть.

Сидя тогда вместе со своими коллегами у него на приеме, я с чужих слов уже кое-что знал о прошлом генерала. Знал, что он, молодым офицером, воевал на стороне Франко против испанских республиканцев, знал — и написал об этом. Знал я и то, что он был португальским военным наблюдателем в гитлеровской армии во время ее похода на Восток,— знал, но об этом тогда не написал, ибо тридцать лет — достаточное время для метаморфоз, и мне казалось, что, рассказывая о первой встрече с президентом Португальской Республики, необязательно спешить с напоминаниями еще и об этой странице его биографии. Тем более что как-никак, а восставшие португальские офицеры, совершив революцию, предложили пост президента именно этому, а не какому-нибудь другому генералу.

Но кроме всей этой логики было еще одно острое иррациональное чувство, которому я, однако, стремился не поддаваться. Это было чувство какой-то физической неприязни к человеку с моноклем. В глазной впадине у генерала Спинолы сидел монокль, он вынимал его и снова вставлял и смотрел на нас сквозь этот монокль — и в этом было что-то непривычно раздражающее и даже ненавистное, словно этот монокль существовал отдельно от всех тех слов о мире, о демократии, о самоопределении народов и о будущих отношениях с социалистическими странами, о которых говорил генерал. Слова существовали отдельно, а монокль отдельно, сам по себе. И в нем было что-то раздражающе-ненавистное. Вернее, не в самом монокле, а в возникавших в памяти ассоциациях. В пионерские годы монокль был для меня английским министром иностранных дел Остином Чемберленом, чучело которого, именно с моноклем в глазу, мы таскали на демонстрациях. За этим моноклем Чемберлена были для нас налеты на наше торгпредство в Лондоне, разрыв дипломатических отношений, ультимативные ноты, угрозы войной.

А потом, в годы проведенной на войне молодости, монокль в глазу — это были фашистские генералы: и фельдмаршал Кейтель при подписании капитуляции в Берлине, и многие другие генералы, еще не поверженные, а наглые, торжествующие, запомнившиеся на страницах трофейных фашистских газет и журналов.

Человек, в общем-то склонный подчинять свои чувства логике, я не поддался тогда этой вспышке неприязни, возникшей у меня при виде монокля в глазу у Спинолы.

И сейчас, читая репортаж Вальрафа, думаю, что зря не поддался, ибо этот кейтелевский монокль в глазу и был настоящим Спинолой — не его вынужденные обстоятельствами слова, а этот органический монокль. И за напряжением, с которым обращался к нам Спинола, говоря об отношениях с социалистическими странами, стояло не волнение, а ненависть. Это было напряжение ненависти, точнее — напряжение, вызванное необходимостью сдерживать ненависть.

Ныне, в репортаже Вальрафа, генерал Спинола предстает перед нами в своем истинном виде.

Не скрою, вспоминая тогдашнюю, двухлетней давности, мимикрию генерала, я поначалу даже как-то поразился той граничащей с недержанием откровенности и неосторожности, с которой, разговаривая с Вальрафом, выхлестывал из себя генерал все свое содержимое, не оставляя на непредвиденный случай никаких запасных позиций.

Но потом я подумал, что, очевидно, между человеком, только что получившим в свои руки власть на гребне чуждой ему революции, и человеком, утратившим эту власть, дважды во время двух неудачных путчей пытавшимся захватить ее и готовившимся к этому в третий раз,— между тем и другим человеком есть некая психологическая разница. Очевидно, несмотря на внешнюю браваду и неизменяемость облика, неудачи породили в генерале некий внутренний комплекс неполноценности, который и проявился в этом недержании речи, в этом лихорадочно-болтливом взрыве восторга при встрече с мнимыми единомышленниками.

Да ведь и правда, подумать только: времени от самолета до самолета в обрез, а перед генералом в лице Вальрафа и его друзей — чуть ли не всеевропейская аудитория, перед которой можно развить взгляды не только на будущее Португалии, но и мира!

Конечно, если говорить об идиотизме положения, в котором оказался попавший впросак генерал, то здесь присутствует немалый элемент комического. Но не стоит забывать и о другом — что волк, которому прихватило капканом лапу, продолжает оставаться волком. И за те одиннадцать миллионов марок, которые на первый случай собирался получить генерал, предполагалось пролить целые реки крови. И списки оружия, которое для этого требовалось, были составлены не только с размахом, но и со знанием дела. Генерал Спинола — человек военный, этого у него не отнимешь.

Да, с известной долей основания можно предполагать, что после разоблачений Вальрафа генерал Спинола может оказаться отнюдь не лучшей картой в той кровавой игре, которую разыгрывают португальские фашисты. Но надо думать, в их колоде отнюдь не одна эта карта, на Спиноле свет клином для них не сошелся, а сама игра, скорей всего, так или иначе продолжается.

Гюнтеру Вальрафу было всего два года от роду, когда Фучик написал свои предсмертные слова: «Люди, я любил вас, будьте бдительны!» К несчастью для человечества, за эти три десятилетия горькая злободневность слов Фучика вряд ли уменьшилась. И я думаю, это мое чувство разделят все, кто прочтет наглядно подтверждающий это репортаж мужественного немецкого антифашиста Гюнтера Вальрафа.

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

1976, июль

От редакции журнала «Блеттер» [1]

За время своей многомесячной журналистской поездки по Португалии в начале этого года Гюнтеру Вальрафу удалось проникнуть в систему подпольных организаций португальской реакции и взять «интервью» у их представителей, выдав себя за агента финансово сильных реакционных западногерманских политических кругов, что для португальских правых является, как выяснилось, фактом нормальным и побуждающим к откровенности. Шаг за шагом поднимался Вальраф по иерархическим ступеням ДДОП, контрреволюционной организации, возглавляемой генералом Спинолой, вплоть до невероятной встречи и беседы с самим генералом, который, надеясь на финансовую поддержку и поставку оружия из ФРГ, лично прибыл в Дюссельдорф и в подтверждение фактов и свидетельских показаний, собранных Вальрафом в Португалии, раскрыл перед журналистом всю картину разносторонних, а подчас и «интимных» связей антидемократического заговора с заинтересованными в нем внутренними и международными политическими группировками, с «добропорядочными» правыми партиями, с экономическими, военными и клерикальными кругами.

И теперь, как это уже не раз бывало, своими протестами против методов Вальрафа заинтересованные круги пытаются отвлечь внимание общественности от вопиющего содержания его разоблачений, оказавшихся возможными только благодаря таким приемам. И так как Вальрафу удалось напасть на след преступления «чилийских масштабов», предотвратить его, то мы считаем, он заслуживает внимания и уважения всех сторонников демократии.

Собственно говоря, я предполагал совершить по Северу лишь небольшую поездку. Для контраста с южным Алентежу [2], где я прожил три месяца в одном из кооперативов. Две трети тамошней земли стали собственностью сельхозрабочих, которые обрабатывают теперь уже им принадлежащую землю в более чем пятистах кооперативах, легализированных правительством.

На севере же Португалии из некогда совершенно неимущих поденщиков сложилась сравнительно большая прослойка малоземельных крестьян и арендаторов, чьи урожаи, собираемые с зажатых стенами участочков, гарантируют нередко не более чем полуголодное существование; тем не менее эти люди на своих клочках земли чувствуют себя собственниками и от коллективного ведения хозяйства большей частью отказываются.

На здешнее население, около 30% которого составляют неграмотные и 60% — полуграмотные, едва могущие написать собственное имя, большое влияние имеет церковь. Если не считать либерально и антифашистски настроенного епископа Порту, который во времена Салазара вынужден был эмигрировать и который приветствовал революцию 25 апреля 1974 года как отвечающую духу христианского учения, представители высшего клира занимают та-

[1] «Блеттер фюр дойче унд интернациональе политик» — ежемесячный западногерманский прогрессивный общественно-политический журнал, издающийся в Кёльне.

[2] Район Португалии, производящий основную сельскохозяйственную продукцию.

кую политическую позицию, на фоне которой наши, отнюдь не прогрессивные, западногерманские епископы выглядят настоящими вольнодумцами.

В Браге, патриархальном епископском городе, находится резиденция верховного епископа Иберийского полуострова, примас-архиепископа Франсишку Мариа да Силва. Его епископат — богатейший в стране как по мирским благам, так и по количеству пастырей. Он повелевает такой армией священников, какой не располагают прочие епископаты Севера, вместе взятые. Ему подчинены все издаваемые на Севере газеты, он владеет также типографиями, издательствами, участвует в прибылях промышленных компаний. Под его попечительством находится Монти-Шамейру под Брагой с гостиницами и туристскими заведениями — второе после Фатимы крупнейшее место паломничества португальских богомольцев. Однако с 25 апреля 1974 года «чудесные исцеления» пошли на убыль, о чем свидетельствует уменьшение количества выставляемых напоказ костылей, корсетов, бандажей и благодарственных писаний.

Несколько месяцев назад архиепископ дал публичный обет в том, что если до конца 1976 года коммунизм в стране будет побежден (точнее, то, что он под коммунизмом понимает: Коммунистическая партия Португалии для него значит то же, что марксизм-ленинизм, а социалистическая партия — марксизм), то во главе своей общины он совершит паломничество к Святой Деве на Монти-Шамейру. Время торопит. В пастырском послании он тотчас провозгласил отлучение коммунистов от церкви, обосновав свою воинствующую позицию тем, что «при Салазаре и Каэтану церковь слишком много молчала», из чего следует вывод — «и мы не хотим второй раз совершить ту же ошибку». О молчании при Салазаре говорить, впрочем, вряд ли стоило, так как в те времена архиепископ называл в проповедях своего друга Салазара «новым воплощением короля Себастьяна, который ведет Португалию к славному будущему».

Начиная с 25 апреля 1974 года кафедры его преосвященства постоянно призывают к крестовому походу против левых. Звучат инквизиторские требования «истребить осиные гнезда красных». Когда передовые отряды революционных солдат столкнулись с деревенскими жителями отдаленной провинции Траз-уж-Монтиш (Загорья), где нет ни электричества, ни радио, то им показалось, что эти жители бездетны. Однако вскоре этому факту нашлось объяснение — в церковных проповедях утверждается, что коммунисты хотят отнять у крестьян детей, чтобы поместить их в школы партийных кадров, что «стариков — тех, кто не может работать, будут убивать выстрелом в затылок». Поэтому всех детей предусмотрительно укрыли в горах.

«Сатана против Христа», или Архиепископ Браги и битва с коммунизмом

Как попасть на аудиенцию к архиепископу, могущественнейшему князю португальской церкви, который по меньшей мере психологически помог подготовить и благословил более 300 подрывов, пожаров, разграблений коммунистических, социалистических и профсоюзных центров Севера? Архиепископ известен своей неприязнью к прессе: вот уже более полугода он не дает согласия ни на какие интервью. Свидания в его дворце удается добиться ссылкой на влиятельного промышленника д-ра Николау, друга архиепископа. Двухчасовой разговор в резиденции архиепископа состоялся в присутствии секретаря архиепископа д-ра Фернанду Карвалью Родригиша, пухленького бодрячка лет за тридцать, который знанием немецкого обязан своим частым визитам в кёльнский епископат. Д-р Ф. пишет тексты воинственных речей архиепископа и является фактическим главой «Диариу ду Минью», крупнейшей ежедневной газеты области, входящей во владения епископата, и одновременно постоянным автором передовиц. «Он скажет вам, что я думаю»,— говорит архиепископ.

Моя коллега Хелла Шлумбергер переводит с португальского: «Нас меньше интересуют мирские политические перипетии, прежде всего нас волнуют интересы церкви». Свою вступительную речь, произносимую из тактических соображений, я мог бы и опустить. Архиепископ сразу переходит к делу, церковное для него — только предлог, чтобы «дорваться» до политики. Христианских принципов как не бывало. Массивный золотой крест на его груди напоминает мне сувенир с одного из испанских мест паломничества: нажатием кнопки выбрасывается острый клинок.

— Чтобы заблечь массы,— говорит архиепископ Франсишку да Силва,— коммунизм начал войну против церкви. И она вынуждена принять этот бой не человека против человека, а сатаны против Христа. Главный удар коммунизма направлен против религии, семьи и собственности. И так как оборонительных боев недостаточно, следует переходить к энергичному наступлению повсюду: на заводах и фабриках, в торговле, в банках, в управленческом аппарате и в общественных учреждениях, в школах и спортивных клубах. Битва идет «за» или «против» бога. Отступничество было бы предательством. А предательству — смерть!.. Важнейшим бастионом, который штурмуют коммунисты, является собственность. Разрушить его — значит разрушить человека. И здесь либерализм проделал предварительную работу: он лишил собственности многих и передал ее немногим. Марксизм хочет сделать не что иное, как

лишить собственности и этих немногих.... Всякая пролетаризация — от дьявола. Наш христианский долг — всеми силами защищать этот христианско-социальный миропорядок, единственный, который в настоящий момент способен спасти наше общество от величайшей опасности. Если мы не устоим, наступит коммунизм.

Но — обратите внимание! — недостаточно называть себя антикоммунистом, многие делают это просто из соглашательства.

Коммунизм вызывает нас на битву. Мы знаем его тактику. И знаем, какой должна быть наша. Чего мы ждем?!

Маленький, банальный, к тому же совершенно превратный политический «эскиз», набросанный мною, вызывает у секретаря архиепископа, д-ра Ф., рупора своего господина, приступ восторженной солидарности и доверия. Когда д-р Ф. называет министра сельского хозяйства социалиста Лопиша Кардозу «переодетым коммунистом, подобно большинству в этой партии», я рисую на бумаге серп и молот с двумя линиями: одна, продолжение молота, ведет прямо, другая, продолжение серпа, описывая большую кривую, скрещивается в конечном счете с первой. Прямая символизирует коммунизм, кривая — социал-демократию. Первоначальная сдержанность и осторожный скепсис служителя церкви словно улетучились. Он вскакивает, снимает с большой стопы бумаги маленькую книжечку и торжествующе протягивает ее мне: «Это же наша теория! Именно в таком виде я ее здесь и представил». Этот политический катехизис называется «Как распознать коммуниста?».

— Я распространил уже более шестидесяти тысяч экземпляров,— говорит д-р Фернанду,— а к предстоящим выборам закажу в типографии еще больше. Видите, здесь написано: «Есть ли еще другое средство подготовить людей к коммунизму? Да! Социализм. Цели социализма и коммунизма совпадают; различие состоит в средствах их достижения».

Теперь мне кажется своевременным заговорить о террористических акциях на Севере:

— Многие наши газеты представляют эти акции как выражение народного гнева. Можно ли с христианской точки зрения оправдать их как необходимые мероприятия обороны и противостояния психологическому террору левых?

Вопрос, очевидно, был поставлен слишком прямо. Д-р Фернанду некоторое время раздумывает, на его свежем, молодом лице играет глубокомысленная улыбка:

— Можно, конечно, задать вопрос: «Кто их устраивает?» Но никто на него не ответит. Молодые ребята как кошки взбираются на стены и поджигают. Откуда они приходят и куда исчезают, не знает никто. Никого еще не поймали. Я лично склонен полагать, как и многие другие, что это сами коммунисты поджигают свои конторы, что-то взрывают, чтобы, не имея для этого других средств, устранить неудобные для них документы. Пусть-ка приведут нам хоть одного преступника. Вот тогда и поговорим.

— Они не останавливаются ни перед чем,— говорю я задумчиво.— А как при Каэтану? Церковь была в почете?

— Многие теперь осуждают церковь, говорят, что она была связана с прежним режимом. Но это неправда. При прежнем режиме государство и церковь были разделены, а теперь ее хотят упразднить. Были соглашения. Режим церковь не трогал, у нее была полная свобода, и она была довольна. Но церковь была согласна далеко не со всем. Возьмем, к примеру, образование. Распространялся нездоровый либеральный дух, согласно которому религиозное образование больше не является долгом каждого гражданина. То, что при Марселу Каэтану посеяли, дало теперь всходы.

Что же касается преступлений португальской тайной полиции ПИДЕ[1], то здесь секретарь епископа изображает неосведомленность:

— Многого церковь просто не знала. Взять, к примеру, этих типов из ПИДЕ. Если уж они и были преступниками, то почему же их не осудили и по сей день? Епископы узнали об этом только после 25 апреля. Церковь осуждают за то, что она никогда не занимала по отношению к этим преступлениям определенной позиции. Но как же иначе, если она о них не знала? Если эти преступления, как утверждают коммунисты, и имели место, то все делалось втайне, и церковь об этом знать не могла. Да, теперь доказано, что **после** 25 апреля были совершены бесчеловечные акции. Очень нехорошие. Если бы их совершили люди из ПИДЕ, то это тоже было бы нехорошо. Если бы церковь об этом узнала, она бы их безусловно осудила. (Д-р Фернанду умалчивает о том, что были случаи, получившие огласку, когда агентами ПИДЕ служили пастыри, нарушая в этом качестве тайну исповеди.)

— Есть ли перспективы победы на предстоящих в мае выборах кандидата, который как христианский политический деятель заслуживал бы поддержку церкви? — интересуюсь я.

— Реакцию общественности мы еще анализируем. Ставим на обсуждение имена, «забрасываем» их на страницы газет и ждем эха. Галвао ди Мелу, например, независимый кандидат СДЦ (социал-демократического центра—португальская партия, родственная ХДС—ХСС), и, вероятно, следующий за ним — Спинола. И еще одна рекомендация, но — между нами: Каулза ди Арриага. Хороший человек, с хорошим образованием, как и его жена. Подождем откликов. (Примечание: К. ди Арриага, бывший генерал и верховный главнокомандующий в португальской колонии Мозамбик, при

[1] Policia Internacional e de Defesa do Estado — политическая полиция при Салазаре.

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ
ПОРТУГАЛИЯ: КАК БЫЛ РАСКРЫТ ЗАГОВОР

диктаторе Каэтану отличился неудавшейся попыткой переворота, переворота, впрочем, правого.)

В заключение архиепископ снабжает меня на дорогу еще одной тайной:

— Но это еще не для общественности. Мы только что подняли из крестной купели новое движение — «В защиту основных прав человека». Оно должно поддержать нашу политическую борьбу.

Подрывник Эдуарду, или «Справедливый народный гнев»

Второй день в Браге. Как поговорить с этими подрывниками-боевиками, носителями «справедливого народного гнева», этими «молодыми ребятами, которые как кошки взбираются на стены» домов, взрывают конторы, машины и квартиры политически неугодных, всяких не-правых, и бесследно исчезают. Брага — мирный город, обрамленный холмами,— насчитывает 40 000 жителей. В одноименном административном правительственном округе проживает 617 000 человек, почти 10% населения Португалии.

Кроме трех сожженных и еще не убранных машин и дотла сгоревшего двухэтажного здания местного отделения коммунистической партии, заколоченные досками окна которого скрывают от глаза внутренние разрушения, в этом епископальном городе, сравнимом, пожалуй, с каким-нибудь Пассау или Регенсбургом, ничто не напоминает о насилии и терроре. Это, наверно, здесь был избит до полусмерти друг профессора Джакометти, директора Государственного исследовательского института фольклора, который, как рассказывает профессор, сидя в ресторане, отказался ответить молодчикам из АОП (Армия освобождения Португалии — подпольная террористическая организация), за какую партию он голосовал на последних выборах. Когда же друг объяснил врачу причину своего ранения в голову, тот целый час отказывал ему в помощи, предположив, что, вероятно, имеет дело с коммунистом. Друг, избиратель от социалистической партии, после этого выехал со своей семьей на юг Португалии, как это сделали до него многие левые, бывшие на виду.

Ночь провели в отеле «Турижму», но и в тамошнем баре никаких следов насилия, никаких особенных происшествий.

Третий день в Браге. Я постарался преобразить свою внешность так, чтобы менее всего напоминать левого. Кольцо с печаткой, чемоданчик «дипломат» в руках, не стриженные три месяца волосы превращены парикмахером в строгую прическу, кожаная куртка заменена костюмом и галстуком. У таксиста осведомляюсь, где можно найти в Браге тех мужественных людей, которые, говорят, уже начали расправляться с коммунистами. По лицу таксиста не заметно, разделяет ли он эту точку зрения. Безучастным голосом называет закусочный бар «Идолу»: «Там всегда сидит кто-нибудь из СДЦ».

И здесь тоже пока никаких зацепок. Дорогой привокзальный ресторан, высокие табуреты перед стойкой, в подвале — бильярдные столы. Какой-то коммерсант, погруженный в чтение «Ритурнаду» («возвращенец» — так называют в Португалии беженцев из Анголы), одной из правых газет, которые после 28 сентября 1974 года (неудавшаяся попытка переворота тогдашнего президента Спинолы) развелись как грибы после дождя.

В ожидании проходит все послеполуденное время. Под вечер удается завязать знакомство. На помощь приходит молодая немецкая овчарка, виляющая хвостом.

— Кайзер, Кайзер,— окликают ее.

— Вы монархист? — обращаюсь я к владельцу собаки, который стоит тут же, небрежно облокотившись о стойку бара, и медленным движением сдвигает свое кепи на затылок.

— Нет. С какой стати? — Это была бродячая собака, оставшаяся, вероятно, от бежавших немецких коммерсантов. Он взял ее к себе.— А вы кто, туристы? — спрашивает он и тут же представляется. Его зовут Эдуарду.

— Мы здесь не для развлечений,— многозначительно говорю я и кладу руку на свой черный «дипломат».

Эдуарду да Кошта Перейра, молодой человек двадцати шести лет, маленького роста, жилистый, с детским лицом и располагающими манерами, тотчас же становится откровенным, как только слышит, что я приехал по поручению одной правой организации.

Он отворачивает лацкан своей куртки — виден значок СДЦ.

— Почему вы носите его тайно? Ведь СДЦ здесь господствующая партия.

— Они полагают, что так лучше. Только свистнуть, и таких, как я, вмиг соберется уйма. Но этого не нужно знать каждому. То, что у меня есть автомат, в Браге знают многие,— издалека заводит он,— и знают, что вовсе не для развлечений. Им известно, что раньше я работал на АОП, а теперь работаю на ДДОП (Демократическое движение за освобождение Португалии). И все меня боятся, потому что думают, что я боевик. А я не боевик. Я просто защищаю своих покровителей. Надеюсь, что придет день и они меня вознаградят. А пока...— он имитирует очередь из автомата.— Например, вчера вечером. Здесь, за сто метров отсюда, живет один коммунист. Он торгует книгами, и на витрине у него вечно всякое левое чтиво. Вот я и сделал недавно маленькое «тра-та-та-та». Следы моих пуль видны еще и сейчас. Это уже было второе предупреждение. И он знает, что от меня. Если на следующей неделе он опять выложит свои кни-

жонки, то настанет и его черед. Я не боюсь никого. Я всем говорю все в глаза, даже полиции. Полиция здесь большей частью на нашей стороне. Недавно полицейский комиссар с глазу на глаз сказал мне, что он тоже не может позволить себе всего, что хочет, что он тоже должен остерегаться. И мне, говорит, тоже надо бы быть поосторожней с моим красным спортивным «вольво» — слишком уж броский вид у машины. Но я от своей тележки не откажусь, на ней я уйду от кого угодно. Полицейский комиссар полностью на нашей стороне. Его зовут майор Бара Барандом.

Я заказал всем по виски и величественным жестом отверг выставленное, потому что это был не «скотч», который я просил.

— Я поборник своего дела, и мне нечего скрывать,— говорит Эдуарду,— если надо умереть — о'кей!— я умру. Я уже был однажды приговорен к одиннадцати годам: я занимался контрабандой и нелегально переправлял людей через границу во Францию — вместе со своим братом Франсишку добывал для них фальшивые паспорта и всякое другое. Меня сцапали и влепили одиннадцать годков. Но отсидел я только три — бежал целых семь раз, гляньте-ка, — он показывает два больших шрама на правом предплечье, аккуратно протянувшихся рядом с татуировкой «В Анголе воевал я за тебя, Фернанда!». Шрамы от ран, которые он нанес сам себе, чтобы попасть в госпиталь, откуда легче бежать.— Мой брат продолжает обделывать маленькие дела, а я — большие.

Франсишку работает на организацию, которая после 25 апреля переправляла за границу крупных промышленников, главным образом в Испанию, Францию и Швейцарию, прятала их деньги и драгоценности в обода автомобильных колес, за фары и в сиденья. Они поместили свои деньги в заграничные банки и вновь вернулись.

Эдуарду приветствует двух молодых людей, которых, по-видимому, заинтересовал наш разговор. Затем, понизив голос, он вновь обращается к нам:

— Вон тот, с бородой,— директор школы каратэ. Говорит, что он наш друг. Мы посылаем к нему на обучение своих людей. Но кто его знает. Прежде чем иметь с людьми какое-нибудь дело, лучше все же узнать их до конца. Есть такие, которые мягко тебе стелят, едят с тобой, к тому же я их еще и приглашаю, а потом ставят тебе подножку. По вас никогда не определишь, кто вы такие. И меня вы в конечном счете тоже не знаете. Может, я тоже коммунист.

Ухватываюсь за предложенный шанс и с наигранной небрежностью — пользуясь простодушием Эдуарду — захожу «с козырной»:

— И все же есть в людях нечто такое, что свидетельствует об их политических убеждениях, не так ли? Кроме того... мы здесь отнюдь не случайно.

Эдуарду настораживается. Возможно, он уже предположил что-то в этом роде.

— Наша организация информировала нас о том, что в этом заведении мы можем встретить специалистов по удачным акциям на Севере. Мы приехали, чтобы составить себе общее представление и по обстоятельствам оказать также и международную помощь.

— Тогда ваша организация знает и обо мне?

— Не все, но кое-что,— отвечаю я медленно и многозначительно.

С этого момента Эдуарду уже не затормозить.

— Здесь, на Севере, почти все более или менее значительные люди на нашей стороне. Нас поддерживают многие промышленники. Я лично знаком со многими заправилами, которые официально никогда со мною нигде не покажутся. С боссами из СДЦ, например. Они только платят, но платят тайно. Есть и знакомые бизнесмены, такие как доктор Николау,— от них я получаю жалованье. Я и другие, но тоже тайно. Об этом правительство ничего не должно знать. Галвао ди Мелу (кандидат в президенты от СДЦ) и Фрейташ ду Амарал (председатель СДЦ) поддерживают нас постоянно.

— Насколько сильно сейчас ДДОП? — спрашиваю я.

— Мы становимся все сильнее,— говорит Эдуарду.— То, что раньше делалось под вывеской АОП, вот уже полгода как продолжает ДДОП. Многие из нас еще в Анголе, помогают ФНЛА.

— Сколько вас в Браге?

— Семьсот — восемьсот человек.

— А поджог местного отделения компартии... это дело «разгневанных жителей Браги», как писали у нас в газетах?

— Да нет же. Это работа моя и еще одного приятеля. Бензиновая бомба. Ее нужно только бросить и быстро сматываться. Я не боюсь. Сначала отправляюсь в профсоюзные и коммунистические отделения, иду даже открыто, осматриваюсь, подыскиваю для бомбы место получше. На прошлой неделе мы вместе с приятелями кое-что подложили в дома профсоюзов. Теперь они трясутся. Большинство коммунистов уже удрали в Лиссабон или на Юг, а у тех, кто остался, жизнь на волоске.

С другого конца стойки к Эдуарду придвигается хорошо одетый господин лет тридцати. «Сempre»,— приветствуют они друг друга, небрежно выбросив вперед правую руку. «Сempre» — «Всегда» в смысле «Готов к сопротивлению в любой момент» — боевое приветствие ДДОП. Третью порцию виски, заказанную мною для Эдуарду, тот выливает в стакан своего знакомого:

— При такой работе, как наша, пить много нельзя.

Новый посматривает в нашу сторону несколько недоверчиво:

— Вы здесь работаете или отпуск проводите?

— Так, кое-что монтируем, так сказать,— даю я справку и осторожно кладу

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ
ПОРТУГАЛИЯ: КАК БЫЛ РАСКРЫТ ЗАГОВОР

«дипломат» на стойку рядом с собой. Эдуарду говорит теперь совсем тихо, чтобы новый не слышал:

— Важна только практика. А теорию я в гробу видал. Этот вот тип, например, считает, что я ему доверяю. Но он ошибается.

— Стоит ли овчинка выделки? Прожить на это можно?

— За каждый удавшийся финт они платят мне сразу же, в зависимости от трудности дела. Рискую только я. Если промашка, то пуст и карман. Пару месяцев назад у меня не было денег даже на спирт для моего «вольво». Мы с приятелями собрались и устроили налет на банк. Это дало четыреста тысяч эскудо (около 10 000 марок). Но мне досталось только тридцать процентов. Остальные семьдесят загребла АОП, на покупку оружия. Было это на испанской границе, у Формозу.

Эдуарду вдруг задумывается. Видно, чувствует, что делает для других грязную работу и что в конце концов его самого сбросят со счетов (с этого момента я начинаю его жалеть).

— Мои лучшие друзья здесь — капиталисты,— говорит Эдуарду,— их права я и защищаю. Надеюсь, что они этого не забудут. Ну а если забудут, поеду во Францию или в Австралию и сколочу там для борьбы с ними новую организацию. И в ней уж не будет тогда никаких шефов. Деньги всем поровну. Знаете, я начинаю думать, что те, кого я защищаю, сидят в Испании и в Бразилии и пьют виски, а я его здесь зарабатываю и получаю только тридцать процентов, когда выгорит дело. И чего я для них только не вытворял! Зачем я все это верчу-кручу? Для шефов, видишь ли. Лучше бы у меня была своя организация. Без шефов. Все должны быть равны. Заслуживает похвалы и получает больше денег только тот, кто больше работает. Но меня интересуют не деньги. Я хочу, чтобы все левые были истреблены... Главное — это хорошая организация и строгая конспирация. В ДДОП мы все разделены на кадровые группы — лично я знаком не больше чем с двумя десятками людей... Но я наверняка знаю, что капиталисты эту работу делать не будут. Ее делают такие, как я. У меня жена и двое детей. Если я буду продолжать свои теперешние занятия, я не смогу больше получить никакой нормальной работы. А ведь мне надо платить за квартиру, кормить семью. В конце концов борюсь я не за свою выгоду, не за себя одного. Я борюсь за завтрашний день, за другое правительство, при котором мне будет лучше житься. Но пока это время не наступило, я должен жить как все.

— Кто вы по профессии?

— Я работал на дорожном строительстве, был крановщиком, бульдозеристом, шофером.

— Где вы достаете оружие?

— Раньше в АОП, когда там было американское автоматическое оружие. Сейчас ДДОП через добрых людей получает его от «Командуш» [1] и вооруженных сил. Боссы придают большое значение тому, что мы пользуемся тем же оружием, что и армия. А в мае 1975 года при АОП мы получали оружие даже непосредственно от людей из ЦРУ. Но с ними сроду не угадать, где найдешь, где потеряешь: то ли они за нас, то ли против.

— А какова сейчас ваша стратегия, действовать и дальше на Севере или будете продвигаться на Юг?

— Этого я точно не знаю, об этом надо спросить у начальства. Без шефов я не могу предпринимать ничего. Но я слыхал, что на очереди национализированные банки. Мне нужен только приказ. У нас уже есть списки опасных левых, которым придется туго, если мы победим. Их сгонят в кучу и тогда — хррр...— Междометие он сопровождает жестом удушения. Наступает пауза.— Я бы с удовольствием принял участие в исполнении приговора... Меня всегда удивляло, почему, собственно, я такой ласковый с людьми, ведь большинство из них поступают со мной гадко. По мне, лучше всего... тра-та-та,— изображает он руками положение стрельбы из автомата.— Здешние коммунисты говорят, что я бандит, и пытаются меня убедить: «Ты же работяга, почему ты не на нашей стороне?» Но меня не проведешь, я коммунистов знаю. Когда они придут к власти, то скажут: вали ты отсюда, и ты, и ты,— и всех нас вышвырнут вон... У нас здесь есть даже один полицейский комиссар, который водится с коммунистами. Тот против нас, но, правда, он один. Это по его милости мою машину недавно обыскивали. Они думали, что у меня автоматы в багажнике, а там оказались лишь предвыборные плакаты СДЦ, которые я вез на расклейку...

Установление контакта с шефами

— В таком случае лучше, если мы установим контакт с самими шефами,— говорю я,— у нас не так много времени, а мы должны знать, какая нужна помощь.

Эдуарду вызывается организовать связь:

— Прежде всего я познакомлю вас с капитаном парашютистов из Браги. Он находится большей частью в Повуа ди Варзим и имеет связь с центром.

Эдуарду гонит свой «вольво» по сорокакилометровой, почти сплошь усеянной серпантинами трассе Брага — Повуа ди Варзин. Некоторые указатели с названиями местечек перечеркнуты надписями «АОП» или «ДДОП». Еду за ним, и мне с трудом удается не потерять его из виду. В Повуа мы прибываем в два часа. Роскошный курорт со всеми развлечениями и казино в придачу, но в мертвый сезон вид у него безотрадный. Море бушует. «Пелинтра» расположена прямо на приморском бульваре. Заведение открыто всю ночь, хозяина зовут

[1] Внутренние войска особого назначения.

Луиш, и он принадлежит к среднему звену руководителей ДДОП. Впускает нас вышибала с одутловатым лицом и запирает за нами дверь. Народу внутри битком. «Все — свои». Говорят, что офицер парашютистов сейчас как раз на задании. Встреча состоится на следующий день пополудни.

Повуа. Досиживаем в «Пелинтре» до вечера. А парашютиста с задания все нет и нет. Хозяин предлагает нам выпить. Эдуарду подмаргивая говорит нам, что в подвалах заведения хранится оружие:

— Полиция бывала здесь уже несколько раз, но ничего не находила. Они, впрочем, и не хотели ничего находить.

Когда мой «дипломат» внезапно опрокидывается, Эдуарду рывком вскакивает с места и прыгает в сторону.

— В таких чемоданчиках мы носим взрывчатку,— объясняет он в ответ на мое удивление.

Хозяин дважды выходит из заведения, унося с собой обильный обед и вино.

— Для друзей, которые на некоторое время должны испариться,— комментирует Эдуарду.— При взрывах кое-кого тяжело ранило, а один раз — ребенка. Наших друзей видели. Мы прячем их до тех пор, пока их не вычеркнут из списков разыскиваемых лиц.

Один из посетителей протягивает Эдуарду газету «Жорнал ди нотисиаш»:

— «В Браге обстреляна машина профсоюзного деятеля». Это твой почерк,— говорит он одобрительно Эдуарду, и тот, обращаясь к нам:

— Пятьдесят выстрелов, которые я сделал по машине секретаря профсоюзов, были пока что предупреждением. А новую машину он купить не сможет. Надеюсь, до него дошло.

— А если нет?

— Тогда и его черед.

Появляется Тейшейра, офицер парашютистов. Хамоватый тип наемника, лет тридцати, добродушен, как плюшевый мишка. Как и Эдуарду, он с удовольствием все рассказывает. Простодушен. Вероятно, потому, что здесь, на Севере, они действуют почти беспрепятственно, как на «освобожденной территории». И ему тоже присуща эта детская простота, которая, однако, внезапно может обернуться агрессивностью и жестокостью. Нам нужно ехать в Гимараэш, километров за 60 от Повуа. Мы садимся в спортивную машину Эдуарду. Тейшейра едет за нами в собственной машине. Эдуарду очень немногословен. Может быть, ему досталось от Тейшейры за разговорчивость? Вот уже километров на десять мы отъехали от Гимараэша. Шоссе становится все пустыннее. Ночь — хоть глаз выколи. Лес и туманная пелена. Впервые мне становится страшно. Что, если они нас узнали? Несколько дней назад в португальских газетах появилось мое интервью с фотографиями, и однажды я присутствовал на пресс-конференции Комитета солидарности с Португалией, которая транслировалась по телевидению. Кажется, тут пахнет западней. Где-нибудь они могут вытолкнуть нас из машины и пристрелить. Впереди — ни одной машины. У меня нет никакого оружия, только мой мини-магнитофон, на который из предосторожности я наговариваю описание мест, которые нам попадались. Наконец-то указатель: «Пенья» — пара магазинов, гостиница, одиноко стоящая на вершине горы. И это заведение тоже принадлежит одному из членов ДДОП. Семейная атмосфера. Женщины и дети. Праздничный настрой пирушки мафии, несколько следующих друг за другом блюд и всевозможные вина — нас угощают. В голову лезут кадры из «Крестного отца» [1] — вспоминаю, как кончались там подобные пирушки. Фамилий не называют, представление идет по именам. Эдуарду отрекомендовывает нас как немецких друзей, которые приехали, чтобы помочь. Телевизор орет что есть силы, но его никто не смотрит. После еды прошу Тейшейру организовать переговоры в более спокойном соседнем помещении. Хозяин провожает нас в небольшой кабинет. Моя позиция должна расположить к доверию. Ведь я ничего не хочу получить, а только дать. Выслушать предложения, чтобы передать их нашей организации. Я тайный посланник с миссией по делу «международной фашистской солидарности».

— ДДОП организовано лучше или хуже, чем АОП?

— Думаю, что лучше,— говорит Тейшейра.— Контактов с официальными лицами в правительстве у нас больше, и они лучшего качества. И кроме того, нашим президентом является Спинола. В некоторых случаях мы работаем вместе с АОП, только вот в последнее время у них не стало идеологии, они же теперь «дезешпирадуш» (отчаявшиеся) чистой воды. По всей Португалии мы насчитываем пятьдесят тысяч активных членов. Наши люди работают, даже если им и не платят. Все, что взлетело на воздух за последних три месяца,— дело рук нашей организации. Мы предпочитаем координированные удары: одновременно в Браге, Повуа, Коимбре, Порту,— такое производит на людей мощное впечатление, и они питают к нам глубокое уважение.

— В чем нуждается ДДОП прежде всего — в деньгах или в оружии?

— И в том, и в другом. Но о подробностях мы поговорим завтра с нашими ответственными в Повуа. На Севере установился теперь хороший климат — коммунистов мы вразумили. То же должно быть и на Юге. Но там их слишком много. Отсюда их достаточно только выпроводить. Там же мы должны их истребить.

— Работенка у вас не пряник, и жизнь не из легких,— хвалю я его.

— Нам по горло осточертело только и делать, что бомбы закладывать. Час пробил: теперь мы намерены убивать (We want to kill now!). Одними бомбами не решить ничего, другое дело — убийства. Понимаете?

[1] Речь идет о знаменитом фильме Ф. Копполы.

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ
ПОРТУГАЛИЯ: КАК БЫЛ РАСКРЫТ ЗАГОВОР

— Когда вы предполагаете начать операции на Юге?

— Об этом надо спросить у шефов. Я специалист по практике, политикой я не занимаюсь. Меня зовут только тогда, когда надо мастерить бомбы и доставлять их по назначению.

— А с какой партией сотрудничает ДДОП?

— Сотрудничаем мы главным образом с СДЦ, ежедневно. Я думаю что за нас все, кто в СДЦ хоть сколько-нибудь задает тон. Только они не всегда могут заявить об этом публично. По крайней мере сейчас. Без нас СДЦ бы развалился. Мы, члены ДДОП, на мероприятиях СДЦ регулярно несем дежурную службу, выставляем посты, организуем личную охрану. Для нас, членов ДДОП, вообще существуют только две партии — СДЦ и НДП (Народная демократическая партия). Но НДП не столь надежна. Ведь они же недавно опять раскололись.

— А как отношения с церковью? Есть моральная поддержка?

— Мораль — это хорошо,— смеется Тейшейра.— Среди нас нет верующих. Но Франсишку, архиепископ,— наш человек. Я его довольно хорошо знаю. Он предоставил нам свой пастырский семинар, эгиду которого мы использовали для первой совместной встречи АОП и ДДОП осенью прошлого года. В то время еще существовал КОПКОН (войска безопасности под командованием генерала Карвалью) и можно было угодить под арест. Они разыскивали старшего лейтенанта Бенжамина Абреу по обвинению в участии в последнем перевороте нашего президента. А тот прятался под кроватью. Он один из важнейших для нас людей, и нужен он нам для Юга. Он все еще сидит в Кашиасе[1]. У нас уже есть план его вызволения. Ему нужно подхватить какую-нибудь болезнь и попасть, таким образом, в госпиталь. Тут-то мы его и вытащим, а в тюрьму пойдет кто-нибудь из нас, кто на него похож. Я слыхал и о том, что ему подыграет кто-нибудь из тюремного начальства.

— А материально архиепископ вас поддерживает?

— Да. Через своего особого уполномоченного конегу (настоятеля) Мелу. А тот связан с нами уже непосредственно. Архиепископ Франсишку обсуждает с ним все. И после этого Мелу приносит нам деньги.

— Кто для вас важнее, архиепископ или Мелу?

— Мелу. В Браге — только Мелу. Для Португалии он вообще один из важнейших людей. Без него архиепископ — ни шагу.

— А как отношения с полицией?

— О! Лучше не бывает. Ну вот, к примеру. При закладывании бомб я работаю обычно в перчатках. А недавно я перчатки свои забыл, и как раз в тот день, когда бомба почему-то не взорвалась, и на ней остались мои отпечатки. Пришла полиция и до прихода следовательской комиссии стерла все следы. Так что виновника опять не нашли.

Капитан Дуарти, или План «крупной акции»

Два дня спустя. Встреча с боссами ДДОП Севера и Повуа ди Варзим на квартире Тейшейры в одном из новых высотных домов на руа Каза-душ-Повейруш-ду-Риу, 657. Беседу ведет длинноволосый капитан «Командуш» (как узнали мы несколько недель спустя, зовут его Дуарти). Вначале он недоверчив и осторожен. Пока говорит, набрасывает на отрывном блокноте стратегические и военно-инженерные схемы. Он кажется военным до мозга костей, человеком опасного сорта — бесчувственно-холодным, надменным, честолюбивым и себялюбивым. Его непосредственный подчиненный — лейтенант Педру (по фамилии Менезиш, как мы узнали потом в Германии): джинсовый костюм, взъерошенные жесткие каштановые волосы — словом, избалованный техасский подросток. Далее — его преосвященство с сильно помятым лицом, который за нами только наблюдает и молчит. С ним обходятся так, как если бы он был одним из меценатов ДДОП. Во время этой встречи мой «Мини-Наггра» (пленка на три часа) неожиданно отказывает.

Я подаю нашу миссию так, как если бы мы были уполномоченными одной немецкой правой организации, которая, соблюдая все правила предосторожности, послала нас сюда познакомиться с обстановкой, чтобы запрограммировать дальнейшие акции помощи материального и военно-технического характера. В ходе беседы выясняется, что планы руководителей ДДОП направлены на подготовку широко задуманного путча и — при одновременной ликвидации активных левых сил — установление в Португалии накануне президентских выборов в мае или июне этого года диктатуры правых.

Виски льется рекой, и пить надо беспрерывно. Ни содовой воды, ни фруктовых соков. Эта встреча измотала меня совершенно. Постоянное нервное напряжение и необходимость выдерживать роль сделали свое дело. Равно как и необходимость радостно смеяться, когда был поднят тост за истребление «политических врагов». Нас провожают на пляж, к гостинице «Бейрамар». После этого я теряю контроль над собой. Что-то вроде нервного припадка, длительные приступы спазматических рыданий.

На следующий вечер запланирована новая встреча в том же составе в баре «Бейрамар». По-прежнему неясно, будет ли мой магнитофон работать. В Порту я взял напро-

[1] Форт, превращенный салазаровцами в тюрьму-крепость.

кат довольно громоздкий кассетный «Грундиг», который теперь ношу с собой в сумке через плечо. Каждые три четверти часа я исчезаю в туалете с большой сумкой. Это не проходит незамеченным. Но они, вероятно, предполагают, что у меня там автомат, который я не выпускаю из рук.

Пришли капитан Дуарти, лейтенант Менезиш и Тейшейра и повалились в глубокие кресла рядом с баром. Музыка все глушит, и сумка моя хорошо просматривается.

— Обсуждать дела здесь публично — значит нарушать все правила безопасности и конспирации.— Я заказываю в отеле комнату, и все, еще несколько колеблясь, следуют за мной. Между тем они связались с мадридским центром, где сидит капитан А. Галвао, непосредственный уполномоченный «генерала Вальтера» (несколько недель спустя нам подтвердили, что это псевдоним Спинолы).

— В какой мере ваша организация может содействовать осуществлению плана? — спрашивает Дуарти.

— Зависит от того, чем вы располагаете.

— Многие наши люди уже вооружены, часть других находится еще на своих обычных рабочих местах, но в любой момент мы их можем отозвать. На первом этапе планируем поставить под ружье десять тысяч человек, а именно: людей с военным опытом, квалифицированных, многие из них бывшие офицеры или фельдфебели или военнослужащие по сей день. Все подготовлено и организовано. Север умиротворен. Центр и Юг у нас разделены на квадраты. Мы не наемники. Многие из нас имеют обычное профессиональное образование и работают по специальности. Если мы их призовем, то должны взять на себя финансовое обеспечение их семей. Поэтому деньги нам нужны не только для поддержки тыла, но также и для семей. Мы боремся за правое дело. Когда мы изменим здешнюю ситуацию в нашу пользу, произойдет переворот на Азорских островах и Мадейре. Потом мы собираемся отвоевать Острова Зеленого Мыса.

— Когда вам перевести деньги, что нужно поставить?

— Подробные условия мы обговорим позднее; лучше — через испанские банки или еще надежнее — через Швейцарию.

— Каким путем должно быть поставлено оружие?

— Лучше по морю. Испания сейчас уже заблокирована.

— Через какие гавани?

— У нас хорошие отношения с рыбаками в Повуа ди Варзим и в Порту. А дальше на север — вообще не проблема.

— Какова в настоящее время структура организации? Сколько людей у вас в армии? Сколько вооружено помимо?

— Это отчасти проблема психологическая. В нашу веру они обратятся полностью вновь только в том случае, если мы сможем показать первые относительно крупные успехи.

— Когда должна начаться первая крупная операция?

— Тут играют роль еще и политические соображения. Нам следует прежде дождаться исхода выборов. Потом нужно еще принять во внимание результаты опросов, которые мы сейчас проводим. Во всяком случае мы достаточно готовы, чтобы перейти к последнему этапу штурма.

— Время обособленных акций постепенно проходит,— говорит Педру.— Мы крепко держим в своих руках Север, на нашей стороне или даже непосредственно в нашей организации — наиболее влиятельные военнослужащие, священники и полицейские. Мы должны провести еще только одну крупную акцию. Работать по-партизански и дальше было бы неправильным. Если же мы продолжим в том же духе, то люди в конце концов начнут сочувствовать коммунистам, население в какой-то момент обратится против нас, пойдут разговоры, вот, мол, эти бедняжки, они даже защищаться не могут, мы превратим их в жертвы, в мучеников. Да и за границей — если заглянуть в перспективу — сложится не столь хорошее впечатление; и это после того, как нам удалось представить наши операции как непосредственное волеизъявление народа.

— Было бы лучше всего,— продолжает Дуарти,— если бы нам удалось дать старт такой крупной акции, которая за три-четыре дня или за пять-восемь дней принесла бы нам общевойсковой успех. Для газет, для политики, для мировой общественности это будет акцией вооруженных сил, людей, которые служат ныне в вооруженных силах, которые решились на переворот, чтобы окончательно разгромить силы коммунистов, вышибить их с позиций, все еще находящихся в их руках. И одновременно проблема должна быть решена и физически — этих активистов надо просто истребить. Но так как общественное мнение нам небезразлично, совершить переворот должны не мы, то есть не те, кто разрабатывал «сценарий». По всей стране надо иметь своих людей, которые, как только народ восстанет, повытаскивали бы этих типов из кроватей и ликвидировали бы их. Наша задача состоит в том, чтобы направить эту акцию по двум руслам. Силы, осуществляющие путч, не должны предстать в глазах общественности с запачканными руками. Если их бросят в тюрьму, для общественного мнения это будет означать возврат прежних порядков. Если же их публично ликвидируем мы, то выйдет, как у Пиночета. Поэтому мы должны действовать наподобие бразильского «эскадрона смерти», с которым мы поддерживаем связи. Нам следует только приспособить этот метод к нашим условиям и сделать его более масштабным. Личный состав одной из таких групп — ликвидационных групп — уже укомплектован. По пословице: «Свеча, горящая впереди, светит вдвойне».

— Мы еще должны организовать в

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ
ПОРТУГАЛИЯ: КАК БЫЛ РАСКРЫТ ЗАГОВОР

Алентежу легальные опорные пункты, всевозможных опорных пунктов там уже хоть пруд пруди,— говорит Педру.— СДЦ начинает уже открывать там свои отделения и затевать широкую пропагандистскую кампанию. Решающим моментом всех задействованных нами операций является наш выигрыш. 28 сентября и 11 марта (1975 год — потерпевшая провал попытка генерала Спинолы поднять мятеж) повториться не должны, потому что на этот раз на улицы выйдут вооруженные и на все готовые левые силы.

— Каким образом нужно поставить оружие?

— Для безопасности в два или три приема,— предлагает Дуарти.— Нужны нам, кроме того, и радиостанции, а также среднее и тяжелое вооружение.

— Вы должны учесть, что полномочия мои ограниченны. Наша организация исходила из возможности оснастить нечто вроде мобильной оперативной группы, состоящей, ну, скажем, человек из пятидесяти. Для этого мы смогли бы дать и деньги, и оружие. Но в случае таких крупных беспорядков моей организации нужны политические гарантии.

Боссы ДДОП удаляются на совещание.

— Чтобы вы убедились в доброкачественности наших контактов с немецкими официальными представителями, назову вам имена двух наших людей, генерала Дамиау и майора Гаруапа, офицеров, которые после операции генерала Спинолы укрылись в немецком посольстве. Они еще сидят в тюрьме, но мы поддерживаем с ними постоянную связь, и могу вас уверить, что скоро мы их оттуда вытянем (через три недели после этого разговора оба действительно были на свободе).

Одного из шефов, которого спрашивали по телефону, не даст ли он своего имени для прикрытия этой политической акции, называли «падре Луиш» и звонили ему в Касем, богатое лиссабонское предместье, по номеру 294/4 78 57. Последующие попытки установить связь показали, что речь идет, судя по всему, о высокопоставленном члене организации, который ежедневно на конспиративной основе принимает до дюжины людей.

— Спинола — по-прежнему наш президент,— говорит Дуарти,— и с нами все офицеры, симпатизирующие Спиноле. Такие, как, например, Каулза ди Арриага. ДДОП — не футбольная команда, мы — идеологическая сила, у нас много единомышленников, которые работают на нас, не являясь членами движения.

И после такого количества информации и такой болтливости со своей стороны капитан еще спрашивает с настороженно-угрожающей интонацией в голосе:

— А кто стоит за вашей организацией?

Теперь должен выкладываться я. Больше я не могу ссылаться на могущественную, таинственную организацию, а то решат, что это ЦРУ или федеральная разведслужба.

— В настоящее время есть, к сожалению, только один значительный политический деятель, который может стоять за подобной акцией помощи.

Шефы террористов обмениваются беглым взглядом, выражающим согласие. Доверие восстановлено. Дуарти говорит, что у них уже есть отношения с одной немецкой организацией. В какой мере мы к ней относимся, выяснится при следующей встрече. Следующую встречу мы назначили в Мадриде, в отеле «Лиаберни», чтобы провести переговоры с верховным руководством ДДОП и договориться о деталях. Для явки мы оставляем заговорщикам мюнхенский телефон и просим, если будут говорить об оружии, называть его «кортиса» («пробка»), так как береженого бог бережет даже в Баварии.

Уполномоченные «генерала», или Прокуристы резни

Встреча в Мадриде назначена на 26 марта. 22 марта в 16 часов 45 минут в Мюнхене по оставленному телефону раздается звонок. На проводе Женева. Он называет себя «Луишем», звонит якобы по поручению «генерала Вальтера». Перед мадридской встречей им бы хотелось с нами поговорить. Речь идет об экспорте пробок. Так как он все равно должен ехать в Германию по другим делам, то можно бы совместить. Чрезвычайно важно перенести разговор на более ранний срок. Хелла Шлумбергер, взявшая в Мюнхене трубку, тут же реагирует псевдоконспиративной осторожностью. «Луиш»? Она такого не знает. И «генерал Вальтер»? Кого он имеет в виду? Пусть оставит свой телефон, она справится и позвонит. На другом конце провода — возбужденное короткое совещание по-португальски. Потом дают женевские телефоны— 33-36-94 и 35-68-35. Оба — «генерала Вальтера».

Час спустя — ответный звонок из Мюнхена в Женеву. У телефона опять Луиш. На этот раз он выражается яснее. Он — секретарь президента Спинолы, который стоит рядом. Хелла пользуется возможностью и предлагает ему удостоверить свою личность, назвав имя связного в Повуа, капитана, чье имя нам до сих пор не было известно. Луиш говорит по буквам: «Д-у-а-р-т-и». Хелла: «Тогда все в порядке». Луиш: «О'кей». Завтра он прибудет в Мюнхен вместе со своим коллегой Жозе. Хелла: «К сожалению, сейчас нет никого из ответственных лиц организации. Встреча может состояться самое раннее 25 марта в Дюссельдорфе, в 11 часов в «Парк-отеле» у бара». Луиш согласен и заявляет, что в таком случае они прибудут уже 24-го. Чтобы не ос-

тавлять им в Мюнхене слишком много времени, мы переносим встречу еще на день раньше.

Среда, 24 марта, 15 часов 30 минут. «Парк-отель», бар. Два скромно одетых господина — Жозе Вали ди Фигейреду лет 35 и Луиш Оливейра Диаш 44 лет.

Оба были основателями «Партии прогресса», которая вышла из Португальского федералистского движения, существующего с 25 апреля. Жозе был главным редактором крупнейшего португальского журнала «Обсервадор» (согласно «Дойчланд-магазин» от октября—ноября 1973). Луиш 14 лет является директором-управляющим банка «Банку Португеш ду Атлантику». Звучит итальянский шлягер «Радуга» — оказывается, это любимая музыка Луиша, как он нам потом сообщает. Он суеверен и говорит о «провидении». Мы, в соответствии с нашей ролью, явились в черном «порше» (взятом напрокат) последней модели. На мне черно-красно-золотой галстук [1].

— Извините за импровизированность встречи,— приветствую я их,— собственно говоря, мы уже настроились лететь завтра в Мадрид. Сам я адъютант президента и до его приезда имею все полномочия. Он в настоящий момент на конференции, где обсуждает наши проблемы финансирования.

Луиш и Жозе показывают верительное письмо, согласно которому они являются уполномоченными генерала Спинолы, а также бразильский паспорт экс-президента, чтобы подтвердить аутентичность его подписи.

Демократическое движение
за освобождение Португалии
ДДОП

Чрезвычайный мандат

Доктора Жозе Вали ди Фигейреду и Луиш Оливейра Диаш (владельцы португальских паспортов, номера 13830/72 от 26 апреля 1972 и 2393/72 от 17 ноября 1972, соответственно), мои помощники по политическим вопросам, посланы в качестве моих представителей, а также представителей Движения за освобождение Португалии (ДДОП) с миссией провести переговоры относительно финансовой и военной помощи для удовлетворения нужд вышеуказанного движения.

Написано в Женеве 22 марта 1976 года
(Спинола)

Президент
Антониу ди Спинола,
Генерал

Примечание: бразильский паспорт за номером 045890 от 7 января 1976 года служит приложением к этому верительному письму, подтверждая аутентичность лица, его подписавшего.

— Могу ли я показать доверенность нашему президенту? — говорю я.

— Конечно,— отвечает Луиш.— Впрочем, если состояние переговоров того потребует, наш президент, генерал, готов приехать и лично. Или принять вас в Женеве. Когда вы хотите и где вы хотите.

— При таких суммах это было бы, конечно, очень важно,— говорю я.— Главная проблема заключается в обеспечении безопасности президента. Прежде нужно решить этот вопрос.

— Если надо пойти на риск, мы на него пойдем. Вы сами должны решить, есть ли необходимость во встрече генерала и вашего президента.

— Мог бы он приехать завтра? — спрашиваю.

— В любое время. Если бы вы смогли рассказать нам поподробнее о вашей организации и ваших впечатлениях о севере Португалии.

— Причина столь необычного способа установления контактов,— объясняю я,— так сказать, на низовом уровне, а не на высшем заключается в том, что с АОП мы имели печальный опыт — часть наших денег попала не в те руки. И мы хотели сами составить представление о деятельности членов первичных организаций. Пережить еще одно разочарование нам бы не хотелось. К тому же нам хотелось присмотреться ближе к отдельным членам, которые были раньше в АОП, а теперь перешли в ДДОП.

— Ну, вот теперь все ясно,— говорит Луиш.— Это хороший способ получения информации. И к какому же заключению вы пришли?

— Мы остались очень довольны и поэтому предложили свою помощь.

— В АОП у нас много друзей, но организации не имеют между собой ничего общего. Мы сильнее, и у нас далеко идущие цели. А доктор Штраус знает о нашей встрече?

— ...Того, что мы в настоящий момент сидим здесь, он не знает, но могу вас заверить, что об этом ему доложат.

— Вчера вечером я говорил по телефону

[1] Цвета государственного флага ФРГ.

с его секретаршей, фрейлейн Хаазе, и попросил передать ему, что мы здесь, а потом полетим в Дюссельдорф. Он хочет сейчас предпринять путешествие по северу Португалии, где будет в Повуа ди Варзим вести переговоры с СДЦ.

— Когда вы видели доктора Штрауса в последний раз? — спрашиваю я и начинаю перелистывать свой календарь, как будто у меня это там записано.

— Четыре недели назад мы совещались с доктором Штраусом в Мюнхене относительно возможности проживания генерала в Германии на случай затруднений в Швейцарии. Штраус обещал ему, сказал, что он может жить в Баварии и вести там также и политическую деятельность. Как только в Швейцарии возникнут какие-либо трудности, мы сразу же переселимся в Мюнхен. У нас есть предложения и из Австрии.

— А вы сообщили Штраусу, что идете на связь с нами?

— Недели три назад я и Жозе встретили в боннском отделении ХСС доктора Фосса (личный референт Штрауса). Мы передали ему наши стратегические планы. А он в свою очередь сообщил нам мнение Штрауса, что действовать надо немедленно и что кроме него нам не следует иметь связи ни с кем. Это было во время карнавала. Он, так же как и вы, сначала сам посмотрит, как и что в Португалии. Потом мы снова встретимся... То, что я сижу сейчас здесь, кажется мне сумасшествием. Недавно доктор Штраус звонил мне в Женеву, а меня не было. А примет ли, собственно говоря, ХСС участие в следующих выборах на федеральном уровне? Ведь трудность ХДС заключается в том, что она не может выдвинуть такого вождя, который имел бы международное признание.

— Конечно, но Штраус способен вести за собой обе партии... Как вы себе представляете нашу помощь конкретно? — спрашиваю.

— Финансовая помощь должна быть трех видов: первое — научная и техническая помощь для Института, второе — финансовая поддержка широкого политического движения, которое, возможно, породит партию, своего рода антипартию, и третье — вооружение и расширение внутренней сети наших подпольных организаций. Впоследствии сюда же войдет и недостающее оружие.

— Об этом мы поговорим завтра с генералом подробно. Как вы представляете себе процесс нашего финансирования?

— Что касается финансирования, то мы предполагаем провести его в два этапа. Смета — на год, потом мы надеялись, что для начала вы дадите деньги за первые три месяца. То есть с апреля по июнь. Промежуток времени от настоящего момента до выборов нам кажется неблагоприятным. И срок слишком короткий. Эти три месяца — как бы подготовка к «критическому моменту». Думаю, что следует сказать пару слов и о политических оценках генерала. Даже самые доброжелательные правые все еще сомневаются относительно роли генерала в португальской революции. Правда, и я с ним не во всем согласен, но он действительно человек, которому можно доверять. Он пользовался безграничным доверием и у Салазара. А когда в 1961-м Марселу Каэтану и Кошта Гомеш попытались свергнуть Салазара, воспрепятствовал этому полк генерала. Отец Спинолы был первым в кабинете Салазара. Революционеры просто злоупотребили качествами генерала.

— А разве генерал испытывает в Швейцарии какие-нибудь трудности? — любопытствую я.

— Да нет, собственно. Только в своих заявлениях ему надо быть очень осторожным. Официально ему следует согласиться с отказом от политической деятельности. Социалисты потребовали, чтобы его выслали, но правительство их требование отклонило.

— Когда же генерал вернется в Португалию окончательно?

— После выборов, и скорее всего по приглашению нового правительства, которое будет состоять главным образом из НДП и СДЦ.

«Генерал» в Дюссельдорфе

На следующий день, в четверг, 25 марта в 12 часов 45 минут в дюссельдорфский аэропорт, терминал 2, должен прибыть рейсом из Женевы через Цюрих бывший президент Португалии и нынешний президент ДДОП Антониу Рибейру ди Спинола.

Где взять «президента», готового предстать перед экс-президентом Португалии? Вечером накануне три часа кряду вишу на телефоне. Пытаюсь уговорить одного священника, одного издателя, одного адвоката, одного врача, одного депутата бундестага. Напрасно. Все со мною согласны, что подобная инсценировка является нравственным, политическим долгом каждого человека. Но у всех уважительные причины, неотложные дела. Никто не хочет сменить свою роль на полдня, чтобы помочь предотвратить правый путч, возможно, второе Чили. При этом, исходя из собственного опыта подобных ролей могу утверждать, что в тысячу раз проще играть отягощенного нимбами президента, чем, например, какое-то время жить жизнью рабочего-конвейерщика. На следующее утро еще четыре часа на телефоне. Друзья звонят в свою очередь другим друзьям. Не так-то легко найти на эту роль настоящих актеров. Президента, увы, нет. С опозданием едем в аэропорт в «мерседесе» моего адвоката доктора Майнекке, члена СДП и председателя Всемирного движения за права человека, который не колеблясь выразил готовность присутствовать при встрече в качестве нейтрального свидетеля. В 12 часов 58 минут мы уже в зале ожидания. Самолет опоздал на 10 минут, но ни Лу-

ниша, ни Жозе, ни Спинолы, вопреки договоренности, нигде не видно. Нет и племянницы генерала.

Внезапно мы видим за ограждением Луиша и Жозе, которые разговаривают с пожилым господином в темных очках. «Кто-то из Управления по охране конституции,— проносится у меня в голове,— его предупредят». Подруливаем к этой группе.

— Это он, наш президент, генерал,— представляют Жозе и Луиш. Спинола в сопровождении своей племянницы, без которой он не отправляется ни в одно путешествие. Садимся в «мерседес-230» адвоката Майнекке. По дороге в ресторан-люкс «Шнелленбург» разговариваем о погоде. Холодно и дождливо.

В «Рейнском зале», соответственно этикету, нас ожидают букет примул и стол «а-ля фуршет». Как национально сознательный немец, я повязал себе галстук в черно-красно-золотую полоску, захватил с собой такие жалкие символы гражданского состояния, как позолоченная зажигалка и прочие погремушки. Последующая сцена невероятна и гротескно опереточна, как в плохом немецком фильме, и, если бы она не была подлинной реальностью и в ней бы не участвовали живые люди, можно бы счесть ее за чистый вымысел, да к тому же еще и сильно преувеличенный. Адвокат Майнекке говорит:

— Генерал, я приветствую вас на немецкой земле от имени людей и организации, которые полны решимости сохранить право и порядок в мире, но прежде всего в Европе.

Между тем Спинола сменил солнечные очки на монокль:

— Глубоко благодарен за прием, оказанный мне здесь, в Дюссельдорфе, при таких обстоятельствах, и пользуюсь возможностью поблагодарить и за дружеское приветствие. После второй мировой войны в Дюссельдорфе я впервые. Большие надежды привели меня сюда. В отношении будущего Европы на Германию возложены огромные задачи. Я всегда был твердо убежден в том, что в лоне Европы должны найтись силы, готовые отреагировать на советское проникновение. Против советского альянса необходим западный альянс. И именно Германия располагает наилучшими возможностями для того, чтобы стать инициатором этого западного альянса.

— Благодарим вас, господин генерал,— говорю я,— за эту вселяющую бодрость речь. Вы понимаете, господин генерал, что узость нашего круга диктуется соображениями конспирации. И мы тоже, думаю, сможем оценить по достоинству эту историческую встречу, этот момент, воспринять его всеми нашими чувствами!

Генерал не пьет ничего спиртного, но впервые за много лет он взялся на этом приеме за шампанское.

— Затруднений со въездом у вас не было, господин генерал? — спрашиваю.

— Никаких. Въехали абсолютно нормально.

— Если бы у вас было чуть побольше времени, мы смогли бы организовать завтра еще несколько встреч с теми немецкими политиками, с которыми вам бы хотелось побеседовать.

— Что, я действительно вылетаю сегодня же? — встрепенулся Спинола.

— Да, к сожалению, мой генерал,— хором говорят Жозе и Луиш.

— Если вы, генерал, хотите после еды немного отдохнуть и освежиться, то к вашим услугам апартаменты, которые мы предварительно заказали. Тогда мы с Луишем и Жозе уже сможем начать работать над детализацией задания. А в заключение мы бы с удовольствием выслушали вашу оценку современного политического положения в Европе.

— Нет ничего легче. Я как раз работаю над своей новой книгой «Запад и будущее».

— Вы уже подыскали для книги немецкого издателя? — интересуюсь я.

— Нет. Книга сначала выйдет в Португалии. Разумеется, после выборов. Готовлю к изданию еще одну книгу — сборник интервью, которые я давал в разное время начиная с 28 декабря, ответы на вопросы.

— С сентября, мой генерал,— хором поправляют Жозе и Луиш.

— В таком случае мы можем поздравить в вашем лице писателя,— говорю.

— Да. Генерал написал уже пять книг,— подтверждает Жозе.

— Нет-нет,— сопротивляется Спинола,— я и не писатель, и не политик.

— В Швейцарии вы чувствуете себя хорошо? Или вам было бы лучше в Бразилии?

— В Швейцарии спокойней, и, кроме того, это Европа.

— Взгляните-ка, что я нашел сегодня в пассаже: запонки со значком ДДОП (два звена цепи, соединенных друг с другом)!— восклицает Луиш.— Правда, они не очень красивы, но все-таки.

Спинола в восторге:

— Потрясающе!

— Мы закажем их в серебре и пошлем нашим жертвователям,— тут же предлагаю я.

— Знаете, генерал,— вмешивается Жозе,— с недавнего времени в Лиссабоне вновь стали продавать значки с вашим портретом.

— Да, да. Я знаю,— рассеянно роняет Спинола.

— Когда можно рассчитывать на ваше возвращение в Португалию? — спрашиваю я.

— Вообще говоря, в тот момент, когда это будет наиболее благоприятно для страны. Когда вновь смогу действовать свободно

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ
ПОРТУГАЛИЯ: КАК БЫЛ РАСКРЫТ ЗАГОВОР

именно как политик. Ни в коем случае не перед выборами. Когда я сам решу.

— Ведь ваша жена уже подыскивает в Лиссабоне дом,— говорю я.

— В следующее воскресенье возвращаются в Португалию мой брат и мои племянники.

Брат Франсишку страшно похож на генерала. Когда после 28 сентября Жозе посадили в Каширас, так как во время обыска в помещении «Партии прогресса» были найдены списки оружия, на утренней мессе он обернулся и смертельно испугался, увидев знакомое лицо: подумал, что генерал арестован.— но это был Франсишку. Антониу Рамуш, ответственный за безопасность генерала, во время банкетов сажал к окну не генерала, а его брата — из соображений безопасности.

— Когда Франсишку вернется в Португалию, все газеты будут полны сообщений, что вернулся генерал,— говорит Луиш.

Об этом действительно писали потом немецкие газеты.

Аскетическому генералу суп из крабов пришелся по вкусу, и он разговорился:

— Хочу вам рассказать одну забавную историю. Луиш, скажите, она ведь правда очень забавна?

— Да, генерал, очень.

— Два друга охотились в Африке на гепарда. Жили в доме знакомого латифундиста. Для приманки они брали козочку, принадлежавшую латифундисту, и каждую ночь пускали ее на выгон. Надо сказать, что стрелками они были плохими. Каждую ночь гепард съедал по козочке и исчезал. Пришел момент, когда латифундисту все это надоело, и он спросил обоих друзей: «На кого же вы, собственно, рассчитываете, на гепарда или на меня?» Такая вот история. Уже очень старая.

Все громко, несколько деланно смеются.

— В нынешней Португалии у гепарда очень много друзей,— многозначительно изрекает Спинола.

— Вы считаете, что на следующих выборах СДЦ наберет примерно двадцать пять процентов голосов? — стараюсь уловить его мысль.

— Этого я не думаю. Но в наше смутное время результаты выборов нередко определяются в последнюю неделю перед голосованием. Но у СДЦ будет самый большой урожай по сравнению с другими партиями.

— А в НДП есть надежные друзья?

— Программы, которая хотя бы отдаленно могла решить проблемы португальского народа, у этой партии нет. НДП сама расколота. Так что мы вряд ли можем на нее надеяться как на партнера по коалиции. Хотя надежные люди там есть. В этой предвыборной борьбе схватились три важнейшие партии — НДП, СДЦ и СП. Схватились не на жизнь, а на смерть. Этот анализ предвыборной борьбы, конечно, очень поверхностен.

— Напротив, мой генерал,— одновременно отзываются Жозе и Луиш.

— Те немногие политические ценности, которые еще можно найти в современной Португалии, представлены в НДП и СДЦ. И немножко еще в СП. Но этим правым из СП не очень-то можно доверять, слишком уж они привержены своей партии. Я их считаю оппортунистами. Всерьез их никто не принимает. Ведь министры из СП допускают в свои министерства государственных секретарей из КП. И после этого они еще хотят, чтобы им верили.

Между тем приносят оленью спинку.

— Это оленина, генерал. В Португалии она есть? — спрашиваю.

— Да, да, конечно. Но только в одном имении. В пятидесяти километрах к северу от Лиссабона, в Торри Бела. В имении герцога Браганса. Он частенько устраивает у себя охотничьи потравы.

— Устраивал, генерал. Теперь это кооператив,— поправляет Луиш.

— А сейчас в Торри Бела есть олени или уже нет? — говорю я.

— Больше ни одного,— отвечает Луиш.

— Всех постреляли,— добавляет Жозе.

— Очень нежный олень,— хвалит племянница генерала.

— Видится ли вам, генерал, ближайшая возможность вернуть законным владельцам земли, отнятые у них силой?

— Ммм,— жует генерал,— время возврата зависит частично и от вас.

— В Дюссельдорфе генерал был в последний раз во время войны,— меняет тему Луиш,— тогда он служил военным наблюдателем при немецкой армии.

— Это было в том году, когда пал Ленинград, в 1939-м,— уточняет Спинола.

— Сегодня его называют Сталинградом, и было это в 1942-м,— поправляет Луиш.

— Нет же. Я хорошо помню: Ленинград, 1940-й. С тех времен у меня сохранилась фотография, на которой я снят с двумя немецкими офицерами, и сам я — в немецкой форме, с Железным крестом на груди, а они — в португальской форме. Я бы и сегодня с удовольствием поменялся формами.

«Герой 25 апреля», или Выяснение недоразумения

Ленинград пал в 1939-м? Сталинград? «Что это генерал мелет? — спрашиваю я себя.— Так, значит, верно, что он малость «того», как мне однажды сказали в Португалии? Что он всего лишь фигурное украшение на корабле правых экстремистов?» И уже вслух спрашиваю его:

— Как вообще могло произойти это роковое недоразумение, что вы, генерал, стали во главе революции? Вас шантажировали?

— Я давно был не согласен с колониальной политикой правительства Каэтану. Прежде всего потому, что я лучше знал ситуацию на местах. В 1971 году я написал Марселу тайное донесение, в котором изложил свои соображения. Впоследствии из этого донесения родилась книга. Мои тезисы содержали решение колониальной проблемы. Но Каэтану не использовал их достаточно правильно. А когда пришла революция, он внезапно стал относиться ко мне совершенно иначе — видно, решил, что революцию вызвала моя книга. Книга, написанная ради решения португальской колониальной проблемы в соответствии с обстоятельствами и в духе португальских интересов, стала неожиданно бестселлером. Странно в этой истории то, что настоящие революционеры 25 апреля книгу запретили.

— Сразу после 25 апреля или сейчас?

— И тогда и сейчас. Но этого никто не знает. Говорили, что эта книга косвенно способствовала событиям 25 апреля. Но это неверно.

— Как случилось, что вас провозгласили символом революции, и что вы против этого предприняли?

— Хотите верьте, хотите нет, но о готовившейся революции я узнал всего лишь за две недели до 25 апреля. Они убеждали меня в том, что для спасения отчизны необходим именно я. Выложили программу движения ДВС[1]. Но это была программа коммунистической партии, которую они просто списали. И тогда я внезапно понял, что речь идет о коммунистической революции.

— Расскажите же, кто был автором этой программы,— просит Жозе.

— Сочинили ее Мелу Антуниш и Кошта Гомеш. Условием моего согласия я поставил изменение текста. У меня был в руке карандаш, которым я вычеркнул целые куски. Я сказал им, что, если программа останется в таком виде, ни в коем случае пусть не рассчитывают на мою поддержку. Сказал им, что буду участвовать, если в перспективе у них — форма государственного правления по западному образцу. Я созвал тогда семейный совет (примечание: тесть Спинолы, Шампалимо,— владелец одного из крупнейших португальских концернов), чтобы совместно решить, нужно ли мне участвовать в этой революции. Через восемь дней я получил исправленную программу. Когда я принял новый текст, сказали, что об этом нужно еще поговорить с Коштой Гомешем. Тогда я еще раз посоветовался с родственниками, знакомыми, офицерами о том, как мне себя поставить. Я еще колебался, взять ли мне на себя руководство ДВС — очень уж подозрительными казались мне эти коммунистические повороты в программе. Но все, кого я ни спрашивал, единодушно советовали взять на себя эту ответственность. Соотношение сил тогда было четыре к трем. Я знал, что могу положиться на трех генералов, на Жайме Силва Маркиша, Диегу Нету и Галвао ди Мелу. И мы попытались отвести революцию от ее коммунистического истока.

— Сейчас без двадцати четыре. Не отдохнуть ли нам? — говорит племянница генерала.

— Если ваш президент придет в четыре, может быть, стоит сейчас закончить,— поддерживает Луиш.

— Для спешки нет оснований. Если уж президент придет, то время у него будет.— Все мои отчаянные телефонные попытки найти «президента» оказались напрасными.— Президент попросил передать, что нам следует наметить план действий и что он придет, когда стемнеет. Из соображений конспирации.

Последняя попытка найти «президента». Дозваниваюсь до старого своего знакомого, господина Б., сотрудника одного издательства, застаю его на работе. Умоляю его: «Вы должны мне помочь. Я у финала обширных поисков, и мне не хватает только последнего доказательства». Коротко инструктирую его: «Ну, что надо уметь президенту, кроме как важно и осмысленно таращить глаза, а в решающих местах говорить «да» или «нет»? Галстук на вас есть? Купите еще по дороге «дипломат», чтобы иметь деловой вид». Б. согласен. Возвратившись в «Рейнский зал», я сообщаю:

— Как и вы, генерал, наш президент решился пойти на риск. Он понимает, что время генерала ограничено. Несмотря на все трудности, через полчаса он будет здесь. Сначала он выяснит через своих людей, как здесь обстоят дела, и потом выставит перед заведением охрану из двух человек. На всякий случай. Такова немецкая точность со всеми ее преимуществами и недостатками.

«Президент» появляется около 17 часов 30 минут. Седовласый, скромный, собранный. За ним входит в «Рейнский зал» отдохнувший после обеда Спинола. Его походка легка и пружиниста. Оба президента сердечно приветствуют друг друга. В приветственную речь генерал вплетает свою излюбленную тему:

— На этом этапе борьбы, когда Запад должен противостоять экспансии советского империализма, в этой критической фазе, когда Запад от нас отрекся, необходимо собрать воедино все силы, готовые бороться во имя спасения Запада. Я уже давно утверждаю, что такие силы на Западе есть. Западу несомненно нужен новый фюрер. В последние годы я внимательно следил за расстановкой политических сил и пришел к выводу, что американский альянс не имеет с Европой ничего общего. Более того, свое будущее они будут строить в конечном сче-

[1] Движение вооруженных сил, оформилось в 1973 году, до 25 апреля было известно как «движение капитанов». 25 апреля 1974 года совершило военный переворот.

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ
ПОРТУГАЛИЯ: КАК БЫЛ РАСКРЫТ ЗАГОВОР

те на развалинах Европы. Единственным противовесом может быть только Европа. С сильным фюрером во главе. И я уже несколько лет пребываю в твердой уверенности, что ведущая роль в Европе принадлежит Германии. Поэтому нашу встречу я считаю вовсе не такой уж удивительной. Нам необходимо держаться вместе, чтобы спасти Европу на этом критическом этапе. Я рад, господин президент, возможности передать вам тексты речей, с которыми я выступал в нынешнем году в Америке. Первая посвящена упадку Запада.

В этой речи, которую генерал Спинола произнес в Коннектикутском университете 18 ноября 1975 года, помимо прочего говорилось: «Если Запад останется столь апатичным и в дальнейшем, если он и дальше будет пребывать в опиумном опьянении и делать всевозможные уступки, то он все больше и больше будет терять свою реакцию, а вместе с тем и самое свободу... Гипотеза о необходимости всемирной вооруженной конфронтации кажется нам еретической и порочной, но в перспективе это единственная возможность остановить наступление Советов».

— Я хотел бы поблагодарить ваше превосходительство,— вступает в диалог наш «президент»,— за ваши высказывания. Я полностью разделяю ваши соображения и идеи. Нет никакого сомнения в том, что положение в Португалии несравненно сложнее, чем это может показаться извне. И чем больше мы углубляемся в дело, тем сложнее оно представляется. Но мы, конечно, настроены оптимистично. Рассмотрим положение в Германии. Здесь действуют самые различные силы. А до двенадцати, как говорится, остается пять минут. То есть время терять мы не можем. Я восхищен вашей уверенностью, ваше превосходительство, вашим решением трудной задачи, известной под заглавием «Будущее Европы».

— Вы это обо мне? — восклицает Спинола.— Но иной возможности, кроме как быть оптимистом, у меня нет. Если бы мы не были оптимистичны, то это означало бы конец Европы и Запада.

— Теперь речь пойдет о завершающих моментах, об окончательной договоренности между вашим генералом и нашим президентом,—обращаюсь я к собравшимся.— Мы готовы пойти навстречу вашим пожеланиям и приложить все усилия для их выполнения.

— В основных принципах у нас уже торжествует единство,— говорит наш «президент».— Вы понимаете, ваше превосходительство, что я пришел сюда, чтобы лично убедиться. Самое главное — вы убедили меня в том, что надо спешить, что нельзя сидеть сложа руки, что Португалию необходимо спасти в самое ближайшее время.

— Все, что вы обсудили до сих пор с моими сотрудниками, заранее имело мое согласие. Мы уже месяцами дебатировали по этим вопросам, так что все их слова и действия являются также и моими действиями и словами. Но что касается дальнейших проблем, а также возможности критики с вашей стороны, то я полностью в вашем распоряжении,— заявляет Спинола.

— А как вы оцениваете события 25 ноября 1975 года? — спрашиваю я Спинолу.

— В противоположность тому, что считает мировое общественное мнение, путчисты 28 ноября...

— 25 ноября, мой генерал...— поправляет Луиш.

— У этих левых путчистов не было ни малейших шансов на успех. Приятно, прежде всего, было думать, что 25 ноября мы сможем наконец-то нанести коммунистам решающий удар. И надо же: они вновь оправились, опять заняли свои позиции и даже их усилили. Мне кажется, что мировая общественность не совсем осознает это. Хотелось бы поговорить еще об одном аспекте дела. А именно: я исключаю возможность того, что революция, имеющая коммунистические корни, когда-либо сможет привести эволюционным путем к демократической государственной форме правления. С коммунистической революцией необходимо в один прекрасный день покончить только силой.— Пальцами Спинола делает движение, будто режет что-то ножницами.— Я не думаю, что демократия здесь будет нам в помощь. И потому у меня возникает вопрос: каким образом должна быть спасена Португалия?

— Но ведь это же для вас не проблема, ваше превосходительство! — восклицает «президент».

Польщенный Спинола смеется:

— Прежде всего нельзя упускать из виду международный контекст.

— Это не только португальская проблема,— развивает высказывание генерала наш «президент».

— Вот именно. Поэтому-то я и рад возможности собраться и поговорить всем вместе. Нашу работу мы должны развивать теперь вглубь, обратиться к сознанию народных масс. Поэтому нам нужно как можно скорее основать Институт национального возрождения.

— И его директором станете вы! — подхватываю я.

— Да. И как директор я буду рассчитывать на экономическую помощь из вашей страны. Португалии нужно нечто наподобие немецкого экономического чуда. И мы уверены, что наш институт, как только он будет создан, станет магнитом для всей Португалии. Через все границы я делаю ставку на Германию после очередных выборов в бундестаг. Для Португалии и Европы это решение немецкого народа является вопросом жизни или смерти. Есть у вас еще что-нибудь ко мне?

— Позвольте мне одно небольшое замечание,— говорит «президент».— Я очарован вашей деловой готовностью и решительностью. Я ценю преимущество личного знакомства с вами, ваше превосходительство. Детали соглашения уточнят наши сотрудники. Многого в настоящий момент я обещать вам не могу, но одно могу сказать я

с уверенностью: разочарование, ваше превосходительство, вас не постигнет.

— Еще, еще,— шепчу я «президенту».— Теперь об оружии.

— Может быть, ваше превосходительство скажет, каким образом мы будем решать такой деликатный вопрос, как оружие.

— Оружие должно быть поставлено либо по морю с отгрузкой в Алгарви — этот вариант у меня уже разработан,— либо непосредственно через верховное командование португальских вооруженных сил.

— Но капитан Дуарти предложил нам поставить груз через Север,— возражаю я.

— Можно, конечно, и через Север,— раздраженно восклицает Спинола,— но на Юге я ориентируюсь лучше. Можно и так, и так. Другая возможность — перевозка по воздуху, который контролируется португальскими ВВС. Официально груз был бы предназначен для вооруженных сил или национальной гвардии, а получили бы его... мы! — смеется Спинола.

СПИСОК ОРУЖИЯ, ПЕРЕДАННЫЙ ЗАГОВОРЩИКАМИ ВАЛЬРАФУ

1. Легкое вооружение:
   а) 4000 автоматических винтовок типа АР-18,
   б) 1000 автоматов,
   в) 1000 короткоствольных охотничьих ружей,
   г) 1000 пистолетов калибра 7,65.
2. Оружие для огневого прикрытия:
   а) 250 реактивных минометов 88,9,
   б) 250 ручных пулеметов,
   в) 100 минометов калибра 60 мм.
3. Боеприпасы:
   а) 16 000 ружейных гранат типа АЛП,
   б) боекомплект на 1 000 000 единиц для автоматических винтовок и ручных пулеметов,
   в) боекомплект на 1 000 000 единиц для автоматов и пистолетов,
   г) 50 000 патронов «цагалоте» для короткоствольных охотничьих ружей,
   д) 5 000 снарядов для ракетных минометов калибра 88,9 (противопехотных и противотанковых),
   е) 5 000 снарядов для минометов калибра 60 мм,
   ж) 50 000 наступательных ручных гранат,
   з) 50 000 оборонительных ручных гранат.

Примечание: все вооружение должно быть типа «НАТО».

4. Материал для актов саботажа:
   200 мотков электрического кабеля МК-4 Мод. О,
   2 000 метров огнепроводного шнура (медленного сгорания),
   2 000 метров обычного бикфордова шнура,
   1 000 взрывных электрокапсул,
   5 000 взрывателей для огнепроводного шнура медленного сгорания типа М2 или М1,
   200 рабочих сумок для саботажного материала,
   200 стандартных зарядов типа 10 КАП,
   200 электронных устройств для дистанционного управления,
   1 000 приемо-передаточных устройств для электронного дистанционного управления,
   500 килограммов пластического взрывчатого вещества,
   100 фугасных зарядов типа М1,
   200 фугасных зарядов типа М3,
   400 фугасных зарядов типа М2 А3,
   100 противотанковых мин,
   100 мин типа «черная вдова».

Примечание: деньги (11 000 000 западногерманских марок) должны быть переведены на счет:Credit Suisse, place Bel Air, 755 313, Genève.

— А как оружие будет использовано? Ведь Север, собственно говоря, уже умиротворен. Как будет на Юге, который еще по-прежнему прочно удерживают коммунисты? — спрашиваю я.

— В первую очередь нам необходимо первоклассное автоматическое оружие,— пропускает Спинола мой вопрос.

— Ваши связные на Севере говорят, что в виду португальских берегов оружие должно быть перегружено с грузового судна на рыбацкие лодки.

— Именно такой вариант и представлялся мне в случае выгрузки в Алгарви. К сожалению, обстоятельства настолько неудач-

ны, что мы не можем рассчитывать на Испанию. В Испании положение еще тяжелее, чем в Португалии. В Португалии политические перипетии близятся к своему завершению, в то время как в Испании они только начинаются.

— Очень, очень интересно,— комментирует «президент».

— Вас, вероятно, очень обрадует, что в нашей хорошо организованной подпольной системе действуют свыше ста тысяч человек. И люди эти — не новички, кое-что они уже повидали. Наш главный враг — и мы единственные, кто борется с ним наступательными методами,— это коммунистическая партия; но, к сожалению, еще очень мало воинских подразделений с дисциплинированным составом, настроенным против коммунистов.

— А как же «Командуш»?..

— Да, да. Там все в порядке. Военная миссия ДДОП заключается в аннулировании интернациональных бригад,— разъясняет Спинола.

— Физическом?

— Да. Но мы не должны упускать из виду мнение народных масс. Количество оружия, которое мы у вас просим, невелико. Мы сознательно ограничиваем свои запросы. Речь идет всего лишь о восполнении нашей собственной наличности.

— Президент хотел бы знать,— «президент» кивает,— насколько гарантировано использование оружия по назначению,— беру я слово,— я имею в виду окончательный разгром коммунистического движения. Насколько мне известно, имеются в виду не отдельные акции, как на Севере, а «крупное наводнение» на Юге. Рассчитываете ли вы при этом на полное истребление коммунистов в Португалии?

— Ха-ха, это ведь наша конечная цель,— Спинола делает утверждающий жест.— В глобальном плане, конечно. Но, прежде всего, наш ближайший ориентир — тотальное истребление коммунизма в Португалии. И пока коммунистов терпят в правительстве, я не приемлю никаких демократических альтернатив. Уж что-что, а в этом мы пошли дальше, чем другие государства Европы.

— В настоящий момент у нас в стране имеются мощные силы,— вступает в беседу адвокат Майнекке,— которые работают над тем, чтобы запретить коммунистическую партию.

— Запретить? — Спинола даже подскочил.— Так это же минимум необходимого. Тем более что речь идет не только о коммунистах, но и о социалистах. В современной Европе социалистические и социал-демократические партии представляют опасность не меньшую, чем коммунистические. Многие социал-демократы, а также социалисты — всего лишь переодетые коммунисты.

— А как же покончить с этими социалистами, ваше превосходительство? — любопытствует наш «президент».

— Это, конечно, зависит от того, какие средства окажутся в нашем распоряжении.

— Каким образом ДДОП может быть поддержано СДЦ как официальной партией? — спрашивает адвокат Майнекке.

— О! Между СДЦ и ДДОП существует множество контактов... Что же касается огласки официальной, то тут уж, естественно, никакая партия не рискнет объявить о своих связях во всеуслышание. Кроме того, все партии страдают сейчас определенным комплексом — все боятся коммунизма. Они даже не рискуют открыто объявить себя антикоммунистическими или правыми. Мы же, напротив, известны как сильное правое антикоммунистическое движение.

— НДП и СДЦ действительно настолько трусливы, что не называют себя даже «партиями центра»,— подливаю я масла в огонь.

— Вот именно,— возбужденно реагирует Спинола.— Справедливость наших целей они втайне признают, но боятся скомпрометировать себя в глазах общественности. И поэтому они лгут. Но правды они, наверно, сказать сейчас не могут.

— Но ведь не всегда следует говорить правду, ваше превосходительство,— умиротворяюще говорит «президент».

— Да, да,— рассеянно откликается Спинола.

— Какие есть гарантии, что полученное вами оружие будет использовано и что это принесет успех? Когда можно ждать результатов? — спрашиваю.

— Хочу сообщить вам один секрет. Наша южная организация несколько лучше, чем северная. И ваше оружие предназначено в первую очередь для Юга.

— Именно так я и предполагал. Рад получить от вас подтверждение,— констатирует «президент».

— Вам что-нибудь говорит организация малоземельных крестьян и крестьян-середняков? Известен ли вам смысл таких географических названий, как Риу Майор и Коруши? — обращается к нам Спинола.

Мы все киваем:

— Риу Майор — центр реакционных крестьянских объединений, а в Коруши эти объединения устраивали подрывы.

— Тогда мне, наверно, не нужно об этом распространяться,— продолжает генерал.— На Юге у нас есть in petto [1] еще кое-что.

— Теперь я в самом деле должен уйти,— шепчет мне на ухо мой друг Б.— У меня очень важное дело.

— Мы делаем ставку, как вы знаете, на мобилизацию народных масс,— излагает Спинола свою концепцию,— и мы должны быть способны поддержать эти возмущенные людские толпы оружием. Взрывы в разных отделениях партии в перспективе ничего не дадут. Они всего лишь «разведка боем», систему коммунистических организаций они не задевают.— Разложив на зеленом сукне спичечные коробки, Спинола щелчком выбивает некоторые из них.— Сровнять эти пункты с землей мы сумеем лишь в том случае, если увлечем за собою народные массы. Да-а,— впадает Спинола в

[1] Под сердцем *(итал.)*, здесь — про запас.

мечтательное настроение,— наши южные организации тактически подготовлены много лучше. Вот увидите.

— Чтобы подвести к финалу нашу чрезвычайно интересную встречу,— говорит «президент»,— хочу вас попросить сделать то же самое, что и я, а именно: разработку конкретных деталей передать в руки наших сотрудников. Мне хотелось бы еще раз от всего сердца поблагодарить вас за столь бесстрашную защиту нашего общего дела и выразить вам мое глубокое уважение и восхищение.

— А вы знаете, что генерал пригласил вас в Женеву? — тихо говорю я «президенту».

— Нет. А что, в самом деле? — отзывается Б. И вслух: — С огромным удовольствием воспользуюсь вашим приглашением.

— Мы гарантируем вам полную безопасность. Как хорошо, что существуют две такие организации, как наши! — восторженно восклицает Спинола.— Так что нам остается лишь скоординировать их действия. И как можно скорее.

Надо уже спешить. Луиш и Жозе торопят. Через 40 минут, в 20 часов 05 минут— вылет самолета. Но Спинолу оторвать невозможно: он называет все новые и новые данные, перебирает типы боевых средств и системы оружия.

— Все, все в порядке. Не забыто и бортовое вооружение вертолетов,— увещевает его Луиш.

Наконец-то оба президента сердечно прощаются. Наш «президент» берет в руки свой новый пустой «дипломат» и с достоинством удаляется.

— Хороший человек ваш президент,— признательно говорит Луиш.

— Да. Он дает нам полную свободу действий,— поддакиваю я.

Прокуристы, или Финансирование заговора

На следующий день продолжение переговоров с обоими уполномоченными Спинолы. Встречаемся в дюссельдорфском ресторане «Бобино» на Бургплац, 7. Здесь нам сообщают номер счета для перевода нашей финансовой «доли».

— Когда должен последовать первый платеж? — спрашиваю.

— В целом речь идет об одиннадцати миллионах без оружия. На первые три месяца это составит четыре миллиона четыреста тысяч марок. Опять-таки без стоимости оружия.

— В ближайшие недели стоимость марки по отношению к доллару повысится. В первые три месяца мы хотим выплатить две трети в чистом переводе на швейцарские франки и одну треть передать непосредственно. В долларах.— «Последнее заняло бы два-три таких «дипломата»,— прикидываю про себя.

— Да, я согласен. Это значит, что вы принимаете наши расчеты.

— Конечно. Первый перевод последовал бы между 5 и 10 апреля.

— А теперь вот вам номер счета. Credit Suisse, place Bel Air, 755 313, Genève. Счета на три имени, на наши и на имя генерала. Два — с правом распоряжения...

— Что касается второго этапа финансирования, то у нашего президента есть одно возражение. А именно: как обстоят дела с долей крупных португальских промышленников? Шампалимо, например? Для нашего проекта это означало бы дополнительную гарантию. Если бы наш проект финансировался не только из-за границы, то от этого мы бы все, наверно, выиграли бы. И национальные интересы Португалии тоже.

— Совершенно верно,— соглашается Луиш.— Трудность настоящего момента еще и в том, что португальские промышленники владеют только новыми капиталами. Подлинные магнаты и богачи находятся еще за границей. Как Шампалимо, например, и Жоржи ди Мелу из КУФ [1]. Они уже нам помогали. За границей у этих людей оборотного капитала, конечно, очень немного, за исключением, пожалуй, Мелу, которые участвуют и в швейцарских компаниях. Эти крупные промышленники, живущие сейчас за границей, наши лучшие союзники. Только сейчас их трудности заключаются в том, что, когда они вернутся в Португалию, они сами должны будут начинать все сначала. Они могут оказать нам духовную помощь, но «духа» у них немного, несмотря на те же политические позиции, что и у нас. Им не хватает воображения, чтобы представить, что новая Португалия будет иной, чем при Салазаре и Каэтану. Их позицию мы считаем устаревшей и ретроградной.

— Поэтому первую треть возьмем на себя мы. А крупные португальские промышленники присоединятся, как только убедятся в успехе дела,— говорю я.

— Есть два типа успеха. Первый — это когда они увидят, что помогают нам только из-за рубежа. Второй тип успеха для них — это успех игрока, который охотно выигрывает сам. Думаю, что ваша поддержка не должна быть для нас причиной головной боли, и тем более — после нашего победного возвращения в Португалию. Мы благодарим вас за ваше предложение, ведь в конце концов главным потребителем нашей политической активности будет сама португальская промышленность.

— Куда, по вашему мнению, португальские промышленники вывезли наибольшее

[1] Крупнейшее в Португалии монополистическое объединение, в настоящее время национализировано.

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ
ПОРТУГАЛИЯ: КАК БЫЛ РАСКРЫТ ЗАГОВОР

количество капитала, в Швейцарию или в Бразилию?

— В Бразилию. Но в ближайшее время какая-то часть вернется в Португалию, как, впрочем, вернется в ближайшее время из Бразилии и весь капитал. Бразильцы, между тем, основали на нем собственные компании, но это не страшно, ведь они будут функционировать и дальше, и тогда, когда деньги изымутся...

— А что касается Шампалимо,— прибавляет Жозе,— то он принадлежит к тем, у которых не так много оборотного капитала, как кредитов.

— Я его очень ценю, несмотря на постоянную вражду наших обеих банковских групп[1],— говорит Луиш.— Но то большое дело, которое он основал в Анголе, Мозамбике и Португалии, требует ему подобных. Когда Шампалимо основал свою стальную империю, Спинола работал у него прокуристом. Шампалимо был вынужден взять Спинолу, потому что тот был избран президентом акционеров мелких и средних сталелитейных предприятий. Спинола и Шампалимо очень ценят друг друга. Шампалимо рассердился только тогда, когда Спинола решил оставить сталелитейную промышленность и поехал воевать в Анголу. Но когда я недавно, в декабре, был в Бразилии и разговаривал с Шампалимо, он сказал мне, что генерал неисправимый упрямец, но что он, Шампалимо, все же питает к нему слабость, и стоит Спиноле поднять хотя бы мизинец, как тесть последует за ним куда угодно. Если нас поддержат эти три-четыре крупных промышленника, автоматически присоединятся и мелкие. Это закон природы.

— А кто, вы думаете, примет участие в финансировании помимо названных?

— Наверняка и группа Эшпириту Санту[2].

— А кто, вы думаете, останется в стороне?

— Будьте справедливы, ведь есть, в конце концов, и такие, у которых сейчас нет больше денег. А вообще мы можем рассчитывать почти на всех...

— А когда вы, собственно, узнали о том, что мы предлагаем свою помощь?

— Только две недели назад,— отвечает Жозе,— когда капитан Дуарти, который служит в «Командуш» на Севере, поехал в Алентежу к одному из наших особоуполномоченных, армейскому офицеру. А тот — один из двух оперативных адъютантов генерала. Этот адъютант из Алентежу известил меня, когда я был в Мадриде, и я тотчас же, в прошлую субботу, полетел в Женеву к генералу.

— Всю субботу и воскресенье мы беседовали о положении в Португалии, а ваше предложение пришло Жозе в голову только в понедельник,— объясняет Луиш.— Вначале мы были все убеждены, что это опять один из гусарских трюков Алвоима Галвао[1]. Если бы мы знали, что вы уже установили контакты с Тейшейрой ди Мелу, нашим настоятелем в Браге, то мы бы, конечно, не сомневались ни секунды. Я тотчас же ринулся к телефону и позвонил в Мюнхен по вашему явочному номеру.

— Да, вначале были кое-какие недоразумения.

— Не недоразумения, а неуразумения,— протестует Луиш.— Эти единичные акции нас всех просто утомили. И неприятностей было много.

— И все же я не понимаю, почему Дуарти не известил вас раньше?

— Поступил он правильно,— подает реплику Жозе.— Ведь официально никто не знает, что он наш человек. И известие он хотел передать лично.

— Как вы оцениваете деятельность ПКП (м-л) и ДРПП?[2]

— Достойна похвалы. Они пришли к нам в Партию прогресса и попросили совета. Очень важно, что они внедрены в так называемое левое крыло. Но самая надежная опора для нас — это церковь. Епископ ди Авейру, например. За месяц до июльских событий 1975 года в Браге, в Авейру, состоялась антикоммунистическая демонстрация, и во главе демонстрации шел сам епископ.

Перевод с немецкого А. НАУМЕНКО

---

[1] Луиш Оливейра Диаш тринадцать лет был директором-управляющим по международным связям «Банку Португеш ду Атлантику». *(Прим. ред. журнала «Блеттер».)*

[2] Влиятельная финансовая группировка в Португалии.

[1] Капитан Галвао, заместитель Спинолы, действует из Мадрида, но нелегально появляется нередко и в Португалии. *(Прим. ред. журнала «Блеттер».)*

[2] ДРПП (порт. сокр. МРП) - Движение за реорганизацию пролетарской партии — одна из маоистских партий Португалии; владеет большими денежными средствами. Вместе с маоистской ПКП (м-л) -- Португальская коммунистическая партия (марксистско-ленинская) - - организует открытые антикоммунистические выступления. Последняя призывала своих приверженцев на выборах 25 апреля 1976 года отдать свои голоса за ДНП, так как консервативная «социал-демократическая» ДНП является якобы наибольшим противовесом компартии. *(Прим. ред. журнала «Блеттер».)*

(Окончание в следующем номере)

Антирубрика

От редакции

С этого номера редакция вводит новый раздел — «Антирубрику», где будут представлены юмористические произведения писателей разных континентов. Можно было бы назвать эти страницы отделом юмора. Но это не совсем точно. Юмор — понятие широкое, почти вездесущее. Смешное в литературе не всегда заключено в специальные жанровые рамки, не обязательно выделено, обозначено указующими, как перст, заголовками. И вряд ли верно представлять себе, что удел юмора в литературно-общественном журнале — одно-единственное, специально отведенное место, некий отгороженный «уголок»; а все остальное должно быть безулыбчато, строго и официально.

Мы предполагаем публиковать и произведения таких привычных для юмора жанров, как пародия, эпиграмма, басня. А вместе с тем печатать и, так сказать, обыкновенные произведения, если они несут на себе отсвет юмора.

Ясно, что «смешно — не смешно» — это вопрос спорный, все тут очень субъективно, и трудно одной шуткой рассмешить сразу всех подписчиков журнала без исключения.

Мы надеемся, что отклики и мнения читателей помогут новому разделу стать живым и занимательным.

Редакция предполагает публиковать работы художников — мастеров карикатуры, дружеского шаржа и т. п.

Так пусть же улыбка — от самой добродушной до злой и язвительной — станет визитной карточкой писателя и художника, участника новой рубрики нашего журнала.

ЛЕОНИД ЛЕНЧ

«СМЕХ — ЭТО ЧЕЛОВЕК»

Обычно все пишущие о сатире и юморе, о месте и назначении этого жанра в литературе начинают свое писание с цитаты. Цитатная артиллерийская подготовка способна подавить сопротивление самого недоверчивого, самого безулыбчивого читателя. Этот прием не лишен смысла.

— Ты можешь, голубчик, не поверить мне,— мысленно говорит такому читателю автор статьи об общественной пользе сатиры и юмора,— но попробуй не поверить Великим!

И «туго забивает» в «пушку» заряд с цитатой из Аристофана, из Салтыкова-Щедрина, Марка Твена, Герцена, Чехова, из Маяковского, из Шолома-Алейхема...

Следуя этой почтенной традиции, я возьму слова Горького.

Горький сказал о смехе так: «Смех — это Человек. Скотина не смеется».

Обратите внимание на емкость и точность этой великолепной формулы. Ведь говоря о скотине, Горький имел в виду парнокопытных животных, потому что животные высших биологических рядов, допустим собаки, умеют улыбаться. Я, например, знаю, что среди моих четвероногих знакомцев и приятелей имеются отличные зубоскалы.

Однако оставим в покое собак и обратимся к обезьянам. Погрузимся в тьму доисторических времен. Обезьянья стая резвилась в джунглях. И вдруг одна из этих лохматых тварей, самая сообразительная и самая моторная, заметив валяющийся в траве сук, подумала:

«А что получится, если я возьму «это» в передние лапы?»

Мы знаем сейчас, что из «этого» получилось. Все! От лопаты до цветных телевизоров и водородных бомб включительно!

Но не только труд сделал из обезьяны человека. Позволю себе к этой мысли присовокупить маленькое добавление: труд и улыбка!

Как это произошло? Может быть, так: один питекантроп (ну, в общем, потомок той самой сообразительной твари, о которой сказано выше) пробирался по охотничьей тропе среди лиан и папоротников с камнем за шерстистой пазухой и вдруг встретился носом к носу с другим незнакомым питекантропом, который тоже прятал за своей шерстистой пазухой увесистую каменюку. Секунда — и камни были бы пущены в ход!! И вдруг случилось неожиданное: первый питекантроп добродушно оскалился, изобразив нечто вроде улыбки. Может быть, он при этом подумал другое: я, мол, не советую тебе, братец, меня трогать, потому что... видишь сам, какие у меня зубки! Не знаю, что он именно там подумал, но... произошла разрядка, и второй питекантроп, ответив на этот оскал таким же добродушным оскалом, свернул в сторону и мирно зашагал прочь!

Десятый Общеболгарский фестиваль сатиры и юмора прошел в 1975 году в Габрове под девизом: «Мир уцелел, потому что смеялся».

Какой долгий, трудный, тернистый и кровавый путь прошло человечество от первой улыбки питекантропа до наших дней, когда съехавшиеся из разных западных и восточных стран в милое Габрово писатели — жрецы нашей безымянной музы Смеха — прочли на стене габровского Дома сатиры и юмора эти мудрые, предостерегающие слова!

Смех — явление многозначное и очень индивидуальное. То, что кажется смешным одному, оставляет равнодушным другого.

Обывателю обязательно подавай «тещу» во всех ее аспектах, переучившийся школяр хохочет над своим провалившимся на экзамене незадачливым собратом, назвавшим философа Канта — квантом.

Я думаю, что смех входит в литературу и становится ею, когда он человечен и добр. Вспомним опять Горького: «Смех — это Человек». Самый злой сатирик в сущности человек добрый. Он воюет со злом во имя добра; как бы саркастично ни звучала его насмешка,— она зовет к добру. Мне могут возразить, сказав, что и понимание добра у разных людей разное.

Да, это так, но есть вечные, общечеловеческие ценности: мир, природа, любóвь, материнство, дети. И есть человеческие пороки — мишени сатирических насмешек, они, увы, тоже относятся к категории непреходящих — пока! — антиценностей: тупая жадность, чванливое лицемерие, злобное мракобесие...

Об этом напомнили писателям-юмористам и сатирикам вещие слова на стене габровского Дома смеха.

Они обязывают нас ко многому. В них секрет взаимной доходчивости современных улыбок всех широт.

СТАНИСЛАВ ЛЕМ

ПУТЕШЕСТВИЕ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ

Глава из книги «Звездные дневники»

■

Перевод с польского АРИАДНЫ ГРОМОВОЙ

Вскоре вложу я эти исписанные листки в пустой бочонок из-под кислорода и брошу его в водоворот за борт, чтобы помчался он в черную даль, хотя вовсе не рассчитываю на то, что кто-нибудь его найдет. Navigare necesse est [1] — но, видимо, в этом чрезмерно долгом путешествии исчерпалась даже моя сопротивляемость. Лечу и лечу долгие годы, а конца этому не видно. Хуже того — время запутывается, перехлестывается, я проникаю в какие-то внекалендарные протоки и заводи — не то в прошлое, не то в будущее,— хотя иной раз попахивает средневековьем.

Существует особый метод спасания рассудка в излишнем одиночестве, разработанный моим дедом Косьмой; состоит он в выдумывании для себя определенного количества попутчиков, даже обоих полов, но потом уж надо последовательно придерживаться своего вымысла. Этим методом пользовался и мой отец; однако это довольно рискованно. В космической тишине эти попутчики становятся слишком самостоятельными, возникают затруднения и осложнения, кое-кто посягал на мою жизнь, я вынужден был защищаться, каюта превратилась прямо-таки в побоище, а прекратить применение метода я не мог, соблюдая лояльность по отношению к деду. Слава богу, они пали в бою, и теперь можно передохнуть.

Примусь я, пожалуй, как давно уже собирался, за изложение истории рода Тихих, чтобы там, в минувших поколениях, набраться сил подобно Антею.

Основоположником главной ветви Тихих был Анонимус, окутанный тайной, которая теснейшим образом связана со знаменитым парадоксом Эйнштейна о близнецах — один из них летит в космос, а другой остается на Земле, после чего вернувшийся оказывается младше того, кто оставался. Когда предприняли первый эксперимент, чтобы разрешить этот парадокс, два молодых человека, Иезекииль и Каспар, вызвались добровольцами. В предстартовой суматохе усадили в ракету обоих. Эксперимент таким образом сорвался, и хуже того — ракета вернулась через год лишь с одним близнецом. Он заявил с глубоким прискорбием, что брат слишком далеко высунулся из ракеты, когда они пролетали над Юпитером. Этим полным боли словам не поверили и, под аккомпанемент ожесточенной газетной травли, обвинили его в братоубийстве. Вещественным доказательством служила обвинению найденная в ракете поваренная книга, в которой глава «О засолке мяса в пустоте» была обведена красным. Нашелся, однако же, человек и благородный, и рассудительный, а именно: адвокат близнеца. Посоветовал он, чтобы обвиняемый рта не раскрывал во время процесса, независимо от того, что будет твориться. Ибо суд, даже при наличии злой воли, не мог вынести обвинительный приговор моему предку, поскольку в тексте приговора необходимо проставить и фамилию, и имя обвиняемого. По-разному говорят об этом старые хроники: одни утверждают, что он и раньше назывался Тихим, другие — что это прозвище дали ему за упорное молчание, ибо он сохранял инкогнито до самой смерти.

Судьбе этого моего предка нельзя позавидовать. Клеветники и лгуны, которых всегда хватает, утверждали, будто во время судебного разбирательства он облизывался каждый раз, когда упоминали имя брата, и ничуть их не смущало при этом, что неизвестно было, кто же тут чей брат. О дальнейшей жизни этого своего прадура я знаю мало. Было у него восемнадцать детей, и он всякого навидался — некоторое время даже торговал вразнос детскими скафандрами.

Под старость он сделался доработчиком окончаний к литературным произведениям. Профессия эта малоизвестная, а потому следует объяснить, что состоит она в исполнении желаний, выражаемых любителями романов и пьес. Доработчик, приняв заказ, должен вжиться в атмосферу, в стиль и дух произведения, которому придаст эпилог, отличающийся от авторского. В семейных архивах сохранились некоторые черновики, свидетельствующие о том, какими незаурядными способностями был наделен первый Тихий. Есть там версии «Отелло», в которых Дездемона душит мавра, а есть и такие, где они втроем с Яго живут себе в добром согласии. Есть варианты дантова ада, где особым мучениям подвергаются те люди, каких назвал заказчик. Причем редко приходилось заменять трагические финалы счастливыми — чаще бывало наоборот. Богачи гурманы зака-

[1] Плыть мне необходимо *(лат.)*.

зывали моему предку эпилоги, в которых добродетель не удавалось спасти, а, наоборот, торжествовал порок. Эти богатые заказчики безусловно руководствовались низменными побуждениями, однако же предок мой, выполняя то, что ему заказано, создавал прямо-таки мастерские вещицы, а к тому же, хоть вроде и неумышленно, больше приближался к правде жизни, чем авторы произведений. Да и в конце концов ему приходилось заботиться о пропитании многочисленного семейства, поэтому он делал что умел, раз навсегда возымев отвращение к космонавтике (что нетрудно понять).

От него повелись в роду нашем люди особого склада — талантливые, сосредоточенные, с оригинальным умом, часто даже склонные к чудачествам, упорные в достижении раз намеченной цели. В семейном архиве хранится множество документов, подтверждающих эти характерные черты.

Кажется, одна из побочных линий рода Тихих обитала в Австрии, а точнее говоря, в некогда существовавшей Австро-венгерской монархии, ибо среди страниц древнейшей хроники нашел я выцветшую фотографию красивого юноши в кирасирском мундире с моноклем и подкрученными усиками, снабженную надписью на обороте: «К. и К.[1] Киберлейтенант Адальберт Тихий». О деяниях сего лейтенанта ничего я не знаю, кроме того, что — как предтеча технической микроминиатюризации в те времена, когда она никому и не снилась, — выдвинул он проект пересадки кирасир с коней на пони.

Гораздо больше сохранилось материалов, касающихся Эстебана Франциска Тихого, блестящего мыслителя, который — будучи несчастливым в личной жизни — жаждал изменить климат Земли, посыпая полярные области порошком сажи. Зачерненный снег должен был растаять, поглощая солнечные лучи, освобожденные же таким образом ото льдов просторы Гренландии и Антарктиды мечтал этот мой предок превратить в некий рай для человечества. Поскольку не нашел он сторонников своего плана, начал на свой страх и риск накапливать запасы сажи, что привело к супружеским раздорам, закончившимся разводом. Вторая его жена, Эвридика, была дочерью аптекаря, который за спиной зятя выносил сажу из подвалов и продавал ее как лечебный уголь (Carbo animalis). Когда аптекаря разоблачили, ни о чем не подозревавший Эстебан Франциск был также обвинен в подделке лекарств и поплатился за это конфискацией всего запаса сажи, накопленного в подвалах усадьбы за долгие годы. Глубоко разочаровавшись в людях, несчастливец преждевременно умер. Единственной его утехой в последние месяцы жизни было посыпать сажей заснеженный садик и наблюдать за оттепелью, которая от этой процедуры начиналась. Дед мой поставил ему в этом садике небольшой монумент с соответствующей надписью.

Дед этот, Иеремия Тихий, является одним из самых выдающихся представителей нашего рода. Воспитывался он в доме старшего брата Мельхиора, известного своей набожностью кибернетика и изобретателя. Не отличаясь особо радикальными взглядами, Мельхиор не стремился целиком автоматизировать богослужение, а хотел только прийти на помощь самым широким массам духовенства, поэтому сконструировал он несколько надежных, быстродействующих и удобных в обращении устройств, как-то: анафематор, отлучатель, а также специальный аппарат для проклятий с обратным ходом (чтобы их можно было отменить). Работы его, к сожалению, не нашли признания у тех, для кого он трудился, и более того, их сочли еретическими. Со свойственным ему великодушием Мельхиор предоставил тогда местному приходскому священнику экземпляр отлучателя, давая тем самым возможность испробовать устройство на самом изобретателе. К сожалению, даже в этом ему было отказано. Опечаленный, разочарованный, он прекратил все работы в этом направлении и переметнулся — лишь в качестве конструктора — в сферу восточных религий. Еще поныне пользуются известностью электрифицированные им буддийские молитвенные колеса — особенно сверхскоростные модели, достигающие 18 000 молитв в минуту.

Иеремия в противоположность Мельхиору ничуть не был склонен к примиренчеству. Не окончив школы, он продолжал обучение дома, по преимуществу в подвале, которому суждено было сыграть в его жизни весьма значительную роль. Отличительной чертой Иеремии была прямо-таки необычайная последовательность. Девяти лет от роду решил он создать Общую Теорию Всего, и ничто его от этого не удержало. Значительные трудности с формулированием мысли, которые он испытывал с самых юных лет, возросли в результате несчастного случая на улице (дорожный каток сплющил ему голову). Но даже увечье не отвратило Иеремию от философии: решил он стать Демосфеном мысли, или, вернее, ее Стефенсоном, ибо, подобно тому как изобретатель локомотива, сам не очень-то быстро передвигаясь, вознамерился принудить энергию пара к вращению колес, Иеремия хотел добиться, чтобы энергия электронов приводила в движение мысли.

Идею эту часто извращают, утверждая, что Иеремия Тихий проповедовал избиение электронных мозгов. Его лозунг по этим клеветническим вымыслам якобы звучал так: «ЭНИАКам — по морде!» Это — недостойное искажение его

[1] К. и К. — Kaiserlich und königlich *(нем.)* — «императорский и королевский» обозначало службу в армии «двуединой» Австро-венгерской монархии.

мысли; попросту имел он несчастье выступить со своими концепциями раньше времени.

Иеремия немало всего натерпелся. Малевали на стенах его дома оскорбительные прозвища вроде «мозгодав» или «электроновал»; соседи писали на него доносы, что он нарушает ночную тишину криками и ругательствами, доносящимися из подвала, и осмелились даже утверждать, будто он посягал на жизнь их детей, рассыпая всюду отравленные конфеты. Иеремия и вправду, подобно Аристотелю, не любил детей, но конфеты были предназначены для галок, опустошающих сад, о чем свидетельствовали сделанные на них надписи. Что же касается так называемых богохульств, которым он якобы обучал свои аппараты, то это были лишь возгласы разочарования, вырывавшиеся у него во время изнурительной лабораторной работы, когда ее результаты оказывались ничтожными.

Безусловно, было с его стороны неосторожностью применять в брошюрах, которые он издавал за собственный счет, термины грубоватые, даже простонародные, поскольку такие выражения, как «трахнуть по лампе», «дать пинка», «гвоздануть», попадаясь в контексте рассуждений об электронных машинах, легко могли сбить читателей с толку. Единственно также из духа противоречия — в этом я уверен — рассказывал он мистификаторскую побасенку, будто без крепкой дубинки никогда не принимался за программирование.

Иеремия отличался эксцентричностью, которая не облегчала его взаимоотношений с окружающими; не всякий мог оценить по достоинству его шутки (отсюда и возникло, например, дело о молочнике и двух почтальонах, которые наверняка и без того свихнулись бы из-за наследственного отягощения, тем более что скелеты были на колесиках, а яма не достигала и двух с половиной метров глубины). Кто способен, однако же, постичь извилистые пути гения? Говорили, будто Иеремия разорился, скупая электронные мозги для того, чтобы разбивать их вдребезги, и что груды обломков громоздились у него во дворе. Но разве виноват он был, что тогдашние электронные мозги, слишком ограниченные и недостаточно выносливые, не могли справиться с поставленными перед ними задачами? Если б они не разваливались так легко, то Иеремия наверняка довел бы их в конце концов до создания Общей Теории Всего. Неудача ни в коей мере не дискредитирует его основной идеи.

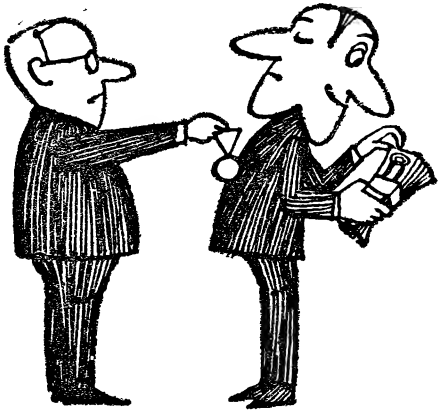
Что касается семейных осложнений, то женщина, на которой женился Иеремия, находилась под сильным влиянием враждебно настроенных по отношению к нему соседей, которые склонили ее к даче ложных показаний; а вообще-то электрические шоки очень полезны для формирования характера.

Чувствовал он себя одиноким и осмеянным также из-за тупоголовых специалистов вроде профессора Бруммбера, который назвал его электронным душегубом за то, что Иеремия однажды применил индукционный дроссель не по назначению. Бруммбер был злюка и человек нестоящий, однако же за мгновение праведного гнева Иеремия поплатился четырехлетним перерывом в научной работе. И все это лишь оттого, что не суждено ему было добиться успеха. Ибо кто стал бы тогда интересоваться несовершенством его манер, поведения, образа жизни? Кто станет сплетничать о частной жизни Ньютона или Архимеда? К сожалению, Иеремия был преждевременным предтечей, и ему пришлось за это расплачиваться.

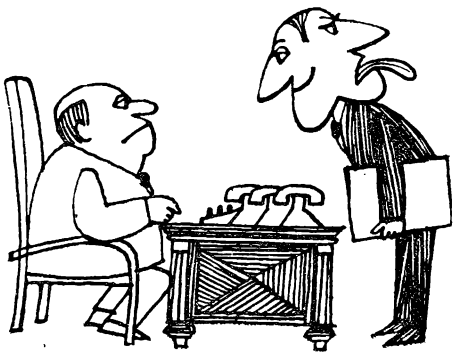
Под конец жизни — точнее, на склоне лет — претерпел Иеремия поразительную метаморфозу, которая совершенно изменила его судьбу. А именно, наглухо запершись в своем подвале, из которого предварительно убрал все до одного обломки аппаратов, так что остался в пустых стенах, если не считать сбитого из досок лежака, табуретки да старой железной шины, он уж до самой смерти не оставил своего убежища, либо, может, добровольной темницы.

Была ли это темница? Был ли его поступок бегством от мира, покорным отступлением, укрытием в бытии умерщвляющего плоть отшельника? Факты явно противоречат такому предположению. Не в тихих раздумьях проводил время Иеремия, добровольно приняв затворничество. Через маленькое оконце в дверях подвала кроме скудной порции хлеба и воды подавали ему также предметы, которые он требовал, а требовал он все эти шестнадцать лет одно и то же: молотки различной формы и тяжести. Использовал он в итоге 3219 штук, а когда великое сердце перестало биться, нашли в подвале разбросанные по углам сотни и тысячи молотков, проржавевших, сплющенных от неимоверной перегрузки. Днем и ночью из подвала доносились звенящие удары, смолкая, лишь когда добровольный узник подкреплял изнуренное тело либо, после недолгого сна, вносил в дневник записи, которые лежат сейчас передо мной. Видно из этих записей, что Иеремия не ослаб духом, — напротив, более чем когда-либо собранный, он весь сосредоточился на одной цели. «Уж я с ней справлюсь!», «Уж я ее доведу до точки!», «Еще немножко, и я ее прикончу!» — такими заметками, набросанными характерным неразборчивым почерком, заполнены эти толстые тетради, усеянные металлическими опилками. С кем он хотел справиться, кого собирался прикончить? Тайну эту нельзя разгадать, ибо Иеремия ни разу не назвал имени столь же загадочной, сколь, по-видимому, и мощной своей противницы.

Мне представляется, что он решил во



ТИБОР КАЯН. Янус.
Из сборника «Энциклопедия Каяна». Венгрия.



внезапном озарении, которое нередко посещает великие души, совершить на самом высоком уровне то, за что ранее принимался в гораздо более скромных масштабах. Тогда он ставил некоторые устройства в принудительные ситуации и наказывал их, чтобы добиться своего. Теперь же гордый старец добровольным заточением отгородился от своры низменных критиканов и через двери подвала вошел в историю, ибо — такова моя гипотеза — схватился с противницей, самой могучей из всех возможных: за все шестнадцать труженических лет его ни на миг не покидало сознание, что он штурмует суть бытия, — словом, что без колебаний, сомнений и жалости неустанно бьет материю!!

С какой же целью он это делал? О, это ничуть не походило на поступок некоего монарха древних времен, который велел высечь море, поглотившее его корабли. Провижу я в этом сизифовом труде, проводившемся с таким героизмом, идею более чем поразительную. Будущие поколения поймут: Иеремия бил во имя человечества. Хотел он довести материю до предела, замучить ее, выбить из нее окончательную суть и таким образом победить. Что должно было тогда наступить? Полнейшая анархия поражения, физическое беззаконие? Или же возникновение новых законов? Это нам неизвестно. Узнают об этом когда-нибудь те, которые пойдут по стопам Иеремии.

Охотно закончил бы я на этом его историю, но как тут не добавить, что клеветники и далее плели немыслимый вздор, будто бы Иеремия укрывался в подвале от жены или кредиторов! Вот как отплачивает мир необычным людям за их величие!

Следующий, о ком говорится в записях, был Игорь Себастиан Тихий, сын Иеремии, аскет и кибермистик. На нем оканчивается земная ветвь нашего рода, ибо с той поры все потомки Анонимуса отправлялись в Галактику. Игорь Себастиан был натурой созерцательной и лишь поэтому, а не вследствие недоразвития, в котором его ложно обвиняли, заговорил впервые на одиннадцатом году жизни. Как всякий истинный мыслитель-реформатор, он критическим взглядом заново окинул человека и, проделав это, пришел к убеждению, что источником зла являются существующие в нас пережитки звериного, пагубные и для индивидуума, и для общества. В том, что он противопоставил мраку инстинктов ясность духа, не было еще ничего нового, но Игорь Себастиан шагнул дальше, чем отваживались его предшественники. «Человек, — сказал он себе, — должен вступить духом туда, где ранее властвовало лишь тело!»

Будучи необычайно одаренным стерохимиком, он после долгих лет поисков создал в реторте субстанцию, которая превратила мечты в реальность.

Я говорю, разумеется, о знаменитом отвратине, пентазолидиновой производной двуаллиортапентанопергидрофенантрона. Микроскопическая доза отвратина, безвредная для здоровья, приводит к тому, что акт оплодотворения становится, в противоположность прежнему, крайне неприятным. Благодаря щепотке белого порошка человек начинает смотреть на мир взором, не замутненным вожделениями, подмечает истинную иерархию явлений, ибо не слепнет то и дело от животных влечений; выигрывает он на этом массу времени. Вызволенный из плена плоти, созданного эволюцией, человек сбрасывает оковы сексуального отчуждения и становится наконец свободным. А продолжение рода должно ведь быть результатом сознательного решения, принятого из чувства долга перед человечеством, но не автоматическим и случайным следствием удовлетворения непристойных желаний.

Намеревался вначале Игорь Себастиан сделать акт телесного совокупления нейтральным; решил, однако же, что этого будет недостаточно, ибо слишком многое делает человек даже не удовольствия

ради, а просто со скуки либо по привычке. Акт этот должен был отныне стать жертвой на алтарь общественной пользы, мукой, добровольно принятой, и каждый плодящийся, благодаря проявленной отваге, включался в ряды героев, как все, кто жертвует собой для других.

Как истинный исследователь, испробовал Игорь Себастиан действие отвратина сначала на самом себе, а чтобы доказать, что и после больших его доз можно иметь потомство, без устали, с величайшим самоотвержением наплодил тринадцать детей. Жена его, говорят, не единожды сбегала из дому; кроется в этих слухах крупица истины, однако же главной причиной супружеских раздоров были, как и при жизни Иеремии, соседи, которые подстрекали не очень-то смышленую женщину против мужа, обвиняя Игоря Себастиана в издевательстве над женой, хоть он им неоднократно объяснял, что вовсе не мучит ее и лишь известный акт, ставший теперь источником страданий, превращает его дом в обиталище криков и стонов. Но что поделаешь, тупицы твердили свое как попугаи — мол, отец бил электромозги, а сын бьет жену.

Было это, однако, лишь прологом трагедии, ибо когда Игорь, не сыскав сторонников, вдохновленный идеей на веки вечные очистить человека от похоти, приправил все колодцы в городке отвратином, разъяренная толпа избила его и лишила жизни, совершив постыдный самосуд. Ощущение грозящей опасности не было чуждо Игорю. Он понимал, что победа духа над телом сама собой не придет, о чем свидетельствуют многие страницы его работы, изданной посмертно на средства семьи. Писал он там, что за великой идеей должна стоять сила, как об этом свидетельствуют многочисленные примеры из истории, доказывающие, что лучше всех аргументов и уговоров защищает идею полиция. К сожалению, собственной полиции он не имел, а потому и кончил так грустно.

Нашлись, разумеется, клеветники, которые утверждали, что отец был садистом, а сын — мазохистом. В этом поклепе нет ни словечка истины. Хотя придется коснуться щекотливых вопросов, я должен это сделать, чтобы уберечь доброе имя нашей семьи от позора. Так вот, Игорь не был мазохистом; несмотря на самоотверженность, нередко приходилось ему прибегать к физической помощи двух преданных кузенов, которые, особенно после больших доз отвратина, придерживали его на супружеском ложе, откуда он, сделав дело, бежал как ошпаренный.

Сыновья Игоря не продолжили отцовского дела. Старший некоторое время занимался синтезом эктоплазмы, субстанции, хорошо знакомой спиритам (ее выделяют медиумы в трансе), но это у него не получилось, потому что — как он утверждал — маргарин, служащий исходным сырьем, был плохо очищен. Младший был выродком в семье. Купили ему билет на корабль, идущий к звезде Мира Кита, которая вскоре после его прибытия погасла. О судьбе дочерей мне ничего не известно.

Одним из первых — после стапятидесятилетнего перерыва — космонавтов, или, как уже тогда говорили, космонаров, в нашей семье был прадядя Пафнутий. Этот владелец звездного парома в одном из небольших галактических проливов перевез своим суденышком неисчислимое множество путешественников. Вел он тихую и мирную жизнь среди звезд в противоположность брату своему Эвзебию, который сделался корсаром — впрочем, уже в довольно солидном возрасте. Весельчак по натуре, отличающийся великолепным чувством юмора, Эвзебий, которого вся его команда звала «наглядным шутником», залеплял звезды сапожной смолой и разбрасывал по Млечному Пути маленькие фонарики, чтобы вводить в заблуждение капитанов; на сбившиеся же с курса ракеты он нападал и грабил пассажиров. Потом, однако, отдавал ограбленным все обратно, приказывал лететь дальше, снова догонял их на своем черном ракетнике, шел на абордаж и грабил заново — бывало, по шесть, а то и по девять раз подряд. Пассажиры от синяков света не видели.

И все же не был Эвзебий извергом. Просто он ужасно скучал, годами подкарауливая корабли на звездных перекрестках, и уж если ему кто-нибудь наконец попадался, Эвзебий прямо не в состоянии был расстаться со своей жертвой сразу же по окончании грабежа. Как известно, межзвездное корсарство с точки зрения финансовой не окупается, о чем лучше всего свидетельствует тот факт, что оно практически не существует. Эвзебий Тихий действовал не из низких материальных побуждений — наоборот, вдохновлялся он древними идеалами, ибо стремился возродить достопочтенную земную традицию морского пиратства, считая это своим предназначением. Обвиняли его во многих отвратительных склонностях; нашлись и такие, что звали его некрофилом, поскольку корабль его был окружен многочисленными останками космонаров. Нет ничего более ложного, чем эти мерзкие оговоры. В пустоте попросту невозможно похоронить безвременно усопшего и нет иного выхода, как вытолкнуть его через люк ракеты; то же, что он не отходит от ракеты, но кружит около осиротевшего корабля, объясняется законами ньютоновской механики, а не чьими-то извращенными вкусами. С течением времени количество тел, окружающих корабль этого моего родственника, действительно порядком возросло: маневрируя, он двигался словно в ореоле смерти, прямо как на гравюрах Дюрера; но, повторяю, творилось это не по его воле, а согласно законам природы.

Племянник Эвзебия и мой кузен Аристарх Феликс Тихий сосредоточил в себе самые ценные дарования, дотоле проявлявшиеся в нашей семье порознь. Он же единственный из всех добился успеха и прочного благосостояния благодаря гастрономической инженерии, именуемой также гастронавтикой, которую он блестяще развил.

Начатки этой отрасли техники относятся еще к концу XX века, но тогда была она известна в грубом и примитивном облике так называемой каннибализации ракет. Чтобы сэкономить материалы и место, начали применять для изготовления ракетных переборок и перегородок прессованные пищевые концентраты — крупяные, мучные, бобовые и тому подобное. Позже расширили сферу этой конструкторской деятельности — охватили ею также меблировку ракеты. Кузен мой лапидарно оценил качество тогдашней продукции, сказав, что на вкусном стуле не усидишь, а удобный вызывает несварение желудка.

Аристарх Феликс подошел к этому делу совершенно по-новому. Неудивительно, что первую свою трехступенчатую ракету (Закуска-Жаркос-Десерт) Объединенная Альдебаранская Верфь назвала его именем.

Теперь никого уже не изумляют распределительные щиты на сдобной основе (так называемые электропесочники), слоеные конденсаторы, макаронная изоляция, пряникоиды (катушки из миндаля с медом, которые хорошо проводят ток), наконец, окна из бронированного сахара; хотя, конечно, не всякому нравятся костюмы из яичницы или, к примеру, подушки из бисквита с орехами либо из сдобы (из-за крошек в постели). Все это — дело рук моего кузена. Это он изобрел буксирные тросы-колбасницы, струдельные покрывала, одеяла из суфле, а также лапшево-манный привод; он же первым применил швейцарский сыр для охладителей. Заменив азотную кислоту лимонной, он сделал горючее превосходным освежающим напитком (и вдобавок безалкогольным!). Отлично действуют также его огнетушители с клюквенным кисельком — они одинаково надежно спасают и от пожара, и от жажды.

Были у Аристарха последователи, но никто из них не смог с ним сравниться. Некий Глобкинс попытался ввести в обиход ромовый торт с фитилем — в качестве источника освещения; он потерпел полнейшее фиаско, потому что и света этот торт давал мало, и весь пропитывался конопью. Не нашлось также покупателей ни на его бифштексовые коврики для вытирания ног, ни на изоляционные пластины из халвы, которые лопались при первом же столкновении с метеорами. Это лишний раз доказывает, что мало наличия общей идеи, ибо каждое конкретное решение, с ней связанное, должно быть творческим, как, например, гениальная в своей простоте мысль моего кузена, чтобы все пустые места ракетной конструкции заполнить густой похлебкой, благодаря чему и вакуум получается, и наесться можно.

Думаю, что этого Тихого по заслугам можно было бы назвать благодетелем космонавтики. Его предтечи не так-то и давно, когда мы смотреть не могли на биточки из водорослей и супы из мхов и лишайников, уверяли нас, что именно на таких вот харчах человечество отправится к звездам. Благодарю покорно! Хорошо, что я дожил до лучших времен,— а то ведь сколько экипажей в дни моей юности погибло с голоду, дрейфуя среди темных течений пространства и имея на выбор всего лишь систему жеребьевки либо демократические выборы обычным большинством голосов. Со мной согласится каждый, кто помнит гнетущую атмосферу собраний, на которых обсуждались эти неприятные вопросы. Существовал даже проект Драпплюсса, который некогда наделал немало шума, чтобы по всей солнечной системе равномерно рассеять в помощь потерпевшим крушение манную либо гречневую кашу, а также какао в порошке; но проект этот не был принят: во-первых, это обошлось бы слишком дорого, а во-вторых, из-за туч какао нельзя было бы разглядеть навигационные звезды. И лишь гастронавтика освободила нас от этих проблем прошлого.

Когда вот так, по ветвям генеалогического древа, приближаюсь я, вступая в новейшие времена, к собственному появлению на свет, задача моя как хроникера нашего рода становится все более трудной. Не только потому, что обрисовать давних предков, которые вели оседлый образ жизни, легче, чем их звездных потомков, но и потому, что в пустоте сказывается пока еще непонятное влияние физических явлений на семейную жизнь. Чувствуя себя беспомощным перед документами, которых я не могу даже как следует рассортировать, я отказываюсь от всякой попытки привести их в порядок и представлю их попросту в той очередности, в которой они сохранились.

Вот опаленные скоростью страницы путевого дневника, который вел капитан звездного флота Всемир Тихий.

Запись 116 303. Сколько уж лет живем мы без тяготения! Песочные часы не действуют, маятниковые остановились, в заводных отказывают пружины. Некоторое время мы наудачу срывали листки календаря — но и это уже в прошлом. Единственными вехами остались для нас завтраки, обеды и ужины, но первое же расстройство пищеварения может совершенно уничтожить и этот счет времени. Приходится прервать запись, кто-то вошел — не то близнецы, не то это интерференция света.

Запись 116 304. По бакборту планета, не обозначенная на картах. Несколько позже, во время полдника, метеор, к счастью маленький, пробил три камеры — барокамеру, камеру заключения и вытрезвительную. Велел зацементировать. За ужином — отсутствует кузен Патриций. Разговор с дедом Арабеусом о соотношении неопределенностей. Что же мы, собственно, знаем наверняка? Что мы в молодости отправились с Земли, что корабль свой назвали «Космоциклом», что дед и бабка взяли на палубу еще двенадцать супружеских пар, которые теперь представляют собой уже единую семью, связанную кровными узами. Беспокоюсь о Патриции; и кот тоже куда-то исчез. Заметил положительное влияние отсутствия гравитации на плоскостопых.

Запись 116 305. Первенец дяди Хомутия такой быстроглазый и такой еще маленький, что невооруженным глазом наблюдает нейтроны. Поиски Патриция дали негативный результат. Увеличиваем скорость. Во время маневра перессекли кормой изохрон. После ужина пришел ко мне тесть Телегия, Амфотерик, и признался, что стал собственным отцом, потому что его время захлестнулось в виде петли. Просил, чтобы я никому об этом не говорил. Я посоветовался с кузенами-физиками: они ничем помочь не могут. Кто знает, что еще ждет нас впереди!

Запись 116 306. Я заметил, что подбородки и лбы у некоторых пожилых дядюшек и тетушек отодвигаются назад. Эффект гироскопической рецессии, укорочение Лоренца — Фицджеральда или следствие выпадения зубов и частых ударов лбом о переборки, когда раздается звонок, приглашающий к столу? Мчимся вдоль довольно большой туманности; тетка Барабелла выворожила домашним способом, на кофейной гуще нашу дальнейшую траекторию. Проверил расчеты на электрокалькуляторе — результат весьма приближенный!

Запись 116 307. Короткая стоянка на планете Шатунов. Четыре человека не вернулись на палубу. При старте — левая дюза закупорена. Велел продуть. Бедный Патриций! В рубрике «причина смерти» я написал «рассеянность» — что ж еще?

Запись 116 308. Дяде Тимотеусу снилось, что напали на нас разбиваки. К счастью, обошлось без жертв и потерь. На корабле становится тесно. Сегодня трое новорожденных и четыре переселения вследствие разводов. У первенца дяди Хомутия глаза как звезды. Чтобы увеличить метраж, велел всем теткам, что постарше, отправиться в холодильники-гибернаторы. Подействовал лишь аргумент, что в состоянии обратимой смерти они не будут стареть. Теперь очень тихо и приятно.

Запись 116 309. Приближаемся к скорости света. Множество неизвестных феноменов. Появился новый тип элементарных частиц — шкварки. Не очень большие, слегка пригоревшие. Что-то странное творится с моей головой. Помню, что отца моего звали Барнаба, но был у меня и другой, по имени Балатон. А может, это озеро в Венгрии? Придется проверить по энциклопедии. Вижу, как младшие тетки квантово диффрагируют, не переставая при этом вязать на спицах. На третьей палубе чем-то воняет. Ребенок Хомутия совсем не ползает, а летает, пользуясь попеременно то передним, то задним выхлопом. Как чудесна эта биологическая адаптация организма!

Запись 116 310. Был в лаборатории кузена Иезайи. Там не прекращается работа. Кузен сказал, что высшей фазой гастронавтики будет мебель не только съедобная, но и живая. Она не испортится и не нужно будет держать ее в холодильнике. Только у кого поднимется рука, чтобы зарезать живой стул? Пока их еще нет, но Иезайя утверждает, что вскоре угостит нас холодцом из ножек. Вернувшись в рулевую рубку, долго размышлял над его словами. Он говорил о живых ракетах будущего. Можно ли будет иметь ребенка с такой ракетой? Что за мысли приходят в голову!

Запись 116 311. Дед Арабеус жаловался мне, что его левая нога касается Полярной звезды, а правая — Южного Креста. Кроме того, он, пожалуй, что-то замышляет, потому что все время ходит на четвереньках. Придется мне повнимательней следить за ним. Исчез Балтазар, брат Иезайи. Неужели это квантовая дисперсия? Разыскивая его, я обнаружил, что в атомной камере полно пыли. Год не подметали! Снял Бартоломея с должности камергера; назначил камергером его свояка Титуса. Вечером в салоне, во время выступления тетки Мелании, внезапно взорвался дед. Я велел его зацементировать. Сделал я это чисто рефлекторно. Не отменил приказа, чтобы не поставить под сомнение свой авторитет капитана. Очень мне жалко деда. Что это у него: гнев или аннигиляция? Он всегда был нервный. Захотелось мне во время вахты чего-нибудь мясного, и я съел кусочек мороженой телятины из холодильника. Вчера оказалось, что пропал листочек, на котором была записана цель путешествия; жаль — ведь летим мы уже примерно лет тридцать шесть. В телятине, странное дело, было полным-полно дроби — с каких это пор в телят стреляют из дробовиков? Рядом с нами летит метеор, на котором кто-то сидит. Это Бартоломей первым его заметил. Я пока делаю вид, что не замечаю.

Запись 116 312. Кузен Бруно утверждает, что это был не простой холодильник, а гибернатор, что он сам для смеху перевесил таблички и что это была не дробь, а бусы. Я подскочил до потолка; в безгравитационном пространстве никакие сцены не получаются — ни ногой топнуть, ни кулаком по столу ударить

нельзя. Напрасно я этого Бруно взял к звездам. Направил его на самую черную работу — на корму распутывать пряжу.

Запись 116 313. Космос поглощает нас. Вчера оторвало часть кормы с туалетами. Был там как раз дядя Александер. Бессильный, смотрел я, как он тает во мраке, а развевающиеся ленты туалетной бумаги тоскливо трепетали в пустоте. Настоящая группа Лаокоона среди звезд. Что за несчастье! Тот, на метеоре,— никакой не родственник, совершенно чужой человек. Летит, сидя верхом. Это наводит на размышления. Дошли до меня слухи, будто немало народу украдкой высадилось. Действительно, становится как-то просторней. Неужели это правда?

Запись 116 314. У кузена Роланда, который ведет нашу бухгалтерию, масса затруднений. Вчера он при мне маялся, вычисляя перевезенные уже невестотонны с эйнштейновской поправкой на потерю девственности. Подсчитывая, вдруг поднял голову, посмотрел мне в глаза и сказал: «Человек — как это звучит!» Эта мысль озадачила меня. Дядя Хомутий закончил свою «Теорию роботов» и теперь разрабатывает новую систему—там будут особые посты, или так называемые голодни (речь идет о времени). Дед Арабеус мне не нравится. Сочиняет каламбуры. «Каламбур,— сказал он мне,— это значит, что я засоряю лес, а много детей мужского пола — это сиконы». Маленький Пызя — тот, что реактивно летает и говорит «ф» вместо «п» («фланета» вместо «планета», а зато — «планелевые штаны»), бросил — это лишь теперь выяснилось — кота в резервуар с содой, которая поглощает у нас двуокись углерода. Бедный котик распался на двукотан соды.

Запись 116 315. Сегодня нашел у дверей младенца мужского пола с приколотой к пеленкам запиской: «Это твой». Ничего не знаю: неужели это стечение обстоятельств? Выстелил ему ящик старыми документами.

Запись 116 316. В космосе пропадает масса носков и носовых платков; кроме того, время совершенно распадается: я заметил за завтраком, что дед и бабка намного моложе меня. Были также случаи дяделиза. Велел кузену Роланду произвести переучет — гибернаторы открыты, всех размораживаю. У многих теток насморк, кашель, синие носы, красные уши; некоторые закатили истерику. Я ничего не мог поделать. Что наиболее странно — среди воскресших оказался теленок. Зато не хватает тетки Матильды; неужели Бруно и вправду не шутил или, вернее, и вправду шутил?

Запись 116 317. Перед входом в атомную камеру есть каморка. Когда я сидел там, мне пришла в голову забавная мысль — может, мы вообще не стартовали и торчим на Земле! Но нет — ведь тяготение-то отсутствует. Это соображение успокаивает. Однако же я проверил, что держу в руке, оказалось, молоток. Может, меня зовут вообще-то Иеремией? Бил я по какой-то болванке и довольно странно себя почувствовал. Но надо привыкать. Принцип Паули, что отдельная личность может вмещать лишь одну индивидуальность, мы оставили далеко позади. Возьмем хотя бы родительскую эстафету, для нас в космосе уже привычную, когда несколько женщин по очереди рожают одного и того же ребенка (это касается также и отцов) вследствие громадной скорости. Пызя еще совсем недавно был малышом, а сегодня, когда мы с ним в столовой, одновременно потянувшись за мармеладом, стукнулись лбами, он отбросил меня под самый потолок! Хоть время и запуталось, и перекрутилось, даже петлями захлестнулось, а все же — как оно летит!

Запись 116 318. Дед Арабеус рассказал мне сегодня, что он всегда питал тайную надежду, будто звезды и ракеты имеют одну только сторону — ту, что обращена к нам,— а позади лишь пыльные стеллажи да веревки. Так вот почему он полетел к звездам! Открыл он мне также, что некоторые женщины что-то кладут в бельевые шкафы,— по его мнению, не только белье, но и яйца. Это могло бы свидетельствовать о стремительном регрессе в эволюционном смысле. Ему, наверное, было неудобно вот так задирать ко мне голову со своих четвереньек. Беспокоит меня его младший брат. Восьмой год стоит у меня в прихожей, вытянув вперед указательные пальцы. Может, у него начинается кататония? Сначала машинально, а потом по привычке начал я вешать на него пальто и шляпу. Он может, по крайней мере, сказать себе, что и от него есть какая-то польза.

Запись 116 319. Становится все более пусто. Диффракция, сублимация — или попросту все переходят, вследствие эффекта Доплера, в инфракрасную область спектра? Орал сегодня во весь голос на средней палубе, и никто не появился, кроме тетки Клотильды со спицами и недоконченной перчаткой. Пошел в лабораторию — кузены Митрофан и Аларик, чтобы исследовать траектории шкварок, топили свиное сало и лили жир в воду. Аларик заявил мне, что в нашем положении гаданье надежней, чем камера Вильсона. Но почему, окончив расчеты, он все съел? Не понимаю, а спросить его не решился. Исчез прадядя Эмерик.

Запись 116 320. Прадядя Эмерик нашелся. Каждые две минуты он восходит с регулярностью, достойной лучшего применения, на бакборте; в верхнем оконце видно, как он достигает зенита, после чего заходит на штирборте. Ни чуточки не изменился даже на орбите последнего отдохновения! Но кто и когда его выпихнул? Ужасная мысль!

Запись 116 321. Дядя так точен, что по его восходам и заходам можно секундомеры регулировать. Что самое стран-

ное, он начал отбивать часы. Не могу этого понять.

Запись 116 322. Он просто задевает ногами о верх корпуса в самой низкой точке своей орбиты, и края его подошв либо каблуки ударяют по головкам заклепок на броне. Сегодня после завтрака он пробил тринадцать — случай или предзнаменование? Незнакомец на метеоре несколько отдалился. Продолжает лететь параллельно. Сел я сегодня за стол, чтобы сделать запись, а стул говорит мне: «Как странен этот мир!» Я подумал, что кузен Иезайя добился успеха, но это был всего лишь дед Арабеус. Сообщил мне, что он — инвариант, то есть тот, кому все равно, так что я могу не вставать. Сегодня я аукал целый час на пандусе и на верхней палубе. Ни души нигде. Только клубки шерсти и спицы летали в воздухе да пара карточных колод для пасьянса.

Запись 116 323. Существует особый метод, чтобы сохранить душевное равновесие,— выдумывают разных несуществующих людей. Что, если я давно уже этим подсознательно занимаюсь? Но как давно? Сижу на упорно молчащем Арабеусе с хнычущим ребенком, которого я назвал Ийоном, и кормлю мальчика из бутылочки, тревожась, где ж это я найду ему жену; пока еще время вроде есть, но в этих условиях ничего не известно. Сижу вот так и лечу...

Это последние слова моего отца, записанные в дневнике, остальные страницы отсутствуют. Я тоже сижу в ракете и читаю, как кто-то другой, то есть он, сидел в ракете и летел. Итак, он сидел и летел, и я тоже сижу и лечу. Так кто же, собственно, сидит и летит? Неужели меня вообще нет? Но корабельный дневник сам себя читать не может. Значит, я все же существую, поскольку читаю его. А может, все это подстроено? Вымышлено? Странные мысли...

Допустим, что он не сидел и не летел, однако я по-прежнему сижу летя, то есть лечу сидя. Это несомненно. В самом ли деле? Самое несомненное — что я читаю о том, кто летит и сидит. Что же касается моего сидения и полета, то как я могу в этом удостовериться? Комнатка обставлена довольно убого, это скорее каморка, наверное, в межпалубном пространстве; но на чердаке у нас была точь-в-точь такая. Достаточно, правда, выйти за порог, чтобы проверить, не иллюзия ли это. Ну, а если это иллюзия и если она продолжится за порогом? И нет ничего решающего? Этого быть не может! Потому что если б дело обстояло так, что я не лечу и не сижу, а только читаю о том, что он летел и сидел (причем на деле и он не летел), то это означало бы, что я через свою иллюзию познаю его иллюзию или же мне кажется, что ему кажется. Или, может, мне кажется то, что ему представляется? Иллюзия в иллюзии? Допустим, но отец ведь писал еще о том, который летит, сидя верхом на метеоре. С ним-то получается, пожалуй, совсем плохо. Мне кажется, что отцу казалось, что тот сидит верхом, а если и тому тоже лишь казалось, так совсем уж ничего не известно.

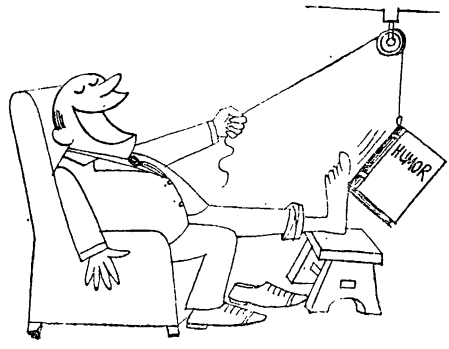
Голова у меня разболелась, и опять, как раньше, приходится думать о жандармах и о синих носах, о васильковых глазах, о голубом Дунае и о фиолетовой телятине. Почему? И я знаю, что в полночь, когда прибавлю скорость, начну думать о яичнице — точнее, о глазунье с большими желтками, о моркови, меде и о пятках тети Марины — так же, как всегда в полночь... Ах! Понимаю! Это же эффект передвижения мысли то в ультрафиолетовую область спектра, то — из-за разлития желчи — в инфракрасную, то есть психический эффект Допплера! Это очень важно! Ведь это могло бы служить доказательством, что я лечу! Доказательство движением — demonstratio ex motu, как говорили схоласты! Значит, я и вправду лечу...

Да. Но ведь любому могут прийти в голову яйца, пятки и жандармы. Это не точное доказательство, а лишь предположение. Что же тогда остается? Солипсизм? Существую лишь я сам, никуда не летя... Но это означало бы, что не существовал ни Анонимус Тихий, ни Иеремия, ни Игорь, ни Эстебан, ни Всемир, что не было Барнабы, Эвзебия, «Космоцикла», что я никогда не лежал в ящике отцовского письменного стола и что отец не летел, усевшись на деде Арабеусе,— ну, а это невозможно! Что ж, я из ничего вывел такую массу людей и семейных историй? Ведь ex nihilo nihil fit [1]. А значит, семья существовала; это она помогла мне вернуть веру в мир и в этот полет мой с неисповедимым концом! Все спасено благодаря вам, мои предки!

Вскоре вложу я эти исписанные листки в пустой бочонок из-под кислорода и брошу его в водоворот за бортом — пускай плывет в черную даль, ибо navigare necesse est, и я лечу и лечу долгие годы...

[1] Из ничего ничего не возникает *(лат.)*.

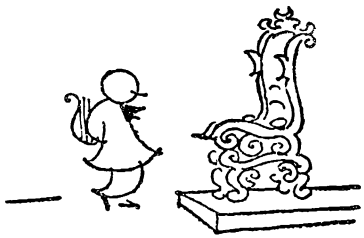
ТИБОР КАЯН. Требовательный читатель. Из сборника «Энциклопедия Каяна». Венгрия.



ПИТ ХЕЙН

Груки разных лет[1]

Перевод с датского
НОРЫ КИЯМОВОЙ



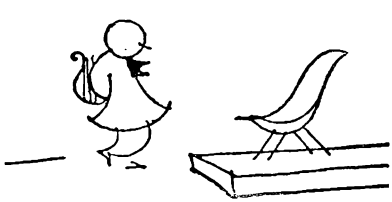
Два четверостишия О ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИИ

I

Тем форма совершенна,
в сущности,
что может скрыть
бессилье сущности.

II

Но там, где сущность
с ней сливается,
все то, что скрыто,—
раскрывается.



[1] Термин «груки», прочно обосновавшийся в датских, шведских и норвежских словарях и энциклопедиях, был придуман самим поэтом для обозначения коротких рифмованных стихов юмористического или лирического плана. Автору принадлежат и иллюстрации, в которых постоянно появляется маленький, «кругленький» поэт Кумбел — носитель жизненной мудрости и оптимизма.

ДЖЕЙМС ТЭРБЕР

Рассказы

Перевод с английского
АНДРЕЯ КИСТЯКОВСКОГО

ВЕЧЕР У ДРАМАТУРГА

Зашел я как-то пополудни, в час, когда курят опиум, к драматургу Лютусу Гадлею и с прискорбием обнаружил, что его почти покинули мрачные силы, которыми он был полон еще несколько месяцев назад.

— В чем дело, Лютус? — взволнованно спросил я.— Может, я смогу как-нибудь вас омрачить?

Не отвечая, он с омерзением поглядывал на чистый лист бумаги, заправленный в пишущую машинку.

— Я пытаюсь написать комедию ужасов,— пробурчал он,— а в нее упрямо просачивается подлая нотка надежды... или даже еще хуже — веры.

— Да, скверно,— подтвердил я.— А какую эпоху вы хотите изобразить?

Он вынул чистый лист из машинки, оторвал кусочек и принялся брезгливо его жевать.

— Действие происходит в Танганьике шестьсот тысяч лет назад,— нехотя выговорил он.— Я хочу показать, что человечество вымерло именно в ту эпоху и мы давно уже не существуем. Да вот беда — у зрителя может возникнуть надежда, что люди с тех пор опять возродились.

Обдумав его слова, я предложил:

— Вероятно, вы слишком далеко забрались в прошлое. Сдвиньте действие немного вперед, чтобы человечество заведомо не успело возродиться. Пусть события разворачиваются за пятьсот девяносто восемь тысяч лет до рождества Христова.

Его глаза загорелись сатанинским огнем.

— А ведь это мысль, старина. Я покажу, что люди не успели даже как следует вымереть и мы сейчас все полутрупы.

— Узнаю устрашающего всех драматурга! — воскликнул я.— И каких же вы выводите действующих лиц?

— Дьяволов и демонов,— ответил он,— одержимых людьми. Ничего кошмарней придумать нельзя, и я не знаю, что мне делать со вторым актом.

— А где вы разворачиваете второй акт? — спросил я.

— В сумасшедшем доме терпимости,— неуверенно буркнул он.— Как будто достаточно мерзко... но опять-таки не совсем: мне претит слово «терпимость», есть в нем отталкивающий оттенок всепрощения.

— Вы правы,— согласился я и, подойдя к бару в углу гостиной, взял бутылку с виски.

— Поставьте ее на место,— рявкнул Лютус,— она отравлена! Возьмите ту, что справа.— Неплохо зная Гадлея, я налил себе виски из бутылки, которую выбрал.

— Адское у вас чутье,— проворчал он.— Не хуже, чем у Миры. Она-то, слава черту, полностью потеряла здравый нюх и все-таки почти никогда не ошибается.— В этот момент Мира, его жена, появилась на пороге гостиной. Ее глаза были прикрыты черными очками, а зубы оскалены в дьявольской улыбке.

— Гнусный вечер, Мира,— сказал я. Мне, после попытки Лютуса меня отравить, в самом деле было немного гнусно.— Я полагаю, вы, как всегда, чувствуете себя чудовищно?

—Гнусный вечер,— ответила она и, обращаясь к мужу, спросила:— Тебе еще не пора принять лекарство от жизни? — Тот промолчал.

— Вы женаты уже три недели,— напомнил им я.— Так в чем же дело?

— Ох, чего мы только не пробовали,— со стоном хихикнула Мира,— и всегда все получается только к лучшему.

Мрачный блеск померк в глазах Лютуса, а Мирин хохот, словно булыжник по битому стеклу, раскатился по комнате.

Внезапно где-то наверху прозвучали один за другим два выстрела.

— Похоже, наш дом становится самым шумным местом в этом худшем из миров,— проскрипел Гадлей.

— Кто там кого пристрелил? — равнодушно спросил я.

— Моя сестра своего любовника или наоборот,— ответила Мира.

Ничего плохого в этом не было, и я заговорил о другом:

— Кто поставил вашу прошлогоднюю драму «Взрыв»?

— Никто не поставил. Режиссеры нагло утверждают, что там мало действия.—Лютус принялся жевать второй кусок бумаги.— По ходу пьесы, когда подымается занавес и еще до появления действующих лиц, сцена взлетает на воздух. А постановщики требуют второго акта — взрыва зрительного зала.

Булыжник Мириного хохота опять прокатился по гостиной.

— Тоже мне драма! — отхохотавшись, закаркала она.— Да ничего жизнерадостней ты никогда не создавал. Драма, в которой никого не убивают! Мало этого, после спектакля зрители могут уйти из театра и преспокойно убить время в ближайшем баре.

— За убийство времени у нас не судят,— напомнил я и, поднявшись, вышел из комнаты спиной вперед, чтобы смотреть в лицо опасности, если они вздумают стрелять.

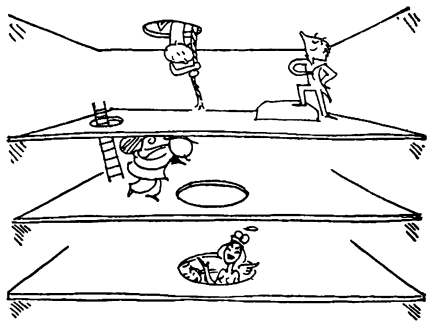
На лестнице мне встретился полицейский

— Нам сообщили, что в этом доме стреляли,— рыкнул он.— Ну как, прикончили, наконец, Гадлеи друг друга?

Я безжалостно отнял у него эту мрачную надежду:

— Гадлеи обсуждают современную драматургию. А стреляла сестра миссис Гадлей в своего любовника или наоборот.

— Ты пойдешь со мной, парень! — гаркнул полицейский.— Может, нам удастся

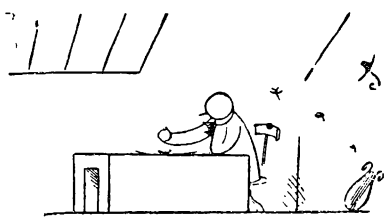


ТРИ ГРАЦИИ

Сатира
может лишь одно:
везде искать
«двойное дно».

Сарказма вклад
еще печальнее:
последним
дно считать начальное.

И только Юмор
знал всегда:
любое дно —
оно без дна.



МУХА

Грук о том, как надо решать проблемы

Я был в проблемах заперт глухо,
когда на стол мой села муха,
чтоб на письме, весьма изящном,
поразмышлять о настоящем.
О том, чтоб милого проведать...
и сахарный пирог отведать...
и зайчик солнечный исследовать...
и яйца отложить как следует...
Так, разрываясь меж желаниями,
Сидела муха, вся — страдание.

Прихлопнул муху я. И тем
решил весь круг ее проблем.

пришить тебе это убийство. Чем хуже, как говорится, тем лучше.

— Вам бы пьесы писать,— посоветовал ему я.— Вы прекрасно разбираетесь в современной комедии нравов.

Он повел меня вверх по лестнице, и в гостиной Гадлеев нам открылось довольно жуткое зрелище: Мира с Лютусом замертво лежали на полу. Они, видимо, затерзали друг друга насмерть.

— Еще одно дело,— прохрипел полицейский и непристойно засмеялся.— Ни минуты покойной нет.— Он подошел к Мире, но она вдруг изящно подставила ему ножку, и, упав на пол, полицейский сломал себе шею.

— Надо оповестить полицию,— сказал я Гадлеям, и в ту же секунду они направили на меня скорострельные пистолеты, но обоих застрелил из двустволки их сынишка, появившийся в дверях гостиной.

— Папа не давал мне на сегодняшний вечер машину,— просто сказал он.— А мама заставляла делать уроки.— С этими словами он выхватил нож...

— Да проснись же ты наконец! — послышался голос моей жены с соседней кровати. Я ошалело оторвал голову от подушки.

— У него нож,— по инерции пробормотал я.

— Это еще не значит, что надо орать во сне,— сказала жена.— Неужели тебе никогда не снятся хорошие сны? — Я посмотрел на свои ручные часы. Было 6.15 утра.

— Думаешь, пора вставать? — спросил я жену. Но она уже снова уснула.— Все же хорошо, что существует человеческая терпимость,— сказал я покойникам из своего ночного кошмара. И мне нестерпимо захотелось выпить. Я встал, накинул халат, спустился в гостиную и, не зажигая света, налил себе виски. Через час мне стало худо. Я перепутал в темноте бутылки.

■ ■

ЖЕНЩИНА В ЗАПАДНЕ

Порой проходные газетные заметки из разделов «Понемногу о многом» или «Ничего обо всем» побуждают к более глубоким раздумьям, чем самые серьезные новости, и совсем недавно сдержанно-респектабельная «Нью-Йорк таймс» опубликовала именно такую заметку. «Зачастую, когда самка крота попадает в капкан,— сообщила газета,— самец очень беспокоится, перестает есть и погибает голодной смертью». Жена прочитала мне эту заметку укоризненным и осуждающим тоном, как бы утверждая, что самец любого биологического вида, включая мой, окажется совершенно беспомощным, если обнаружит свою супругу в капкане или западне, в силках или бельевом шкафу, связанную по рукам и ногам и с кляпом во рту. Прежде чем она высказала все это вслух, мне удалось вставить необходимые разъяснения.

— Какой замечательно преданный друг,— поспешно проговорил я.— Вместо того чтобы воспользоваться счастливой возможностью и убежать с бурундучихой, он горестно сидит возле капкана и не может есть от тоски по любимой!

— Как бы не так! — воскликнула жена.— Тут не сказано «горюет», тут сказано «беспокоится». И статья наверняка написана мужчиной. Читая ее, можно подумать, что это именно крот попал в безысходное положение. Вообще все самцы, и мужчины в том числе...

— Постоянно попадают в безысходное положение,— вставил я,— потому что женщины так и норовят попасть в западню. Мне в жизни не забыть той кошмарной зимней ночи на Третьей авеню, когда мы не могли найти такси, и вдруг, словно из-под земли, вынырнула машина, и какой-то тип, сидевший на заднем сиденье, радушно распахнул перед тобой дверцу. Я и глазом не успел моргнуть, а ты уже впорхнула в машину, и мне пришлось лезть туда вслед за тобой. А машина-то оказалась бандитской, и галантный джентльмен был опасным громилой.

— Не громилой, а карманником,— перебила меня жена,— и он доставил нас домой и ничего не украл. Вечно ты все переворачиваешь с ног на голову.

— Тебе просто повезло в ту ночь. Я сумел втиснуться между тобой и этим бандюгой, а то он непременно ограбил бы тебя. Женщины должны держаться подальше от радушно распахнутых дверей, особенно если их распахивают жулики или грабители.

— А крот,— продолжала жена, не слушая, как обычно, моих предостережений,— беспокоился только о пропитании. И если он горевал, то по кухарке, а не по возлюбленной. Да и вы, мужчины, прекрасно знаете, что как только у вас на столе не окажется сухого печенья, молока и виски — а женщины рядом с вами не будет,— вы просто погибнете от голода. От голода, а вовсе не от тоски по любимой. Ты, конечно, помнишь...

— Ничего я не помню... и, во всяком случае, не хочу больше об этом говорить,— решительно оборвал я жену, превосходно зная, о чем она начнет толковать. Моя жена не умеет вести академический разговор, не переходя на личные недостатки собеседника, но это, как я выяснил из рассказов моих приятелей, общая беда всех жен.

Через несколько дней, когда жена отправилась к парикмахеру, я решил тайно обследовать кухню и кладовую, чтобы потом, в ответ на очередную реплику жены: «Мужчина ничего не способен найти», продемонстрировать ей легкомысленную голословность ее утверждений. Нашей кухарки как раз не было, и я представил себе, что моя жена попала в западню, а поэтому мне надо приготовить еду самому, без женской помощи. В ходе опыта я с огорчением обнаружил, что средний женатый мужчина не в силах исследовать кладово-кухонные лабиринты собственной квартиры. Впрочем, не будем переходить на личности и рассмотрим мытарства гипотетического мужа по имени Джон, жена которого пренебрегла его советами и попала в западню.

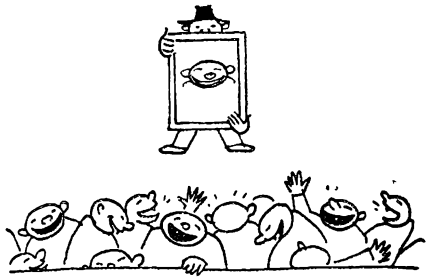
Джон входит в кухню; его поражает чистота и сложность кухонного оборудования. За дверью кладовой он видит неисчислимое количество шкафиков и полочек. Открыв первый шкафик, еды он, разумеется, не находит: на полках, вплотную друг к другу, стоят фужеры и рюмки — коньячные, коктейльные, винные, пивные — для семьи человек в пятнадцать или двадцать. Второй шкафик заставлен тарелками — Джон мимоходом прикидывает, что их здесь штук двести. Побледнев от волнения, он открывает третий шкафик — чтобы увидеть огромные, наглые, совершенно, на его взгляд, бесполезные блюда и салатницы из фарфора, стекла, дерева и глины. Джон решает, что съестные припасы хранятся в нижних ящиках, и, выдвинув один из них, с тоской смотрит на стальные, медные, алюминиевые, мельхиоровые и серебряные предметы неизвестного назначения, под которыми он замечает в темной глубине что-то как будто знакомое... да-да, это потерянная женой вафельница.

Тут Джона осеняет, что ему надо бы отыскать холодильник. В конце концов он его находит, открывает дверцу, опасливо заглядывает внутрь и, несколько раз вляпавшись во что-то трупно-холодное, липкое, мерзкое и, очевидно, несъедобное, обнаруживает два яйца. Джон кладет их на кухонный стол, но они, как живые, упрямо катятся к краю, и он засовывает их в карман.

Теперь он вспоминает про кофе, но железных коробок на полках удручающе много, и ему под руку попадают крупы, толченые сухари, изюм, вермишель, мука, перец, ваниль, соль — но только не кофе. Минут через пятнадцать он находит кофе в коробке с надписью КОФЕ, ставит коробку на стол, открывает крышку и, удивляясь собственной гениальности, кладет в нее яйца, потому что оттуда они наверняка не выкатятся. Потом, смутно ощутив, что это не самое конструктивное решение, Джон вспоминает про колумбово яйцо. Он с размаху ставит одно из яиц на стол и гадливо рассматривает образовавшуюся желто-белую тягучую лужицу. Яйцо не стоит, как ему следует. Оно лежит, а белок течет. Джон решает не трогать пока второе яйцо и принимается искать кофейник. Поиски опять приводят его в кладовую, и, найдя сложный электровакуумный прибор, он с грустью припоминает, что это и есть их нынешний кофейник.

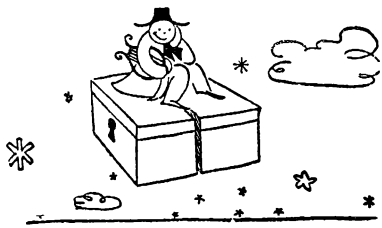
Не будучи специалистом по электровакуумным приборам, Джон отказывается от кофе — тем более что персиковый сок гораздо полезней. Выставив на пол семнадцать жестяных банок, он находит персиковый сок. Дело за консервным ножом. Но его нигде нет, и Джон вспоминает, что жена приобрела электровскрыватель. Джона, впрочем, уже и не томит жажда.

А жарить омлет ему просто некогда: нужно осушить яичное болото на столе, чтобы жена, вырвавшись из западни, не догадалась о его безумных начинаниях. Он пытается собрать разбитое яйцо руками — тщетно; и, решив разыскать тряпку, вскоре находит ее на кухонной табуреточке. Первым делом он вытирает руки, а потом обнаруживает, что



САТИРА

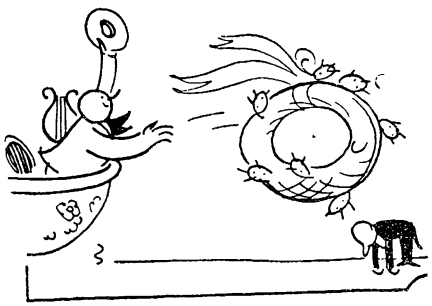
Сатира—зеркальце с полезным назначеньем:
дать отраженье нашим прегрешеньям.
Приветствовать ее всегда мы рады,
ведь целится она не в нас, а рядом.



ПАРАДОКС ЖИЗНИ

Философский грук

Порою разум мой тревожит
догадка мрачная о том,
что на шкатулку жизнь похожа —
с захлопнутым внутри ключом.



БОТАНИЧЕСКАЯ МНЕМОНИКА

В венок лавровый,
видит бог,
я вплел бы кактус,
если б мог!
И человек тогда
усвоит:
на лаврах
почивать не стоит.

тряпка колдовским образом превратилась в недавно купленный женой фартук. Джон впадает в панику и трет кухонный стол фартуком. Яичное болото гнусно размазывается, и Джон, полив стол водой, снова вытирает его — на этот раз досуха.

Теперь ему надо подумать о фартуке. Многие сельские мужья, оказавшись на его месте, взяли бы лопату и предали бы фартук земле, но Джон по натуре горожанин. Он размышляет, не выбросить ли его в мусорный ящик, но врожденная бережливость останавливает Джона. Он спешит в гостиную и прячет фартук в корзину для ненужных бумаг. А спустя секунду решает смыть с фартука свою вину — если уж не собственной кровью, то водопроводной водой. Он вынимает фартук из корзины, подымается в ванную комнату и пускает горячую воду.

Через несколько минут он вынимает из ванны сморщенную мокрую тряпицу. Высушить ее до прихода жены ему явно не удастся. Тут каждый муж выходит из положения по-своему. Наиболее робкие суют фартук в рукав пальто или прячут под стопку чистого белья. Те, что понаходчивей — вроде меня,— кладут его на радиатор отопления или пришпиливают к занавеске душа.

Правда, я-то давно усвоил, что женщина моментально обнаруживает любую спрятанную вещь — кроме той, которую она положила в укромное место, чтобы не потерять. Поэтому, возможно, ваша жена, обрадовавшись найденной вафельнице, простит вам испорченный фартук — особенно если вы до ее прихода поставите 17 консервных банок на полку и, вынув яйцо из коробки с кофе, положите его обратно в холодильник.

■

ЕДИНОРОГ В САДУ

Басня

В одно прекрасное солнечное утро мужчина поднял глаза от омлета, который он всегда ел за завтраком, и увидел белого единорога с золотым рогом во лбу. Единорог мирно объедал розовые кусты. Мужчина пошел в спальню и разбудил жену.

— В нашем саду пасется единорог,— сказал он.— Среди роз.

Жена приоткрыла один неприветливый глаз.

— Единорог — сказочный зверь,— буркнула она и повернулась к мужу спиной.

Мужчина медленно спустился в сад. Единорог изящно ощипывал тюльпаны. Мужчина сорвал белую лилию.

— На, единорог,— проговорил он. Единорог вежливо съел белую лилию.

Со счастливой душой — потому что в его саду гулял единорог — мужчина снова поднялся в спальню и опять разбудил жену.

— Единорог,— сказал он,— съел белую лилию.

Жена смерила мужа ледяным взглядом.

— Ты совсем обезумел,— холодно выговорила она,— и самое разумное будет запереть тебя в сумасшедший дом.

Мужчина, который всегда считал такие разговоры бестактными, а в это солнечное утро, когда по саду гулял единорог, счел их и вовсе непристойными, благоразумно промолчал.

— Ладно, там видно будет,— после паузы сказал он и шагнул к двери.— А у единорога во лбу золотой рог,— добавил он на прощание и спустился в сад. Но единорога там уже не было. Мужчина сел под розовый куст и уснул.

Как только муж ушел, жена встала и быстро оделась. Она была очень возбуждена, и в глазах у нее светилось злорадство. Она позвонила в полицию и психиатру; она умоляла их поспешить, а смирительную рубаху они захватили сами. Когда психиатр и полицейские прибыли, они сели в кресла и внимательно, очень внимательно, на нее посмотрели.

— Мой муж,— заявила она,— видел сегодня утром единорога в нашем саду.— Полицейские глянули на психиатра, а психиатр глянул на полицейских.— Он сказал мне, что единорог съел белую лилию,— добавила она. Психиатр глянул на полицейских, а полицейские глянули на психиатра.— И он сказал,— закончила она,— что у единорога во лбу золотой рог.

По сигналу психиатра полицейские вскочили и схватили ее за руки. Они долго не могли с ней справиться, потому что она отбивалась отчаянно, но в конце концов они с ней справились. Они надели на нее смирительную рубаху, и в это время порог гостиной переступил ее муж.

— Вы говорили вашей жене, что у вас в саду гуляет единорог? — спросил его психиатр.

— Это сказочный-то зверь? — с усмешкой переспросил мужчина.

— Больше у меня сейчас вопросов нет,— сказал психиатр.— Уведите ее. Я очень сожалею, сэр,— снова обратился он к мужчине,— но вашу жену поразило безумие.

Злобно визжащую женщину увезли в лечебницу, а мужчина жил потом долго и счастливо.

Мораль: умный безумного не разумеет.

■

ИСХОД ЭММЫ МЕТР

Эмма Метр ничем не отличалась от тех незаметных пожилых женщин, которых вы постоянно видите в вагонах подземки или за прилавками провинциальных магазинов, чтобы мгновенно о них забыть. Жидковатые, пыльно-песочного цвета волосы, невыразительное лицо, голос... да, просто голос как голос, я решительно его не помню. Ей дали рекомендательное письмо какие-то наши знакомые, прослышавшие, что нам нужна кухарка,— мы собирались провести лето на острове Мартас-Винъярд, милях в ста к юго-востоку от нью-йоркского побережья. Внешность, повторяю, была у нее

самая заурядная, никакой другой кухарки нам найти не удалось, и мы решили ее взять. Она пришла поздно вечером накануне нашего отъезда, и мы сняли ей номер, потому что она жила довольно далеко от гостиницы на Пятьдесят пятой стрит, где мы остановились. Правда, она непременно хотела вернуться домой, чтобы поговорить со своей квартирной хозяйкой, но я пообещал позвонить ее хозяйке сам.

В одной руке Эмма Метр держала потертый рыжий саквояж, а в другой — древнего облезлого бульдога. Его звали Бедди. Бульдог — ему шел восемнадцатый год — ворчливо пыхтел и бранчливо кряхтел, но нам позарез нужна была кухарка, и мы согласились взять его с собой, если он не будет соваться нам под ноги, а Эмме под руки — когда она готовит еду. Оказалось, впрочем, что соваться-то он никуда и не может: он лежал — шумно, но совершенно недвижимо — там, куда Эмма его клала, пока она не перекладывала его в другое место. Я ни разу не видел, чтобы он двигался сам. Эмма сказала, что взяла его крохотным щенком. Она объявила нам со слезами на глазах, что разлуки с ним вынести не может. Это поразило меня, но ничуть не растрогало. На мой-то взгляд, он был совершенно невыносим.

Я лег спать и, сейчас же забыв про Эмму, превосходно выспался, а вот моя жена очень долго не могла из-за нее уснуть. Она сказала мне утром, что чувствовала себя как-то странно, думая о нашей новой кухарке и ее Бедди. Она не объяснила мне толком, в чем было дело. Просто ей казалось, что они какие-то странные. Когда мы упаковали чемоданы — часам к трем дня, потому что мы очень не любим упаковываться,— я позвонил по телефону в номер Эммы Метр, но она не ответила. Мы забеспокоились: наш пароход уходил через два часа. Куда могли исчезнуть Эмма и Бедди? Это выяснилось только в четыре часа. Раздался еле слышный стук в дверь, я открыл — на пороге стояла Эмма Метр, и в руках она держала своего Бедди, а он сопел и пыхтел, словно утомленный пловец.

Жена сказала Эмме, чтобы она поскорее упаковывала свой саквояж: нам пора было выходить. Но Эмма ответила, что она уже собралась и только вот электрический вентилятор ей положить некуда.

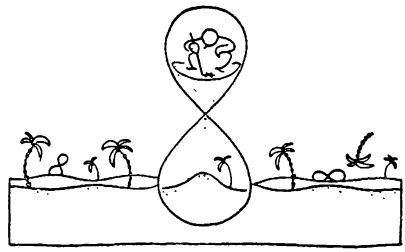
— Вам не понадобится электрический вентилятор на Винъярде,— сказала жена.— Там и днем-то не слишком жарко, а ночи просто довольно холодные. Да и в коттедже, который мы сняли, нет электричества.

Эмму Метр явно обескуражили эти слова. Несколько секунд она пристально смотрела на нас. Потом сказала:

— Ладно, я придумаю что-нибудь другое. Может, если не выключать воду в моей комнате, то все устроится.— Мы с женой сели и молча уставились на Эмму. В комнате слышалась только сиплая одышка Бедди.

— Неужели ваш пес не может посидеть тихо? — неприязненно спросил я.

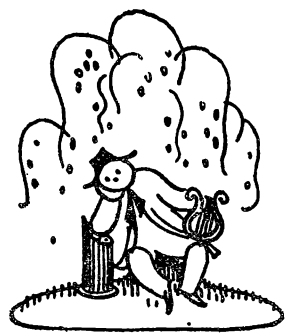
— Это он разговаривает,— ответила Эмма Метр.— Он все время разговаривает, да ведь



ГРУК ОБ ИСКУССТВЕ И МАТЕРИАЛЕ

Часов песочных пленник, словно демон,
в реторте верхней отбывая срок,
я за стеклом рисую, выбрав тему,
и холст мой — убегающий песок.

Песчинки канут в горлышко, как в бездну,
а я, художник, верю безрассудно,
что в воздухе, когда песок исчезнет,
застынет мною созданный рисунок.



ИСТИННЫЙ ПЕССИМИЗМ

Психологический грук

Настоящим
пессимистом
тот считается,
кто печалится,
забыв,
о чем печалится.

я его буду держать в своей комнате, и он не помешает вам отдыхать.

— А вам он никогда не мешает? — спросил я.

— Он мешал бы,— сказала Эмма,— по ночам, да я включаю вентилятор и не гашу свет. При свете он ведет себя потише — не храпит. А вентилятор его и вовсе заглушает. Я подставляю под лопасти картонку, и получается, что Бедди вроде бы даже и в комнате нет. И может, если пустить ночью воду, чтоб текла в раковину, так я и без вентилятора обойдусь.

— Хм,— сказал я. Потом встал и приготовил два коктейля. Мы с женой собирались отпраздновать выход в море — но в ту минуту нам просто необходимо было выпить. Жена не сказала вслух, что на Винъярде в Эмминой комнате не будет водопроводного крана.— Скажите, что с вами случилось? — немного помолчав, спросил я Эмму.— Мы с женой уже начали волноваться. Вы почему-то не ответили на мой телефонный звонок.

— Я никогда не разговариваю по телефону,— объяснила нам Эмма Метр.— Я его боюсь. А из номера я ушла. Я не могла там уснуть. Я ходила домой на Семьдесят восьмую стрит, чтобы поговорить с миссис Маккой.

Я оторопело опустил бокал.

— Вы хотите сказать, что ушли на Семьдесят восьмую стрит вчера вечером? — спросил я.

— Да, сэр,— ответила Эмма Метр.— Мне надо было предупредить миссис Маккой, что я уезжаю. Она моя квартирная хозяйка. И не могу я спать в гостиницах. Они ведь всегда прогорают. Ты уснешь, а она сгорит.

Выяснилось, что Эмма Метр действительно ходила домой пешком, с Бедди на руках. Дойти от Пятьдесят пятой стрит до Семьдесят восьмой можно за час, но Бедди не любил, чтобы его уносили слишком далеко в один прием, и, значит, она останавливалась через каждый квартал, клала пса на тротуар и ждала, пока он отдохнет,— словом, дорога домой заняла у нее часа два; да столько же времени она возвращалась обратно. Бедди просыпался не раньше полудня — вот почему она явилась к нам так поздно. Ей было очень жаль, что она заставила нас волноваться. Мы с женой допили наши коктейли, с сомнением поглядывая друг на друга и на Бедди.

Эмме Метр решительно не понравилось, что мы собираемся ехать в порт на такси, однако после десятиминутных увещеваний она все же согласилась сесть в машину.

— Пусть едет медленно,— сказала она. Времени у нас было достаточно, и я попросил шофера не торопиться. В машине Эмма беспрестанно пыталась вскочить на ноги, а я непрерывно тянул ее назад, на сиденье.— Я никогда не ездила в автомобиле,— объявила она.— Этот парень гонит как сумасшедший.— Временами она тихонько повизгивала от страха.

— Не бойсь, леди, со мной доедете в лучшем виде,— ухмыляясь, заверил Эмму таксист. Бедди хрипло зарычал на него. Когда шофер отвернулся, Эмма нагнулась к моей жене и прошептала:

— Они ведь все сумасшедшие. Говорят, от наркотиков.— Бедди начал болезненно, но пронзительно скулить.— Это он поет,— объяснила нам Эмма. Она восторженно хихикнула, но лицо ее осталось строгим.

— По-моему, ты слишком далеко засунул бутылку с виски,— сказала мне жена.

Если Эмма Метр испугалась автомобиля, то пароход вверг ее в панический ужас.

— Видать, не смогу я с вами поехать,— сказала она.— Видать, не судьба мне ездить на пароходах. Вы не говорили, что они такие огромные.— Ее ноги словно бы вросли в бетонный причал. Бедди она крепко прижимала к груди — слишком, наверное, крепко, потому что он вдруг завизжал: завизжал, как женщина. Мы с женой довольно высоко подпрыгнули.— Это у него ушки,— сказала Эмма.— У него иногда ушки болят.

Все же мы заманили ее на пароход, и в закрытом салоне она немного успокоилась. Вскоре три протяжных гудка оглушили припортовый Манхэттен, а Эмма вскочила и бросилась бежать, оставив свой саквояж, но судорожно прижимая Бедди к груди. Я настиг ее возле трапа и держал мертвой хваткой за руку, пока пароход не отчалил.

Мы долго убеждали ее спуститься в каюту и в конце концов убедили. Каюта была внутренняя, но против этого Эмма не возражала. Она несказанно удивилась, обнаружив, что каюта практически не отличается от обычной комнаты со шкафом, кроватью, столом и умывальником. Она бережно положила Бедди на пол.

— Мне кажется, вам лучше сдать собаку в багажное отделение,— сказал я.— Ее поместят в специальную клетку, а когда мы прибудем на место, отдадут.

— Не поместят и не отдадут,— отрезала Эмма. Может быть, на этот раз она и была права. Не знаю. Я захлопнул ее дверь и отправился в нашу каюту. Моя жена сидела на кровати и пила неразбавленное виски.

На следующий день, ранним и холодным утром, мы вывели Эмму и Бедди с парохода в Фолл-Ривере, почти насильно затолкали в такси, доехали до Нью-Бедфорда и потом загнали их на маленький пароходик, курсирующий между континентом и Винъярдом. Это было так же мучительно трудно сделать, как бывает трудно увести воинственно настроенного пьяницу из ночного клуба, когда ему втемяшится в голову, что его там оскорбили. Эмма села на скамейку точно в центре пароходика — чтобы оказаться возможно дальше от воды,— закрыла глаза и обеими руками вцепилась в Бедди. Мы с женой сидели на палубе, но я регулярно спускался в салон — проведать, как себя чувствуют Эмма и Бедди. Они чувствовали себя неплохо — по крайней мере неплохо для них,— пока пароходик не причалил к вудс-хоулской пристани. Это была единственная остановка на пути от Нью-Бедфорда к Винъярду. И тут Бедди стало плохо. Во всяком случае, Эмма сказала, что ему пло-

хо. На мой-то взгляд, он нисколько не изменился: остался таким же облезлым, одышливым и ворчливым. Однако Эмма сказала, что ему плохо. Ее глаза увлажнились.

— Ему очень плохо, мистер Цербер,— сказала она.— Его надо доставить домой.— Я сразу понял, какой дом она имеет в виду: нью-йоркский, на Семьдесят восьмой стрит.

Пароходик пришвартовался, и по палубе над нашими головами застучали шаги докеров и пассажиров.

— Я сойду здесь,— непреклонно сказала Эмма; так непреклонно она еще со мной не разговаривала. Я объяснил ей, что через полчаса мы будем на месте, а уж там-то все прекрасно — даже восхитительно — образуется. Я уверял ее, что Бедди обретет вторую молодость. Что больных собак нарочно привозят на Винъярд и они почти мгновенно исцеляются. Все было напрасно.— Я должна его спасти,— сказала Эмма.— Я должна доставить его домой.

Мое красноречие было поистине вдохновенным, однако ни красоты Винъярда, ни прекрасные люди, удобнейшие коттеджи и райские условия для бульдогов не поколебали упорства Эммы. Я понял это по выражению ее лица. Она твердо решила сойти на берег.

— Это же безумие,— угрюмо твердил я, дергая Эмму за руку. Бедди придушенно похрипывал.— У вас нет денег, и вы не знаете здешних мест. Мы ведь очень далеко от Нью-Йорка. Никто и никогда не добирался от Вудс-Хоула до Нью-Йорка в одиночку.— Эмма, казалось, не слышала меня. Она двинулась к сходням, проникновенно убаюкивая на ходу Бедди.— Вам придется плыть на пароходах,— сказал я ей вслед,— или ехать поездом, а денег у вас нет. И я не смогу вам ничего заплатить, если вы сейчас уедете.

— Мне не надо ваших денег, мистер Цербер,— ответила Эмма.— Я не заработала у вас никаких денег.— Расплескивая на палубу переполнявшее меня раздражение, я молча плелся за Эммой Метр; потом дал ей немного денег. Мне пришлось почти насильно всунуть их ей в руку. Мы подошли к сходням. Бедди хрипло сопел. Я заметил теперь, что у него слезятся глаза. Было очевидно, что не помогла бы мне и жена, раз Эмма опасалась за здоровье Бедди.

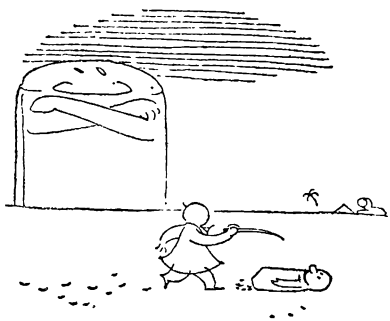
— Как вы доберетесь до дому? — заорал я ей вслед, когда она спускалась по сходням на пристань.— Вам же надо пересечь весь Массачусетс!

Эмма Метр приостановилась и оглянулась.

— Мы пойдем пешком,— проговорила она.— Мы любим ходить пешком, я и Бедди.— На это мне нечего было возразить.

Когда я поднялся на палубу, пароходик уже отчалил.

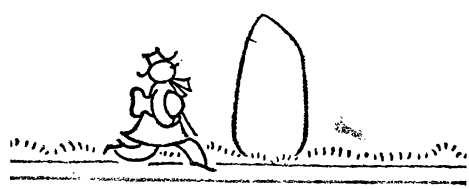
— Как дела? — спросила меня жена. Я молча махнул рукой в сторону порта. Эмма Метр стояла на пристани, рядом с ней виднелся ее саквояж, одной рукой она держала Бедди, а другой махала вслед пароходику. До этого я ни разу не видел, как она улыбается, но в ту минуту она улыбалась.



ЦЕНА РАЗУМА

Домашнее средство

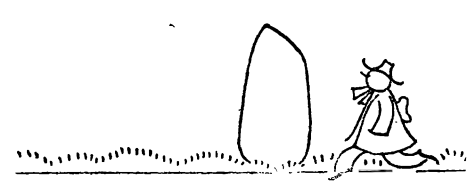
Бессмыслицу порой легко низвергнуть —
мала, как муха, у глупца она.
А умный ей придаст объем слона:
чистейший вздор труднее опровергнуть.



ОБЕЛИСК ОПТИМИЗМУ

Психологический грук

Иду ли домой я,
иду ли из дома —
проходит мой путь
мимо тумбы швартовой.
Я вычислил:
стоит лишь мимо пройти —
осталось пройти
половину пути.



Среди книг

Издано в СССР

В ПОИСКАХ НОВОГО

Современная болгарская повесть. 70-е годы. Перевод с болгарского. Предисловие В. Андреева. Составитель и редактор Р. Грецкая. Москва, «Прогресс», 1975.
Слова, написанные на небе. Рассказы. Перевод с болгарского. Составитель Н. Глен. Предисловие А. Зверева. Москва, «Художественная литература», 1975.

В книге «Современная болгарская повесть. 70-е годы» представлены шесть авторов: Н. Антонов, И. Давидков, С. Дичев. В. Зарев, Л. Михайлова, И. Остриков. Повести, включенные в книгу,— очень разные. Перед нами не один, а шесть ликов прозы. «Эскадрон» С. Дичева — повесть историческая; «Вечерний разговор с дождем» И. Давидкова — образец лирического, «исповедального» повествования; «Гибель» Н. Антонова — написана на военную тему; повесть И. Острикова «Границы любви» — своего рода притча о молодежи, о ее нравственном формировании; в форме дневника молодой учительницы написано произведение Л. Михайловой «Открой, это я...»; наконец, «Процесс» В. Зарева — повесть по преимуществу психологическая.

Есть ли что-то общее у этих, столь разных, произведений, кроме, разумеется, того, что все они написаны в наши дни, в Болгарии и на болгарском языке? Есть. Думается, прежде всего — это дух поиска, которым пронизаны их страницы. Поиска в области формы, поиска новых средств художественной выразительности. Вероятно, это не случайно. Наверное, в самой жизни подчас возникает потребность взглянуть на привычные и знакомые вещи под неожиданным углом зрения, открыть в них какие-то новые стороны и оттенки.

Многие в Болгарии и до Стефана Дичева писали о событиях войны 1877—1878 годов, которая принесла этой стране освобождение от турецкого ига. Войны, в которой решающую роль сыграла русская армия. И, думается, не случайно опытный писатель, лауреат Димитровской премии, избрал не совсем обычный путь для того, чтобы рассказать историю освобождения Пловдива русским эскадроном под командованием капитана Бураго. Ее рассказывают двое — не русские, не болгары и не турки. Рассказывают в светском салоне американский художник Миллет, оказавшийся во время войны в боевых порядках русской армии (и от души симпатизирующий русским и болгарам), и английский путешественник Барнаби, состоявший тогда при штабе турецкого главнокомандующего (и брезгливо презирающий своих тогдашних «союзников»). Рассказчики освещают события каждый со своей стороны, перебивают друг друга, спорят и, словно в перекрестном свете двух прожекторов, рельефнее выхватываются из тьмы балканской ночи фигуры действующих лиц: обаятельного, отчаянно смелого, доброго Саши Бураго, честного и прямодушного болгарина бая Николы, жалкого и самодовольного, мгновенно переходящего от отчаяния к упоению собственной гениальностью (равно как и обратно) турецкого главнокомандующего Сулеймана-паши. В повести живо переплетаются песенная эпичность, лирика, земной, подчас грубоватый, юмор. А самая форма рассказа еще раз подчеркивает, что этот эпизод, одновременно героический и забавный, был частью собы-

тий весьма значительных, волновавших всю Европу да и весь мир.

Самое интересное в повести Николая Антонова «Гибель» — образ центрального героя, капитана Сиракова. Трагедия его — «производное» от той трагической, противоестественной ситуации, в которую поставили Болгарию в годы второй мировой войны ее фашистские правители. Внутренне ненавидя германских «союзников» (фактически оккупантов), не готовый вместе с тем и к борьбе с ними, капитан пытается быть «просто честным моряком», выполнять свои профессиональные обязанности, не думая о политике. Однако это оказывается невозможным. Гибель Сиракова вместе с его кораблем — разваливающейся чуть ли не на ходу старой посудиной — воспринимается как естественный и закономерный исход. И все-таки Сиракова жаль! Где-то между строк автор успел внушить нам, что в этом человеке много хорошего, хотя и не все в его поведении заслуживает одобрения.

Сложной метафоричностью с первых страниц ошеломляет читателя повесть Ивана Давидкова «Вечерний разговор с дождем». И стилевые особенности, и само заглавие, более подходящее, может быть, для книги стихов, заставляют даже неискушенного читателя догадаться, что автор — поэт. Так и есть: Давидков — поэт, и поэт известный, автор нескольких сборников. И проза его — проза поэта. Давидков образен и в деталях («длинные, как палаши, листья дикого ореха»), он умеет несколькими штрихами нарисовать пейзаж, портрет, бытовую картинку, повить все это «волшебной дымкою воспоминаний».

Стремительный рисунок пером напоминает произведение Ивана Остриков «Границы любви», отличающееся тонкой поэтичностью. Тяготение писателя к сжатому, лаконичному — но отнюдь не сухому — письму вызывает интерес и симпатию.

И едва ли не лучшая вещь в книге — «Открой, это я...» Лиляны Михайловой. Сюжет повести бесхитростен, он в какой-то степени напоминает нам старый и хороший советский фильм «Весна на Заречной улице». Молодая учительница, с волнением ожидавшая первой встречи с детьми, попадает в вечернюю школу для взрослых в шахтерском городе, и вот мы становимся свидетелями ее радостей и огорчений, сомнений и маленьких побед. Но знакомый сюжет болгарская писательница наполнила своим содержанием — тоже добрым и человечным. Сильными и надежными людьми предстают перед нами в большинстве своем великовозрастные «школьники», разнообразны лица и характеры, составляющие педагогический коллектив. Лиляна Михайлова умеет найти емкое, точное слово. Вот ее героиня дала ученикам задание: сочинение на тему «Самый лучший человек из тех, кого я знаю». Кто-то написал о своей матери, другой о сельском учителе, третий о товарище по работе. И только один человек вернул чистый лист. «В жизни своей не видела более пустого листа, чем этот»,— записывает в своем дневнике учительница, и эта фраза говорит об умении писательницы запечатлевать в немногих словах и событие, и картину, и движение души человеческой. Порой повесть Михайловой становится несколько многословной, порой чересчур легко решаются конфликтные ситуации,— но все это искупается правдивостью повествования в целом, искренней любовью к людям.

Невольно возникает догадка, что повесть эта — автобиографическая. И точно. «...Я закончила Софийский университет и той же осенью стала преподавательницей болгарского языка в другом красивом болгарском городе — шахтерской столице Пернике. Шесть лет я преподавала в вечернем техникуме, обучала шахтеров и слесарей грамматике и литературе и одновременно училась сама у моих взрослых учеников — рабочих, от которых узнала много важного о жизни, что и помогает мне теперь писать рассказы, повести, сценарии»,— пишет о себе Лиляна Михайлова. Признание это взято уже из другой книги — сборника рассказов болгарских писателей «Слова, написанные на небе», на страницах которого мы встречаем уже знакомые имена: Иван Остриков, Владимир Зарев, Лиляна Михайлова. Но много и новых имен. Оно и понятно: в небольшой по объему, но компактной и содержательной книге участвуют девятнадцать литераторов, представленных одним или двумя произведениями.

Знакомство с этими образцами болгарской новеллистики подтверждает вывод, сделанный ранее: «текущая» проза братской страны многолика, многообразна, проникнута духом поиска. Большинство рассказов сборника являются несомненными удачами авторов. Это и «Водитель первого класса» Герчо Атанасова — рассказ о сильном и добром человеке, неожиданно в зрелые годы встретившем свою настоящую любовь, трудную и горькую. И — тоже о любви — изящная миниатюра Росена Босева, давшая название всему сборнику. И «Мальчик» Радослава Михайлова — рассказ, возвращающий нас к годам войны, простое и лаконичное повествование о последних днях жизни юного антифашиста. В сборнике представлены различные «виды» рассказа. Одни близки к очерку — такие, например, как «Место на кладбище Монпарнас» Любена Станева: человечно и не без горечи написанный портрет эмигрантки-болгарки, одиноко стареющей на чужбине. Другие — таких большинство — точнее всего можно было бы назвать рассказами-этюдами: «Осенью в дубравах» и «В аэропорту» Лады Галиной, «Тихая долина» Димитра Гулева, «Любовь» Лиляны Михайловой, «В мире прекрасного» Серафима Северняка.

Благодаря этим двум книгам советский читатель может много узнать о литературе братской Болгарии и — через литературу — о жизни этой прекрасной страны и ее людях.

ИЛЬЯ ФОНЯКОВ

ПОЭТИЧЕСКОЕ МНОГОГОЛОСЬЕ

Современная американская поэзия. Антология. Перевод с английского. Составители А. Зверев и И. Левидова. Предисловие А. Зверева. Редакторы А. Сергеев и Б. Слуцкий. Москва, «Прогресс», 1975.

Из всех искусств поэзия наименее «транспортабельна». При переводе стихов нечто очень существенное утрачивается, без чего, собственно, перевод стихотворения теряет всякий смысл. Полностью языковая национальная «музыка» не переводима.

Да, стихи не переводимы. Но то, ради чего они написаны, само ощущение от стиха, его сокровенная суть — переводимы. И это может быть воссоздано заново на другой национальной почве, средствами другого языка, других ассоциаций, в другой стихотворной форме.

Не переводима «плоть» стихотворения, но переводим «дух» его.

В этом смысле интересно проследить, насколько смогла поэзия пробиться сквозь языковой барьер в антологии «Современная американская поэзия».

Со страниц антологии встает жизнь Америки — это широчайшая панорама внешних драматических событий и, что важнее, картина духовной и психологической жизни американцев, их катаклизмов и «комплексов». Книга эта — острый психологический документ.

Антология и не претендует на стройность — ее стройность полифоническая, контрапунктическая, здесь объединены самые разные явления, и эта пестрота стилей, разнообразие характеров, полярность тональностей создают ту разноголосицу, которая более всего, на мой взгляд, соответствует сложнейшей структуре американской жизни.

В книгу вошло то, что уже отстоялось,— все временное, сенсационное на минуту, отсеялось, и в этом смысле антология представляет историю поэтического искусства Америки за полвека в ее лучших, совершеннейших образцах.

Советский читатель впервые, в сущности, познакомится с преемственностью и взаимодействием стилей американской поэзии за этот период — одной из важнейших областей художественной культуры американского народа.

Но одна из стилевых традиций все же доминирует — это демократическая традиция Уолта Уитмена. Его влияние чувствуется сильнее всех прочих, его мощный верлибр задал направление всей современной американской поэзии.

Последователь плотника Уолта Уитмена каменщик и шахтер Карл Сэндберг представлен стихами широкого демократического дыхания, стихами о рабочем классе. Он пишет об Америке, «которая ищет и обретает, скорее ищет, чем обретает». Он пишет о трех словах, что «сверкнули из огромной России», где «рабочие с оружием пошли умирать за Хлеб, Мир и Землю».

Автор книг «Дым и сталь», «Народ — да!» К. Сэндберг воспевает трудовую Америку, ее гигантские города, бесконечные человеческие толпы. Но рядом стоит Роберт Фрост, который хотя и сказал о себе: «Вся жизнь его — искание исканий», но поиск направил не в сторону от поэтической англосаксонской традиции, а постарался сохранить все накопленные историей ценности. Его прекрасное стихотворение, горькое и ироничное, «На заброшенном кладбище» останавливает внимание неожиданным поворотом прихотливой мысли, неожиданным остроумным «ходом». Однажды прочитанное, оно входит в сознание навсегда. Стихи Р. Фроста, как никакого другого поэта, доступны переводу, мысль у него всегда парадоксальна и даже в простом пересказе не теряет своей остроты. Его главный завет: «быть новым старым способом». Такой способ, на мой взгляд, один — мыслить.

Впечатляюще звучит по-русски стихотворение Грегори Корсо «Брак» (может быть, в переводе было бы лучше назвать его «Свадьба»). В отличие от Р. Фроста, соблюдающего размер и пользующегося рифмой, Г. Корсо употребляет верлибр. Его свободный стих, свободный и от размера и рифмы, не свободен от самого главного — от мысли. Повороты, резкие зигзаги мышления и составляют тот формообразующий напор, то организующее само себя напряжение, которые не ослабевают от начала до конца этого довольно пространного стихотворения.

Обычное повернуть новой, необычной гранью, вскрыть в ординарном парадокс, развернуть до конца метафору, взорвать «динамитные запасы» смысла, таящиеся в бытовых понятиях, смело и безотчетно пойти за ассоциацией, не задумываясь, куда она поведет, и все-таки выйти из запутанной темноты «неосознанного» к свету понятного и простого — этим искусством владеет Г. Корсо. Впрочем, ритм в его стихах есть, но он строго подчинен интонации, содержанию, ритм прихотлив, гибок, капризен и убедителен. Он помогает иронии, помогает патетике, помогает скорбности. Стихотворение «Брак» — одно из самых сильных в антологии. Раскрывая всю диалектику брака, поэт раскрывает тем самым всю диалектику жизни; не вынося прямолинейного публицистического приговора, он, то шутливо, то серьезно повествуя, подбирается к самому больному нерву современной жизни. Тема ординарности («стать как все»), и тема одиночества («одинешенек в своей холостяцкой квартире»), и тема нищеты («вонючее, тесное пекло Нью-Йорка, седьмой этаж, по углам тараканов толпы, визг обрюзгшей бюргерши-жены над картошкой»), и тема потерянного искусства («повесить на газонокосилку портрет Рембо»), и еще много-много других тем затронуто в этом многоплановом стихотворении.

Аллен Гинсберг, как и Грегори Корсо,— представитель «битнической» поэзии. Это одна из самых заметных фигур на горизонте послевоенной американской поэзии.

«Как я думал о тебе, Уолт Уитмен!» — восклицает А. Гинсберг в стихотворении «Супермаркет в Калифорнии». Чувствуется в его произведениях влияние этого титана демократической поэзии. Традиция У. Уитмена жива и в стихах других участников антологии, для которых он остается, по словам того же А. Гинсберга, «дорогим отцом, старым седобородым одиноким учителем мужества».

Но наряду с пафосом мужественного принятия всей сложности мира звучат у современных поэтов — и довольно часто — ноты упадничества и разочарованности.

«Нет бога, кроме Бога? Нет бога, кроме Смерти»,— заявляет горестно третий «битник», Лоуренс Ферлингетти.

Презрение к практицизму отцов, ирония по отношению к бизнесу сильнее всего выражены в стихотворении «Американский примитив» У. Дж. Смита: «Взгляните на его старомодный шапокляк, ботинки на шнурках и деревенский гонор. Только мой папа выглядит так, а я люблю папу, как он любит свой доллар».

И у Денизы Левертов[1] то же неприятие подобного практицизма и одномерности, а голос у нее особый, неповторимый, его не спутаешь ни с одним голосом в этом хоре.

Практицизм и «бунтарство», «битнический» нигилизм, крайний острый индивидуализм и жизнь демократических «толп», упоение сверхцивилизацией и утомление от техницизма и, как результат этого, стремление к природе, возвращение к «естественному» — все это находит отражение в том причудливом многоголосье, которое и представляет собой антология, объединившая пятьдесят поэтов. Устами Аллена Гинсберга поэты эти как бы вопрошают:

Куда, Америка, куда
ты мчишься в своем роскошном
автомобиле, кренящемся
на поворотах шоссе,—
к какой катастрофе
в глубоком каньоне
Скалистых гор,
к какому закату солнца
над Золотыми Воротами,
к какому безумному городу,
скачущему под джаз
у Тихого океана?

(«После чтения «Мертвых душ», перевод А. Сергеева)

Надо отметить, что переводчики книги столкнулись с особыми трудностями: чрезмерное и бесконтрольное увлечение свободным стихом, присущее многим поэтам США, грозит потерей собственно с т и х а. Прозаизация начинает подчас переходить просто-напросто в газетную прозу, слабо очерченные границы стиха совсем размываются. «Отпущенные вожжи», полное отсутствие необходимой технической трудности заставляют задуматься: не этим ли вызвано усиливающееся равнодушие американского читателя к стихам?

Однако в целом сборник получился интересным, он дает представление о современной поэзии Америки, о ее поэтических школах, о поисках и открытиях, но хочется надеяться, что за ним последует издание более широкого характера, которое вберет в себя лучшие образцы американской поэзии за двести лет ее существования.

Переводы стихов, знакомство с поэзией прошлого и настоящего помогают поэтам разных наций понять друг друга и еще действенней участвовать в мировом литературном процессе. Мне довелось встречаться с Робертом Фростом, Алленом Гинсбергом, Грегори Корсо, Денизой Левертов. Личное общение с поэтом много дает для понимания особенностей его творчества. Но сборники, подобные антологии «Современная американская поэзия», открывают поэтический мир другой страны самому широкому читателю. Такие книги делают великое дело, сближая культуры, помогая разрядке международной напряженности и взаимопониманию наций на нашей неспокойной и чреватой катастрофами планете.

ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ

[1] В этом номере публикуются отрывки из книги Д. Левертов «Поэт и мир».

Издано за рубежом

ПОЭЗИЯ УВЕРЕННОСТИ

Ivan Skála. Co si beru na cestu. Praha, Československý spisovatel, 1975.

«Что беру с собой в дорогу»— так называется новый сборник стихов известного чешского поэта Ивана Скалы, удостоенный Государственной премии имени Клемента Готвальда. Это книга о том, что дорого автору в жизни, о тех жизненных ценностях, которые не тускнеют с годами и которым он хочет остаться верным на своем дальнейшем пути. Это книга о богатстве и вместе с тем о сложности бытия, о мудрости опыта, о проблеме цельности человеческой личности и верности самому себе. К размышлениям на такие темы побуждает и зрелый возраст поэта, испытывающего потребность оглянуться на прожитое и пережитое, когда уже столько дорог «пройдено глазами и сердцем».

Осмысление пройденного пути вообще характерно для литературы Чехословакии последних лет. Нельзя не вспомнить, например, мемуарно-биографических произведений Йозефа Рыбака «Волшебный прутик»

(1962)[1] и Андрея Плавки «Влюбленный в жизнь» (1971)[2], авторы которых как бы разматывают клубок лет и событий, воспроизводя и собственную жизнь, и поступь истории. Это своего рода книги об уроках жизни.

Лирика И. Скалы разнообразна. Его волнуют как большие исторические события, меняющие судьбы народов, так и «впечатления бытия» в повседневном потоке будней. В книге есть стихи и о природе. Поэт умеет передать и ощущение душного ночного предгрозья, когда тьма наваливается, словно «бычья туша»; и трепет зеленых овсов, мерцающих под дождем, как разостланные рыбацкие сети; и очарование солнечного утра. Многие стихотворения навеяны воспоминаниями детства, далекого, невозвратимого и повторяющегося в жизни других детей. И вместе с тем Скала особенно чуток к «высокому напряжению эпохи»; жизнь для него — некая целостность и многоликость одновременно. Поэзия — тоже. Но в этом многообразии и многоликости можно выделить некоторые доминирующие черты поэтического мышления.

Художественный мир Скалы лишен статики. В восприятии поэта все несет на себе печать жизни во времени. Даже зрелище морского прибоя вызывает у него мысль о том, что вместе с песком и камнями море выносит из глубин «свою историю».

Уже в заглавии книги возникает образ дороги, пути. И в данном случае образ этот ассоциируется скорее с движением во времени, чем в пространстве. В этом убеждает и первое стихотворение сборника «Золотой мост», звучащее как своего рода пролог, поэтическое «введение» ко всей книге. Типичный для чешского пейзажа вид дороги с вековыми липами по сторонам, с мостом через ручей или речку, над которым сомкнулись огромные кроны, превращается в стихотворении и в образ страны, и в образ «золотого моста», где проходит путь поэта и путь его родины из прошлого в будущее. Автор заставляет читателя почувствовать, как струится не только воздух, наполненный теплым ароматом цветущих лип и гудением пчел, но и само безостановочное время, как дни «льются по виноградным лозам к сбору урожая».

Но в эту золотистую гамму, в картины плодоносного лета. труда людей, «тысячами рук» преобразуюших землю, над которой «пенится солнце», врываются и тревожные ноты, воспоминания о многотрудной истории народа в прошлом, о многовековой борьбе за свободу.

Почти во всех стихах Скалы присутствует ретроспектива. Свежие впечатления сливаются с опытом всей жизни. Частное соотносится с целым. Сегодняшний день сопрягается с большими и малыми событиями предшествующей истории — сопрягается по принципу родства, сходства или же резкого контраста. За стихотворением «Золотой мост» следует совершенно иной по тональности раздел «Шрамы горьких лет», в который вошли стихи о событиях 1968 года, когда «лжепророки» и «профессиональные дезертиры» пытались «ядом» и «медом» своей пропаганды отравить веру в социализм и повернуть страну вспять. Ответом на этот «волчий вой», ответом тем, кто «подкладывал зажженную солому под порог дома», являются, собственно, не только стихи этого раздела, но и вся книга, утверждающая незыблемость социалистических устоев, созидательной жизни нового общества.

И. Скала ощущает бытие своей страны в контексте исторических процессов как их составную часть. Он как бы переходит от одной вехи к другой, окидывая взором и свой собственный жизненный путь, и путь своего народа, особенно за последние тридцать — сорок лет, с того момента, когда немецкие фашисты, поработив страну, угоняли в Германию чешскую молодежь. И сам автор разделил тогда судьбу тех, кого отправляли с пометкой в сопроводительных списках — «возвращение нежелательно». Лишь побег, удавшийся впоследствии, спас ему жизнь. В памяти встают мрачные годы войны:

До сих пор у меня на письменном столе,
рядом с Гомером и Эсхилом,
лежит заржавленный осколок гранаты,
который врезался в землю
рядом с моей головой,
до сих пор я ношу в сердце
острые осколки войны,
которые напоминают о себе
в дурную политическую погоду,
как осколки в теле инвалида.
До сих пор меня грубо будят
ночные тревоги сердца,
когда я мечусь по горящим
улицам воспоминаний.
. . . . . .
...Я вижу, как женщина
с воспаленными, сухими глазами
по имени Елена Кошевая
склоняется над телом
своего поседевшего
семнадцатилетнего сына[1].

(«Память»)

Не случайно осколок гранаты упоминается здесь рядом с именами Гомера и Эсхила, олицетворяющими гуманизм и бессмертие человеческой культуры. В поэтическом сборнике Скалы немало и других реминисценций, связанных с величайшими достижениями человеческого гения, с творениями Шекспира, Гёте, Бетховена, Гоголя, Уитмена, чешских поэтов и художников. Социализм для Скалы неразрывно связан со всем гуманистическим наследием человечества, наследием, которое спасли советские воины, бросившие на Красной площади в День Победы тевтонские знамена «под ноги будущности».

Одно из самых проникновенных в сборнике — стихотворение «Дукла», о советских и чехословацких бойцах, сражавшихся на Дукельском перевале и освободивших первый кусочек чехословацкой земли. Многие из них пали здесь смертью храбрых. Печальные и мужественные строки звучат как

[1] Рецензия на эту книгу была опубликована в «Иностранной литературе» № 12, 1974.

[2] Этот роман был опубликован в «Иностранной литературе» № 10, 11, 1972.

[1] Переводы стихов принадлежат автору статьи.

клятва верности их подвигу. Стихотворения сборника запечатлевают день освобождения Праги Советской Армией, победу чехословацких трудящихся в феврале 1948 года и другие исторические события, определившие новый, социалистический путь страны. Автор утверждает глубокую жизненность и плодотворность этого пути, на который вступают все новые и новые народы мира, за который идет борьба против сил реакции и войны. Духом социалистического интернационализма проникнуты стихи, посвященные Чили, Вьетнаму и революционной Кубе.

Лирика Скалы овеяна духом извечного стремления и дерзновенного порыва человека вперед и ввысь:

Это, может быть, больше, чем мечта и сон,
Это, может быть, больше, чем слова
и слава,
Жажда высоты вновь и вновь, как стон,
Разрывает сердце Дедала.

(«Заботы»)

Будущее заключено в сегодняшнем дне, как сегодняшняя действительность выросла из того, что было в прошлом, из усилий, зачастую неброских и негромких. Чешский поэт умеет передать не только напряжение и красоту героического подвига, но и непатетическую красоту будней, передать поэзию повседневного труда и человеческих отношений. Пожалуй, именно мысль о труде как гуманизирующей силе и источнике моральных ценностей, сквозящая во многих стихотворениях, придает книге особую нравственную атмосферу.

Миссия поэзии в понимании Скалы — «добывание мудрости» и вместе с тем воспитание человека красотой, почерпнутой в глубинах жизни («Добывание», «Гейзер», «Болезнь»).

Двустишие — это две рифмы,
и контур мечты между ними,—

читаем в стихотворении «Лето в Гагре». «Мечта», «надежда» неизменно присутствуют в стихах Скалы о назначении поэзии. Один из прежних поэтических сборников автора, удостоенный в 1959 году премии Кл. Готвальда, так и назывался — «Утренний поезд надежды». Но в сущности «мечта» в лирике Скалы — это реальная устремленность в реальное завтра, вера в созидательные, творческие силы общества и человека, в идеал гармонической и деятельной личности, которая тоже формируется сегодня, в том числе и средствами поэзии:

Живем мечтами, надеждой?
Уверенностью — не мечтами!
На левой стороне, где сердце,
Маяк, алое пламя.

(«Уверенность»)

Поэзией уверенности можно назвать и лирику самого Скалы.

С. НИКОЛЬСКИЙ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РОМАН ФЕРДИНАНДО КАМОНА

Ferdinando Camon. Occidente. Milano, Aldo Garzanti Editore, 1975.

В последнее время в итальянской литературе наблюдается весьма симптоматичное явление: политика все чаще начинает составлять главное содержание художественного произведения. Борьба идей, противостоящих друг другу идеологий, восхваление или развенчание тех или иных политических группировок и их лидеров вытесняют традиционные сюжеты и привычные литературные образы. Появились самые разные виды политического романа: «фантаполитический», рассматривающий реальную действительность сквозь призму вымышленных обстоятельств, сатирический памфлет, обличающий противоречия современного капиталистического общества, документальный роман, освещающий определенные политические события.

При чтении романа Фердинандо Камона «Запад» трудно отделаться от впечатления, что это не документальный очерк или репортаж о деятельности фашистских последышей в Италии. Впрочем, сам автор пишет в послесловии, что «его роман — не плод фантазии, а отражение реальности — и в том, что касается идей, и в том, что касается фактов». В самом деле, отвлечемся на минуту от книги и заглянем в газетную хронику Италии.

1969 год. В Сельскохозяйственном банке Милана взрывается бомба. В результате 16 человек убиты и свыше 80 ранены. Следствие показало, что вина за это преступление, в котором вначале пытались обвинить крайние левые организации и анархистов, лежит на членах неофашистской партии «Итальянское социальное движение — Национальные правые силы».

Май 1974 года. В итальянском городе Брешия в результате взрыва бомбы, подложенной неофашистами, 8 человек были убиты и 94 ранены. Еще не стихло возмущение, вызванное кровавым преступлением реакции, как взрывается бомба, подложенная в вагон пассажирского экспресса «Италикус», следовавшего из Рима в Мюнхен. По чистой случайности взрыв произошел не в туннеле, как планировали его организаторы, а при выезде из него. По этой причине число сгоревших в возникшем пожаре составило лишь двенадцать человек.

На протяжении многих лет правые экстремисты избивают прогрессивно настроенных студентов, подбрасывают зажигательные бомбы в помещения левых организаций. Полиция то и дело обнаруживает тайные склады оружия и снаряжения, секретные лагеря и полигоны, где проходят обучение новобранцы. Попасть в тюрьму или предстать перед судом — позор для чернорубa-

шечников. Поэтому «нужно стрелять в упор и бежать». Такова директива «черного интернационала», как явствует из секретного доклада одного из агентов международной полиции.

Кто же эти люди? Какова их идеология? С профессиональной точностью хирурга Фердинандо Камон на страницах своего романа обнажает истинную сущность и психологию этих людей, сохранивших верность фашизму и после его физического, морального и политического разгрома, развенчивает нищету их человеконенавистнической «философии».

Действие здесь развертывается преднамеренно медленно и не поражает читателя острым драматизмом — в самой действительности современной Италии сталкиваешься с гораздо более ужасными фактами, чем приведенные в книге.

В центре романа фигура маленького периферийного «дуче» из Падуи — некоего Франко. Он показан на собрании в фашистской организации, во время поисков потайного убежища, в момент провокационных акций возглавляемой им группы. Франко, однако, не столько действует в романе, сколько наблюдает и размышляет. Мысли его переплетаются с высказываниями других сообщников. Особую достоверность книге придают приводимые автором обширные цитаты и выдержки из теоретических «трудов» идеологов неофашизма, из листовок и призывов правых организаций.

По убеждению последышей Муссолини, весь мир делится на людей «имитационного» склада характера и «деятельного». Первые — для того, чтобы подняться вверх по общественной лестнице, должны иметь пример, которому они могли бы следовать. «Есть два способа подняться вверх,— вещает в романе поэт, в котором не трудно заметить сходство с духовным пастырем неофашистов Юлиусом Эволе.— Один состоит в том, чтобы самому подниматься до недосягаемых вершин, другой — в том, чтобы рабски следовать за теми, кто взбирается на эти вершины». Эти качества, по его словам, заложены в людях с рождения, и их надо учитывать еще со школы. При городских управлениях следовало бы завести специальную картотеку, в которой, наряду с данными о прививках, учитывать склад характера каждого гражданина с тем, чтобы промышленники, военные, политики в любой момент могли иметь в своем распоряжении армию послушных, рабски следующих за ними рабочих, солдат, исполнителей.

Сам Франко идет в своих теориях еще дальше. Для него рабочие и крестьяне — это не люди, а существа, стоящие на две ступеньки ниже человека. Еще более низшими существами считает он нищих и многодетных эмигрантов из Южной Италии. Но в своих политических расчетах он принимает во внимание и недовольство рабочих своим экономическим положением, и протест крестьянства против безземелья, и стремление южан выйти из бедственного положения. И мы знаем, что в жизни подобные расчеты, провокационные действия и подстрекательства приводят к подлинным трагедиям. Не случайно, например, новоявленные чернорубашечники избрали ареной своих действий юг страны. Ими спровоцированы беспорядки в Неаполе, Салерно, Реджо-Калабрии и Козенце. Здесь всегда была велика прослойка люмпен-пролетариата, людей без определенных профессий, страдавших от нищеты, а потому столь жадных до сиюминутных перемен. Этим и пользуются неофашисты, чтобы поднять толпу на разгром налоговых управлений, административных органов власти, а заодно и помещений левых партий.

В романе раскрываются задачи и программа действий неофашистов: распространение брошюр и листовок, террор, насильственное вовлечение в группу новых членов, уничтожение коммунистической литературы. Однако в катехизисе члена «группы порядка» есть один примечательный пункт, объясняющий отчасти зыбкость, неотчетливость границ, отделяющих одну фашистскую группу от другой. «Кем выполняются директивы «группы порядка»? — задается вопрос в катехизисе. «Любой может выполнять директивы группы,— гласит ответ,— даже если он не является членом одной из секций. Граждане, не являющиеся членами группы, но выполняющие ее директивы, заслуживают всяческой экономической и моральной поддержки».

Эти установки, обеспечивающие самостоятельность многочисленных правоэкстремистских группировок в Италии, позволяют неофашистам действовать повсеместно, избегая провала центральной организации. «Среди итальянских правых группировок, входящих в «черный интернационал»,— отмечал журналист газеты «Темпо» Энцо Катания,— известны лишь некоторые, но далеко не все». Символично, что среди перечисленных журналистом группировок типа «ангелы-мстители», «фашистские активисты Италии», «черная группа партизан» фигурируют хорошо знакомые нам названия: «новый порядок», «черный порядок» и другие.

Подобно индивидуальному членству в «группе порядка», объединение разного рода «ангелов-мстителей» в единую национальную, а затем и международную организацию не закрепляется никаким письменным актом, а носит главным образом моральный и идеологический характер. Поэтому «руководителями считают людей, пользующихся наибольшим авторитетом и имеющих определенное прошлое». Таким руководителем в романе выступает Франко, а в жизни его ближайшим прообразом является, пожалуй, фашистский последыш Марио Тути.

Тути (как следует из полицейского доклада, составленного в Италии в начале 1975 года) хранил в своем доме 5000 патронов, 40 ножей, 7 пистолетов, 8 карабинов, 4 автоматические винтовки и 6 охотничьих ружей. Когда к нему в дом явились для обыска два карабинера, знавшие его с детства, он хладнокровно застрелил обоих. Стрелял он из винтовки самого современного американского образца — точно такой же, из ка-

кой был убит Джон Кеннеди. Таких винтовок нет и не было ни у одного из итальянских полицейских подразделений.

Правда, неофашистская группа, выведенная в романе Ф. Камона, пока не идет дальше избиения студентов и прохожих, распространения «списков красных» и других своих идеологических противников, нападения впятером на одного, искусных провокаций ради нагнетания напряженности, сговора с полицейскими и т. д. «Но в душе своей,— пишет Ф. Камон,— Франко всегда чувствовал себя убийцей и разрушителем, и такую судьбу он считал наиболее лестной». Впрочем, Франко — трус и, как все трусы, боится смерти. А из трусости он готов пойти на убийство даже своих соумышленников, лишь бы замести следы преступления.

В романе Ф. Камона есть еще одна тема: деятельность левацких группировок в Италии. Пытаясь разобраться, почему «леваки» были исключены из Итальянской коммунистической партии, автор подчеркивает закономерность этого процесса: ведь по сути зачастую невозможно провести различие между правым и левым экстремизмом. Подобно тому, как в реальной действительности следователи на Сардинии до сих пор тщетно пытаются установить, правые или левые экстремисты совершали на острове похищения разных лиц с целью вымогательств и шантажа, так и в романе нередко задаешься вопросом: да полноте, леваки ли перед нами? Очень выразительны в этом смысле, например, воззвания различных левых и правых экстремистских группировок, приведенные в книге. Рядом с листовками неофашистов «Аристократия и духовность», «Нет!» марксистскому капитализму» висят лозунги типа: «Нет!» фашизму и антифашизму», «Выборы — ловушка для дураков», «Итальянская компартия — верный страж буржуазии против рабочего движения». Характерно, что в этом же ряду фигурируют и маоистские призывы к «изучению мыслей Мао Цзэ-дуна» и распространению «Красных страниц» — журнальчика о Китае. Кстати говоря, утверждение маоистов о том, что «невозможно построить новое государство, если не смести с лица земли даже руины буржуазного общества», весьма созвучно с призывом фашизма к «большому кровопусканию».

Книга Ф. Камона, разоблачающая идеологию и практику неофашистов, обладает, несомненно, большой актуальностью. И дело не только в том, что многие ее страницы как бы перекликаются с хроникой текущих событий. Эта книга появилась в период резкого обострения экономического и социально-политического кризиса в капиталистическом мире. Активизация же фашизма, попытки установить сильную власть, как известно, всегда связаны с ухудшением экономического положения, так как безработица и нестабильность политической власти ведут к оживлению реакции. Вот почему необходимо сохранять бдительность, так как, несмотря на рост влияния левых сил в стране, у фашистских идей все еще есть сторонники. Они затаились в подполье, но ждут «лучших» дней. Книга Ф. Камона звучит в этом плане серьезным предупреждением.

Г. СМИРНОВ

ШАГИ ПОД ОКНОМ

André Remacle. La Rue des trois soleils. Paris. Les Editeurs Français Réunis, 1975.

> И каждый вечер, в час назначенный
> (Иль это только снится мне?)
>
> *А. Блок. Незнакомка*

Более десяти лет назад герои романа французского писателя Андре Ремакля «Время жить» (1965)[1]— на ощупь и спотыкаясь — пришли к трагическому для них открытию: погоня за внешним преуспеянием и комфортом, изнурительная работа (ведь за благополучие нужно платить) повлекли за собой утрату самого главного — времени, чтобы жить, времени, чтобы любить. И глубоко пустившее корни отчуждение отгородило их не только друг от друга, но и от жизни как таковой, протекающей где-то за пределами их изолированного мирка.

С тех пор понятие «время жить», в котором емко и лаконично выразилась одна из проблем современного капиталистического общества, стало нарицательным во французской литературе. И не только в литературе: «время жить» — как одно из важнейших требований — рабочие Франции уже многие годы включают в программу своей политической и экономической борьбы.

В новом романе писателя «Улица Трех Солнц» время предстает не как недоступная роскошь — для героини оно навсегда замерло в тот момент, когда у нее отняли любовь. И символический образ «умершего» времени является доминирующим в книге, действие которой происходит в течение двух часов, но вмещает по сути всю жизнь героини.

Марту Грассен, сорокачетырехлетнюю одинокую женщину, мы застаем вечером у телевизора. Устроившись поудобнее в кресле, она смотрит очередную передачу из «черной серии», но стрельба, доносящаяся с экрана, не мешает ей предаваться воспоминаниям о детстве, о юности, о первой любви.

Марта не сразу услышала раздавшийся вдруг звонок в дверь. За дверью оказываются двое полицейских — они врываются в ее квартиру, словно соскочив с телеэкрана, за которым она только что неотрывно следила. Полицейских интересует некий Пьер Дешан — как признается Марта, он должен скоро прийти. Последние пять лет он каж-

[1] Андре Ремакль. Время жить. «Молодая гвардия», 1972.

дый вечер приходит к ней в один и тот же час.

И вот, как будто дожидаясь вместе с полицейскими своего возлюбленного и стараясь угадать знакомые шаги под окном, героиня — то вслух, то про себя — продолжает вспоминать свое давнее и недавнее прошлое.

В отрывочных и беспорядочных воспоминаниях, нахлынувших на нее в эти недолгие часы, перед нами оживает десятилетняя девочка, беззаботно прыгающая через веревочку. «Маленькая девочка прыгала через веревочку 28 сентября 1938 года»,— уточняет автор. На следующий день было заключено Мюнхенское соглашение. Именно с этого момента начинается личная история героини, которая протекает одновременно и в тесной зависимости от мировой истории.

Первая детская любовь. Старый Марсель и полная света улица Трех Солнц, населенная бедным трудовым людом. Война, вступившая в город. Январь 1943 года. Приказ из Берлина о насильственной эвакуации всех жителей старых кварталов «в целях безопасности и дезинфекции». Жестокое, бессмысленное изгнание многих тысяч людей с родных, насиженных мест. Разрушенный, опустевший город, где прежде на каждой улице слышались свои песни, свои ароматы, свой говор. «Потребовалось всего одиннадцать часов, чтобы умертвить город, который просуществовал более двух тысяч лет»,— с горечью констатирует Андре Ремакль.

Часть жителей была помещена в лагерь неподалеку от Марселя, часть угнана в Германию, остальные отправлены на одну из гитлеровских фабрик смерти, откуда уже никто не вернулся. И среди них — Альбер, первая любовь Марты.

Все словно застыло и окаменело в Марте — еще недавно такой жизнерадостной, открытой и страстно тянущейся к счастью. Ни работа, ни книги, ни путешествия не могут заполнить душевной пустоты. Внешняя сухость и холодность отпугивают от нее окружающих; одиночество, сковывающее и парализующее, становится для героини все более тягостным, но все ее попытки перешагнуть через прошлое и обрести близкого человека, семью ни к чему не приводят.

Послевоенное существование Марты протекает на фоне жизни ее родного Марселя, так вдохновенно и поэтически воспетого Андре Ремаклем. Приглаженный и отстроенный город не забыл своего прошлого, как и Марта. Жизнь города — это жизнь его обитателей. Проведя двадцать восемь лет на одном месте, Марта по звукам научилась угадывать все, что происходит за стенами ее квартиры. Она знает, у кого стукнули ставни, у кого заплакал ребенок, чьи шаги раздались под окном. Здесь, на бульваре, все знают все о своих соседях, и тем не менее вокруг каждого из них — пустота. А. Ремакль тонко вводит в паузы между монологом Марты вставные новеллы о ее соседях по кварталу. Для многих, как и для нее, все лучшее осталось в прошлом. Но те, кто моложе, еще ждут, еще мечтают о счастье. Без этих маленьких историй не полно была бы обрисована и жизнь самой Марты, которая давно стала неотъемлемой частью своего города, своей улицы.

И вот когда Марта уже перестала верить, что и для нее возможно счастье, ей встретился человек, которого она полюбила. Эту последнюю главу своей жизни она торопливо перелистывает в присутствии полицейских, дожидающихся вместе с ней Пьера Дешана.

Свойство человеческой памяти или воля автора заставляют героиню снова и снова возвращаться к той далекой, но так и не забытой любви, и мы немногое узнаем о человеке, вошедшем в ее жизнь пять лет назад.

Финальные страницы романа кажутся неожиданными — словно полицейские, появление которых уже в начале книги придало ей несколько детективный характер, устали от пассивного ожидания и сами включились в игру, подсказав и предопределив ее развязку. И действие, разворачивавшееся до сих пор несколько замедленно, вдруг приобретает стремительность. Исповедь Марты подходит к концу: ответив однажды на телефонный звонок, она узнает, что Пьеру удалось избавиться от мешавшей ему жены и теперь он свободен. Войдя к нему в комнату, Марта застает его за разглядыванием фотографии, на которой он снят тридцать лет назад в форме петеновской полиции — эта полиция охотилась за патриотами и действовала в тесном контакте с фашистским гестапо.

Писатель не открывает, какие страшные мысли и воспоминания мелькают у Марты в тот миг; ведь в последний раз она видела Альбера в окружении полицейских как раз в такой форме — они увозили его на смерть. Ремакль лишь сухо регистрирует события: взглянув на фотографию, она убегает и, возвратившись с пистолетом, убивает своего возлюбленного.

Возможен ли подобный выход из сложившейся ситуации для такой женщины, как Марта? Цельной, не способной на ложь и компромиссы. Быть может, но развязка решена автором не в той реалистической и психологически чуткой манере, в которой выдержаны предыдущие главы романа, а в совершенно иной — сатирической и даже пародийной.

«Как и миллионы мужчин и женщин, Марта проводит одинокие вечера у телевизора, который помогает не думать и забыть о времени»,— пишет Андре Ремакль. А разве детективные истории как самый дешевый продукт «массовой культуры», наводнившие французское (да и не только французское) телевидение, не оказывают своего воздействия на человеческую психику, уводя от реальной жизни, предлагая взамен хорошо отработанный стереотип мыслей и поступков?

Последние страницы романа, напоминающие пародию на детектив, подсказывают и такие вопросы: а существовал ли в действи-

тельности Пьер Дешан? Не навеяна ли вся история с ним, да и разговор Марты с преследующими ее, словно «ангелы смерти», полицейскими теми телевизионными передачами из «черной серии», которые она смотрит из вечера в вечер, пытаясь хоть как-то заполнить пустую жизнь? Не потому ли рассказывается о Пьере скороговоркой и он не вырастает перед нами так зримо, как давно погибший Альбер, а остается лишь бесплотной и ускользающей тенью? И что же являет собою сама книга Ремакля? Реальную историю или художественное повествование, целиком основанное на вымысле? Едкую сатиру? Или легенду, придуманную как спасение от безнадежности? «Самое реальное в моей книге — это история Марселя и первой любви Марты. Реально ли все остальное или это плод воображения героини — решать читателю. Я буду рад, если каждый прочтет мою книгу по-своему»,— оставил за собой право на недоговоренность А. Ремакль, беседуя о своей книге в одном из интервью. В романе этом, где так искусно переплетены миф и реальность, прошлое и воспоминания о нем, сегодняшний день и вновь вытесняющий его вчерашний, нет будущего. На самой последней странице Марта, после того как она призналась полицейским в своем преступлении (действительном или мнимом?), бежит к порту, навстречу властно зовущему ее морю — морю, обещающему желанную встречу с прошлым.

Знаменательно, что роман «Улица Трех Солнц», где центральное место занимают подлинная трагедия уничтоженного города и личная драма героини, вышел к тридцатилетию победы над фашизмом. Для Андре Ремакля, коренного марсельца, коммуниста и активного участника Сопротивления, эти трагедии неотделимы друг от друга, символизируя те незаживающие раны, которые оставила война в сердце человечества.

Н. ПОПОВА

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

ЖУРНАЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ИЗУЧЕНИЮ ТВОРЧЕСТВА ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА

В Лондоне вышел в свет очередной, двадцать третий номер журнала «Джабберуоки», который издает Общество Льюиса Кэрролла. Общество было основано в 1969 г. с целью изучения жизни и творчества Льюиса Кэрролла (псевдоним Чарлза Латвиджа Доджсона), автора «Алисы в Стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье». Эти сказки уже давно стали достоянием не только детской, но и «взрослой» классической литературы. К творчеству Кэрролла вновь и вновь обращаются историки литературы, психологи и врачи, математики, физики, логики. Цитаты из его сказок, ссылки на персонажи можно встретить не только в произведениях художественной литературы или литературной критики, но и в узкоспециальных научных трудах.

Однако до сих пор еще нет ни полного собрания сочинений Кэрролла, ни сколько-нибудь исчерпывающей библиографии его наследия. Не изданы ни его письма, ни дневники, мало изучены отношения Кэрролла с его современниками, среди которых было немало выдающихся писателей и ученых.

Заполнение этих «белых пятен» и ставит своей задачей журнал «Джабберуоки». Этим названием журнал обязан одному из персонажей, фигурирующему в стихах «Зазеркалья» (Верлиока — в переводе Т. Щепкиной-Куперник; Бармаглот — в переводе Н. Демуровой и Д. Орловской). Главный редактор журнала — Селвин Х. Гудэкер, а в число его постоянных сотрудников входят видные критики и литературоведы — Роджер Ланселин Грин, Флоренс Беккер Леннон, Дерек Хадсон, известный кибернетик академик Уоррен Уивер, физик Мартин Гарднер, философы — Элизабет Сьюэлл и Питер Хит и др.

Последний номер журнала, выходящего ежеквартально, посвящен малоизученному роману Кэрролла «Сильви и Бруно» и переписке Кэрролла с Робертом Сесилем, маркизом Солсбери.

САТИРА ТОМА ШАРПА

Интересной литературной новинкой этого года английские критики считают новый роман писателя-сатирика Тома Шарпа «Уилт», вышедший в издательстве «Секкер энд Уорбург». Фамилия главного героя книги Уилт неслучайна, по-английски слово «уилт» можно перевести как «неудачник». Фигура неудачника, замечает рецензент журнала «Спектейтор» Н. Хепбери, типична для произведений Тома Шарпа. И действительно, жизнь героя последнего романа писателя сложилась не слишком благополучно. Филолог по образованию, Уилт должен довольствоваться не приносящей ему удовлетворения работой в местном профучилище, где он обучает литературе мясников. У него запутанные отношения с женой Евой, которая, по словам рецензента журнала «Лиснер» Д. Фэллоузлла, «уверовала в мощное прогрессивное воздействие на человечество идей сексуальной революции» и упорно пытается навязать мужу взгляды, глубоко ему чуждые. Он одинок в среде обывателей, желающих во что бы то ни стало быть на уровне новых веяний. Последней каплей становится знакомство жены с приехавшей в их город американской четой, проповедующей «еще более свободные сексуальные отношения». Чтобы дать выход ярости и отчаянию, Уилт инсценирует символическое убийство жены, нанося удары ножом кукле, обря-

По телевидению, в газетах, на демонстрациях в различных городах Шотландии можно увидеть политические плакаты, изготовленные группой художников-энтузиастов из города Глазго. Из их импровизированной мастерской, расположенной в старом гараже, выходит много острых политических плакатов, помогающих борьбе рабочих. На снимке: один из плакатов, опубликованный газетой «Морнинг стар».

женной в платье Евы. Ева доносит на мужа в полицию, начинается мучительное расследование, в процессе которого, однако, Уилт вновь обретает утраченную было уверенность в себе, ибо убеждается в правоте своей жизненной позиции. Литературный обозреватель журнала «Лиснер» пишет: «Отрадно, что нашелся писатель с именем, который отказывается признавать, что жизнь строится лишь на сексуальных отношениях... Эта книга,— продолжает он,— не только жестокая сатира на американский образ жизни, но и на бездуховное существование современного западного общества».

БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ

НОВАЯ КОМЕДИЯ БЕРНАРА ДАДЬЕ

Крупным событием в культурной жизни страны, как сообщает журнал «Африк нувель», является выход в свет в издательстве «Нувель эдисьон африкен» новой комедии известного прозаика, поэта и драматурга Бернара Дадье «Папассиди — маэстро-мошенник». Действие комедии происходит в некоем анонимном африканском государстве в наши дни. Главный герой, фальшивомонетчик Папассиди, вместе со своими дружками на протяжении семи картин ловко мистифицирует доверчивых людей.

Забавные ситуации, в которые попадают действующие лица комедии, вызывают веселый смех читателей и зрителей. «Но этот смех,— пишет корреспондент «Африк нувель»,— как всегда у Бернара Дадье, заставляет задуматься над пороками и нравами современного африканского общества».

Комедия «Папассиди — маэстро-мошенник» была закончена три года назад. Предполагается, что Национальный театр покажет ее на Всеафриканском фестивале в Лагосе, проведение которого отложено до 1977 г. «Издание комедии сделает ее доступной не только для соотечественников, но и для широких кругов читателей других стран Африки»,— пишет «Африк нувель».

БОЛГАРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ДИМИТРОВСКУЮ ПРЕМИЮ

Комиссия по присуждению Димитровских премий при Государственном совете Народной Республики Болгарии сообщила имена кандидатов на присуждение этой высокой награды в 1976 г. в области науки, техники, изобретений, литературы, искусства и архитектуры.

Среди кандидатов на присуждение Димитровской премии 1976 г. за достижения в области литературы — два видных болгарских писателя: Павел Вежинов (за роман «Ночью на белых конях») и Дамян Дамянов (за сборники стихов «На коленях перед тобой» и «Если не было огня»).

ВЕНГРИЯ

ИСТОРИЯ ВЕНГЕРСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА

Эржебет Галгоци (ее книги переводились в Советском Союзе) известна как «писательница крестьянской темы». «Из ее произведений, словно из кусочков мозаики, складывается картина жизни венгерского крестьянства за последнее тридцатилетие»,— сказал в одном из своих выступлений главный редактор издательства «Сепиродалми» Матяш Домокош. Как свидетельствует интервью Эржебет Галгоци, опубликованное в журнале «Кортарш», она и впредь не намерена изменять избранной ею теме. Будущий роман писательницы охватит период в полтора века: со времени освобождения венгерских крестьян от крепостной зависимости до наших дней. «События романа,— рассказывает Эржебет Галгоци,— развиваются в моем родном селе Менфачанак. В течение 150 лет землями Менфачанака владели члены семьи крупных австрийских феодалов Безереди. Работая в архивах, разыскивая документы в поселковых советах и даже в католических приходах, я неожиданно узнала, что внук последнего помещика Менфачанака, тоже Безереди, живет в Вене. Он прислал мне интересные материалы; между прочим, он помнит и мою мать, потомственную крестьянку. В числе трех семейств, жизнь которых я собираюсь описать, будут изображены и члены моей семьи, но под вымышленными именами». Книгу, над которой писательница работает уже пятнадцать лет, она посвящает «труженикам земли».

СОЦИОГРАФИЧЕСКАЯ ДРАМА ШАНДОРА ЛАСЛО-БЕНЧИКА

В прошлом году мы познакомили читателей (см. «ИЛ» № 4, 1975) с главой из книги писателя-социографа Ш. Ласло-Бенчика «История: взгляд снизу», в которой рассказывалось о жизни и работе бригады упаковщиков (сам автор тоже был членом этой бригады).

Впоследствии Ласло-Бенчик по мотивам своей книги написал пьесу, и она шла в театре «Талия».

Сейчас в этом театре идет еще одна «социографическая драма» Ш. Ласло-Бенчика «Родная земля». Критик Жужа Картал называет ее на страницах газеты «Мадьяр немзет» продолжением сценического репортажа «История: взгляд снизу».

В этой пьесе Шандор Ласло-Бенчик изображает три поколения хуторян. В Венгрии сегодня на хуторах живет миллион человек, то есть десятая часть населения страны. По какому пути должна развиваться жизнь тех, кто работает на земле, кто кормит страну? Бережно охранять и лелеять древний уклад индивидуального ведения хозяйства или создавать новые крупные сельскохозяйственные комплексы, основанные на коллективном труде?

По мнению критика, драматург создал яркие, запоминающиеся характеры: это и пилот сельскохозяйственной авиации, и председатель сельсовета, и парторг, и председатель кооператива, олицетворяющие неодолимость передового, нового. Это и образ матери, которая ревниво, с трагическим пафосом отстаивает древний крестьянский образ жизни.

Пьеса отличается драматичностью, отточенностью стиля, ярким и сочным языком.

На снимке: иллюстрация художника Д. Словака к статье Жужи Картал.

(Газета «Мадьяр немзет»)

ВЬЕТНАМ

20-ЛЕТИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВАН ХОК»

Недавно в Ханое проходила конференция, посвященная 20-летию деятельности издательства «Ван хок» («Литература»), на которой присутствовали представители литературно-художественных организаций, работники печати и издательств Вьетнама. Директор издательства Нгы Фонг сообщил в своем выступлении, что за прошедшие 20 лет его издательство выпустило около 500 названий: 192 прозаических произведения, 113 сборников стихов, 45 монографий по проблемам национальной литературы и искусства, а также 107 произведений авторов зарубежных стран.

ГДР

РОМАН ГЕЛЬМУТА ШУЛЬЦА

Газета «Берлинер цайтунг» публикует на своих страницах новый роман Гельмута Шульца «Прыгун». Представляя читате-

Режиссер Дино Ризи — постановщик известных советским зрителям фильмов «Журналист из Рима», «Операция «Святой Январий», «Полмиллиарда за алиби» и многих других комедийных лент — решил попробовать себя в новом для него жанре: экранизировать психологический роман писателя Джованни Арпино «Потерянная душа». В главных ролях — Витторио Гассман и две французские актрисы — Катрин Денёв и Анисе Альвина (на фото).

«Мы изменили роман и расширили его,— сказал режиссер, сам участвовавший в написании сценария вместе с кинодраматургом Бернардино Дзаппони.— Но я отдаю себе отчет в том, что это фильм, который я не должен был бы никогда ставить. Однако я, словно на пари, убедил себя в обратном, потому что мне надоело, что меня отождествляют с «комедией по-итальянски», которая сегодня у нас так низко пала...»

(«Газета «Унита»)

своего сына. В тот день, когда месть совершена, старик Вивальди уходит на пенсию (рецензия в «Эспрессо» так и названа: «Убийца уходит на пенсию»).

«История жертв и в то же время палачей», по определению Итало Кальвино, заканчивается изображением безобидного старика за утренним кофе, мирно доживающего последние годы своей тихой бесполезной жизни.

Давая высокую оценку произведению Черами, рецензент еженедельника итальянских коммунистов «Ринашита» Джан Карло Ферретти отмечает нетрадиционную трактовку автором гоголевской темы «маленького человека». На мотив сострадания к бедам и невзгодам «очень мелкого» чиновника накладывается едкая ирония по отношению к бездуховности, биологизму его существования, крайней узости интересов.

«...Черами сознательно воссоздает традиционный персонаж, с традиционной историей, чтобы затем шаг за шагом разрушить его изнутри»,— так заканчивает свою статью о романе Ферретти.

КИТАЙ

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИЗДАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЖУРНАЛА

В Китае после десятилетнего перерыва снова начал выходить журнал «Жэньминь вэньсюэ» («Народная литература»), однако воскресший журнал разительно отличается от того, каким он был до «культурной революции».

Заглавие журнала начертано рукой Мао Цзэ-дуна. На первой странице снова почерк Мао Цзэ-дуна: столбец иероглифов — «Пусть выйдет в свет еще больше еще лучших произведений» — и факсимиле подписи. Затем следуют стихотворения Мао Цзэ-дуна, перепечатанные из новогодних газет.

В сопроводительной статье эти стихи объявляются «блистательными картинами» и «волнующим эпосом». Кроме того, в первом номере напечатано либретто «современной революционной оперы «цзинцзюй» «Паньшиванъ», а также безликие рассказы и стихи, выходящие с литературного конвейера маоистов. Они пестрят цитатами из сочинений Мао Цзэ-дуна, которые выделены жирным черным шрифтом.

Номер пронизан антисоветизмом.

Во втором номере программная статья Чу Ланя в обычном для хунвэйбинов тоне тоже призывает продолжать «великую культурную революцию».

Центральное место во втором номере занимает симпозиум, посвященный стихам Мао Цзэ-дуна, но использованный главным образом для антисоветских заявлений и клеветнических домыслов. Кроме того, в нем напечатана рецензия на кинофильмы «Вторая весна», клеветнически трактующая советскую помощь китайскому народу. Затем следуют стихи известного поэта Цзан Кэ-цзя «Вспоминаю Сянъян», где автор проходил «перевоспитание» физическим трудом. Это первое произведение Цзан Кэ-цзя, опубликованное после десятилетнего перерыва.

КОНГО

ПЕРВАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ

Недавно, по сообщению конголезского еженедельника «Этумба», министр культуры Народной Республики Конго Жан-Батист Тати-Лутар вручил старейшему конголезскому писателю Жану Малонге премию Президента республики и Золотое перо. Литературная премия Президента республики, учрежденная специальным декретом еще в 1971 году, присуждается впервые. Решено, что отныне она будет вручаться ежегодно. Жан Малонга — писатель, представитель старшего поколения африканской интеллигенции. Наиболее популярны два его романа: «Сердце Ариены» и «Легенда Мифуму Ма Мазоно». В первом рассказывается о любви черного юно-

ши и белой девушки. Во втором — о восстании рабов в доколониальные времена и создании «государства всеобщего братства». Конголезские критики называют произведения Жана Малонги «мостом между традиционной и современной литературами». По роману «Легенда Мпфуму Ма Мазоно» конголезский режиссер Карель Камба сделал фильм.

Золотое перо было также вручено министру культуры и писателю Жан-Батисту Тати-Лутару в связи с выходом в свет «Антологии современной конголезской литературы».

Антология, изданная в Яунде (Камерун) в издательстве СЛЕ, включает произведения 18 современных конголезских поэтов, прозаиков и драматургов.

Конголезский еженедельник «Этумба», орган Конголезской партии труда, посвятил этому событию и творчеству первого лауреата премии Президента республики Жана Малонги большую статью.

КОСТА-РИКА

АКТЕР-КОММУНИСТ О РОЛИ ТЕАТРА

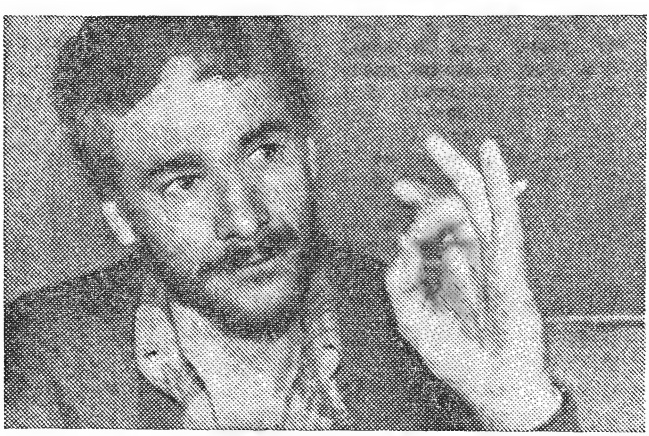
Коста-риканский актер Рубен Пагура, признанный театральной критикой «лучшим актером 1975 года», поделился с читателями газеты «Либертад» мыслями о состоянии театрального искусства.

Коста-риканский театр, по мнению Рубена Пагуры, становится все более популярным среди всех слоев населения страны. Возникло несколько театральных трупп, которые не только выступают в стационарных помещениях, но и выезжают на предприятия и в крестьянские кооперативы. Заметно улучшился репертуар театров. Центральные театры Коста-Рики — «Театро университарио», «Арлекин» — ставят не только классику (от Тирсо де Молины до Брехта), но и пьесы современных латиноамериканских драматургов.

«Что касается места актера в условиях сегодняшней Коста-Рики,— сказал далее корреспонденту газеты «Либертад» Рубен Пагура,— то оно должно быть там, где его искусство нужнее всего... Меня, коммуниста, в большой мере сформировала как человека, революционера и актера дружба с товарищами по партии. Я глубоко осознал, что мой важнейший долг — постоянно совершенствоваться в актерском искусстве. И считаю свою судьбу неотделимой от судьбы коста-риканского народа».

На снимке: Рубен Пагура.

(Газета «Либертад»)



КУБА

ПРЕМЬЕРА НАЦИОНАЛЬНОГО БАЛЕТА

Кубинское телевидение показало премьеру Национального балета Кубы «Сесилия Вальдес» по одноименному роману классика кубинской литературы С. Вильяверде (1812—1894).

Героиня романа мулатка Сесилия Вальдес, по словам рецензента газеты «Хувентуд ребельде», не раз привлекала внимание деятелей литературы и искусства Кубы и служила им источником творческого вдохновения. Неудивительно, что сегодня это произведение нашло и свое хореографическое воплощение.

Постановщик балета — Густаво Эррера. В основу музыкального сопровождения, осуществленного Хосе Урбаем, положена известная на Кубе сарсуэла Гонсало Ронга «Сесилия Вальдес». В этой связи автор рецензии в «Хувентуд ребельде» сравнивает работу Хосе Урбая с работой советского композитора Родиона Щедрина над оркестровкой балета «Кармен-сюита» по музыке Бизе к опере «Кармен».

МАЛАЙЗИЯ

НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

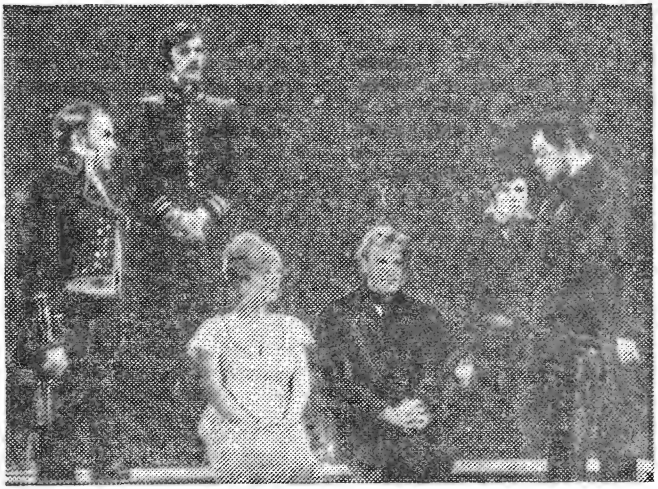
«Критик» — так называется новый журнал, который начал издаваться в Куала-Лумпуре. В его редколлегию вошли профессор Исмаил Хуссейн, председатель Объединенного союза национальных литераторов, и крупнейший прозаик Шахнон Ахмад, чьи рассказы не раз переводились на русский язык. Журнал публикует материалы, посвященные не только литературе, но и общественной жизни. Среди публикаций на литературные темы внимание читателей привлекли эссе Бахи Зайна «Отчего у нас мало критиков?» и статья Шахно-

на Ахмада «Игра со стихами», где подвергается критике недостаточно серьезное отношение ряда малайских поэтов к искусству поэзии.

Во втором номере журнала перепечатана из журнала «Литературное обозрение» статья советского критика Ф. Кузнецова «Далекое и близкое», написанная под впечатлением его недавней поездки в Малайзию.

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ МАЛАЙЗИИ

Четыре дня длился пятый фестиваль малайской поэзии, проводившийся под девизом «Поэзия и человек». Торжества, состоявшиеся в Кем Киджанге неподалеку от Кота Бару, столицы султаната Келантан, привлекли любителей поэзии не только из Келантана, но и со всей Малайзии. К празднику был приурочен выпуск антологии современной малайской поэзии «Стихи Киджанга».



Выдающийся польский режиссер Адам Ханушкевич поставил на сцене варшавского Национального театра спектакль по драме, посвященной раннему периоду жизни и творчества великого польского поэта-романтика Адама Мицкевича.
В основу драмы легли произведения поэта и его друзей, переписка, высказывания современников поэта. Роль молодого Мицкевича исполняет Даниэль Ольбрыхский.
На снимке: сцена из спектакля.

(Журнал «Театр»)

ПОЛЬША

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ 1976 ГОДА

Накануне празднования Дня Возрождения были объявлены имена лауреатов Государственных премий в области литературы. Премий первой степени были удостоены: Богдан Чешко — за творчество в целом; Казимира Иллакович, «первая дама польской поэзии», как ее называет критика,— не только за оригинальное поэтическое творчество, но и за переводческую деятельность; широко известный советскому читателю писатель Станислав Лем — за творчество в целом; Тадеуш Лопалевский — за достижения в области исторического романа.

Премиями второй степени награждены: Юлиан Кавалец — за повесть «Серый ореол» и «Избранные рассказы»; Рышард Капустинский — за репортажи (в частности, за книгу «Христос с винтовкой на плече» и за цикл репортажей из Анголы) и Мечислав Франтишек Раковский — за публицистическое творчество в целом, причем особо отмечена его книга «Отставка канцлера».

США

МЕМУАРЫ ЛИЛИАН ХЕЛЛМАН

Американский драматург Лилиан Хеллман (советским зрителям хорошо знакомы такие ее пьесы, как «Лисички» и «Осенний сад») в последние годы обратилась к прозе, опубликовав книги мемуарно-автобиографического характера «Несостоявшаяся женщина» (1969) и «Пентименто» (1973). Вышедший недавно очередной том мемуаров Хеллман, озаглавленный «Подлые времена», привлек особенно большое внимание читателей и критиков. Рассказывая в этой книге о преследованиях прогрессивной интеллигенции США в годы маккартизма и «холодной войны», Хеллман затрагивает ряд острых и по-прежнему актуальных этических проблем.

В мае 1952 г. печально известная Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности обвинила Хеллман в пропаганде подрывных идей на том основании, что ее творчество носило подчеркнуто социальный характер и было отмечено неприятием норм буржуазной жизни и морали. Адвокатам удалось опровергнуть это абсурдное обвинение, однако под нажимом маккартистов пьесы Хеллман были сняты со сцен многих американских театров. Оказавшись в тяжелом материальном положении, Хеллман была вынуждена уехать в Италию, где одна из коммерческих киностудий предложила ей должность редактора сценариев развлекательных фильмов. Несколько лет Хеллман не могла вернуться к активной творческой деятельности.

Как и ряду других представителей американской

культуры, Хеллман было предъявлено требование пересмотреть свою общественную позицию и публично признать ошибочными выступления в поддержку демократических сил — в частности, и антифашистскую драму «Стража на Рейне», написанную после посещения Германии в 30-е годы. За неделю до разбирательства ее «дела» Хеллман направила комиссии Маккарти открытое письмо, в котором заявила: «Я не могу и не буду перекраивать свою совесть согласно модам нынешнего сезона». На премьере оперы «Лисичка» Хеллман огласила это письмо и публика устроила ей овацию.

ФРАНЦИЯ

ПАМЯТИ АНРИ БАРБЮСА

На обложке первого номера «Тетрадей Анри Барбюса» — репродукция известного портрета (художник Борис Таслицкий). На читателя смотрят умные и печальные глаза автора «Огня». «Тетради» ежеквартально выпускает Общество друзей Анри Барбюса, которое возглавляет известный литератор Пьер Параф, близкий друг писателя.

Первая страница «Тетрадей» посвящена памяти Жака Дюкло, товарища и соратника Барбюса по антифашистской борьбе. В эссе Жоржа Коньо раскрывается значение жизненного и творческого подвига Барбюса в наши дни.

В 1976 г. Общество широко отметило шестидесятилетие со дня выхода в свет «Огня». О встречах с Анри Барбюсом рассказал Анри Неве, тоже участник первой мировой войны. Пьер Параф поделился воспоминаниями о Барбюсе и подробно проанализировал острую политическую и литературную полемику, которую вызвал выход в свет «Огня». «Он помог мне встать на путь революционной борьбы»,— сказал Казимир Лисибелло, один из руководителей Республиканской ассоциации бывших участников войны, основателем и председателем которой был Барбюс.

Большой интерес представляют опубликованные в «Тетрадях» отрывки из первого художественного произведения Барбюса, романа, который он предполагал назвать «Завоеватель» (впоследствии он заменил заглавие на «Пророк»).

Заключают «Тетради» хроникальные материалы, связанные с изучением и популяризацией творчества Барбюса в Советском Союзе и Югославии.

Телевизионная программа «Сегодня вечером в театре» пользуется любовью у французского зрителя. Недавно под этой рубрикой был показан спектакль по пьесе Дюмануара и д'Анери «Дон Сезар де Базан» в постановке Жана-Пьера Маршана.

На снимке: исполнители главных ролей Робер Ирш (дон Сезар), Элен Кальзарелли (Маритана) и Р. Рембо (дон Хозе).

(Газета «Юманите»)

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НАСЛЕДИЕ ПИСАТЕЛЯ-БОРЦА

Под таким заголовком «Руде право» опубликовала статью, посвященную 85-летию со дня рождения выдающегося чешского писателя Владислава Ванчуры, погибшего от руки гитлеровцев в 1942 г.

В кратком обзоре творческого пути Ванчуры автор статьи Яромира Неедлова отмечает антибуржуазный характер творчества писателя, обозначившийся уже в первом его крупном романе «Пекарь Ян Маргоуль» (1924). С особой силой прозвучал протест Ванчуры против общества, которое «порождает страдания и гибель» миллионов людей, в романе «Поля пахоты и войны» (1925), воссоздающем трагические события первой мировой войны.

Более подробно автор статьи останавливается на творчестве писателя второй половины 30-х годов, когда активное наступление фашизма необычайно обострило политическую обстановку во всей Европе.

Последними, незавершенными, произведениями Ванчуры были трилогия «Кони и повозка» (автор закончил лишь первую часть — роман «Семья Горвата», 1938) и монументальные «Картины из истории чешского народа» (1939—1940).

«Картины» Ванчуры, над которыми он работал в сотрудничестве с группой прогрессивных чешских историков, сыграли большую роль в воспитании патриотических чувств и веры в победу над фашизмом.

Отмечая органическую слитность в личности Ванчуры писателя и коммуниста, борца с фашизмом, автор статьи заключает:

«Это нераздельное единство «художественного и гражданственного» определяет непреходящую ценность наследия Владислава Ванчуры для настоящего и будущего поколений».

Авторы этого номера

АЛЬФОНСО ЛОПЕС МИКЕЛЬСЕН — ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN (род. в 1913 г.).

Колумбийский государственный и общественно-политический деятель, литератор. По образованию — адвокат; профессор конституционного права, читал лекции в университетах Колумбии и других стран Латинской Америки. Был депутатом, сенатором, министром иностранных дел. С 1974 г.— конституционный президент Колумбии. Один из лидеров либеральной партии.

Автор ряда трудов в области истории, правоведения, социологии, в том числе — «Введение в изучение конституции в Колумбии» («Introducción al estudio de la Constitución en Colombia»), «Бенжамен Констан, или Отец буржуазного либерализма» («Benjamín Constant o el padre de un liberalismo burgués»), «Колумбийские проблемы» («Cuestiones colombianas»), «Колумбия в Час Ноль» («Colombia en la Hora Cero»), «Постскриптум к перемене» («Posdata a la alternación»).

Роман «Избранные» («Los elegidos») впервые был издан в 1952 г., выдержал несколько изданий. Мы публикуем его в журнальном варианте.

НОВИКОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

Советский переводчик, искусствовед. В ее переводах печатались произведения многих латиноамериканских писателей, в том числе Хуана Боша (Доминиканская Республика), Доры Алонсо (Куба), Хуана Рульфо (Мексика), Хуана Карлоса Онетти (Уругвай). Автор работ, посвященных творчеству мексиканского художника Давида Альфаро Сикейроса, бразильского художника Кандидо Портинари, очерков о театре и кинематографии Латинской Америки.

СТАНИСЛАВ ЕЖИ ЛЕЦ — STANISŁAW JERZY LEC (1909—1966).

Польский поэт. (О нем и его творчестве см. вступительную статью В. Британишского.)

Предлагаемые стихи взяты из книг «Авелю и Каину» («Do Abla i Kaina», 1961), «Избранные стихи» («Wybór wierszy», 1968), «Объявление о розыске» («List gończy», 1963). Фрашки — из книг «Из тысячи и одной фрашки» («Z tysiąca i jednej fraszki», 1959) и «Сбор фрашек» («Fraszkobranie», 1966); из последней взяты и рисунки; художник книги — Ян Млодоженец.

■

У ХАНЬ (род. в 1909 г.).

Китайский историк, публицист, драматург, общественный деятель. Автор ряда монографий, в основном посвященных минскому периоду китайской истории (XIV—XVII вв.). Основные работы: «Мин тайцзу» (1943), «Взять винтовку» (1959), «Весна» (1961), «У светильника» (1961), «Учеба» (1963) и др.

С 1934 г. У Хань занимался преподавательской деятельностью. Находился на ответственных выборных должностях. С 1949 г. занимал пост заместителя мэра г. Пекина и был смещен с него в 1966 г. во время «культурной революции». Дальнейшая судьба его неизвестна.

Драма «Разжалование Хай Жуя» впервые была опубликована в журнале «Бэйцзин вэньи» («Литература и искусство Пекина»). Предлагаемый нами перевод сделан по книге «У Хань. «Разжалование Хай Жуя» (Пекин, 1961 г.).

■

ДЖЕЙМС ДЖОЙС — JAMES JOYCE (1882—1941).

Ирландский писатель. Окончил иезуитский колледж и Дублинский университет. В 1904 г. уехал на европейский континент, в 1920 г. обосновался в Париже. Изучал медицину, музыку. Дебютировал в 1907 г. книгой стихов «Камерная музыка» («Chamber music»). Но известность Джойсу принесла проза, оказавшая большое влияние на модернистскую литературу.

К основным произведениям Д. Джойса относятся: роман «Улисс» («Ulysses», 1922, главы из него публиковались в журнале «Интернациональная литература» № 1—3 9—12, 1935; № 1—4, 1936), сборник рассказов «Дублинцы» («Dubliners», 1914), вышедший в русском переводе в 1937 г. (в некоторых рассказах Джойс выступил против угнетения Ирландии Англией), и роман «Портрет художника в юности» («A Portrait of the Artist as a Young Man», 1916), публикацию которого мы начинаем в этом номере. Комментарий к тексту сделан Е. Гениевой.

Статья о творчестве Д. Джойса и этом романе будет напечатана в одном из ближайших номеров.

БОГОСЛОВСКАЯ-БОБРОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА (1902—1974).

Известная советская переводчица. В ее переводах выходили произведения Дж. Байрона, У. Фолкнера, Р. Олдингтона, Г. Уэллса, Т. Драйзера, а также Стендаля, В. Гюго, А. Франса и др.

■

ПЕТРОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ (род. в 1929 г.).

Советский китаист, литературовед. С 1951 г. преподает историю китайской литературы XIX—XX вв. в Ленинградском университете. Автор книг «Ай Цин. Критико-биографический очерк» (1954) и «Лу Синь. Очерк жизни и творчества» (1960), а также многих статей о современной китайской литературе. Перевел на русский язык сборник стихотворений в прозе Лу Синя «Дикие травы» и ряд произведений других китайских писателей XX века.

■

ВИТТОРЕ БРАНКА — VITTORE BRANCA (род. в 1913 г.).

Итальянский критик и литературовед, профессор итальянской литературы Падуанского университета, президент Международной ассоциации исследователей итальянского языка и литературы, вице-президент научно-культурного центра «Фонд Чини». Автор монографий «Альфьери и поиски стиля» («Alfieri e la ricerca dello stile», 1947), «Средневековый Боккаччо» («Boccaccio me-

dievale», 1956), редактор ряда научных изданий произведений Боккаччо.

Публикуемая статья передана редакции в рукописи.

■

ДЕНИЗА ЛЕВЕРТОВ — DENISE LEVERTOV
(род. в 1923 г.).

Американская поэтесса. Дебютировала в 1946 г. сборником «Двойное отражение» («The Double Image»). Впоследствии изданы книги стихов «Здесь и Сейчас» («Here and Now», 1957), «Через континент к островам» («Overland to the Islands», 1958), «Лестница Иакова» («The Jacob's Ladder», 1962), «Печальный танец» («The Sorrow Dance», 1967). «Высвобождение праха» («The Freeing of the Dust», 1975) и др. Подборки стихотворений Д. Левертов печатались в Иностранной литературе» (№ 9, 1966 и № 10, 1972).

Мы публикуем главы из ее книги «Поэт в мире» («The Poet in the World». New York, New Directions Publishing Corporation, 1973).

■

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ — GÜNTER WALLRAFF
(род. в 1942 г.).

Западногерманский журналист и писатель, член дортмундской «Группы-61» (литературного объединения писателей и поэтов мира труда), работает в документальном жанре. Опубликовал большое количество репортажей, три книги, пьесу. Первая его книга очерков «Ты нам нужен» («Wir brauchen dich») с подзаголовком «На фабриках и заводах Западной Германии» вышла в 1966 г. (автор после окончания книготоргового училища работал на разных промышленных предприятиях ФРГ). Затем вышли «Предварительная биография» («Vorläufiger Lebenslauf», 1968), пьеса «Эпилог» («Nachspiele», 1968), сборник «Тринадцать нежелательных репортажей» («13 unerwünschte Reportagen», 1970). Факты и события, о которых рассказывает Гюнтер Вальраф, он наблюдал и исследовал «изнутри», на некоторое время становясь их непосредственным участником.

«Иностранная литература» познакомила читателей с работами Г. Вальрафа, опубликовав несколько его репортажей (№ 1—2, 1969), очерки «Во власти Молоха» (№ 11, 1972) и «Три антисюжета к сюжетам из «Бильд» из книги «Новые репортажи. Исследования и поучительные примеры» (№ 5, 1973).

Предлагаемый вниманию читателей в этом номере репортаж с магнитофонной ленты «Португалия: как был раскрыт заговор» перепечатывается нами из издающегося в Кёльне ежемесячного общественно-политического журнала «Блеттер фюр дойче унд интернационале политик» (№ 4—5, 1976).

■

ЛЕОНИД ЛЕНЧ (Леонид Сергеевич Попов)
(род. в 1905 г.).

Советский писатель — прозаик и драматург. Широкую известность получил как сатирик и юморист. Им выпущено много сборников юмористических и сатирических новелл, в том числе однотомник «Избранное» (1975), в который вошли повести и цикл рассказов из эпохи гражданской войны на юге России. Пьесы и комедии Л. Ленча ставились на сценах театров. По его сценарию режиссер Э. Рязанов создал кинокомедию «Девушка без адреса». Рассказы и книги Леонида Ленча переведены на иностранные языки.

■

СТАНИСЛАВ ЛЕМ — STANISŁAW LEM
(род. в 1921 г.).

Польский писатель, один из видных представителей современной философской фантастики, мастер сатирического гротеска. Автор многочисленных научно-фантастических произведений, в которых рассматриваются возможные социальные последствия развития науки и техники, книг эссе по философским проблемам кибернетики, космонавтики, эвристики, футурологии.

Произведения С. Лема переведены на многие языки мира, пользуются большой популярностью в нашей стране.

«Путешествие двадцать восьмое» — глава из книги С. Лема «Звездные дневники» («Dzienniki gwiazdowe». Krakow, Widawnietwo Literackie, 1966).

■

ПИТ ХЕЙН — PIET HEIN (род. в 1905 г.).

Датский писатель, журналист художник, инженер. Получил образование в стокгольмском Высшем художественном училище, в Политехническом училище и университете в Копенгагене. Автор нескольких поэтических сборников, выходивших в разные годы, сборников афоризмов а также статей, посвященных теории строения атома.

Оригинальный вклад Пита Хейна в национальную, а также скандинавскую литературу составляют его груки. Впервые груки П. Хейна увидели свет в 1940 г. на страницах копенгагенской газеты «Политикен» и в зарубежной прессе. С тех пор Хейн выпускает почти каждый год по сборнику груков под псевдонимом Кумбел Кумбелл (Kumbel Kumbell.)

Книга «Груки разных лет» («Gruk fra alle aarene») включает в себя избранные груки П. Хейна и охватывает период с 1940 по 1960 год.

■

ДЖЕЙМС ГРОВЕР ТЭРБЕР — JAMES GROVER THURBER (1894—1961).

Американский писатель-юморист и карикатурист. Автор многочисленных сборников сатирических и юмористических рассказов, часто иллюстрированных им самим. Рассказы Дж. Тэрбера неоднократно печатались в советских журналах и газетах. В «Иностранной литературе» см. рассказ «От чего страдает человечество» (№ 8, 1968 г.).

Предлагаемые в этом номере рассказы взяты из сборников «Тэрберовский карнавал» («The Thurber Carnival», 1945), «Мир Тэрбера» («Thurber Country», 1962), «Были и басни» («Credos and Curios», 1962).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 9/VIII 1976 г. А 01724. Подписано к печати 13/IX 1976 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л. 18 п. л. (25,2). Уч.-изд. л. 27,48.
Тираж 585 000 экз. (1-й завод: 1—350 000 экз.). Зак. 2459.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Иллюстрация художника Цзян Чжао-хэ
к повести Лу Синя «Подлинная история А-Кью»

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394